

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

11-12 (471)

2017

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Даниил Да. Из книги стихов «Южная ночь»..... *3*
Владимир Шапко. Железный старик и Екатерина. *Роман*..... *16*
Владимир Гандельсман. Объекты. *Стихи*..... *108*
Иван Макаров. Крокодилка. *Рассказ*..... *115*
Данила Давыдов. «Исповедь писаря» *и др. рассказы*..... *124*
Сергей Золотарёв. «Человечек при родах вещей...» *и др. стихи*..... *129*
Татьяна Замировская. Мир железного зайчика. *Рассказ*..... *134*
Виталий Лехциер. «дурачиться на краю материального мира...» *и др. стихи*..... *142*
Татьяна Грауз. Темная сторона травы. *Рассказ*..... *151*
Андрей Пермяков. Стихи для Марии Панкевич..... *161*
Нина Косман. Три рассказа..... *170*

ПЕРЕВОД

Георг Тракль. Из книг «Стихотворения» и «Видения Себастьяна».
Перевод, комментарии Алёши Прокопьева..... *177*

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. В русском жанре – 53..... *202*

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Олег Лекманов, Михаил Свердлов. Венедикт Ерофеев: Орехово-Зуево – Владимир.
Глава из биографической книги об авторе «Москвы – Петушков»..... *216*

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Александр Кремлёв. Голод – Любовь – Революция. Поэма.
Публикация, вступительная статья Георгия Квантришвили..... *228*

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Денис Липатов. Проводник из котла
Александр Кабанов. На языке врага: стихи о войне и мире..... *235*

Андрей Пермяков. «...Ссылка в границы мгновения»
Александр Журавский. Слова и травы. Сорок пять стихотворений..... *239*

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Вячеслав Лопатин. Происхождение Радищевского музея..... *246*

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРОВ ЗА 2017 ГОД..... *267*

© «Волга», 2017

Даниил ДА

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ЮЖНАЯ НОЧЬ»

1.

Запах гниющих канав, розоватых цветов, бесконечных гниющих канав.
Сизый дымок над мангалами, тонкая нота духов увязалась и что-то ещё –
Музыка ли, поминают которой смеющихся звонких певиц,
Ветер, застрявший в верхушках деревьев, горящие очи собак.

Голубь двуглавый с монеткой в зубах золотой
Ходит вдоль линии, где истончается свет,
Где корабли покрываются патиной, а в глубине
Зеленью нежной морские горят города.

Лишний напас сделал Славик и вот ему нехорошо.
В этой прекрасной ночи теперь так одиноко ему.
Жалоб скопилось на книгу, но как заключить их в слова,
Как величавым друзьям объяснить все несчастья свои?

Сложно среди винограда и вяжущих ноги лиан
Тонкий свой ужас облечь в тихий вой, ультразвук.
Толик стал столбиком, Паша как будто исчез,
Сурика за руку взял с бородой бирюзовою гном.

Борется с горками рейсовый левиафан,
Пьяниц усталых развозит по детским садам до утра.
Каждому там приготовлено ложе, горшочек с грибочком, кисель,
Каждого в шкафчике ждёт собственный сгорбленный труп.

Ох, нелегко просыпаться, когда тебя в общем-то нет.
Тут не поможет ни пиво, ни рог молодого вина.
Да и куда просыпаться? Стоглазая южная ночь
Аргусом зорким следит. Не отпустит уже никогда.

Даниил Да родился в Сочи. Участник арт-группы «Гильдия красивых» (1989–1999). Автор книг «Бескровная и безболезненная» (М.: Композитор, 1993) и «В руках отца» (М.: Humulus Lupulus, 2015). Стихи публиковались в журналах «Современная поэзия», «Воздух», «Носорог», а также были включены в антологии «Строфы века» (М.: «Полифакт», 1995) и «Русская поэтическая речь» (Челябинск: Издательство Марины Волковой, 2016). Короткий список Премии Андрея Белого (2015) и Волошинского конкурса (2017). Живет в Москве.

2.

Сон мавра

Много дел предстоит, а повсюду лишь женские ноги,
Шорох юбок нежнейших, нездешние бледные икры.
Северянки строптивые, острые выставив плечи,
Выбирают маслины, смеются, считая монеты.

Даже в сны проникают: щипают, кусают, щекочут,
Норовят отломить от меня хоть кусочек, хоть пальчик,
Оторвать моей шёрстки бараньей тугое колечко
На удачу, на счастье, таить от ревнивого мужа.

В возбужденьи, в неистовстве диком бегу я в прибрежные рощи,
Чтобы унять острый зуд – об стволы узловатых деревьев
Долго тру бугорки молодых еле видимых рожек.

А когда нетерпенье к финальной приблизится точке –
Выбегаю на берег, где синие плещутся волны,
Перламутром горячим, крича, изливаюсь обильно
Так, что меркнут в глазах островерхие тонкие звёзды.

Не скопить так ни денег, не сшить себе нового платья,
Коль таиться всю жизнь у кустов и оград танцплощадок.
О, пустые виденья! О, рвущие душу соблазны!
Нет ни днём мне спасенья, ни ночью прохладной покоя!

3.

Дунь в пустой рапан и снова
Повтори.
Свист лирический понтовый
Сотвори.

Головы задрав как змеи
Из пыльцы
Пусть ползут, подняв колени,
Пьяницы.

Стаи диких бесноватых
Обезьян
В ярких шортиках измятых
Вторят нам.

От буйков сигналят бойко
Рыбаки,
Отвечает им покойник
Из реки.

Дунь в рапан и сделай снова
Полный вдох.
Мир от гула разлитого
Не оглох.

Задрожал, но не распался,
Не исчез.
Тяжким вздохом отозвался
Волнорез.

4.

Здесь из юношей тепличных
Сок сосут, прищурясь, девы,
Королевы мест публичных,
Пышнотелые гетеры.

Горбоносые, со смолью
В волосах, лежащих влажно,
Ядовитой горькой солью
Посыпают день вчерашний.

«Мы учились на Инжирной,
Утром не ходили в школу,
Водкой сладкой, водкой жирной
Разбавляли пепси-колу

И курить учились в тайных
Санктуариях Мацесты.
Трав запретных запах сладкий
Был вкуснее знаний пресных.

Что ты скажешь нам на это,
О, смущённый кабальеро?
Видишь, тлеют лунным светом
Лупанарии Ривьеры.

В них усатые ловчилы,
Шевеля клешнями раков,
Выстилают нам могилы
Лепестками чёрных маков.

Попроси же счёт скорее,
Поспешим, уже светает».
Робкий юноша краснеет
И покорно уступает.

5.

У торговых рядов полумрак и прохлада укрыли столы
И в глазах продавца свили гнёзда свои две мохнатых пчелы.

Серебристый сарган, виноградная влага, коричневый мёд…
Казачок молодой по базару печально идёт.

Тонких усиков щёточка задрана бодро, висят на груди
Ордена неизвестных республик народных. Вся жизнь впереди.

Хочешь – впейся зубами в потресканный спелый инжир
Или пробуй ломтями нарезанный наскоро сыр,

Выпей чачи стаканчик. Чего загрустил, казачок?
Из шалмана глядит слеповатой совой старичок.

И торговец, что спящим казался, пока ты идёшь,
Засопел, закряхтел, подсобрался и вытащил нож:

«Знали дед и отец этой стали черкесской секрет.
Отдаю за бесценок. Понравился ножичек?» – «Нет.

Где купить, расскажи мне, цветок словно лёд голубой,
От которого жизнь наливается правдой, мечтой.

От которого сны закипают в крови среди дня,
От которого я в своего превращаюсь коня

И лечу в небеса на закатный мерцающий свет.
Есть такой у тебя? По глазам твоим вижу, что нет.

Так на что мне твои алыча, черемша, мушмула?»
Утирая слезу, прочь идёт казачок от стола.

6.

Здравствуй, волосок седой
Из коробочки пустой.
Здравствуй, веточка омелы,
Олеандра кустик белый,
Разливающийся зной.

Знают руки Ариадны,
Как вернуться нам обратно
Вдоль притопленных конюшен,
Где горячий воздух скушен,
Вдоль курятников и башен,
Где прибой внезапный страшен.

Там, где Бзыбь в камнях поёт
И Бзугу ковёр несёт.

Пузыри как каруселя
Вертят смятые постели,
Лошадей, собак и коз,
Телевизоры, машины.
Ждут иссохшие морщины
Уносящих горе слёз.

7.

Голоса лиловых гномиков,
Пробирающихся в сад,
Будят всех, кто дремлет в домике,
Тех, кто сном некрепким спят.

Лунный свет пролёг дорожкою,
Протянулся через двор.
Слизни с тоненькими рожками
Смотрят на вершины гор.

Дребезжит разбитой рамою
Подъезжая к гаражам
Экипаж с прекрасной дамою
В лёгком кружеве пижам.

Дверь открыта, в щель горящую
Виден стол, вокруг сидят
Пожилые звероящеры
В ожидании наяд.

Сок пустил шашлык израненный,
Морды в пепле и золе.
Цыганёнок тянет маленький
«Рюмку водки на столе».

И в окошко лучик тоненький
Свет последний дарит свой.
В страхе убегают гномики,
Мокрой шелестя листвой.

8.

Сталин входит в двери главного корпуса «Мацесты»,
Идёт по ковровой дорожке
Мимо растущих в кадках пальм,

Мимо дверей, за которыми
Вытянулись в струнку
Доктора наук, физиологи,
Горбоносые охранники, сжавшие пальцы на рукоятках
Узорных черкесских кинжалов.
В конце коридора видна приоткрытая дверь.
Сталин входит в неё,
Кладёт на стул пальто, сворачивает белую рубаху,
Ставит рядом сапоги,
Тяжело вздыхает, перешагивая край ванны,
Погружая своё тело
В пронизанную пузырьками сероводорода
Заботливо подогретую воду.

Заговорщики таятся двумя этажами ниже
В комнате оператора подачи:
Лепсверидзе, Чижов, Манукян.
Позже их именами назовут межатлантические лайнеры
И крупные европейские города.
– Решающий момент, товарищи! – говорит Лепсверидзе:
– Смерть тирану!
Чижов с трудом поворачивает вентиль,
Подача сероводорода прекращается.
Манукян, покраснев, выливает
В ёмкость для подогрева
Канистру серной кислоты,
Потом ещё одну, ещё и ещё.

Из сталинской комнаты слышно довольное покряхтывание
И стук пустой трубки о мраморный край ванны.
Заговорщики прислушиваются к этому метроному.
На двадцать третьем ударе стук прекращается,
Трубка падает на кафельный пол.
Лепсверидзе, Чижов и Манукян вбегают в процедурную.
В ней до потолка стоит удушливый сернистый пар.

– Откройте окна, товарищи! – говорит Лепсверидзе.
Чижов держит в руках
Захваченный на всякий случай тяжелый разводной ключ.
Окна распахнуты. В ночном небе
Видны бортовые огни тяжёлого бомбардировщика.

Тело Сталина исчезло.
На поверхности мыльной пузырящейся воды
Плавают рыжие густые усы.
Когда заговорщики склоняются над ванной,
Усы превращаются в гигантского махаона
И, хлопая крыльями,
Вылетают в густую южную зелень.

9.

Вышел из ресторана полночного хулиган –
Размик, Гургенчик или кто-то похожий на них.
Оглянулся – Морпорт, рядом большой фонтан
И во тьме кто-то скалится рядом зубов золотых.

Ой, до чего же боязно мраморной красоты!
Что они вдруг уставились? Пялятся почему?
Совесть кого нечиста – того пугают кусты
И даже в радости страшно быть одному.

Сколько ни озирайся – враг постоянно здесь,
Вертится рядом, манит из-за угла.
Спрятаться не помогут ни гумарийская смесь,
Ни из Черешен каша, ни из Лоо игла.

Вот он уже повсюду, над рестораном «Каскад»,
Из луна-парка скалится парой горящих колёс.
Может быть повар в хинкали подсыпал яд,
Влил его в кофе, добавил в коньяк и морс?

Как объяснить иначе этот внезапный срыв –
Город, знакомый с детства словно своя ладонь,
Стал лабиринтом страха, царством плакучих ив,
Выгнав из хулигана злобы пустой огонь.

Только не в этот вечер сумочки у зевак
Будет Гургенчик резать, бить приезжих юнцов.
Тот, кому повстречался собственных недр мрак,
Страшным в витринах видит собственное лицо.

10.

1979

Над рекой, где голос птичий,
Лёгкий дым летит в эфир.
Папа кипятит на спичке
Рыбий сморщенный пузырь.

Тлеет дерево, газета
Возле самого лица.
Мальчик, празднично одетый,
Смотрит за рукой отца.

Первомайский воздух ярок,
Жгут шашлычники костры.

По реке плывут к закату
Разноцветные шары.

Рыбья плоть, сжимаясь мягко,
Превратится в уголёк,
Ароматным капнув маслом
На газеты уголок,

Где с прискорбьем сообщают,
Но о чём – не разобрать.
– Жуй, сынок. И начинает
Мальчик вдумчиво жевать.

Ничего вкуснее нету
Этой вяжущей тоски,
Наступающего лета,
Жизни той, что впереди.

11.

Сытый, молодой, красивый
Человек идёт на пляж.
Там в воде неторопливо
День-деньской без перерыва
Варится людской гуляш.

Бросил старые приправы
Повар в разогретый чан.
Многорукий и стоглавый
Сквозь убыхские дубравы
Жертвенный спешит баран.

Чтоб под крышею аула
Распростёршись под ножом,
Подперев ладонью скулы
Вспоминать про вьюги гулы,
Северный далёкий дом.

12.

Санаторий имени Ворошилова

Моря стеклянный звон
Сел на одну из колонн
Сталинский махаон

Над бахромой руин
Где санаторный сад
Высится исполин

Лётный застёгнут шлем
Яростный светел взгляд
Ноги окутал дым

В город попал снаряд
Ни одного стекла
Не уцелело тут

Горек ли оттого
Статуи гордой взгляд
Смех пересохших губ

13.

Едет звонкая карета
По проулкам городским.
Франт, изыскано одетый,
Из окна пускает дым.

Вдоль по улице Нагорной,
Вниз спускается, и вот
Перед ним проспект Курортный
Открывает поворот.

По вершинам эвкалиптов
Скачет сумрачным котом
Некто на одном копыте
И с вертящимся хвостом.

Из роскошного салона
Он не виден никому.
Диск электропатефона
Басом наполняет тьму.

Вечер, полный наслаждений,
Мягких вин, приятных встреч,
Ждёт того, кто приключений
Не старается избечь.

Кто всегда готов к финалу –
В устье рек, текущих вспять,
Переспелым фруктом алым,
Ферментируясь, лежать.

14.

Дождь идёт стеной отвесной.
Помешав дневному сну,
Мойдодыр вскричал небесный:
– Прямо в бездну! Прямо в бездну
С головою окуну!

И от крика громового
Просыпаются в домах
Скобари и рыболовы.
Окна заперты – и снова
Дрёма дивная в умах.

Лишь торговец мандарином,
Зыбкий замочив товар,
Под чинаром благочинным,
Кудри кутая в овчину,
Смотрит на янтарный шар.

15.

Мы пойдём с тобой по пляжу
Где скелетик обезьяний
Пальцы тонкие поджал

Где пускают в рестораны
Только тех, кто очень пьяный
Тех, кто ростом мал

Там из низеньких и толстых
Повар фарш готовит просто
Чтоб потом слепить

В руки, ноги и суставы
Вложит он сухие травы
И отправит жить

Хорошо под солнцем пьяным
Выходить из ресторана
Головой вертеть

Где скелетик обезьяний
Был – возникли окна зданий
Крыш белеет медь

Ничего не понимая

Фарш восторженный шагает
Весело ему

На деревьях как лимоны
Зреют чёрные вороны
Вглядываясь в тьму

16.

На винограде спит паук,
Под лампою жуки.
Железной шторы слышен стук,
Закрыты сундуки.

Спокойно едут по домам
Седые мясники.

Скрипит цикада, догорел
След катера вдали.
Вот богомол в лесу запел,
Вот кущи зацвели.

На дне пруда, как влажный мел,
Счастливые рубли.

А мы с тобой идём домой
В такой непоздний час.
Вколочен нравственный закон
Внутрь каждого из нас.

И небо звёздное, теснясь,
Из юных брызжет глаз.

В две стороны идёт тропа.
Нам разойтись пора.
Пятиэтажный старый дом,
Священная гора.

Мы эту ночь переживём
Без всякого костра.

Ступеней девять тысяч вверх,
Длинней которых нет.
Наружу вывернув свой мех,
Подъезд включает свет.

Из кущ звенит собачий лай
И птицы ранней смех.

17.

Встань в полтретьего, выйди из дома,
Мимо баков помойных пройди.
Огоньком нелюбви незнакомым
Тлеет сердце в груди.

Кто скривил эти дивные пальмы,
Кипарисы согнул не щадя,
Кто собак посадил у хинкальной
Наблюдать как едят?

Шевельнётся в кустах лавровишни,
Подгибая натруженный ласт,
Человек, перекачанный лишним,
Побеждённый схоласт.

Полыхнёт беспокойное око
И в вершинах далёких холмов
Станет эхо неслышное охать,
Удивляясь само.

Сквозь решётку протянет к дороге
Свою голову длинный павлин
И завоют в тоске осьминоги
Из разбитых витрин.

18.

Голос цикады – мычанье коровы,
Так басовит и тяжёл.
Цокает теннисный мячик у школы
Звонко о теннисный стол.

Ниже проспект, а вблизи стадиона –
Место, где спят катера.
Давятся зеленью влажные склоны,
Ходят послушно фигурки влюблённых,
В южной ночи до утра.

Низкие ветви почти коридором
Тёмным вокруг улеглись.
В кронах деревьев – зелёным узором
Море, бегущее ввысь.

Над пешеходной тропою здоровья
Поезд несётся вперёд.
Все пассажиры желают здоровья
Тем, кто тропою идёт.

Лишь в полуночном угаре спортивном,
Как расшалившийся бес,
Выпрыгнет куклою декоративной
С острым кинжалом черкес.

Так же бездумно достанет дружинник
Маленький красный свисток.
Дунет в него – и обратно в ажинник
Спрячется трепетный бог.

Мост поделил на сегодня и завтра –
Не перебраться никак.
Конский кузнечик рукою гиганта
Передвигает овраг.

И на цветочных хронометрах в парке
Приоткрывают глаза
Спавшие лилии, сонные маки,
Вслушиваясь в голоса.

Свитком горящим зальётся огнями
Словно закрученный жгут
Льющийся нежным молочным сияньем
Пансионат «Изумруд».

И терренкур, уползая змеёю,
Вдруг обернётся на свет:
Смотрят над занятой каждой скамьёю
В спину зрачки сигарет.

Владимир ШАПКО

ЖЕЛЕЗНЫЙ СТАРИК И ЕКАТЕРИНА

Роман

Глава первая

1.

С некоторых пор, приходя с улицы, он перестал запираться на засов. Закрывал дверь только на один английский. Притом не сдвигая вниз собачку. Если случится внезапно дать дуба – дэзовскому слесарю легче будет подобрать к замку ключ, чем выламывать железную дверь фомкой. Или того хуже – резать автогеном. Или (совсем уж крайний случай) – обдалбливать железную обвязку двери перфоратором. На глазах у испуганных соседей. Кошмар!

Ночами, перед тем как заснуть, часто не мог вспомнить – правильно ли закрылся. Он вставал, открывал первую, деревянную, дверь, и убедившись, что мощный засов отодвинут от паза, – возвращался в постель. Теперь уж дверь точно без особого труда вскроют. Когда услышат на лестничной площадке непонятный запах. А потом и вонь.

В тот год его особенно стала поражать тупость снегоуборочных служб. Вместо того чтобы просто замести выпавший снег за собой крутящимися щётками – они стали резать тротуары грейдерами, доводя снег на них до лоснящегося блеска, на котором пешеходы только подлетали и падали.

Свежий притоптанный на гололёде снег – тоже срезали. Упорно возвращали гололёд, назад, людям. Да ещё украшали его пропаханными бороздами и ровными ледяными квадратиками.

На таких тротуарах стал бояться сломать ногу. Или вовсе – шейку бедра. Несколько раз пытался заказать по интернету ледоступы. Но везде продавали только партиями. В пятьдесят, в сто пар. Тогда он купил длинные, хорошо закалённые шурупы с большими шляпками. Сквозь каблук зимних ботинок вывернул наружу. По семь шурупов на каждом каблуке. Теперь он пробивал любой лёд. В шипах ходил на манер скалолаза на отдыхе. Его стали выносить из магазинов. Под руки и под ноги. Особенно из тех, в которых пол очень гладкий. Полированный. Но он не унывал. Старался смешиваться с покупателями. И тогда даже успевал купить кое-что. Пока его опять не вынесут.

К себе на третий этаж поднимался неуклюже. Вроде рыцаря в доспехах. Клацал на весь подъезд. Однако соседи больше не удивлялись, только липли к стенам. Линолеум в прихожей у него стал походить на решето. Зато он стопроцентно был защищён теперь на улице. Уже автоматом закрывался на один английский. Железный толстый засов исключив полностью. Помимо гололёда, он защищался от перфоратора.

Владимир Шапко родился в 1938 году. Окончил Уфимское музыкальное училище. Печатался в журналах «Уральский следопыт», «Урал», «День и Ночь», альманахе «Енисей». С 1997 года – постоянный автор журнала «Волга». Автор книг «Деревенский городок» (М.: Советский писатель, 1991), «Муравейник Russia» (Za-Za-Verlag, 2012), «Лаковый "икарус"» (СПб.: Лимбус Пресс, 2015). «У подножия необъятного мира». (СПб.: Издательство К. Тублина, 2017). Живет и работает в Усть-Каменогорске.

Не уберёгся летом. Но от другого. Сильно обварил руку. Пришлось идти в поликлинику. Через неделю его остановила на улице какая-то женщина:

– Здравствуйте, Сергей Петрович. Как ваша рука?

Он безропотно протянул руку. Будто ободранную куницу. Он не сразу узнал эту женщину. Без её белого халата и колпака. Медсестра. Из поликлиники. Был в процедурной один раз, а почему-то запомнила по имени-отчеству.

Склонив голову, женщина разглядывала ожог. Кожа руки чувствовала чужое дыхание. Завитки волос на сутулом загорбке женщины роднились с ковылём.

– Ну что ж, струп образовался неплохой, – отпустила, наконец, руку. – Только рановато вы сняли повязку, Сергей Петрович. Жара, пыль. Нужно было ещё разок прийти к нам. Я бы наложила мази, ещё раз перевязала.

Он пробормотал что-то. Напряжённо постоял под взглядом женщины. Ожидающей словно ещё чего-то от него.

– До свидания, Сергей Петрович, – сказала наконец. – Поправляйтесь.

Пошла. Широкое плотное тело задвигалось под скользким шифоном. Вроде какой-то беспокойной маслобойни. Не могло найти под ним места.

Он тоже пошёл. Ничего не видел вокруг. Ослеп. Точно блудливо насмотрелся недозволенного. Электросварки, к примеру. Вот ещё старый козёл!

Через месяц, поздоровавшись и опять назвав его по имени-отчеству, она подсела к нему на пустой автобусной остановке. Он собрался на дачу. Был в камуфляжных штанах, с рюкзаком на коленях.

– Вы меня не помните? – спросили его очень вежливо. Так спрашивают коматозного больного в психиатричке.

Он уже злился. Косился на дерево рядом. Отмечая на нём тремор листьев в некоторых местах. Явный паркинсон. Сказал, что помнит. Спасибо за перевязку. И вообще – за внимание.

– Нет, нет, Сергей Петрович, ещё раньше? До вашего ожога? До поликлиники? Не помните?

Он посмотрел внимательней на женщину. Лет пятидесяти она. Скуластое лицо с широко поставленными глазами. Причёска поднята вверх, в виде ананаса. На открывшейся шее всё те же завитки волос.

– Нет, извините, не припомню. Мне вообще-то восьмой десяток. Мог забыть.

Женщина разглядывала его, улыбалась.

– Я знала вашего сына. Алёшу. Ещё до его Афганистана. Бывала в вашем доме. Тогда жива была ещё Надежда Семёновна.

Старик не вспоминал. Мягко дала ему наводку:

– Я была подругой Лены Майоровой. Невесты вашего сына...

Старик испуганно раскинул склероз:

– Лиза, кажется?.. Нет, Катя. Екатерина!

– Да. Катя Городскова. – Она мягко тронула руку больного: – Вот видите, вспомнили.

В день рождения, в августе, она вдруг пришла к нему домой. Со своим внуком. Кудрявым мальчиком лет девяти. По имени Роман. Можно просто – Рома.

Растерянно он встречал незваных гостей. В прихожей сгибался, подавал им тапочки, лихорадочно соображая: – как, от кого они узнали точный день его рождения –10 августа. Потом догадался – в регистратуре.

Они сразу вручили ему подарок – мобильный телефон и провод с зарядным устройством. Зарядку. «Я забил в мобильник и свой, и бабушкин номер, – важно сказал Рома. – Будете теперь звонить нам в любое время». А зачем, хотелось спросить. Но – ладно.

Перед их приходом он сидел на кухне с чекушкой и немудрёной закуской. Сильно смутился. Точно пойманный на нехорошем. А она уже доставала из сумки продукты и железные судки с приготовленной ею едой. Появилась и бутылка вина с пристяжно́й бутылочкой фанты. Засучила рукава и принялась хлопотать.

В комнате, косясь на приплывающие тарелки, он учился у Ромы пользоваться *мобилой*. Маленький пальчонок учителя запросто играл с цифрами. Ну, теперь понятно? – спросил полноватый мальчишка с широко расставленными, как у бабушки, серьёзными глазами. Он сказал, что понятно. Тоже медленно потыкал циферки и значочки.

За столом, после того как бабушка и внук чокнулись с ним, именинником, и отпили из бокалов (бабушка вина, внук фанты), ему доложили, что Рома приехал к бабушке на летние каникулы, что живёт он в Москве и что папа Ромы (сын Екатерины) в Москве работает в министерстве. Очень нужным референтом. Правда, министерство названо не было.

Увидев шахматную доску на серванте, Рома предложил Сергею Петровичу сыграть партию. И пока мальчишка и старик думали и переставляли фигуры, женщина, допивая чай, смогла спокойно осмотреться.

Мебель в комнате стояла прежней. Только за тридцать лет сильно постарела. Обеденный громоздкий стол из цельного дерева выцвел и покрылся разводами, как будто впитал в себя много разлитого кофе. Монолитно плесневели, казалось, всё те же тома в книжном шкафу. Телевизор, как покойник, был прикрыт облезлой бархатной тряпкой. Будто сажей измазанные мягкие стулья. Сервант с просохшим тёмным стеклянным нутром. Всё тот же засаленный диван, к которому пристроились сейчас шахматисты. Никак не умирающие на стене, кряхтящие и восстающие каждый раз неожиданно часы с боем. (Ударили половину девятого.) Даже доисторический абажур по-прежнему пыльно освещал всё это убожество вокруг.

Что и появилось нового, так это прожелтевшая уже, видимо, бэушная башка компьютера с блеклым экраном, на котором размыто проступила страница Яндекса со строчкой «Новых писем нет».

Ещё не видела Екатерина никогда фотографии, которая висела сейчас прямо над шахматистами. С молодым Алёшкой и Сергеем Петровичем. Они стояли как два дембеля, пустив руки по плечам друг другу. С одинаковыми весомыми носами. Типа каменных топоров. Только Надежды Семёновны почему-то с ними рядом не было.

Партию старик с позором проиграл. «Мат!» – сказал Рома. Встал и тряхнул растерянную руку.

Ещё пили чай. После девяти гости наконец ушли. Однако вскоре начал ползать по столу подаренный мобильник. Зудеть жуком навозным. Как учили, Дмитриев смело открыл верхнюю крышку, приложил к уху и твёрдо сказал: да! Оказалось, что бабушка и внук благополучно прибыли домой. Отлично, сказал он, спокойной ночи!

Долго не мог уснуть. Всё вспоминал гостей. Одной породы бабушку и внука. Их одинаковые, широко расставленные спокойные глаза, их одинаковые широкие скулы.

И начались странные эти визиты. До самого отъезда мальчишки в Москву они являлись к нему почти каждый день. И всегда ближе к вечеру. Рома сразу, как у себя дома, доставал с серванта шахматную доску, садился на диван, расставлял фигуры. И смотрел на него, старика: мол, ну, что же ты, давай, садись. Отыгрывайся. И он безропотно садился и отыгрывался. Тем временем на его кухне вовсю хозяйничала Екатерина.

Потом втроём ужинали. Или просто пили чай. Разговаривали. Девятилетний Рома рассуждал вполне здраво. По-взрослому.

Они уходили. И вскоре начинал ползать и раздуваться мобильный телефон. Это означало, что они уже дома. Он говорил им «спокойной ночи».

Каждый раз он ломал голову: почему они приходят? Кто он им? Чужой семидесятитрёхлетний старик. Что им нужно вообще от него? Мальчишка – ладно: шахматист, но что нужно Екатерине? Загадка.

Почти совсем не говорили о прошлом, о без вести пропавшем сыне в Афганистане в 80-м году, об умершей через год после этого жене, Надежде Семёновне. Всё какие-то пустые разговоры. Или, на худой конец, шахматы с мальчишкой.

Грешным делом, он заподозрил её в корысти. Но оказалось, что у неё самой такая же двухкомнатная квартира. Тогда вообще для чего всё это? Неужели похотливого козла какого-нибудь

разглядела в нём, в старике? Но тоже не походило. Хотя далеко не старая ещё. Как говорится, сорок пять ягодка опять. Только крупноватая, пожалуй, ягодка. Тяжёлая. Если, к примеру, попытаться на руки поднять.

2.

Первый раз она увидела его в прошлом году летом. Сразу после переезда из Сургута. Увидела на Красина. И – как толкнули в грудь: навстречу шёл сильно постаревший Алёша Дмитриев. Старик Алёша Дмитриев. Молодым пропавший тридцать лет назад. Сейчас в пенсионерской сизой кепке, в клетчатой рубашке.

Она не смогла остановиться. И он прошёл мимо.

В купленной пустой квартире она сидела среди узлов и чемоданов, никак не могла прийти в себя. Встреча с Дмитриевым, отцом Алексея, всколыхнула давнее, как оказалось, незабытое.

Зимой он пришёл в поликлинику. Сидел в очереди к терапевту. В мятом костюме, как нищий удерживал в руках старую облезлую шапку. (Даже такую бросовую в раздевалке не взяли.)

В регистратуре она посмотрела его карточку. Тетрадка оказалась тоненькой. Фамилия, имя-отчество, год рождения. Два-три ОРЗ, одно посещение окулиста. И – всё. Старик был практически здоров.

Летом пришёл с сильным ожогом. Как сам рассказал врачу, с электроплиты при помешивании пельменей съехала на другую руку эмалированная кастрюля с кипящим бульоном. Он успел только подпрыгнуть. При обработке раны – не пикнул. Железный старик. Она работала щадяще, но быстро. «Через два дня приходите снова на перевязку». Не пришёл. Но вскоре увидела его на улице. В жару. С коричневатой открытой коркой на запястье.

На этот раз остановила без всяких. Осмотрела струп. Заживает как на собаке. «И всё же, Сергей Петрович, нужно прийти к нам ещё раз. Струп открыт, может попасть грязь. Я бы наложила ещё раз повязку». Будто бы не услышал. Нахмуренный, пошёл дальше.

Наконец однажды решилась. Подсела к нему на остановке. Собравшемуся, видимо, на дачу. Не обращала внимания на недовольное, даже злое лицо. И всё-таки разговорила...

Больно было смотреть потом, как растревоженный старик полез в переполненный автобус, как прищемило его рюкзак дверями, и он дёргал его за собой. Потом смирился, так и уехал с зажатым дверцами рюкзаком.

В июле приехала сноха Ирина. Привезла Ромку. Стало не до старика. Только в августе опять вспомнила о нём. О его дне рождения.

В прихожей старик был судорожен, дик. Подавая тапочки, опрокинул всю обувную полку. Извинялся. Наклонённая лысина его побагровела, налилась кровью. В кухне будто прятал любовницу, загораживая путь. С большой сумкой она всё же прошла – и раскрылся тогда на кухонном столе жалкий одинокий праздник старика. Разорённая закуска на двух тарелках, наполовину отпитый, точно поперхнувшийся стопарь, независимая, как посторонняя всему – чекушка.

Екатерина принялась за дело.

– Как вы поживаете, Сергей Петрович? – спросила она его по-свойски, когда немножко размякла от вина. – Давно на пенсии?

– Семь лет, – сухо ответил старик.

– А почему не продолжаете преподавать?

– Есть молодые преподаватели, более знающие, – так же сухо последовал ответ.

Та-ак. Вопросы больше задавать не следует. Тем более, что он вышел из-за стола и уселся с Ромкой за шахматы. Как отгородился.

Бедняга, смотрела она на него. Потом на несокрушимую его мебель, на включенный экран в углу всё с той же строчкой «Новых писем нет».

В прихожей он опять наклонял перед ними багровую лысину, освобождал от старой обуви дорогу к двери.

– Какой-то он напряжённый и хмурый был, – сказал не по возрасту умный внук, когда уже вышли на улицу. – Как наш папа. Когда тот не хочет говорить. Да и играл плохо. Тоже как папа. Всё время делал зевки. Надо подарить ему в следующий раз книгу с шахматными задачами. Как ты думаешь, ба, это поможет ему?

В конце августа приехала за Ромкой мать, и тот сам позвонил Сергею Петровичу. Попрощался до января. Дал несколько ценных советов по решению шахматных задач. Заодно назвал сайт в интернете. Нужно забить его в поисковик – и пожалуйста: этюды и задачи для любой шахматной подготовки. Сергей Петрович поблагодарил и пожелал доброго пути.

Когда уже разложили вещи в купе и вышли втроём постоять на перрон, неожиданно увидели его. В пенсионерской своей кепке, камуфляжных штанах и рюкзаком на плече он быстро шёл по перрону. Тянул голову, высматривал. Увидев, решительно направился к ним.

– Успел, – сказал одно слово. И повернул голову к станционным часам. Ни здравствуйте, ни до свидания.

Отвел Ромку в сторону, будто пришёл к нему одному. Достал из рюкзака и вручил мальчишке подарок. Большую раритетную книгу о великих шахматистах. Из своей библиотеки. «Тебе будет полезно, Рома», – сказал он, диковато глядя поверх мальчишки, точно оберегал его от опасностей. Он всё время поглядывал на станционные часы. Разговаривая, умудрялся фиксировать дрыганья минутной стрелки.

Машинально пожал руку какой-то молодой женщине с причёской в виде висящей столярной стружки. Оказалось, невестке Екатерины, матери Ромы. И тут же забыл, как её зовут. Однако та продолжала смотреть на него почему-то испуганно. И одновременно радостно. Точно не верила, что это он – Сергей Петрович Дмитриев, знаменитый артист. Надо же, как изменился! Поворачивалась удивленно к свекрови.

Объявили отправление. Старик дёрнулся, словно не поверил. Потом, как равному, пожал Роме руку, и тот с раритетным томом полез в вагон. Полезла за ним и мать со столярной своей причёской, всё почему-то оглядывалась на Сергея Петровича. Словно хотела запомнить на всю жизнь.

Он шёл и порывисто махал изгибающемуся составу. Однако лицо его было бесстрастно. Екатерина тоже шла и удивлялась резкой несочетаемости железного лица старика с его же порывисто машущей рукой. Как будто рука была чужая, пришитая к старику.

С вокзала они ехали одним автобусом. Сидели на одном сидении. На ухабах его плечо толкало её. Перед своей остановкой, подъезжая к ней, она пригласила его в гости. Посмотреть квартиру, как она живёт, попить чаю. А, Сергей Петрович?

– В другой раз, Екатерина Ивановна, – не глядя на неё, сказал он. Рюкзак удерживал растопыренными пальцами. Всеми десятью. Будто ревматическими клешнями.

Она попрощалась, сошла. Он с клешнями и рюкзаком покатил дальше.

3.

К семидесяти своим он окончательно превратился в желчного циника, в мизантропа, не верящего никому.

Проходя мимо оптимистичного истукана на площади и видя пары женихов и невест, ритуально выкладывающих цветы, он саркастически усмехался. Его поражало, как люди могут перевернуть всё с ног на голову. Черное назвать белым, белое чёрным. Теперь любая девка, надев пышное подвенечное платье и фату, разом превращается в девственницу, в саму непорочность и чистоту. Любой трепач в тараканьем костюмчике, поставленный рядом с ней – это уже жених, благородный рыцарь, готовый ждать первой брачной ночи вечно. И вот склоняются, кладут цветы. Тучный белый фантом и чёрненький тараканчик. И все – родители и сопровождающие – умилены, растроганы. Вытирают слёзы.

Не-ет, он видел этих лженевест и женихов насквозь. Он зрил в корень. Его теперь не проведешь. Шалишь! От перфоратора он защищён был и цинизмом. Ха! Ха! Ха!

Но иногда он мог ещё вспомнить, каким был всего лишь пять-шесть лет назад. Пока окончательно не выдавили из техникума. По утрам он просыпался ровно в шесть. Просыпался разом. После туалета как с гвоздя, в комнате сразу начинал зарядку. Делал махи прямыми ногами, стремясь достать носками ладони.

Пятнадцать минут седьмого его видели в парке. Бегущим в трениках. Прямые тощие ноги несли старика как ветки.

В ванной слеп под ржавой лейкой с колющими струями.

Завтракал. Старый холодильник «Минск» колотился рядом. Поражала его живучесть.

Собирался на дачу.

С рюкзаком ровно в полвосьмого был на остановке. Через минуту – как слизывался с остановки, исчезал.

Но это всё осталось в жизни другой, не его. Теперь он был больше циник. Ипохондрик, прислушивающийся к себе. Теперь он уже не делал жимы и махи, не бегал в парке. Всё с тем же рюкзаком он обречённо сидел на остановке. Автобус до дач теперь подходил всегда переполненным, не имел уже никаких расписаний. Как астматик дрожал, не мог отдышаться. С лязгом раскрывал дверцы. И он лез в его полнёхонькое душное нутро.

В этом году даче исполнилось пятьдесят. Она помнила ещё маленького Алёшку, который ходил-переваливался меж помидорных кустов, трогал плоды и поворачивал голову к родителям, видимо, поражаясь, что плодов так много, и они все красные.

Дома тогда на участке ещё не было. Надежда готовила на таганке, отворачивая лицо от струйного жара. Сам он с соседом долго копал общий колодец для двух участков. Из глубокой сырой тёмной утробы он дёргал верёвку, и бак с землей уплывал наверх. Иногда на краю колодца возникали устремлённые в небо ноги жены, она показывала Алёшке «нашего папу» («Где он там спрятался? Ну-ка, посмотри!»). Наш папа таращился снизу как белкастый шахтёр. Сверлил сыну козу. Сын молчал, видимо, не узнавал отца. Улетал с материнскими руками в небо.

Шли на реку, на спокойную плавную протоку Оки. Вдоль берега Надя плыла по-бабьи – грудью накатывая вперёд крутую волну и попеременными ногами выбивая высокие фонтаны. Голенький Алёшка в панамке ходил по песочку у воды, приседал и изучал сырые голыши. Любознательный, – умилялся отец, стоя на наклонённой берёзе. Как с вышки, ласточкой летел в воду. Мощным медленным кролем плыл на середину. Переворачивался на спину, раскидывал руки. Распятым крестом долго плыл куда-то вместе с высокими облаками.

Ночевали во времянке. Фанерная коробка поскрипывала. Сосед Колобродов ходил вдоль штакетника, любознательно слушал. По всему видать, Дмитриев крепко любил свою жену.

Из учительской в техникуме они шли в разные аудитории – она преподавать русский язык и литературу, он – электрометаллургию.

После дневных занятий, вечерникам он читал курс с уставшим сухим щегольством. Сложные технические термины произносились им сухо, чётко, без запинок. Так читают лекции, по меньшей мере, маститые академики. Работяги-вечерники забывали, что он такой же парень, как и они, только чуть старше, слушали его курс с раскрытыми ртами. Впрочем, не все. Две-три девицы, по-видимому, случайно залетевшие на курс, висели на кулаках – им было скучно.

Поздним вечером он шёл на окраину, к далёкому домику на Заречной, где его ждали жена с тёщей, где в кроватке спал, плавил губками бантики его сын.

Он мыл руки и садился к столу под тёплый свет абажура, к оставленной ему прикрытой полотенцем еде.

Жена правила потом вопиющую безграмотность будущих металлургов в их тетрадках. Он конспективно записывал лекции к следующему дню.

Склонённого над бумагами, она обнимала его сзади, со спины. Прижималась к нему. Он чувствовал чистый запах её волос. Он был счастлив. Ему было двадцать четыре года.

4.

Пока Екатерина приходила к Дмитриеву с Ромкой, это выглядело безобидно и даже естественно: вот, пришла с пионером, проведать, узнать, что и как, помочь. Тимуровец играл со стариком в шахматы, развлекал, сама готовила что-нибудь на кухне, прибиралась там же.

Потом в комнате сидели за столом, ели или просто пили чай. Старались отвлечь пенсионера от дум его стариковских тяжких на два голоса.

Однако Ромка вскоре укатил в Москву, прятаться стало не за кого, и приходить одной к Сергею Петровичу стало как-то не совсем удобно. И даже странно. Для соседей хотя бы по подъезду. Которые, спускаясь по лестнице, всегда смотрели на неё (даже с мальчишкой) во все глаза. Как на пучеглазую инопланетянку, по меньшей мере. Прилетевшую к Дмитриеву с довеском. Не иначе как за квартирой. Точно!

Теперь только изредка звонила. Раз, ну два раза в месяц. И хотя, поздоровавшись, сразу называла себя – в мобильнике каждый раз слышался удивлённый, сопровождающийся каким-то грохотом, поднимающийся голос. Словно из-за школьной парты: Да! Дескать, – не сплю! Старик или притворялся, или в самом деле не узнавал её.

Она спрашивала про здоровье.

– Я здоров, – сухо звучало в ответ.

Она предлагала помочь в чём-нибудь: сходить, купить продуктов. Приготовить. Помочь с уборкой. А, Сергей Петрович?

Школяр словно зависал на какое-то время в трубке.

– Это лишнее. Я сам.

Не получалось никакого разговора с ним. Ни лёгкого, ни серьёзного. Ни разу не спросил даже о Ромке. Как будто и не дарил ему книгу.

Отключался первым. Без всяких. После таких разговоров хотелось послать его к чёрту.

Медсестра Городскова Екатерина Ивановна с досадой захлопывала мобильник. Мыла над раковиной руки. Уже подкрадывалась большая старушечья попа по фамилии Пивоварова. Со спущенными штанишками. Втыкала в неё иглу. Как в дрожжевое тесто. «Легче, доча, легче», – вздергивалась старуха. Пришлёпывала ей вату со спиртом: «Держите!» – «Держу, милая, держу», – застывала Пивоварова в присогнутой позе, удерживая вату. Железный старик бы не дрогнул. Не-ет. Екатерина Ивановна помогала старухе одеваться.

Впрочем, один раз он позвонил сам. Невероятное дело! Голосом вроде бы потеплевшим сказал, что ему звонил Рома. Из Москвы. И они, как он выразился, побеседовали. Говорили о шахматах. Да. Она попыталась закрепить успех, опять стала предлагать помощь. По дому. Он тут же отключился. Чёрт бы его побрал!

На другой день она увидела старика в парке. Бегущим трусцой по аллее. В шапочке, в тёплых спортивных штанах, в свитере с оленями (было начало декабря). Не прекращая трусцу, он оббежал её три раза и попросил точный Ромкин адрес. И дальше побежал, пухая за собой морозцем. На ходу крикнув: «Позвоните!» Она пошла дальше, оборачиваясь, спотыкаясь. А шапочка с большим помпоном уже моталась за оградой парка.

Вечером пришла к нему домой.

Он встретил её вполне доброжелательно. Принимая пальто и шапку, скосил даже улыбку. Вроде инсультника – на бок.

Прошли в комнату. Сели за стол. Он заговорил как всегда чётко:

– В этом месяце у Ромы день рождения. Десять лет. Я хочу поздравить его телеграммой. И сразу послать бандероль. Сюрприз. Нужен точный адрес Ромы.

И застыл с приготовленной бумагой и ручкой.

В груди у бабушки потеплело. Чуть ли не по слогам, начала диктовать московский адрес внука.

– Как фамилия Ромы? – спросил он хмуро. Как в отделе кадров.

Она назвала.

Он вскинул брови:

– Но позвольте! Это же ваша фамилия. Девичья. И он Городсков, что ли? Кто же его отец?

– Его отец – мой сын. Валерий Алексеевич Городсков.

По напряжённым глазам старика было видно, что он ничего не понимал. Его словно обманывали.

Екатерина Ивановна мягко разъяснила:

– ...Когда я родила его в 81-м году – записала на свою фамилию. Понимаете теперь, Сергей Петрович?

Он смотрел на неё с испуганным удивлением. Не веря. Она была матерью-одиночкой. Родившей без мужа. Её фамилия перешла не только к сыну, но и к внуку. Тогда так и напишем под адресом: *Городскову Роме.*

И хотя потом пили чай, напряжённые глаза старика всё переваривали услышанное.

Она хотела позвонить Ромке, обрадовать, сказать, что скоро он получит бандероль. Подарок. Но удержалась. Пусть это будет действительно сюрпризом. Подкрадывающейся старушечьей попе (Пивоваровой) поставила укол лихо – хлопнув по ней ладошкой и тут же воткнув иглу. Старуха даже не успела ойкнуть. Застыв, удерживала вату. «Спасибо, доча, сегодня было совсем не больно». Городскова улыбалась. Быстро работала на белом столе с ампулами и одноразовыми шприцами разных размеров. От крохотных до лошадиных.

В уходящем году решила позвонить Дмитриеву ещё раз. Вечером 31-го. Поздравить с наступающим. Однако в трубке опять захлопалась крышкой школьная парта, прежде чем вскочил хриплый голос: да! Дескать, всё так же не сплю!

После поздравлений и пожеланий здоровья сообщила, что Рома и телеграмму, и бандероль с новой книгой получил.

– Я знаю. Он мне звонил. Спасибо за поздравление. Вас тоже с праздником. Рому жду в январе. В гости. До свидания.

И Дмитриев, как всегда, отключил мобильник первым.

Но сразу опахнуло: только мальчишку пригласил. Как будто бабушки нет у него... Чёрт!

Положил мобильник на кухонный стол. Непонимающе смотрел на ядовито-бурый винегрет, на неразделанную снулую селёдку на доске. На запотелый, зачем-то раньше времени вынутый из холодильника чекмарь. Зачем всё это?

Присел на табуретку.

5.

Всегда почему-то летом подкрадывалась ипохондрия. Он чувствовал её приходы. Напрягался.

С тревогой слушал пульс, работу сердца. Странные явления в районе желудка. Повыше, в подвздошной части. Беганья каких-то змеек по голове.

Он решительно вставал и начинал делать махи. Ногами. К вытянутым рукам. Или бегал в парке. Тощий. Оскаливая пасть.

Мимо цветников из старух пробегал иноходью. С высоко подкидываемыми коленями. Привет старым пердуньям!

Дома давал себе контрастный душ. Вытираясь, вновь чувствовал силу. Он знал твёрдо: старость – это борьба. Борьба с собой. А не бездельное выгуливание себя по улице. С заложенными назад руками. И уж тем более не высиживания яиц на скамейках.

Дзот банкомата он накрывал собой полностью. Глухо. Никаким матросовым шанса не давал. Он щёлках клавиши быстро, уверенно. Выдёргивал тонкую пачку и уходил. Старость – не бла-бла на скамейках. В обнимку с костыликом. С подобными тебе. Старость – это борьба. За достойную жизнь. В своём конце. В конце-то концов!

В почтовом отделении он платил коммунальные. Выкладывал на стойку перед девицей в окне ровно десять платёжек. И сразу приготовленные точные деньги в рублях и копейках. Девица забирала платёжки и вносила данные в компьютер. Лихо отрывала квитки. Начинала тыкать калькулятор. Называла сумму. Тоже в рублях и копейках. С ухмылкой он просил пересчитать.

Ещё со школы он складывал и вычитал любые цифры мгновенно. Он был гордостью школы. Его можно было показывать в цирке. Девица этого не знала. Зло начинала опять стукать по кнопкам. Грушковые щёчки её потрясывались. И опять он говорил, что неверно. Девица снова перебирала десять квитков и тыкала. В школе она была двоечницей. Он всегда оказывался прав – цифры в калькуляторе наконец-то совпадали с приготовленными деньгами на стойке. В рублях и копейках, чёрт побери! Он двигал деньги и выхватывал квитки. Добросовестнейшая очередь пенсов даже не возмущалась задержкой. Не могла закрыть свой единый рот: вот зану-уда! Победно он уходил из отделения почты. Он никогда никому ни за что не бывал должен. Он всегда платил по счетам. Но по точным счетам. Ему нет дела – тупая девица или хитрюга. Он не маразмат с палочкой, приковылявший на почту. С ним не пройдёт!

Не утратив запал, шёл в ТСЖ. В товарищество собственников жилья. Теперь должны были ему. Шёл ругаться.

Месяц назад он заплатил им в кассу деньги на замену стояка для горячей воды. У себя. В большой комнате. Стояк был уже весь в хомутах и каких-то замазках. Не менялся с 80-х годов. «Вы что, хотите, чтобы в отопительный сезон я залил весь подъезд?» – выговаривал он сердитым тоном управляющему.

Чернявенький мужчина с размазанной грибницей на голове не дал сбить себя с толку, выбежал из-за стола: «А вы заплатили за ТСЖ? – предъявил свой счёт. Ехидный. Придвинувшись прямо к лицу: – За уборку территории? Дворникам, бесплатным слесарям (оксюморон)?» «Да вот же, вот! – показывал квитанции Дмитриев. – Заплачено за полгода вперёд. Вы меня хотя бы раз видели в списках неплательщиков? Вы же не работаете. Вам же никто не платит. Долги вывешиваете с десятками квартир».

Старикан, видно было всем, давно превратился в желчь ходячую.

– Ладно, пришлём, – нахмурился чернявый. – Завтра. Сегодня все на объектах. Мария, запиши.

Ни черта не пришлёт! Дмитриев вышел на крыльцо. Платком вытирал лицо. Смотрел на раскинувшийся грязный двор с давно пустыми детскими песочницами, с пеньками от оторванных скамеек, с гнилой пустой беседкой для старух.

Шёл и с удивлением оборачивался на искривлённые детские качели. Которые местный Васька Буслаев хотел, видимо, завязать узлом. Но не смог. Был поддат. Поэтому только смял, сдвинул штанги. Очень близко. Одну к другой. И бросил. Пусть так повисят, заразы.

У Дмитриева во дворе было то же самое: коробка песочницы без песка, в которую, казалось, никогда не ступала ножка маленького человечка, те же пеньки от скамеек, гнилая, с давно осыпавшейся краской корзина под старух. Хотелось вернуться и спросить у чернявого: и где же твоё благоустройство дворов? Работа твоих дворников? Жулик!

Дома смотрел на стояк в углу комнаты. Если брать по Маяковскому, стояк в хомутах уже походил на флейту водопроводных труб. Придётся частника нанимать.

Мрачно хлебал щи. Здесь же, в комнате. В телевизоре что-то мелькало. Пригляделся.

Спортивная передача. Волейбольный матч. Мяч летал через сетку. Парни, тоже взлетая, с маху били. После удачи сразу объединялись в бабье истеричное содружество. Не забывали похлопаться. Все акселераты. Высокие и ровные, как доски. Снова расставлялись по номерам. Так же когда-то играл. Только не было в то время таких длинных и ровных, не объединялись, чтобы похлопаться, да и на подачах тогда не взлетали, как взлетают у сетки.

Дмитриев взял пульт, переключил канал.

В фильме развязный парень что-то вещал. Стоял в профиль. Повернулся. С золотым наглым зубом. На майке было начертано:

СЕКС–ИНСТРУКТОР
Первый сеанс бесплатно

Да полудурок ты этакий! Дмитриев вырубил телевизор. Накинул тряпку.

Помыв посуду, стал работать с архивом. С лекциями, в своё время записанными им в толстые тетради. Просматривал, вносил дополнения, правил. Потом в компьютере открывал файлы и переносил готовое в них. Был деловит. Работы хватит на год. А то и два. Без всяких стояков и ипохондрий!

Нажал на кнопку интернета, чтобы посмотреть, сколько градусов за бортом. Жарковато что-то. Старый, списанный в техникуме компьютер кряхтел, крутил где-то внутри себя шарманку, никак не открывал Яндекс. Открыл, наконец. Ага, сегодня 25. Вот и духота в комнате. Вдруг увидел в почте 1 новое письмо. Поспешно кликнул. На абсолютно пустом поле для приходящих – вверху строчка: «Поздравляем!». Открыл письмо. «Уважаемый Дмитриев! Команда Яндекса поздравляет Вас с Днем рождения!» И дальше шли предложения всяких инноваций от Яндекса.

Старик тупо смотрел на обращение «Уважаемый Дмитриев!». Надо бы: «Уважаемый *гражданин* Дмитриев!». Теплее бы было. Гораздо.

Удалил письмо. Вернулся на домашнюю.

Долго смотрел на вновь возникшую надпись «Новых писем нет».

Старик был один. Давно один. Во всей вселенной интернета никому до него не было дела.

Года три назад столкнулся в городе с завхозом техникума. Даже не сразу узнал. Не мог вспомнить его фамилию. «Финеев я! Финеев! Сергей Петрович!» – чему-то радовался подвижный мужчина с глазами хитрована. «А-а», – протянул старик. Хотел спросить «как жизнь?», но передумал. Стоял, воротил лицо с намереньем идти дальше. Своей дорогой. Встречать в городе бывших сослуживцев было всегда неприятно. Как будто из техникума был не просто уволен, а с позором выгнан. После какого-нибудь проступка. Попадание, скажем, в вытрезвитель. После чего дальше преподавать в техникуме было просто невозможно. Однако Финеев всё чему-то радовался, тараторил как раз про техникум. Кого – куда – вместо кого – и зачем. Неожиданно спросил:

– У вас есть компьютер, Сергей Петрович?

Дмитриев сказал, что нет. Хотел добавить, что не по карману компьютеры теперешним пенсионерам, но опять передумал.

– А хотите мы вам подарим компьютер? Сергей Петрович?

Дмитриев нахмурился.

– Кто это мы?

– Мы – администрация техникума. Да я, в конце концов, я! Мы списали четыре компьютера. Я вам подберу самый лучший. А? – И видя, что старик колеблется, тут же ударил убойной фразой для всех пенсионеров: – Совершенно бесплатно!

Дмитриев, представив, что нужно идти за компьютером в техникум и видеть опять все эти... лица, начал отказываться.

Финеев мгновенно понял, что старик просто не хочет идти на прежнюю работу – предложил привезти компьютер домой. «Прямо к вам, Сергей Петрович?»

И привёз-таки. На другой же день, увешенный проводами и всякими причиндалами, он в обхват вносил в квартиру большую башку с мутным экраном.

Сам установил, настроил. Показал элементарное.

Потом пили чай. Завхоз был как дома. Дмитриев пылал словно огнь. Такая встряска! Компьютер, упавший с неба. Мало знакомый человек вместе с компьютером. Его вопросы. Всё норовил влезть в душу. Как вы теперь, Сергей Петрович? Не скучаете ли по работе? А вам какое дело? – хотелось огрызнуться.

Завхоза звали Валентином Ивановичем. Можно просто Валентин, сказал он при прощании, пожимая руку. «Звоните в любое время, Сергей Петрович. Всегда отвечу на ваши вопросы. А если комп заглючит – приеду, помогу».

Правда, до этого не дошло. Ни до вопросов, ни до приездов самого Валентина. Аналитичный, упорный Дмитриев освоил компьютер сам. И довольно быстро.

Ещё в то время сдуру зарегистрировался в Одноклассниках. И повалила сразу на почту такая чушь, такие отстойные, как сейчас говорят, фотографии стариков и старух (лжеодноклассников),

такие их открытки с виньетками и кошечками в бантиках, что через неделю не выдержал и пост свой удалил.

С тех пор нередко замирал перед компьютером. Чем-то напоминая сыча на дереве. Который смотрит в ночной космос и видит только одну достоверную надпись из звёзд – н о в ы х п и с е м н е т.

Глава вторая

1.

Ромку он называл – только Ромой. Её же – то Катей, то Екатериной, то Екатериной Ивановной. Однако на сухом лице его от этого не менялось ничего. Всё зависело, видимо, от внутреннего состояния старика. Если «Катя» – настроение хорошее. К примеру, во время чаепития. Втроём: «Катя, помните, как ездили за город на пикник? Мы с женой и вся ваша молодая компания? Какое замечательное было время». При этом на тебя смотрят глаза совершенно равнодушные. Глаза снулого судака. Если же он называл её «Екатериной» – тут уже серьёзней. К примеру, оторвавшись от шахмат с Ромкой: «Екатерина! Не нужно ничего передвигать у меня. Ни тумбочку, ни кресло. У меня всё стоит на своих местах». Так. Ладно. Терпимо. Дальше играют. «Екатерина Ивановна! (О! Назвал, наконец!) Ну сколько можно говорить – не убирайте у меня! Не мойте пол! Удивительно даже, честное слово!» Это уже совсем серьёзно. Однако и тут лицо не менялось. Только глаза выдавали себя – угли в чугунной печке. Да и Ромка в поддержку ему укоризненно смотрел. Явно осуждал её за дурную привычку – везде, где только можно, убирать. В полном смущении, чуть не на цыпочках она уходила в ванную, сливала из ведра в унитаз грязную воду.

Смеялся он криво. Нехотя. Будто ему отшибли нутро. И даже таким они видели его раза два всего.

В телевизоре показывали фильм из жизни разночинцев. Солянка из повестей Чехова. Артисты Догилева и Юрий Богатырёв. В тесном доме со шторами на окнах и дверях – вечер-бал. Длинный пёстрый галоп из мужчин и женщин стремительно мчался из одной комнаты в другую вроде курьерского поезда или китайского карнавального разноцветного змея.

Дмитриев, прервав игру с пионером, какое-то время внимательно смотрел. И вдруг начал смеяться:

– Скачут боком и трясут дам, как капусту! – Поворачивал отшибленный косоротый свой смех к ней, сидящей за столом. Приглашая и её посмеяться. Она недоумевала – что тут смешного? А он прямо до слёз – машет рукой, вытирает платком глаза. Не слышит даже зловещего предупреждения – «вам шах!». «Да ну же, Сергей Петрович!» – теребит его Ромка. Дескать, возьмите себя в руки! Ещё один сухарь растёт. Совсем юный. Учит старого. Стойкости. Вот, успокоились, наконец, обрели себя, приклонились к доске.

– Смотрите, Катя! Смотрите! – вскричал он в другой раз. И опять засмеялся, скосив рот. А в телевизоре просто два кенгуру валтузили друг дружку боксёрскими перчатками. Дети уже над этим не смеются. А он опять заходится. Не богато оказалось с юмором у старика. Не то что у сына его Алёшки или жены, Надежды Семёновны. Уж те умели пошутить и понимали толк в хорошей шутке или анекдоте. Даже Ромка смотрел на косой смех старика с недоумением. Впрочем, тоже рос не без вывиха. Там, где дети или взрослые смеялись – только улыбался. Принимая смех людей как неизбежность. Маленький взрослый человек. Стоик.

В январе, когда он прикатил на каникулы, на станции опять увидели Дмитриева. Только не на зимнем перроне, а возле самого вокзала. Тепло приобнял пионера, как внука. Похлопал. Да и Ирину вроде бы узнал – пожал ручку в разноцветной варежке. Широким жестом показал на такси. Чудеса!

Городскова, затиснутая между снохой и внуком – не могла взять в толк, откуда он узнал о приезде Ромки. Как-то забыв, что шахматисты давно звонят друг другу и отправляют эсэмэски.

Пенсионер показывал на белый морозный город, оборачивался и пояснял, мимо чего они проезжают. Рома солидно кивал. Два единомышленника едут в такси, два друга.

Однако вечером он сидел за столом в её квартире – опять точно отгородившись ото всех. Ото всех, кроме Ромки. Он словно говорил ему: потерпи, мы на чужой территории. Шахмат здесь нет.

Диковато он смотрел на женщину в столярной стружке, опять напрочь забыв, как её зовут. Переводил взгляд на вздрюченный ананас Екатерины Ивановны, удивляясь его высоте. Как я попал сюда? Зачем? Спасительно трогал плечо малолетнего шахматиста рядом: прорвёмся.

Ромка словно слышал его, кивал. Налегал на жаркое из кролика. Стал он заметно полнее. Однако старик, не обращая внимания на женщин, будто хозяин стола, подкладывал и подкладывал ему в тарелку. Бабушка удивлялась: щёки внука двигались, как у хомяка.

– Сергей Петрович, хватит ему! Лопнет!

Ирина тоже подхватывала:

– Нельзя ему столько, Сергей Петрович!

– Ничего, пусть ест, – поощрял старик. Дескать, силы нам ещё понадобятся. В борьбе. (С кем?)

Независимо постукивал пальцами по столу. Поднимал свой бокал, когда тянулись к нему два других бокала. Почти ничего не ел. Просто ждал, когда всё кончится. Иногда поворачивался и с удивлением смотрел на стрельчатые, будто накалившиеся цветы, стоящие в стеклянной вазе на тумбочке. Словно забыл, что принёс их сам.

И сноха, и свекровь перед его приходом подвели глаза и подкрасили губы. Начипурились перед стариком. Завлекают. Да. Точно. Мумия будет перед ними сидеть, а всё равно накрасятся. Ну как же – мужчина. Хххы.

Иногда сноха Городсковой, перестав есть, начинала как-то откровенно и удивлённо разглядывать его. Необычные, зелёные, глаза её застывали, становились выпуклыми. Как медальоны. (Чего она хочет, в конце концов!) Забывали о всяком приличии. Так смотрят, встретив знакомого через много-много лет: он или не он? Да я это, я! – хотелось крикнуть старику.

Екатерина Ивановна старалась отвлечь сноху с замершей вилкой. Начинала расспрашивать о Москве, о Валерии-сыне и особенно об успехах Ромки в школе. (Хотя чего о них, успехах, расспрашивать – круглый отличник. С первого класса.) Ирина недовольно возвращалась к еде. Или поднимала бокал. Чтобы чокнуться с так и не узнанным.

После ухода гостя – в резиновых перчатках по локоть мыла посуду.

– Странный старик, мама. Тебе он никого не напоминает? – повернула лицо к свекрови.

– Нет, – подносила грязную посуду на кухонный стол Екатерина Ивановна.

– А ведь наш Валерий такой же замороженный, – всё ловила глаза свекрови сноха. Стряхнула воду с чистой тарелки и поставила на проволочную сушилку: – В гости даже с ним не пойдёшь.

Екатерина Ивановна нахмурилась. Но не вступилась за сына, зная, что это правда. Даром что работает вторым референтом министра. «Ну-ка, дай-ка я домою».

Как только поезд с Ириной ушёл, Ромка сразу с вокзала повёл к Дмитриеву. Шахматы. Нельзя терять ни минуты!

– Мне же на работу, Рома! – шла, слабо сопротивлялась Екатерина Ивановна.

– Ничего, ба. Заведёшь – и на работу. Одному мне – неудобно.

Поднялись на третий этаж.

– Вот. Привела вам шахматиста, Сергей Петрович.

– Так давно жду, – удивлённо ответил пенсионер. Из раскрытой двери. И, едва Ромка вошёл, захлопнул перед носом бабушки дверь. Во всегдашней своей манере. Будто крышку своего мобильника. Правда, тут же высунулся: – Я его сам приведу к вам. Вечером. – И захлопнулся. Теперь уже окончательно.

Городскова спускалась по лестнице. Да-а. Каким ты был, таким ты и остался. Орёл степной. Козёл лихой.

Вечером, предварительно позвонив, привёл обвязанного шарфом мальчишку. Будто доставил с Северного полюса. Но порог не переступил. Хотя дверь перед ним не захлопнули, напротив – широко распахнули. «В другой раз, Екатерина Ивановна». И строго сказал: «Жду Рому завтра. До свидания».

Бабушка спросила, как поиграли в шахматы.

– Два-два, – важно сказал Рома, позволяя развязывать шарф. – Растёт старик.

– Ты хоть ел у него чего-нибудь, – снимала с внука пальто бабушка.

– Ел. Два раза. Сергей Петрович неплохой кулинар.

Взяв за плечи, Екатерина Ивановна с улыбкой разглядывала внука, как ещё одного замороженного. Оставшегося пока что в наглухо завязанной шапке. С надутыми щеками.

Замороженный сердился. От такого панибратства. Ну, ба-а, снимай.

С трудом, не сразу развязала ремешки под подбородком внука. Затянутыми крепким узлом. Орёл степной на совесть постарался.

– Позвони матери. Узнай, как она едет. Не мёрзнет ли?

Когда втащились с чемоданом в купе – ощущение было такое, что втиснулись в ледяной ящик: пар шёл изо рта. Но проводница заверила, что тепло уже дали, вагон прицепной, через полчаса будет жарко. Вот увидите. А пока – чай принесу.

2.

При первом знакомстве Ирина Городсковой не понравилась. На свадьбе в Москве, куда Екатерина Ивановна прилетала из Сургута на один только день, рядом с потерянным сыном она увидела надменную девицу с зелёными пустыми глазами и висящими ручьями волос. К тому же девица оказалась точным клоном своей матери с такой же свисающей прической и пустыми глазами. Которые смотрели на новоиспечённую родственницу (Городскову) с большим недоумением. Как на упавшую с неба. (И откуда такая чумичка? С Севера? Что вы говорите!) Однако при прощании возле двухэтажного ресторана, в котором и прошла чопорная свадьба на пятнадцать персон, она практично поинтересовалась, сколько сможет внести «чумичка» денег на отдельную квартиру. И добавила даже игриво – «для гнёздышка нашим молодым». Быстро дотумкала, раз «чумичка» с Севера, денежки у неё есть. Муж чопорной (сват) на свадьбе был неусследим. Всё время убегал на первый этаж встречать какого-то Вадима Гедеоновича. (Запомнила по редкому отчеству.) Видимо, очень нужного человека.

Городскова тогда прямо сказала сыну в аэропорту: не по тебе ноша, сынок.

В самолёте, закрыв глаза, почему-то видела только чёрный потолок ресторана со светящимися дырами. В виде летающей тарелки. Зависшей над красноносыми галдящими инопланетянами.

Через год, когда у Валерия родился сын, Екатерина Ивановна, поколебавшись, взяла двухмесячный северный отпуск и опять прилетела в Москву. Теперь помогать невестке с новорождённым. Резонно подумав, что на модную маму Ирины надежды не будет никакой. И не ошиблась – за два месяца, что была с младенцем (Ромкой) увидела ухоженную бабушку только три раза. И то всё у неё было на бегу – поспешные попугайчики, погремушечки над кроваткой, ах ты маленький, и: мне пора, такси внизу ждёт! Свата же не увидела вовсе. Тот, видимо, всё бегал по Москве, искал Вадима Гедеоновича.

Что и сделали они хорошего для дочери и внука, так это купили квартиру. В новостройках Тёплого Стана. И то большую часть денег за трёхкомнатную (однако «гнёздышко» для молодых!) выморщили у неё, Городсковой, через день названивая по телефону и называя «дорогой сватьюшкой». Не забывая, впрочем, и ввернуть каждый раз: «Вы же понимать должны, здесь Москва, а не ваш Сургут».

Хорошо запомнив жену сына на свадьбе, через год Городскова её не узнала. В квартире в Тёплом Стане сновала молодая, совсем незнакомая женщина. В байковом мятом халате, точно даже не сменившая его после роддома, всё время хлопотала возле сынишки. Надменная зелень в глазах

растворилась, глаза потеплели. Ручьи по щекам тоже исчезли, повязывала голову чистым белым платком.

Ребёнка родители назвали Романом. Роман не реагировал ни на какие посторонние «агу» словно из принципа. Был серьёзен и даже сердит. Как и его отец. Если принимался орать, то как-то обеззвученно и нежно, почти сразу теряя голос и крепко зажмуривая глаза. В ванночке бил одновременно и ручками, и ножками. И тоже серьёзно. Точно на мелководье учился плавать. И свекровь, и сноха работали быстро: одна брала из ванночки молчащий скрючившийся пудовичок, другая принимала в раскрытое полотенце, быстро просушивала, потом пеленала. Все процедуры с ребёнком напоминали слаженную работу двух санитарок в роддоме. Посреди вопящего младенческого войска на столах. Ирина схватывала всё на лёту. Екатерина Ивановна была довольна. От скучающей девицы с пустыми глазами не осталось и следа.

Набегавшись, Ирина расслабленно кормила Ромку грудью. В такие тихие минуты стремилась как-то сблизиться со свекровью, подружиться, называла «мамой», по-женски даже расспрашивала *о личной жизни*. Городскова улыбалась, отшучивалась, проглаживая на высокой доске пелёнки и подгузники. Улетела домой со спокойной душой – невестка, как мать малыша, на правильном пути. Скребло, правда, душу, что сыну в квартире с маленьким места не стало. Пытался он, правда, в первые дни помогать. Но всё получалось у него неуклюже, с запозданиями. Его отталкивали от кроватки. А если и давали сынишку, – то руки держал растопыренно, корытом, из которого ребёнок мог просто выпасть. Ребёнка тут же отбирали. Смурной математик. Или, как говорят сейчас, ботаник. Выпускник МВТУ им. Баумана. Окончивший с отличием.

Первые годы вообще не могла понять, что их связывает. Кроме ребёнка. Как мужа и жену. Зачем они поженились. Есть ли любовь какая-то у них. Ей, матери, казалось, что сын и спал-то всегда отдельно. В своей комнате. Вместе с Ромкой, бумагами, чертежами и книгами. По крайней мере, когда она приезжала, он всегда спал там. Хотя квартира трёхкомнатная, и спальня у них, как хвасталась всем холёная сватья, шикарная. (Спальня и в самом деле напоминала царскую из музея, где ничего нельзя трогать руками, где только Ирина могла сидеть перед зеркалом (шикарным) и накладывать на лицо крем или маску.) Словом, – совершенно разные люди: она, любящая гостей, фейерверки, шумиху, он – словно не высовывающийся из-за печи таракан. Которого все норовят прихлопнуть.

Но однажды дома, в Сургуте, среди ночи разбудил телефонный звонок. Захлёбываясь слезами, Ирина сообщила, что Валеру срочно положили в больницу. У неё упало сердце: что, что с ним? Говори ясней! В трубке только булькало. Потом прорвалось: «Аппендицит! Мама! Срочно прилетай!» Городскова выдохнула напряжение, чертыхнулась. Но уже утром вылетела в Москву. В палате московской больницы увидела сына с перевязанным животом и соху. Чуть не в обнимку на кровати. Припали друг к дружке. И улыбаются тебе выстраданно. Со слезами на глазах. Натуральное индийское кино. Да что же вы со мной делаете! Закалённая медсестра обняла голубков и заплакала. В полной с ними гармонии.

3.

В начале февраля Городскова увидела Дмитриева в поликлинике. В коридоре второго этажа. Старик выходил из кабинета терапевта. Был он бледен, вытирал платком пот.

– Что с вами, Сергей Петрович? Заболели?

– Простудился, – всё вытирался, уводил глаза Дмитриев. Словно извинялся перед женщиной. Начал кашлять, тупо бу́хать, закрывая рот платком. Пояснял: – Бегал в парке. Налегке. ОРЗ. – Помотал рецептами: – В аптеку сейчас. Потом к вам, наверное. На уколы.

– Ещё чего! – Екатерина выхватила рецепты. – Сейчас же идите домой. Рот замотайте шарфом. В обед приду, всё сделаю.

Дмитриев полез в пиджак, видимо, за деньгами на лекарства.

– Идите, идите, я всё принесу.

Пошёл. На ходу обернулся:

– Так у меня и капельница...

– Идите, идите. Всё будет. Дома – побольше горячего питья.

Тощее напряжённое бедро лежащего старика походило на жёсткую телячью ляжку.

– Расслабьтесь, Сергей Петрович. – Городскова воткнула в ягодицу иглу. Укол медленный, болючий, но – ни звука от лысой головы, уткнутой в спинку дивана.

– Держите ватку.

Сразу схватился и натянул штанину пижамы.

Подвесила бутылку с лекарством на дверцу книжного шкафа. Змейки до старика хватало. Вена на сгибе локтя была как у молодого, проступала рельефно, наполненно. Спортсмен. Выпустила струйку из иголки, ввела. Зафиксировала пластырем. Наладила нужный ритм капель.

– Лежите, Сергей Петрович. Поглядывайте на бутылец.

Сама пошла на кухню. Приготовить что-нибудь старику. Потом в комнате возила лентяйкой, подтирала пол. Лезла под стол, под два кресла, норовила под диван с больным. Опять везла тряпку под стол. Там шуровала. Старик невольно видел её открывающиеся крепкие ноги. В тёплых полосатых, каких-то балетных чулках. Толстоногая балерина! Снова смотрел на «бутылец», которому, казалось, конца не будет.

Он несколько расслабился, размяк от спадающей температуры. На удивление много говорил. Называл её даже на ты. Расспрашивал о жизни на Севере. Была ли замужем.

– Да сошлась там с одним. Когда уже сын жил в Москве. Расписалась даже. Года два всё было нормально. Потом он стал жить беспутно. Пил, девок менял. В общем, надоело. Развелась. Деньгами взяла свою долю за квартиру. Приехала вот сюда, на родину. Деньги, помимо разделённых, были. Сразу купила квартиру. Теперь живу барыней.

Дмитриев смотрел на сгибающуюся женщину: врёшь, дорогая, на барыню ты не похожа. Ты больше – собака, сука с тоскующими глазами. Ничего, всё ещё у тебя впереди. Время у тебя ещё есть. Старик был верен себе – он видит людей насквозь. А уж женщин – особенно. Неожиданно спросил:

– Катя, почему ты приходишь? Заботишься обо мне, уборки всякий раз устраиваешь, готовишь?

Женщина отжала в ведро тряпку, распрямилась с лентяйкой, тылом ладони откинула прядь со лба. Спокойно сказала:

– В память о вашем сыне, Сергей Петрович. Да и медсестра я, в конце концов.

Снова начала возить по полу тряпку.

– Но он пропал больше тридцати лет назад, – не унимался Дмитриев. – Он любил не тебя. Твою подругу. Которую и любить-то не надо было. Так почему?

Женщина приостановилась. Словно припоминая.

– Мы дружили с ним. – Продолжила возить.

Неудовлетворённый, Дмитриев смотрел в потолок, забыв про капельницу. Пытался вспомнить далёкое. Две подружки не разлей вода. Одна, Ленка Майорова, начала ходить с их Алёшкой ещё в десятом. Дружить, как тогда это называлось. Как верная подружка, Катька Городскова поддерживала влюблённых. Чуть ли не всем классам часто заваливались к ним домой. Тут уж Надежда привечала. Кормила голодных волков и волчиц, поила чаем с пирогами. Раз даже встречали у них Новый год. Одни, без родителей. Отцу и матери пришлось уйти к друзьям. Потом Алёшка с Ленкой из-за чего-то разругался. То ли приревновал, то ли она ему на самом деле изменила. Тут его забирают в армию. Потом Афганистан. Ленка сразу выскакивает замуж. А их покровительница Катька Городскова ещё раньше куда-то из города укатила. Кто-то рассказал потом Наде – уехала вроде бы к старшей сестре. То ли в Надым, то ли в Норильск. Оказалось – в Сургут. И больше о ней никто и ничего. И вот появляется через тридцать лет... И сразу такое внимание... Почему?

Когда Екатерина ушла, с замотанным горлом хлебал щи за накрытым ею столом. Всё припоминал давнее. В телевизоре, зачем-то включённом Городсковой, опять разглагольствовал о досто-

примечательностях старой Москвы некий клоун. Выглядел дико – в русской ушанке, в каком-то армяке, но зато с дендинским стеком, которым он жонглировал, показывал всё, а так же оттенял, подчёркивал свои слова. Точно с ним родился. Этакий доморощенный квасной лорд. Опять всё перевернули! Армяков в аристократы. Аристократов в армяки. Опять всё с ног на голову! Клоуны.

Чувствуя слабость, не хотел вставать, чтобы выключить телевизор. Продолжал мрачно хлебать щи. В груди, как в дырявых мехах, сипело, похрипывало, от сбитой температуры обдавало потом.

Однако ночью опять температура поднялась. Горел. Всё время кашлял. Длился и длился какой-то полусон, полубред. Видел Алёшку пятилетнего. Алёшку, тонущего в реке. С высокого берега прыгнул к нему, но пока летел к воде, всё рассыпалось. И словно бы проснулся. Сидел уже почему-то на городском пляже, где под твист приседали, пилили песок Майорова и Городскова. Обе в купальниках. Одна длинная, гибкая, как прут, другая приземистая, плотная, с широкими бёдрами. Солнце пряталось за них, играло в жмурки, а Алёшка, почему-то взрослый уже, как ни в чём не бывало ходил по всему пляжному лежбищу, пел, затачивал на гитаре. Получалось – зарабатывал на жизнь. Старик садился на диване, мокрый от пота. Шёл в ванную, снимал с себя всё, надевал сухое. В кухне из термоса наливал и пил заваренную Екатериной малину. Снова ложился. Опять проваливался в полубред.

Екатерина Ивановна позвонила в половине восьмого утра. Старик открыл. Щёки его были красными, как у матрёшки. Сразу поставила градусник. Почти 39. Разломила, дала половинку аспирина. С водой старик безропотно проглотил. Пока готовила укол, с тревогой слушала всё тот же бухающий кашель: не пневмония ли это? Вкатила в тощую ляжку антибиотик. Дала таблетки. На кухне разбила яичницу. Заварила крепкого чаю. «Приду в половина первого, Сергей Петрович!» – «Спасибо вам, Катя. Дверь закрывать не буду».

В обед увидела старика сидящим на диване. С поднятыми высокими коленями. Журнал в руках. Лицо всегдашнее – сухое, бледноватое. Не кашляет. Ну, кажется, пронесло!

Быстро вымыла руки, стала готовить укол и капельницу.

С засученным рукавом пижамы Дмитриев лежал, мало обращая внимания на приготовления Екатерины Ивановны. Из всего ночного кошмара всё время возвращалась только одна картинка – тонущий в реке Алёшка. Его хлещущие воду ручонки и исчезающая голова.

Сергей Петрович закрыл глаза, перекинул себя на бок, к спинке дивана, и задрал сбоку пижаму. Остальное – дело Екатерины.

Почувствовал на бедре холод спирта.

– Расслабьтесь, Сергей Петрович.

4.

На самом деле он научил Алёшку плавать лет с четырёх. Сначала мальчишка сам, как всегда любознательно, опускал на мелководье голову в воду и рассматривал фантастическое, преломляющееся в солнце галечное дно. Ложился даже на воду. Но сразу уходил под неё, тут же вскакивал и хлопал себя по лицу. Точно боялся потерять глаза. Снова опускал голову в воду. Отец подхватывал его под животик. Мальчишка начинал лупить ногами и руками. Как и когда научился плавать – не запомнил. Уже постарше бойкими сажёнками всегда рвал за отцом на середину протоки и открывал по нему водяной огонь. Тот мало обращал внимания на брызги, вяло плыл себя дальше. Тогда Алёшка поворачивал и так же шустро махал обратно к берегу. К бухтящей пароходом маме. По ней открывал водяной огонь. То-то весело было!

Классе в третьем Алёшка Дмитриев задал читающему газету отцу первый провокационный вопрос: «Папа, а правда, что слово ТАСС означает – «Тайное Агентство Советского Союза?» И хитро прищурился. Он только что пришёл из школы. Он был в запоясанной гимнастёрке колоколом, на голове фуражка, за спиной – ранец.

Надежда (мать) смеялась до слёз. И от вопроса сына, и от его вида. Сам Дмитриев смотрел на отпрыска с удивлением и даже тревогой: с большой фантазией растёт сын, трудно ему будет в

жизни. Принимался досконально разъяснять аббревиатуру: «Понимаешь, сынок, это...» Надежда от смеха валилась на стол. Дмитриев поворачивал голову: и что смешного? А маленький провокатор стоял, раздувал ноздри. Соображал, какую ещё придумать всем кову.

В пятом он взорвал в классе петарду. На уроке географии. Елена Николаевна (географичка) рухнула в обморок. Её потом отпаивали. Всем классом. Сам провокатор суетился больше всех. Прыскал водой на лицо. Приподнимал и усаживал. Это его и спасло. Оказал первую медицинскую помощь. Из школы не выгнали.

Дмитриев сам налил Екатерине чаю и спросил, умеет ли Рома плавать.

Городскова удивилась вопросу. Однако воскликнула:

– Да где там! В Москве-то! Сергей Петрович!

Старик усомнился: ну а как же бассейны, Москва-река, пляжи?

– Нет, Сергей Петрович. Математическая школа. Он через козла-то в спортзале толком перепрыгнуть не может. Да и не выезжают они ни на какие пляжи. Мать всё в гости да гостей. Отец – в бумагах своих. Только и делают, что раскармливают мальчишку.

– Я научу его плавать. Приедет летом, и научу. У меня дача рядом с рекой. Прекрасный берег, чистое дно.

Посмотрел на женщину и опять неожиданно спросил:

– А вы с какого класса учились вместе с нашим Алёшкой?

Странные задаёт сегодня старик вопросы. Городскова уже собиралась, складывала свою сумку. Сказала, что с восьмого. В новой отстроенной десятилетке. А что, Сергей Петрович?

Та-ак, значит, в семилетке с ним не училась, про взрыв петарды в классе не знает.

– Да нет, ничего. Вспомнилось тут просто. Расскажу как-нибудь.

Он сидел тогда вместе с сыном напротив директорского стола. Закинувшаяся в кресле директорша походила на Будду. Постукивала карандашиком:

– Расскажи нам, Алёша Дмитриев, зачем ты это сделал? А мы послушаем.

Сверху Дмитриев тоже смотрел на сына, как голубь на своего пискуна: да, действительно, расскажи!

– Я хотел взорвать её вечером в парке, на танцплощадке, а она взорвалась у меня в классе, – сожалел взрывник. – Днём, Зоя Ивановна.

Вот это террорист растёт, онемели на какое-то время тощий Дмитриев и полная Зоя Ивановна.

После ухода Городсковой старик включил компьютер. Тут же на столе начал разбирать тетради с конспектами, искать нужную. В груди иногда словно чесалось. Кашлял.

Компьютеров тогда ещё не было. У Алёшки был кассетник. Постоянно с затычками в ушах – Алёшка мотал башкой. Тогда же, в классе седьмом-восьмом быстро научился на гитаре. Мальчишки и девчонки собирались у них в квартире. Пели с ним под гитару, напоминая какую-то радостную подпольную секту. Потом сдвигали стол, врубали магнитофон, долбились в рокэнрольной ломкой тряске. Или стелили, гоняли по квартире твист. Дом ходил ходуном. Соседи жаловались. Партийная Надежда только посмеивалась. Беспартийный Дмитриев хмурился – тлетворное влияние Запада. На неокрепшие умы. Вся орава катилась по лестнице вниз на улицу. И Алёшка впереди, явный лидер, заводила.

Старик почувствовал влагу в глазах, вытер её платком. Сосредоточился на экране.

5.

В медучилище, куда Катька Городскова поступила после десятого, на первых занятиях старалась не смотреть на мужчину и женщину на учебном плакате. В коричневых деревьях вен и артерий они казались ей только что освежёванными. С них как будто содрали кожу. Подружка Ленка Майорова, сидящая рядом, плакат, казалось, не замечала – прилежно записывала всё, что говорили преподаватели в белых халатах.

Зато в анатомичке, куда на автобусе возили два раза в неделю, уже Катька подносила ватку с нашатырем к носу Ленки. Приседая, по глазам пыталась определить, упадёт та в обморок или нет. Выводила в коридор и вела. Как раненого воина с поля битвы – крепко под руку.

Через полгода Ленка ушла из медучилища. Вечерами стала ходить на подготовительные в педагогический. Богатенькие родители её были довольны – их девочка не теряет времени, продолжает работать над собой, готовится к новому поступлению.

Катька не могла капризничать из-за анатомички и разных плакатов – мать и отец получали мало. Поэтому упорно училась в училище, получала стипендию.

Вечерами иногда собирались у Алёшки. У Дмитриевых. Многие ребята и девчонки после выпускных разлетелись кто куда. Но костяк из шести-семи человек остался. По-прежнему пели под Алёшкину гитару, дурачились, съедали всё у Надежды Семёновны на кухне. Сам Дмитриев хмурился, но терпел. Уходил в свой кабинет. Когда башни у рокэнрольщиков окончательно сносило и дом начинал ходить ходуном – возникал в дверях. С глазами размером с тазы. Точно устыдившись таких глаз, вырубали маг, начинали собираться. Тихо выходили. И с рёвом неслись вниз. И как поставленная точка – ударяла на весь дом подъездная дверь. Сергей Петрович вздрагивал. Поворачивался к жене – и ты их привечаешь! Этих балбесов и балбесок!

Вспоминая те далёкие годы, Екатерина Ивановна ощущала их теперь как приснившийся какой-то спектакль, как некую оперетку, где вокруг уверенной в себе Майоровой, как вокруг смазливой героини, всегда танцевал восхищенный мужской кордебалет. Ленка только пела, солировала. В ожидании своего Альфредо бойко вздёргивала ножки. И он явился на сцену. Алёшка Дмитриев. В десятом. Переведённый из параллельного класса. Словно выскочил из-за кулис. («Стелла! Это я!») И теперь они запели вдвоём. Взявшись за руки. Герой и героиня. А она, Катька Городскова, была подружкой героини, верной её служанкой, которой можно было поверять все тайны.

Часто ходили за город, в двухдневные походы. Один раз даже с родителями Алёшки.

Сохранились три фотографии того похода. Особенно заметной была одна, где ватага поёт у ночного костра. Даже Сергей Петрович рядом с сыном разевает рот. На лицах поющих тёплый отсвет костра.

Екатерина Ивановна вздохнула, закрыла альбом. Стала готовиться ко сну. Умываясь, с улыбкой вспомнила и своего первого ухажёра. В медучилище уже.

Комсорг группы Коля Трындин на собраниях мог зажечь девчонок в белых халатах. И даже второго парня в группе, Куликова. Который сидел за последним столом и выглядывал оттуда, будто из своей деревни. И всё бы хорошо, но оказалось, что Коля не умел целоваться. Схватив её лицо, он впивался в губы как пиявка. Как будто стремился высосать из них всю кровь. Городскова мотала головой, не соглашалась. Молча шли по темной улице шагов десять – и он снова впивался. К тому же изо рта у него нередко дурно пахло. Кариес, как сказали бы сейчас. Орбит. Тройная защита нужна. Словом – мягко выскользнула из Колиных рук.

Недавно случайно встретила его в городе. Через тридцать лет. Бледный, в очках, был он както нечёток, мало узнаваем. Как плохо отпечатанный фоторобот на розыск. Оказалось, что и правда связан с милицией. С полицией теперь. Подрабатывает врачом в медвытрезвителе. Основной работы нет. Почему-то сказал ей об этом. Не постеснялся. На вопрос о семье ответил, что холост. Так и не женился. Были женщины, конечно, но не задерживались. Видимо, из-за его поцелуев. Засмеялся, пошёл от неё, махнув рукой: заходи! Куда, хотелось крикнуть. В медвытрезвитель? Даже не спросил о её жизни.

Перед трельяжем мазала на ночь кремами лицо и руки. Всё вспоминала Колю.

Однажды он завёл её к каким-то старикам, у которых жил когда-то на квартире. При виде его старик и старуха вскочили, оба сразу заплакали, затряслись. Гладили его плечи, голову, заклёкиваясь радостными голосками. Как будто к ним зашёл не просто бывший квартирант, а вернулся сын. Давно пропавший сын. А Коля давал им гладить себя и только виновато улыбался,

Он был им никем. Просто бывшим квартирантом, занёсшим какое-то лекарство, о котором они тут же забыли. И вот плакали... Тот случай запомнился на всю жизнь. По нему и вспоминался потом Коля. Любой тогдашней девчонке в училище он был бы хорошим мужем. Хорошим отцом своим детям. Да ведь по молодости тогда поцелуи всем правильные подавай, объятья, голливудские зажимы. Бедный Коля.

Мельком глянула на телевизор. На фуршете так называемые интеллектуалы. На шеях у всех по новой моде повязанные шарфы. В виде высушенных удавов. Рядом дамы истерично общаются. Будто все хотят писать. Ещё одна. Стоит отдельно. Чтобы лучше разглядели. В коротком платье будто колокол. С большими бантами на плече и бедре. Этакий дорогой, уже упакованный подарок. Для мужа или хахаля рядом. Не поймёшь. Прозрачный бокал держит на пальчиках, как чашу.

Переключила канал. «Почему ты не дождалась меня? Я же любил тебя! Скажи! Что нам теперь делать?» Вроде то, что нужно. Но поборола себя – выключила сериал. Утром рано вставать.

Глава третья

1.

Дмитриев стал выходить на воздух. В старом толстом пальто сидел на скамье в парке. Над ним в оснеженных деревьях стояла белая туманящаяся тишина. Солнце висело в сизых облаках, как седой апостол.

На соседнюю скамью тяжело сели два старика. В стёганых, будто поддутых пальто, походили на двух клуш с одной палочкой на двоих.

– ...Ты говоришь, Иван, – физкультура по утрам. Да все движения у нас теперь это физкультура. Поднимаешься утром с постели – физкультурное упражнение. Присел, взял ночной горшок – физкультура. Идёшь по улице, тебя мотает во все стороны – это уже целый урок физкультуры. На воздухе.

Дмитриев встал, чётко пошёл. Х-хы. «Физкультура». Сидят целыми днями – и физкультуру им теперь! Не признавался себе, что хотелось подсесть к старикам. Поговорить. Но это было бы чёрт знает что! Для него. Человека с характером. Ххы, физкультура!

Уже чистили с домов слежавшийся снег. Как будто сбрасывали с крыш тугие мешки с мукой. Дмитриев обходил разбившиеся белые лавы, думал о старости. Подводил под старость философскую базу. Не имея к ней, старости, никакого отношения. Все старики не понимают настоящего, в котором живут. Им всё в нём неприемлемо. В лучшем случае – они его только терпят. Они живут грёзами. Они тащат на себе груз прошлого. И груз этот в конце концов раздавливает их.

Дома обедал. Ел гречневую кашу. С котлетами, приготовленными Екатериной. Вот тоже – зачем ходит? Говорит – в память о сыне. Давно пропавшем. Они, видите ли, дружили. Как на заказ, в телевизоре возникли американские пенсионеры-туристы. Голоногая группка в шортах таращилась на пирамиду Хеопса. Пальма рядом. Верблюд. Все в пробковых шлемах. Закинули головы. Уже пальму разглядывают. В жизни не видели.

С ухмылкой смотрел. Бегают от смерти. По всему земному шару. Меняют города, страны. Думают, что время так остановят. Удлинят. Не будет оно бежать, лететь. Спокойно потечёт, поползёт, потянется. Как в молодости было. Ххы. Глубокое заблуждение. Не выйдёт! Нужно жить на месте. Никуда не бегать. Не пальмы разглядывать, а заниматься делом. Ежедневным, нужным делом. Время бежит, когда не следишь за ним.

Дальше наш невысокий рыжеватый глава государства встречал возле длинного стола своих соратников. Мимо него быстро промчалась радостная очередь с протянутыми пожимающими руками. Этакий быстрый лихой конвейер рук. Мгновенно расселись, по-прежнему улыбаясь. (Ни минуты не потеряно государственного времени!) Точно прибежали на именины, а не заседание Совета безопасности. Тоже плохо. Тоже желчь. Дмитриев поднялся, понёс посуду на кухню.

Мыл. Вспоминал теперь сына. Алёшку. Его учёбу в школе. У него были любимые предметы и нелюбимые. Литература, география, история, химия – только пятёрки. Алгебра, геометрия, физика – два-три, два-три. Так и прохромал калекой до самого выпуска.

Неспособность сына к точным наукам не просто огорчала – поражала. Дмитриев смотрел на маленькую точную копию себя самого и не верил, что так может быть. Когда подсылаемый матерью сын подходил с простейшим примером, задачкой и говорил «помоги, папа», при этом упрямо смотрел в сторону – Сергей Петрович растерянно улыбался. Он думал, что жена и сын его разыгрывают, обманывают. Но всё было именно так – сын был бездарен в точных науках. Всё больше стишата, поэмы. Евгений Онегин в школьной самодеятельности. Цилиндр как ведро на нём, свисающие рукава фрака без рук. Только с кончиками пальцев. Такая же Татьяна, будто лилипут. «Я вас любил, чего же боле». Надежда отшибла руки, хлопая своему сыну на сцене. Жаль. Не оправдал отцовских надежд...

Забыто держал тарелку под хлещущей лейкой. Закрыл, наконец, воду.

В прихожей раздался звонок. Нахмурился. Пошёл открывать. Подруга Алёшки пришла. Легка на помине.

– Екатерина Ивановна! Я же здоров. Выхожу на улицу. А вы опять притащили полные сумки!

Раздевшись, женщина молча пошла на кухню. С сумками. Как отвоёванными ею.

Старик доказывал упрямой спине, что больше о нём беспокоиться не нужно. Он абсолютно здоров. Екатерина Ивановна! Так выговаривают бывшей жене, любовнице. Которая продолжает лезть в новую (после болезни, развода, разрыва) жизнь. Сколько можно!

– Я знаю, когда вы будете здоровы, – ответили ему, выкладывая продукты на стол. Свободный ворот кофты крупной вязки как живой упрямо болтался на женщине. В виде готовящейся к прыжку анаконды. Дмитриев даже отпрянул.

В комнате заиграла эсэмэска. И сразу вторая. Две иволги прилетели от Ромки. Это и спасло Екатерину. Старик разом забыл о ней и её сумках, читал сообщения. Сам тут же начал давить буквы в ответ. Большой палец работал быстро, уверенно. Екатерина смотрела. Сегодня пронесло. Скандалить не будет. Вернулась в кухню. Крикнула:

– О чём пишет? Сергей Петрович?

Он тут же явился. Глаза его сияли:

– Вот, почитайте, Катя! Чего ваш внук достиг.

В эсэмэсках Ромка сообщал, что будет участвовать в соревновании. По шахматам. Екатерину Ивановну это не удивило. Участвовал. Не раз.

– Да как вы не понимаете, Катя! Он же талант! Вундеркинд! Он послан на турнир один из всей школы. Он же получит там разряд. Юношеский. В десять лет! Неужели непонятно?

Невелико будет достижение. Лучше бы спортом нормальным занимался.

Дмитриев был поражён. Вот это бабушка у Ромы. Не понимать всей важности, всей пользы для внука подобных соревнований!

– Да вы должны всячески его поддерживать, поехать в Москву! Быть рядом с ним!

– Я поеду. Но не на соревнование. – Городскова помолчала, продолжая разбирать продукты на столе: – Вы многого не знаете, Сергей Петрович. У мальчишки обнаружился высокий сахар в крови. Преддиабет. Ему нужно двигаться, играть со сверстниками. Во дворе. На стадионе. Где угодно. Скейтборды там разные, боулинги. А он сидит над своими шахматами. К тому же ест без меры. Ирина говорит, что посадила на диету. Плачет, но кормит пустой едой. Только надолго ли её хватит. Ко мне его не отпустят – математическая школа. Где он круглый отличник.

Старик всерьёз опечалился.

– Простите, я не знал.

Екатерина вдруг спросила:

– А у вас в родне никто не болел диабетом?

Старик удивился, при чём тут он, Дмитриев. Его родня. Сказал, что нет. Не припомнит.

– Вот видите! – воскликнула Городскова. Но тут же смешалась под взглядом старика. Не зна-

ла, куда смотреть. – А мой дядя Миша, брат мамы, умер от диабета. Выходит, это по моей линии и передалось всё бедному Ромке.

На доске тесаком ударила по вилку капусты. Отрубила кусок. Стала шинковать. С улыбкой уже говорила:

– Только и надежда на вас, Сергей Петрович. На вашу дачу летом. На речку. На походы.

Дмитриев тут же подхватил идею. Стал развивать её. Предлагать новые планы. Замороженный скептик куда-то пропал. Руками на кухне размахивал пламенный подвижник. Воспитатель. Доктор Спок.

Ночью Екатерина плакала. В темноте видела глупого Ромку с лоснящимися щеками, самозабвенно поедающего целую жареную курицу (был такой случай). Потом такого же глупого тощего старика, который больным встал, притащился к ванной и судорожно рвал из её рук своё бельё, не давая заложить в машинку. Ушёл назад по коридору и лёг, кипя от возмущения. Тоже было.

2.

Ещё летом как-то шла с тяжёлыми сумками с рынка через парк. Присела на свободную скамейку передохнуть. Вытираясь платком, поглядывала на злое, обеденное солнце.

Напротив через аллею сидела пара. Женщина казалась гордой и недоступной. С глазами как серая пыль. Мужчина с расплюснутым хоботком походил на боксёра на пенсии. Он побалтывал с колена ногой в сандалии и рассуждал:

– Знаете, часто говорят: «Я с ним в разводе». В этом выражении есть что-то неопределённое, временное. Мол, всё ещё может измениться. Правильно нужно говорить: «Я с ним развелась!» Тут уж всё точно – враги... Что вы думаете по этому поводу?

Женщина посмотрела на боксёра сверху вниз, поднялась и пошла, что называется, передёргивая плечами. Вот тебе раз! Оказалось, что они незнакомы. Это у боксёра такой метод знакомства.

Словно тоже бросив растерявшегося мужчину, Городскова с сумками пошла. Невольно вспоминались и свои «замужества и разводы». Говорила ли так после них – «я с ним в разводе».

С мужчинами, и уж особенно с мужьями, Городсковой всегда не везло. Родила почти девчонкой, без мужа, едва успев окончить медучилище. Одна растила сына. Лет двадцать жила без мужей и любовников.

Когда Валерка уже учился в Москве, сдуру сошлась с проктологом Жаровым. Работала в его бригаде хирургической сестрой. Шумный, общительный Жаров умудрялся пить, оставаясь при этом первоклассным хирургом. Любые трещины прямой кишки, любые геморрои иссекал на раз. Его пьяные прибаутки во время операций, его чёрный юморок сначала забавляли. Потом стали пугать. Не дожидаясь неминуемой катастрофы – ушла от него. На этаж ниже. К другому хирургу. Ганкину. Гораздо моложе Жарова. Тогда ещё не пьющему. Который резал грыжи и выколупывал простаты. Жарова это несказанно возмутило. «Ах ты стерва! Ах ты б....!» Начал строить разные козни. Нашёптывать Прохорову. Главврачу. Тоже не дураку выпить. За мензурками спирта всё время подсказывал ему планы изгнания стервы. Однако победы своей не дождался. Упал и замёрз. Глубокой ночью, в пургу. Добираясь домой из ресторана. Ей даже стало его жалко. Всплакнула на похоронах. Длинный Ганкин удерживал её на груди и тоже шмыгал: «Классным был Петрович хирургом! Ы-ых!»

Это не помешало ему потом доставать с ревностью. Ревновать к умершему. Требовать подробностей. Вскоре сам начал поддавать. И порой крепенько. Дальше и бабёнки пошли. Одна, другая, третья. И все из своих, из родного белого медперсонала. А ведь она уже была с ним расписана. Жила в одной квартире. Словом, тоже надоело. Как и с Жаровым. Развелась. Взяла свою долю за квартиру. Уехала. В родном городе устроилась в поликлинику. В простой процедурный кабинет. Втыкать уколы и ставить капельницы. Да так оно и спокойней, чем опять стать штатной б... при каком-нибудь хирурге. Пусть и первоклассном.

Прожитые на Севере годы не отпускали. Иногда, как анекдот, вспоминался ещё один любовник тех лет. Милиционер Дронов.

С ним Городскова познакомилась на протестной акции. В 93-м. Пыталась ударить его фанерным плакатом. Дронов отступал, малодушно закрывался руками. Медицинские протестные соратники отобрали плакат. Опасались провокаций. Стала безоружной. Тогда милиционеры потащили и начали заталкивать в автозак. И больше всех старался униженный Дронов. Даже потеряв отважную Городскову, медицинские соратники не дрогнули, не отступили, продолжили вегетарианскую схватку с милицией – долго выкрикивали и размахивали плакатами прямо напротив окон администрации города.

Дальше началась какая-то фантастика. Через неделю Городскова и Дронов оказались за одним столом на дне рождения у общего знакомых. Сидящими рядом. Он спросил её, как дела. Она ответила: заплатила десять МРОТов. По твоей милости, мудак. Резонно, согласился он. Выпили. Закусили. Запели за столом песню. Проводил. Раз. Другой. Оказался у неё в постели.

Он был разведённый. И это хорошо. Но у него в колонии сидел сын. Шестнадцати лет. Наверное, поэтому он сразу начал строить Валерку. Ставил перед собой мальчишку и требовал полной отчётности. В форме – молчала, не трогала. Когда пришёл строить в штатском – спустила с лестницы. Вспоминать сейчас без смеха невозможно!

Сакраментальный вопрос об отце юный Валерик задал матери там же, в Сургуте. Увидев промчавшегося по улице весёлого каюра с оленьей упряжкой.

– Мама, а это мой папа проехал?

– Нет, – сказала мама. – Это не твой папа.

Странно, подумал Валерик. Ведь только таким и мог быть его папа. Весёлым, в морозном пару, крикнувшим ему ясно – «привет!». Было Валерику четыре года. Мама вела его в садик. И пальто и шапка, закутанные шалью, были у него обыкновенными. Не такими красивыми, как у пролетевшего папы.

Больше вопросов «о папе» Екатерина от сына не услышала. Во всё его детство. Не пришлось выдумывать ни про полярника-папу, ни про лётчика-испытателя. Тоже папу. Валерик был умным мальчиком.

Иногда Екатерина Ивановна смотрела на пожелтевшую фотокарточку в альбоме. Каждый раз как будто не совсем узнавая её. Стоит на стуле мальчишка лет полутора. В коротких штанишках и гольфиках в шахматную клетку. Сразу после рёва – испуганный, напряжённый. Видимо, еле успокоенный матерью. Какое уж тут – «улыбочку, мальчик!». Фотографу бы поскорее успеть снять. Прежде чем снова разревётся. Если считать эту фотокарточку пророческой – сын так и остался навек испуганным и напряжённым. Всё так же стоящим словно бы на том далёком стуле. Куда как только ставили – ревел. (Поставишь на стул – Ыаа! Снимешь – молчок.) В садике всё у него отбирали, ото всего отталкивали. Балбесы в школе постоянно сдували у него физику и алгебру, но потом как-то об этом забывали – поколачивали. Больше жалости Городскову брала досада: в кого он такой уродился? Сама она в карман за словом никогда не лезла. Ведь даже для всех безымянный отец его – в школьные годы был оторви да брось. Хулиганил, дрался, не спускал никому. А вот сын ответить не может, не может за себя постоять. Так и дальше пошло. Всегда отойдёт в сторонку. Или сразу зайцем стреканёт. Ка́к стал референтом министра – непонятно. Так же и с женитьбой, а потом и с семьёй. Не завоёвывал, не добивался. Всё как-то само. К его немалому, наверное, удивлению. Ирина со смехом однажды рассказала, как познакомилась с ним. На новогоднем вечере, в Бауманке. Один выпив в буфете бокал шампанского и окосев, – на танцах он прыгал перед ней зайцем с сомкнутыми ногами, перепутав вальс с леткой-енкой. Потом вообще начал жутко колотить ногами об пол. Будто обезумевший цыган. И всё – под вальс. Его еле утихомирили. Екатерина смеялась вместе с невесткой, но на глаза наворачивались слёзы.

Как всякая русская баба, Городскова любила смотреть по телевизору семейные склоки, захватывающие скандалы. И всё – в прямом эфире. С упоением слушать сплетни о так называемых «звёздах». Кто с кем спит. Кто от кого ушёл. Кто кого бросил. И так – до бесконечности. Каждый вечер садилась с вязанием к телевизору.

Всё, что происходило в таких передачах, было взято «прямо из жизни», захватывало и даже потрясало, (Вот это да-а. С полным изумлением. Ища по комнате свидетелей.) «Подсев» на такие передачи, Екатерина смотрела их чаще, чем художественные фильмы. (Кино уже казалось пресным. Остроты хотелось, перчику.) И было в такие вечера хорошо и приятно. Ты просто сидишь, смотришь и одновременно вяжешь теплый шерстяной носок. Ромке или Валерке. Тебя это не касается. Ну изумишься порой совсем уж хайластому бабьему рту – и дальше работаешь спицами. Всё это где-то там, вне тебя, вне твоего времени. А вот то, что Ирина чаще и чаще стала говорить о муже свысока, с пренебрежением – задевало здесь и сейчас. Это уже не ток-шоу в телевизоре. Даже её, свекровь свою, старалась втянуть в такие разговоры. Мол, мы-то с тобой, мама, знаем, какой он. (Недотёпа, смурняк, ботаник.) В такие минуты хотелось прямо спросить, какого же ты чёрта выходила за него!

От таких откровений невестки Екатерина Ивановна начинала думать, что всё у холёных дочки и мамы было построено на расчёте. С самого начала. Что привечать Валерку они начали после того, как его оставили в институте. На кафедре, аспирантом, преподавать. А дальше и вовсе он в гору пошёл. И все воздыхатели разом были забыты. Тут можно выдержать всё: и прыгающего зайца с сомкнутыми ногами, и даже то, что в загсе заяц серьёзно поцарапал себе щёку. Напоровшись на булавку в фате невесты. Прыгнул не туда. Не так. Не с той стороны. Не унывай, Валера. Всё нормально! Го-орько!

3.

Иногда по ночам Дмитриев чувствовал ещё мужское напряжение. Просыпался даже от него. Сразу виделся маленький Алёшка, поднятый среди ночи в постели, спящий, качающийся. Его фонтанчик из торчащего стручка, по-китайски поющий в подставляемом горшке-резонаторе.

Старик тоже вставал, шёл в туалет. Возвращался и спокойно ложился. Умершую жену свою Надю вспоминал почему-то редко. Интимного с ней не видел во сне никогда. Вместо неё какие-то слоновьи толстые голые женщины гонялись за ним, хотели всегда прибить, но он вовремя просыпался.

Думалось, что у всех стариков так. Всё мужское со временем угасает. И следа не остаётся. Хотя сразу вспоминался старик Колобродов, сосед по даче, с которым копал когда-то общий колодец. Уже в последние годы свои, когда бы они с Надей ни проходили мимо его дачи, старик сразу бросал работу и, забыв даже поздороваться, смотрел на них выкатившимися восторженными глазами. Глазами старого развратника. Он явно был уже не в себе. Однажды он встретил проходящую Надежду, стоя на своем высоком крыльце. Покачал головой и с сожалением показал на свои сиреневые кальсоны с обширной чёрной заплатой в паху: «Отговорила роща золотая, мадам». Его с возмущением утащили в дом дочь и сноха. Долго извинялись перед Надеждой. А та, зайдя на свой участок и увидев Дмитриева, хохотала как ненормальная. «Где твои сиреневые кальсоны, Сергей? – падала она в доме на стол. – Надень их и выйди за калитку! Заплату я тебе пришью!» Он ничего не понимал. А когда ему разъяснили, удивился: что же тут смешного? – старый больной человек. Которому и осталось-то немного. И как напророчил – Колобродов через два дня умер. Увидел двух крупных женщин в купальниках, с полотенцами через плечо идущих к реке, увидел и сказал: «Две ж... с ручками идут. Две ж... с ручками-крутилками». Сказал и закачался. И упал в помидорный куст, подавив почти все его помидоры. Дмитриеву пришлось поднимать соседа и тащить в дом. И поразила его тогда ручонка старика. Болтающаяся, маленькая, детская. Надежда уже не смеялась, разом помрачнела. Заставила собраться, набить рюкзаки. И они уехали домой.

Интимная жизнь для Дмитриева никогда не была самоцелью. Навязчивой самоцелью. В угрястой юности он не томился, не страдал. На проходящих девушек или женщин (с формами) смотрел не с бездумным восторгом, как смотрели всегда сверстники, а внимательно, исследовательски. Как на не совсем понятные науке существа. Даже женившись, жены не домогался. Надежда в первое время смотрела с подозрением. Но оказалось, что ему нужно просто дать команду. Как безотказно работающему роботу. И всё у него сразу начинало мигать, квакать, всё работало нормально.

Сделав дело, робот спокойно возвращался к своим бумагам на столе, освещённым лампой. А Надежда с улыбкой смотрела на него из тени дивана. С блестящими глазами одалиски.

Когда родился Алёшка, он вообще забыл о ней как о женщине – только и возился с маленьким сыном. Если дома, то не подпускал к ребёнку даже тёщу. И так было месяца два или три. Пришлось его заново подключить к сети, дать команду. Он делал своё дело, садился уже не к бумагам, а к орущему сынишке в кроватке, похлопывал его, успокаивал, менял пелёнки, подгузники, а она всё той же вольной одалиской загадочно улыбалась. Сравнительно молодой ещё в ту пору Колобродов не зря в лунные ночи смотрел на покачивающуюся хибарку неподалёку через штакетник – робот супружеские обязанности свои исполнял в те времена хорошо.

Бесчувственный сухарь, Дмитриев по-своему любил жену. Но когда Алёшка вошёл в козлиный возраст и начались его куролесы – первая сигарета, первая бутылка водки, выпитая на троих, первая коллективная драка, в которой ему свернули нос, регулярное попадание с дискотек в милицию, куда его, Дмитриева-отца, так же регулярно вызывали и отчитывали люди в фуражках, когда после этого начались скандалы с женой – главной виновницей, попустительницей всех художеств шалопая – Дмитриев просто перебрался из спальни в комнату на второй диван. Напротив кровати с шалопаем. Чтобы воспитывать его даже во сне, круглые сутки. На явное отчуждение некоторых особ, разгуливающих по квартире в халате с распущенным поясом, внимания не обращал. Сам был всегда прибран. Как голубь.

Потом был Афганистан. А через полгода пришла настоящая беда.

Извещению, где было написано, что сын пропал без вести, Дмитриев не поверил. Он стоял в кабинете военкома, где три офицера не знали куда смотреть, и всё перечитывал листок. Ему налили воды, посадили на стул. Как вышел на улицу – не помнил.

Он не мог идти домой. Не смел. Он стал блуждать по улицам. Он шёл неизвестно куда. Сжав в руке шапку, не чувствуя холода, он подвывал летящей метели. Люди замедляли шаги – навстречу шёл человек с непокрытой головой. С кашей на лице. Из слёз, снега и льда.

Жена ходила по комнате, выла. Дмитриев вставал на пути, неумело обнимал, хотел прижать к себе. Они как будто боролись, дрались. Как дерутся птицы на земле. Как два голубя.

4.

Дмитриев стоял на остановке. Автобус не шёл. Толкаемая густым снегом, подкатила маршрутка. Поколебавшись, Дмитриев полез внутрь. «Льготный!» – сев впереди, махнул пенсионной книжкой и бросил в коробку мелочь. Как пенсионер, ровно половину стоимости проезда. Бугай за рулём скосил лицо: «Полный плати! Здесь тебе не автобус». Дмитриев молча полез наружу. «Медяки свои забери!» – «Подавись!» – фуганул дверь вправо оплёванный пенсионер. Сразу накрыло летящим снегом. Шёл, клокотал. «Паразиты! (Кто? Автопарк? Власти города?) Полцены вам мало? Так погодите же – я буду ездить бесплатно!»

На другой день поднимался по крыльцу горсовета. К его дубовой двери.

В одной из комнат большого здания открывал Америку. Говорил, что как ветеран с сорокалетним стажем безупречной работы имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Во всех его видах. Включая маршрутное такси.

Молодой начальник, смахивающий на белый колоб теста, отъехал к другому столу. Столу с компьютером. В трубах и патрубках компьютерного стула начальника было что-то от канализации. Изготовленной по спецзаказу. Дмитриев скосил губы: переезжай и ср..., не слезая со стула.

Толкаясь ножками, начальник вернулся за основной стол.

– У вас не хватает, Сергей Петрович... – И он начал искать в бумагах, чего же все-таки не хватает в них для Сергея Петровича. Оказалось, что у дорогого Сергея Петровича прерванный стаж. Прерван был когда-то на целых семь дней. Вот, вы были уволены с работы 13-го января 82-го года и восстановлены на работе 22-го января того же года. Неделя разрыв. Как же так получилось, Сергей Петрович?

Также судорожно и молча, точно вылезал из всё той же маршрутки, Дмитриев начал собирать документы со стола. Система оказалась непрошибаемой. И на низовом шкурном уровне, и на прикрывающем административном.

Начальник прямо-таки страдал, мял белые женские ручки:

– Вам нужно добиться нового вкладыша в трудовую книжку, где всё это будет исправлено. Вашим месткомом, дирекцией техникума.

Не видел встречных людей, не слышал гудящей улицы.

Идти в теперешний техникум и добиваться каких-то исправлений в трудовой? Бессмысленно и просто глупо. Сам сгоряча когда-то кинул заявление на стол. Тогдашнего директора Петранюка давно нет в живых. Многих сослуживцев того времени – тоже. Не Коновалов же, который и выдавил из техникума, будет всё это рассматривать и исправлять. И вообще дурацким этим походом в горсовет разбередил только давнее, больное.

В январе 82-го, когда в военкомат пришло извещение о пропавшем без вести сыне, Дмитриевы получили вскоре письмо из Ташкента. Из военного госпиталя. Писал Олег Баев. Сослуживец, товарищ Алексея. В сумбурном письме мало что было понятно об исчезновении рядового Дмитриева. Где-то под Кабулом. Парень перескакивал с пятого на десятое. Походило, попал в госпиталь с контузией или ранением головы. Дмитриев сразу решил – ехать. Ехать в Ташкент. Петранюк встал на дыбы: «Ты что, – с ума сошёл? Сессия! Самый разгар сессии!» Тогда Дмитриев вышел, пометался по приёмной, написал заявление, вернулся в кабинет и хлопнул его об стол: «По собственному желанию, Георгий Павлович!» Петранюк побагровел, схватил ручку, размашисто подписал: «В отдел кадров. Уволить. По 77-ой. Петранюк». Скатертью дорога, уважаемый! И уже вечером, бросив дома плачущую жену, Дмитриев трясся в поезде.

В большой вестибюль ташкентского военного госпиталя к нему из палаты прискакал на костылях парень с перевязанной головой, без ноги по колено. Присел на холодный полированный камень подоконника, сразу начал как-то привычно рассказывать, как будто интервью давать. Махал руками в азиатском сонном солнце в окне. Оказалось, что Алёша пропал ещё летом, в начале августа. В увольнении трое солдат болтались по большому базару в пригороде Кабула. Перед этим их часть вывели из боёв в Баграмском ущелье на пополнение и передышку. «Таскаемся по базару, глазеем. К жаровням, к вкусной еде не подходим. Запрещено. Могут отравить. Поэтому мы всё больше по лавкам с товарами. А они там – сплошняком, налезают друг на дружку. Зашли в одну. Красивые ковры, метровые афганские кувшины из меди. Алёшка где-то сзади замешкался, отстал. Вышли наружу – нет его. Кинулись по лавкам, где уже были – пропал. В часть побежали. На машине примчались обратно – целой ротой прошерстили базар: ни следа. Местные – «на, на, шурави!». Дескать, «нет, нет, шурави, не знаем, не видели!» Помогают искать. Или сами убили-спрятали, или духи оглушили, утащили с собой». Олег Баев достал из коричневого кармана пижамы наручные часы без ремешка: «Вот, Алёша оставил в палатке. Потому что стали». У Дмитриева сжалось сердце – часы были подарены сыну на окончание школы. От слёз Дмитриев не мог прочесть гравировку на задней крышке. «Ну-ну, Сергей Петрович, крепитесь. Может быть, жив Алёша. Где-нибудь в Пакистане сейчас. В тюрьме. Туда их духи вывозят. Потом выкуп требуют». Парень встал на прыгливую ногу, обнял отца друга. Похлопывал: «Ну-ну, Сергей Петрович». Даже с одной ногой Баев был заряжен оптимизмом. После Афгана он вернётся домой живым.

Уже в 90-е Дмитриев с нанятым адвокатом Корсаковым подавал на розыск сына в международный «Красный крест». После других подобных организаций очень надеясь на него. Но – тоже нет. Ничего. Или сразу погиб сын на том афганском базаре, или потом замучили.

Дмитриев тяжело, как глубокий старик, поднимался по лестнице к своей квартире. Улыбнулся, вспомнив, что Алёшка школьником всегда по лестнице скатывался. С топотком, с припляской. Вот и сейчас сверху катился такой. Дмитриев нарочно начал клацать своими ботинками. Как железный грозный воин из компьютерной игры. Мальчишка в пальто и шапке не испугался. Пропрыгал мимо. Со ступеньки на ступеньку. Сосредоточенный, с раскинутыми ручонками. Правой-

левой, правой-левой. Только рюкзачок на спине болтался. Расшибётся ведь, чертёнок! Дмитриев дождался удара подъездной двери. Достал ключи.

Устало сидел в прихожей. В пальто, с шапкой в руках. Смотрел в комнату. В работающий телевизор. Опять хайлали скандалистки с блядскими ртами. Ведущий метался, усмирял. По новой моде в брючках в обтяжку. Фасон – стрельба по воробьям.

Прямо в шипастых своих ботинках Дмитриев прошёл. С гадливостью убил всех пультом. Зрелище для Городсковой. Любит такие передачи. Однажды сразу выключила, как только вышел из кухни. Как пойманная на нехорошем. Знает кошка, чье сало съела. Ххы.

Дмитриев снял наконец ботинки. Линолеум в прихожей давно превратился в коврик. Сотканный без всяких ткацких станков. По новой технологии. Не забыть бы запатентовать. Успеть раньше других. Юморной старик.

5.

Возле вентиляционного окошка в фундаменте Екатерина Ивановна кормила кота. Заприметила она его ещё летом. Назвала – Феликсом. Но если анимационный Феликс в телевизоре перед тем, как есть свой китикет, всегда расплывался в улыбках до ушей, – этот походил на стриженого уголовника. Притом уголовника трусливого, необщительного. При виде соперника, какого-нибудь драного лохмача – бежал и проваливался под дом. Но и там его коты гоняли. «Сажали на парашу». В разные дни на «кис-кис» он высовывался то из одного окошка подвала, то из другого. Далеко отнесённого от первого. И бежал к Екатерине Ивановне. Как к спасительнице. У него был феноменальный слух и такой же нюх. Однажды он подбежал к Ромке, который шёл один, и начал выписывать меж ног его пируэты. Он учуял на его одежде запах Екатерины Ивановны! Мальчишка ничего не мог понять, оглядывался, спотыкался.

В сильный мороз, глядя как Феликс жадно поедает принесённую варёную сосиску, сказал, что ему лучше будет жить у них, в квартире. Екатерина Ивановна заколебалась. Может, и правда отмыть его, вывести паразитов, и пусть живёт у них. Как говорится, в тепле и сытости. Попыталась взять кота, но тот, на удивление, начал биться в руках, вырвался, чесанул к своему окну. И исчез. Будто разом порвал все отношения. Бодро проходящая старуха в спортивном трико с лыжными палками разъяснила на ходу, что уличный взрослый кот никогда не будет жить в доме. Ни за какие коврижки. Вот так! – посмотрели друг на дружку бабушка и внук.

Ещё при Ромке от регулярной кормёжки (приносили еду каждый день) кот стал будто беременным. Как мелкоголовый гепард – длиннопузым. Но храбрости это ему не прибавило – завидев лохматого бандита, бросал чашку, скрывался под домом. Котяра с длинной шерстью, больше смахивающий на яка, чем на кота, ел отвоёванное. Не обращал внимания на бабушку и внука в шаге от себя. Удивлённый Ромка даже пятился от него, наглого, говорил, что Феликс бы не поступил так, не отбирал бы у других еду. «Это уж точно! – смеялась Екатерина Ивановна. – Его бы самого съели, прежде чем он успел кого-нибудь пригласить к чашке».

Из целлофанового мешочка Екатерина Ивановна вытряхнула в алюминиевую чашку творог, полила сливками из баночки. Феликс приступил. Шкурка на животном ходила волнами. Вроде меха на дохе.

По довольно глубокому снегу Городскова выбралась на бугристый тротуар, потоптала ногами, стряхивая снег, и бодро пошла в сторону поликлиники. Слева в низине распластался белый школьный стадион. Справа, где остался Феликс, в освещённых утренних классах самой школы сидели сонные ученики, разгуливали учителя с указками, с размеренными громкими, всё знающими голосами из парящих форточек; в школьной кухне ворочали баки очень сильные две поварихи с засученными рукавами.

Никак не могла привыкнуть к зданию на пригорке, где работала уже полтора года. Трёхэтажное плоское здание с мелкими окошками (бойницами) походило на что угодно, только не на поликлинику – на гробницу, на неприступную крепость, на усечённый зиккурат из учебника истории.

Очистила подошвы сапог о ребристое железо на крыльце, открыла внутрь стеклянную дверь.

Суббота. Больные как вымерли. Коридор почти пуст – бюллетени в субботу не дают и не продлевают. Без толку приходить и перед врачом «болеть». Старики ещё спят. Одна Пивоварова у процедурной. Тяжело дышит. Расплылась вся на диванчике, схватившись за край его. «Что-то плохо мне, доча». Глаза старухи блуждают, явно уходят. «Сейчас, сейчас, Анна Ефимовна».

Не переодевшись, сбросив в предбаннике только пальто, Городскова провела старуху в кабинет, посадила на лежак. Быстро готовила укол. Повернулась. Но старуха вдруг повалилась вперед. Прямо под ноги медсестре с уколом. И застыла на боку.

Екатерина упала на колени, перевернула старуху на спину, рванула кофту, приложилась к груди.

Сильно ударила кулаком по грудине. И начала толкать грудь.

Падала, прикладывалась ко рту, с силой вдыхала. Снова толкала грудь.

Невропатолога Толоконникова от удивления как-то приподняло в дверях – какая-то плотная женщина в шапке, в зимних сапогах прямо на полу делала массаж сердца другой, лежащей в такой же шапке и зимних сапогах.

– Чего вылупился! – обернулось налившееся кровью лицо: – Адреналин! На столе!

Невропатолог бросился к столу медсестры, начал искать. Трясущимися руками набирал в шприц.

– Быстрей!

Подбежал, протянул шприц. Городскова сдвинула вверх жидкую грудь: «Дёржите!» Толоконников схватился. Найдя точку меж рёбер, хирургическая сестра ввела длинную иглу в сердце. Вдавила лекарство. Снова начала толкать грудь.

Веки старухи дрогнули, глаза открылись. Старуха вернулась с того света. Задышала.

Потом приехавшие врачи реанимационной скорой обкалывали её на полу дополнительно. С полу санитары загрузили тяжёлое тело на сложенную каталку, подняли Пивоварову высоко, повезли. Повезли к раздевалке, чтобы накинуть на неё пальто. Потом к машине, чтобы везти в дежурную больницу. Сегодня в Третью. Старуху увезли бледной, с закрытыми глазами, но живой.

Екатерина Ивановна опустошённо сидела у своего стола. Была она уже без зимней шапки, в белом халате, только по-прежнему в забытых сапогах.

Взад-вперёд ходил Толоконников. Почему-то с оторванным левым карманом халата. В который он так любил закладывать левую руку. Он как будто только что поучаствовал в драке. «Даже эпилептический припадок не так страшен, Екатерина Ивановна! – уверял он не столько Городскову, сколько себя. – Даже припадок! Когда человек бьётся перед тобой на полу, и ты не знаешь, что с ним делать. Даже припадок!» Вытирал пот с рыжей лысоватой головы.

В утреннем коридоре поликлиники было по-прежнему пусто. Только к процедурному кабинету подтянулись старик и старуха. Они только что пришли. По-видимому, муж и жена. Сели тесно рядом. Они не знали, что произошло в поликлинике всего полчаса назад. В коридоре всё было спокойно. Всё было как всегда – снопы солнца дымились у дальнего окна. Два черных фикуса зависли неподалёку. Старики тоже были спокойны. Они просто ждали, когда их позовут на уколы. Старик был худ, вислокож. Старуха – без шеи. Как бомба.

Глава четвёртая

1.

В детстве Серёжу Дмитриева упорно приучали к гобою. Звук гнусавого духового инструмента он слушал с пелёнок. Ежедневно, перед тем как идти в театр на репетицию, папа дома дул «длинные ноты». Он ходил по комнате и выдувал одну такую ноту. Похожую на пронзающую воздушную тревогу. На занудливейшую зубную боль. Совсем маленького Серёжу это пугало, он отчаянно ревел, позже – привык.

Папа играл первый гобой в Башкирском Государственном Оперном Театре. «По моему гобою, сынок, настраивается весь оркестр. Мой гобой самый главный инструмент в оркестре». Он поднимал длинную черную трубку в белых клапанах на уровень глаз, закладывал трость в рот и дул свою длинную ноту. Когда нота совсем затихала, говорил: «Длинные ноты, сынок, укрепляют губы, развивают дыхание». Он снова закладывал трость в рот и дул вторую свою длинную ноту.

Мама Серёжи тоже работала в театре. Она была там костюмером. Одевала разных тёть в старинные пышные платья, чтобы тёти стали ещё толще, пышнее. Серёжа нередко находился при таких одеваниях. Когда его некуда было девать. Он привычно тарахтел, возил машинку по полу. Объезжал недвижные пышные платья (с тётями), вокруг которых ползала и мама. С иголкой и ниткой. Папа в оркестр под сцену с собой не брал. «Запрещено, сынок, – говорил он. – Шавкатом Нургалиевичем». Шавкат Нургалиевич был Главный Дирижёр. Главнее папы. С ним не побалуешь. У него была грива на голове и брови вразлёт. Размером с мечи. «Привет, дитя театра!» – проходя, говорил он и дружески трепал. Да так, что приходилось потом накидывать слетевшие лямки от штанишек. Как после удара урагана.

Зато папа был главнее Шавката Нургалиевича, когда оркестр настраивался под папин гобой. Папа давал свою длинную ноту – и все начинали пилить смычками и дуть в разные тромбоны. И Шавкату Нургалиевичу приходилось терпеть. Сидеть и ждать за пультом. (Видел это много раз. С балкона. На правой стороне. Куда всегда пускала тётя Галя, Главная Уборщица Театра.) Правда, потом он начинал махать всем палкой, как бы грозить. Но это уже неважно. Папа был доволен – он дал сегодня свою главную ноту. Играл себе дальше. Как будто один.

После балкона можно поиграть, повозить машинку в коридоре. А ещё лучше в высоком пустом зале на втором этаже, Там стоят древнегреческие Венеры и Апполоны. По паркету машинка летит далеко. Можно перебежать и снова толкнуть. Уже в другую сторону.

Тётя Галя всегда проходила с тряпкой на палке. Как солдат с ружьём на плече.

– Ну-ка идём, я тебя покормлю.

В комнатке у тёти Гали окон нет вообще. Зато на стенах балерины. Очень красивые, с тонкими ногами. Много их там всяких. Есть певцы. Очень важные. Даже весь оркестр стоит на одной из афиш. Впереди на стуле, будто строгий отец всем, сидит сам Шавкат Нургалиевич. Папа в заднем ряду. Высоко. Гораздо выше Шавката Нургалиевича. Папа улыбается. Он держит в кулаке свой гобой. Как будто простую легкую трубочку.

Потом приходила мама и всегда спрашивала: «Руки помыл?» Её успокаивали, кивали на кран над ржавой раковиной. Который всегда капал. Тогда мама тоже подсаживалась к маленькому столику, ела. Борщ или кашу. Разговаривала с тётей Галей. Они готовили поочерёдно. Тайком от Ермилова (Главного Пожарника Театра). На плитке в углу. У мамы был ненормированный рабочий день. Она находилась в театре утром, днём и даже вечером. Во время спектаклей. А папа был «как барин» (слова мамы) – после утренних репетиций отправлялся с сыном домой. До вечера. До спектакля. Где сам играл в оркестре, жена переодевала по несколько раз толстух-певиц, а сынишка стойко торчал почти весь спектакль на балконе. Пока не падал там и не засыпал. Прямо в кресле.

Шести лет Серёжа сам стал артистом в одном спектакле. Мама надела ему белое обтягивающее трико и чёрные туфельки. Потом поверх трико штанишки в виде двух тыковок, а на голову – островерхую шляпку. И он бегал по сцене, изображал всякие игры с такими же мальчишками и девчонками. Декорации воссоздавали площадь средневекового города, где два тучных монтекки и капулетти сидели в тыквах, смотрели на игры молодёжи и вели неторопливую беседу.

Серёжа старался пуще всех. Под быструю музыку бегал, метался, ловил девчонок, кричал «поймал! поймал!» Вдруг схватил у кого-то палку и пошёл скакать на ней как на коне и кричать: «Ура! ура! Все за мной!» – «Не кричи, дурачок, – поймав, сказал ему на ухо какой-то дяденька в тыквах и с алебардой. – Это балет». И под смех зала, ласково поддал ему под тыквы. И Серёжа опять поскакал на своей палке. И опять закричал «ура». И дяденьки с алебардами снова его ловили. Весёлый был спектакль.

Во второй раз Серёжу на сцену не пустили. Хотя мама и надела ему белое трико и вздутые штанишки. А Шавкат Нургалиевич при случайных встречах, чувствительно потрепав, всегда теперь говорил: «Смотри у меня! Артист театра. В балете – ни звука!»

С папой и мамой Серёжа жил в Общежитии Башкирского Оперного Театра. Так было написано всегда на стеклянной отблескивающей табличке у входа. А Общежитие находилось на улице Тукаева. Всего в двух кварталах от Башкирского Оперного Театра.

Иногда папа и мама оставляли его в комнате Общежития одного. Тогда после обеда с учебниками и тетрадками обязательно приходила Верка, дочь тёти Гали, живущая в комнате напротив. Через коридор. У Верки была круглая голова, похожая на ядро Мюнхгаузена с висящими косичками.

Сперва почему-то царапались. Обязательный ритуал. Потом преспокойно садились за стол и занимались каждый своим делом. Серёжа раскрашивал карандашами раскраску, а Верка в раздумье грызла ручку. «К 25-ти прибавить 49». Поглядывала на Серёжу. Серёжа хмуро говорил: «74». Иногда специально давал неверный ответ. Тогда приходилось вставать и опять царапаться-драться. А после снова садиться к раскраске.

Вечером первой приходила тетя Галя: «Ну, как вы тут? Не ссорились?» – «Нет, мама! Что ты!» – говорила Мюнхгаузен с висящими косичками. – Мы решали примеры, а потом играли».

Мама и папа Серёжи приходили гораздо позже, когда он уже спал...

Иногда старческие засыпающие глаза видят очень далёкого мальчишку. Мальчишку из другой жизни. Мальчишка скачет по сцене на палке-коняшке, кричит на весь театр «ура», а в оркестровой яме приседает, осаживает его, машет рукой дирижёр: «Молчи, дурак! Уши надеру!»

2.

К банкомату на Ленина Дмитриев всегда шёл ближним путём, дворами. Мимо тридцатой школы. Весной, перед Первомаем или праздником Победы, здесь всегда можно было увидеть тренировочные парадики старшеклассников в пилотках. И девчонок, и мальчишек. Вперемешку. Целый класс маршировал палочными ногами. И всегда – под команды то одного, то другого командира из своей же среды. Какая-нибудь девчонка, пробуя власть на вкус, тонко кричала. «Раз-два! Левой! Левой! Раз-два! Левой! Левой!.. Класс... напра... во!» И все уже шагают к железной оградке цветника. Казалось, сейчас снесут её! Но новая команда девчонки – и класс уже режет вдоль оградки. «Класс, запевай!» И все, как поют только шагая в строю, безобразно, фальшиво пели, ударяя ботинками: «Не плачь, девчонка! левой-левой! пройдут дожди! левой-левой! солдат вернётся! левой-левой! ты только жди!»

Дмитриев забывал про желчь, сразу подтягивался. Слегка подкинув себя, брал ногу, шагал вместе с девчонкой и её орущим строем. Он хорошо помнил армию.

Сейчас возле школы было пусто. Школьный стадион слева был в снегу. Двухэтажное здание с широкими окнами стояло немым, беззвучным – за сизыми зимними стёклами понуро сидели поголовья учащихся и самодовольно разгуливали учителя с книжками и указками.

Вдруг увидел Городскову. Прямо под одним из окон школы. Женщина в песцовой шапке и в расстёгнутом пальто кормила какую-то кошку.

Дмитриев чуть не на цыпочках прошёл мимо. Словно напоровшись на непозволительное, интимное. Однако верный своему «ххы», обернулся: уже кормит бездомных кошек. Как старуха. Х-хы. Наверняка крошит хлеб голубям. Возле мусорных баков. Х-хы!

Забыть такое желчный старик не мог. Почему-то задело увиденное. И даже словно обидело. Как будто потерял доверие к человеку, ошибся в нём. Поэтому как только Городскова заявилась опять с продуктами (тоже кормить! его! как кота!), задал вопрос. Едва та сняла пальто:

– Вы любите домашних животных? (При этом смотрел в сторону. Мол, мы сейчас послушаем.) В частности кошек, котов?

– Да в общем-то не очень, – удивилась Городскова, вешая шапку.

– А я вас видел вчера. Возле тридцатой школы. Вы кормили кошку. Судя по всему, бездомную.

Следователь уже припирал к стенке.

– Ах вот оно что! – рассмеялась Екатерина Ивановна. – Что же в этом плохого?

– Да как что! Как что! Там же дети! А вы привечаете бездомных кошек! Возле школьного учреждения!

Прямо инспектор гороно. Представитель санэпидемстанции с насосом и в маске.

Городскова растерянно улыбалась: неужели всерьёз сказал? Заговорила, наконец, сама. Всё больше и больше ожесточаясь:

– Вас удивила я. С кошкой возле школы. А вас не удивляет, что дети этой школы не отличаются особой любовью к животным? Могут запустить в этого кота палкой, камнем, девчонки могут подойти, сфотографировать мобильником «миленькую кошечку», присесть даже рядом, опять же как для селфи. А покормить, – ни один. Это вы считаете нормальным?

Хотела снова одеться и уйти, но Дмитриев сразу стал многословно извиняться, удерживал, не давал пальто.

Осталась.

Дулась и на кухне, выкладывая продукты.

Однако за чаем, уже примирительно просвещала старика как бывалая кошатница, а заодно и собачница:

– Бездомные собаки всегда передвигаются, Сергей Петрович. По городу. Ищут еду по помойкам, по свалкам. Они как-то не так заметны. Бездомная кошка обитает в одном месте, чаще под домом, редко уходит в другие дворы. В мороз ли, в жару она сидит на виду. Возле тропы, где идут люди. Она вроде безразлична к ним, но ждёт. Или, как мой Феликс-трус, выглядывает из окошка. Чтобы, увидев свою кормилицу, побежать к ней и сопровождать до чашки, куда ему будет вывалена еда.

Желчный, Дмитриев и людей-то уже не любил, а тут про каких-то собак, кошек. Хмурился. Вынужден был слушать. Остатки вежливости. Обложили. Блокада.

– Смотрите, Сергей Петрович, какая красота, – сделав глоток, удовлетворённо сказала Екатерина Ивановна.

В телевизоре, будто по её заказу, засыпа́ло тёплое африканское озеро. Как зевота его, изредка вспыхивали красные костры из фламинго. Плоское африканское деревце вдали подпирало чистый зёв заката.

Когда Городскова ушла, ходил по квартире, ни к чему не мог привязать руки. Злился. На упрямую женщину. Мало того, что продукты приносит, так ещё урок преподала. Любви к животным. А заодно и к африканской природе.

Сел в кресло. Переключил канал. Надеясь посмотреть познавательную программу «Чёрные дыры. Белые пятна». Вместо «чёрных дыр» на стуле перед молодым собеседником сидела старейшая музейная работница. Сидела, собственно говоря, опрятная старость. На женщине с иголочки жакет и юбка. На лацкане жакета – цветок размером с подсолнух. Полноватые ноги в прозрачных чулках. Составлены не без кокетства – набок. Единственный не скрытый признак (атрибут) старости – шея. В больших змеиных узлах. А так – свежие живые глаза, умеренность морщин. Синеватая благородная седина, пронизывающая взбитую прическу.

Дмитриев хмурился, ничего не мог сказать плохого про старейшую музейную работницу. Всё было в передаче правильным, полезным. В теперешней перевёрнутой идиотской жизни – возвращено, поставлено на ноги. Не то что у этой Городсковой. С её котами. Кормит. Назло всем. Да ещё стыдит.

3.

Когда Серёже было восемь лет, папа привёл однажды в комнату невысокую собаку. Точно после спектакля отыскал её где-то в ночном театре. Радостная, собака беспрерывно виляла хвостом, знакомясь с новым своим жилищем. Серёжа замер за столом с тетрадкой и ручкой, чувствуя, как обнюхивают его ноги. Мама начала возмущаться таким безрассудством папы. Тогда папа, смеясь,

рассказал, что эта собака сопровождает его до общежития уже три вечера подряд. Прямо как верная его поклонница. Мама поразилась такой преданности таланту папы, сразу начала готовить подстилку собаке, складывая для этого старое Серёжино одеялко в несколько раз. Спросила у папы, как её называть. И папа, чуть подумав, уверенно сказал – Ночкой. Я её встретил ночью, да и чёрная почти вся, значит – Ночка. Кличка маме понравилась. Серёже – не очень. Разве может собака быть ночкой? Ночка – это же время суток? Получается, что ночка на улице, в окне, стала у них в комнате Ночкой. Вон она, чёрненькая, на полу. После того как покормили, легла на подстилку. Успокоенно положила на лапы морду. Как будто всегда тут жила.

Теперь по утрам, когда папа дул свою длинную ноту, ему всегда подпевала Ночка. Она садилась на хвост, закрывала глаза и выводила ноты гораздо выше, чем у папы, гораздо музыкальней. Папа не обижался, что у Ночки ноты получались певучей, гладил преданную головку.

С гобоем в утеплённом зимнем футляре папа шёл на работу в театр. Ночка, сопровождая его, бежала рядом. Как только папа исчезал за дверьми служебного входа, бежала обратно, так же часто перебирая лапками. Возле общежития – ждала. Когда кто-нибудь выйдет или зайдёт внутрь. Проскользнув меж чьих-нибудь ног, стремилась на второй этаж. Вахтёра в общежитии не было, никто Ночке не мешал.

В дверь – царапалась. Серёжа открывал. Ночка забегала и сразу ложилась на подстилку, клала морду на лапы. И словно не видела больше ничего и никого. Даже осторожного мальчишку рядом. Ждала вечера, чтобы побежать к театру и встретить хозяина.

Приходила тети Галина Верка. Со своими учебниками и тетрадками. Она училась уже в третьем классе, а была всё такой же дурой.

На подстилке Ночка начинала рычать. На попытку детей поцарапаться – вскакивала и лаяла. А однажды неуёмную Верку цапнула за ногу. Серёжу, правда, никогда не трогала. Тот пытался подлизываться. Осторожно подкладывал к носу собаки конфету. Шоколадную. Лежащая голова так и оставалась лежать недвижно. Железная, вообще-то, Ночка. Хотя еду, оставляемую ей папой или мамой, когда вываливал в чашку, ела всегда. И даже мотала головой. Как бы говорила: спасибо, Серёжа. Ты хороший друг.

Ночка была очень самостоятельной. Иногда убегала на день или два. Забывая даже папу. Папа беспокоился. После работы ходил по комнате и предполагал, где она может быть. Где её искать. Недовольная мама говорила: «Хватит ходить! Ложись!» Выключала свет. Тогда папа подходил и смотрел на ночное небо за окном. Словно искал Ночку там. В звёздной ночи.

Ночка возвращалась.

Мама говорила, что собака очень вольная. Бегает, наверное, по помойкам. Принесёт заразу или щенят. Сережа не понял про щенят, переспросил. Тогда папа стал хохотать. «Не принесёт!» А мама так и не объяснила, в чём тут дело.

А потом Ночка пропала. Не прибежала ни через день, ни через два.

Фаготист дядя Боря с первого этажа пришёл и сказал, что видел Ночку на рынке. Её поймали собачники. Увезли вместе с другими собаками в большой клетке. На грузовике. Папа сразу оделся и поехал в какой-то «горкомхоз». Там ругался, доказывал. Но ему ответили, что собака была без ошейника, значит, бездомная, и «нечего теперь рыпаться». Так папе сказал какой-то Главный Хмырь.

В тот день папа пришёл домой с дядей Борей. И оба они были пьяные. Как говорила потом мама, «лыка не вязали». Они стукались рюмками, плеща водку на скатерть. Папа плакал. Его ноздри дышали будто сопла маленькой ракеты Циолковского. Дядя Боря папу утешал. У дяди Бори шмыгающий нос был больше, чем у папы. Свисал. Как киль-груз от детского планера.

Утром папа на репетицию не пошёл, не смог. А дядя Боря на репетиции был. Но толку от него не было никакого – с фаготом наперевес он только нырял в разные стороны и ничего из нот на пульте перед ним не сыграл.

Шавкат Нургалиевич гневно кричал: «Уволить! Обоих!»

Было даже собрание. И профсоюз, как сказала мама, отстоял. И папу, и дядю Борю.

После прощения за прогул папа воспрянул. В перерывах репетиций он дополнительно «работал над партией». В пустом гулком зале на втором этаже. Где стояли в нишах Апполоны и Венеры. Папа ходил, высоко подняв инструмент и локти, выдувал и выдувал трудные пассажи, чтобы довести их до совершенства.

Дядя Боря тоже играл. Он стоял на середине зала с фаготом наискось и словно давал воинскую присягу музыке.

Однако Шавкат Нургалиевич всё равно сердился на них. Дирижируя после перерыва оркестром, говорил: «А теперь всем пиано. Пусть вступят наши два алкоголика».

Ночку Серёжа помнил долго. Потом забыл.

4.

Среди людей на остановке длинный парень и маленькая девица влипли друг в дружку. Казалось, стояли так вечно. Он в лохматой курточонке по пояс и шапке, она – в длинном чёрном пальто. Прямо весь мир должен видеть их любовь! Х-хы.

Какой-то мужичок с весёлыми глазами, проходя мимо идущего Дмитриева, успел сказать: – «Ведь убери людей вокруг – не будут так стоять! На сто процентов! Не будут знать, что делать! Хи-хи-хи!» – Единомышленник.

Дмитриев шёл к Екатерине. С цветами. Завёрнутыми в газету. Сегодня 8 Марта. Но дело не в этом. Возможно, сегодня удастся увидеть Рому. По скайпу. Которого у него, Дмитриева, нет.

Глаза Екатерины Ивановны сделались вертикальными, когда она увидела Дмитриева с цветами. Просто не поверила себе.

– С праздником вас, Екатерина Ивановна! – чётко сказал старик и протянул цветы. Освобождённые от газеты.

– Да что же через порог! – засуетилась Городскова. – Проходите, пожалуйста. – Пятилась и словно освобождала дорогу чётко входящему солдату с цветами в кулаке.

Закрыла дверь.

– Раздевайтесь, Сергей Петрович. Я – сейчас

В халате, юркнула в спальню.

Повесил пальто и шапку. С цветами, так и не вручёнными, прошёл в комнату. Стал ждать, не решаясь сесть к столу. Поглядывал на терем часов, на семейные фотографии на стене, где, как сердитый божок, в центре висел Рома. Хотел подойти поближе, получше разглядеть фотографии в рамках, но появилась хозяйка.

– Извините, Сергей Петрович. Очень рада, что вы пришли. – Екатерина стелила свежую скатерть на стол. Была она уже в прозрачной, бензиновой какой-то кофте и чёрной юбке. Дмитриев уводил глаза от ложащейся на стол женщины, от её натягивающейся на крутых бёдрах юбки.

Поймав момент, вручил всё же цветы: «Это вам, Екатерина Ивановна». Женщина, точно только что увидев их, преувеличенно обрадовалась, поблагодарила. Дмитриев скашивал улыбку. Смотрел мимо всего. Пусть. Если приятно.

Сидел и с удивлением смотрел на тарелки и тарелочки со всякой едой. Окружившие его со всех сторон. Оккупация. Когда она успела всё это приготовить? Видимо, ждёт гостей. Или гостя. Мужчину. (Не его же, в самом деле!) Появилась и бутылка вина. Уже открытая. Ну а раз он единственный пока мужчина за этим столом, придётся ему и налить из неё в бокалы.

Налил. Поднял свой – как прицелился в женщину:

– Здоровья вам, Екатерина Ивановна! (Избитый вообще-то тост. Но ничего больше в голову не пришло.)

Однако Городскова опять преувеличенно благодарила. Накладывала гостю с разных тарелок, пододвигала. Много говорила. Старик безотчётно ел, кивал, а сам незаметно косился на аквариумную картинку ноутбука. Раскрытого возле дивана. На тумбочке.

– Как работает ноутбук? – не выдержав, спросил. Будто мастер. Пришедший на халтуру.

Городскова купила ноутбук месяц назад, свой старый ПК бросив в Сургуте при разводе (просто выдернула память, а всё железо отнесла на помойку), поэтому сказала, что ноутбук в порядке, ещё на гарантии.

Невольно оба теперь смотрели на прозрачную картинку, которая, казалось, дрожала в воздухе, ожидали сигнала скайпа.

И скайп обнаружил себя – забулькал. Захлюпал.

Екатерина Ивановна бросилась, перенесла хлюпающий агрегат на стол. Сев, взбодрила кофту, причёску – всё! красивая! – включила скайп, оборвав сигнал. И сразу закричала:

– Здравствуй, Рома! Здравствуй, мой родной! И тебя с праздником весны! Маму поздравил? Молодец! Давай, рассказывай, что нового у вас.

Кроме чёрной лакированной крышки, Дмитриев ничего не видел. Слышал только за ней голос Ромы, доносящийся будто из подземелья. Непроизвольно, как гусак, тянул голову, словно стремясь заглянуть за крышку. Понял из разговора, что Рома сейчас дома один, что родители ушли в гости и поговорят с бабушкой вечером. Это хорошо, очень хорошо, значит, не помешают.

Наконец Екатерина Ивановна сказала:

– А теперь, Рома, для тебя сюрприз. С тобой хочет поговорить Сергей Петрович. – Повернула ноутбук экраном к Дмитриеву: пожалуйте на сцену, Сергей Петрович.

Дмитриев приготовленно скосил улыбку. Однако увидев неузнаваемого, похудевшего мальчишку – в растерянности замер. Мальчишка, поздоровавшись с ним, спрашивал, как дела, а он никак не мог начать говорить. Кричал потом, как Екатерина Ивановна, лез в ноутбук, думая, что так его в нём будет лучше видно и слышно. Наконец, немного успокоившись, вернулся на стул, и Рома показывал ему завоёванные грамоты и дипломы, поднося их близко к экрану, чтобы он смог прочесть. Раскрыл и показал шахматную доску с красивыми фигурами, будто облитыми молоком – приз от последнего турнира. Пояснял: «Шахматы сделаны на Чукотке, вырезаны из моржовой кости, местным умельцем, чукчей, по имени Аляпэнрын, по фамилии Иванов». У Дмитриева сжимало горло, он чувствовал, что сейчас заплачет. Кое-как закончил разговор с мальчишкой и распрощался.

– Извините, Екатерина Ивановна, – вытирал глаза. – Сентиментален стал с годами.

Городскова улыбнулась. Радовало и одновременно печалило, что старик так привязался к мальчишке.

Стала собирать всё для чая, но Дмитриев сразу поднялся и вскоре ушёл.

Одна пила чай. Смотрела на фотографии на стене. Дмитриева, наверное, заинтересовали бы две из них. На первой – Ромка сидит на стуле. Он, как всегда, серьёзен. С двух сторон к нему приклонились родители. Удерживают его за плечи как своё творенье. (Фотография не простая – художественная. Снялись в ателье. В прошлом году.) Все трое смотрят прямо в объектив. Отец Ромки, с белой, будто забинтованной лысиной, косо улыбается, мать не без кокетства выглядывает из висящих своих кудрей.

Другой снимок отправил бы Дмитриева лет на сорок назад. На нём уже она сама, Городскова, в возрасте внука Ромы. Девяти-десяти лет. Зовут её на нём Катюшкой, и вместе со старшей сестрой Галиной она стоит возле папы и мамы, которые очень прямо сидят на стульях, как бы говоря: мы в ответе за своих детей. На ладно сбитой девчонке с крепкими ножками – белая кофточка и юбка из шотландки. Казалось, она одна смотрит на зрителя. Потому что широко улыбается. Остальные очень серьёзны, ответственны. Даже сестра Галя.

Глава пятая

1.

Посёлок назывался – «Цементный завод». Или короче – «Цемзавод». Считался посёлком городского типа. Хотя и не уполз от деревни Выдриха далеко. Всего на каких-то полста метров.

Вдоль дороги, торцами к ней – ряды старых деревянных бараков с белыми парусами из развешенных простыней. Через дорогу под такими же парусами плыли ещё пять домов. Тоже в два этажа, но тяжёлые, кирпичные, крашенные когда-то в жёлтый цвет.

Городсковы жили в кирпичном. Из окна второго этажа хорошо видно было волнами скатывающееся поле и взблёскивающую за ним речку с кустарниками и песчаными проплешинами.

Плотненькая Катюшка всегда летела в воду бомбочкой, в воздухе перебирая ножками. Плавала свободно. Ныряла к осолнечненному дну, по-лягушачьи всякий раз дрыгнув над водой ногами.

Приехавшая на каникулы сестра Галина в воду не стремилась. Лежала на одеяле, подняв колено. Сберегая красивый импортный купальник, который ей дала на лето подруга, смотрела в небо.

С полотенцем подходила к воде. Незагорелой белой ногой трогала её. Определяя температуру. Говорила сестре:

– Ну хватит. Выходи. Пора домой.

– Неужели не искупаешься из-за своего купальника? – врубала сажёнки малолетка, и не думая выходить на берег.

Галина оглаживала шикарный черный купальник с плотными чашками, на которых было красивое шитьё. Потом смотрела по сторонам – вроде бы никого. Лезла в кустарник у самой воды. Там купальник снимала. Аккуратно клала его на ветки. Только после этого бежала в речку. Плюхалась и плыла, выбеливаясь ягодицами и спиной.

Обратно выбегала, зажав груди. Лезла в кусты, чтобы поскорей вытереться и надеть купальник. И уж после этого идти спокойно домой. Мимо футбольного поля возле посёлка. Мимо бегающих с мячом парней. Мимо Гришки Нефёдова.

Вытершись, протянула за спину руку, чтобы взять купальник – купальника не было.

– Катька! Убью!

Гонялась в кустах за хохочущей девчонкой. Поддала по попке, отобрав купальник. Увидев выдрихинского мужика, ведущего к речке лошадь – разом присела. Заползла за ближайший куст и чуть ли не лёжа поскорей начала напяливать купальник. На девятилетней Катюшке хотя и был купальник, сшитый мамой из папиной майки, но она тоже приседала рядом, прыскала, как бы вместе с сестрой стыдилась мужика. А тот, похоже, и не видел их, спокойно разделся до длинных трусов, завёл лошадь в воду, стал мыть. Пригоршнями черпал и кидал на лошадь солнце.

Не торопясь шли к пяти домам на возвышенности. С плоскими телевизионными антеннами на крышах, с деревьями в птичьих гнёздах. После реки Катюшка так и осталась в мамином водолазном купальнике, зашитом внизу. Галина шла в расстёгнутом легком халатике, планомерно переставляла ноги.

Гришка Нефёдов раскрыл рот. Увидев проходящий шикарный купальник Галины. Слегка прикрываемый халатиком. Так и стоял столбом. Катюшка с полотенцем и одеялом, как верный оруженосец сестры, гордо смотрела на Гришку. Мол, знай наших! Уже тогда рядом с сестрой на выданье шла маленькая сваха в купальнике мешочком.

Гришка, проникнувшись увиденным, закрыл рот. Тут же получил мячом в лицо, подскокнул и ринулся догонять укатывающуюся с мячом ораву.

Поздно вечером перед домом культуры были танцы под радиолу, долбящую из двух алюминиевых глоток на здании.

Под шляпами фонарей Гришка гонял Галину фокстротом. Ловко выруливал на новые свободные пространства танцплощадки. Катюшка в отглаженной юбке из шотландки стукала ножкой чёткий ритм, самодовольно смотрела на бегающую пару – она сделала своё дело. Свела двух влюблённых. Вот они – танцуют фокстрот. Были, конечно, в начале и трудности – записки предварительные, с которыми приходилось бегать, доставлять влюблённым, и передача многого на словах. Всё было. Зато теперь – результат. Танцуют, ровной строчкой бегут.

После танцев влюблённые гнали её от себя – не уходила, шла рядом: она не должна пустить всё на самотёк. Влюблённые убегали от неё, прятались – лазила по кустам, искала их в темноте.

Вышла на залуненную полянку.

– А, вот вы где...

Ждала, пока влюблённые приведут себя в порядок.

– Катька, дома убью!

Маленькая сваха смотрела на луну. Ничего, нужно терпеть. Издержки работы.

– Совсем отбились от рук, – лёжа в постели, говорила мать, Городскова Анна Николаевна. – Первый час ночи, танцы давно закончились, а они всё шастают где-то. – Толкала мужа: – Слышишь, что ли, отец?

Уже заснув, Иван Васильевич Городсков, отец двух гулён, вздрагивал. Утирал слюну:

– Да пусть их. Пока молодые.

– Да она ведь и Катюшку с собой таскает! Девчонку!

– Кто таскает? Галина? Да ты что! Она не знает, как избавиться от этой маленькой липучки, – переворачивался на другой бок, умащивал на подушке голову Иван Васильевич. Прежде чем снова уснуть, улыбнулся – он больше всех любил маленькую умную липучку.

К своей комнате сёстры крались на цыпочках.

– Завтра окучивать картошку! – ударял в темноте голос: – Гулёны!

Сёстры прыскали и скрывались в своей комнате, прикрыв плотно дверь. Включали свет. Перед тем как лечь, Катюшка по-хозяйски расчёсывала гребнем сестрины длинные волосы, отливающие рыжим. Завтра опять предстоит встреча с Гришкой. Может, на картошке, а может, потом на танцах. Нужно быть готовыми. У самой Катюшки волосы были короткими, чёрными, кудряшками по всей голове. Галина пошла в рыжего папу. А она, Катюшка, получилась в чёрную кудрявую маму.

2.

Иногда, как на заказ, Феликс селился прямо под окном кабинета биологии – за стеклом видны были развешенные плакаты с домашними птицами и животными. И почти всегда, когда Екатерина Ивановна кормила кота, к окну подходила сама хозяйка кабинета, учительница биологии. Строгая дама с указкой. Хмуро смотрела на Екатерину Ивановну. Как на некомпетентную. Которая влезла со своим котом на чужую территорию.

– Привет! – поигрывала ей пальцами Городскова. – Как дела?

Строгая с указкой уходила в глубь класса. К плакатам.

Улыбаясь, Городскова шла дальше. На работу.

Толоконников, как всегда планомерно покачиваясь, ходил по коридору, заложив левую руку в карман безукоризненно отглаженного халата. Это означало, что он обдумывает *случай*. Толоконников был хорошим врачом, но Екатерину Ивановну не переставала удивлять такая манера приёма больных – в кабинете невропатолог сперва выслушивал жалобы пациента, осматривал его, стукая колено молоточком и подводя молоточек к переносице, затем выходил в коридор и углублённо ходил по нему. Затем вновь заходил в кабинет, садился и писал в карточку диагноз и назначаемое лечение. Его помощница, тощая Небылицына, сердито успокаивала нервничавших больных: «Сейчас придёт. Никуда не денется». А на вопросы товарок о шефе говорила одно только слово – закидон. При этом птичье лицо её покрывалось красными пятнами. «Вам что-то не нравится?» – хмурился шеф (Толоконников). Несколько раз предлагал Екатерине перейти из процедурного к нему. (После случая с оживлением старухи он Городскову очень зауважал.) «А, Екатерина Ивановна? Соглашайтесь. А то сидит вся в красных пятнах, терпеть меня не может – и не уходит. – Смеялся: – Прямо патология какая-то у неё. Невроз».

– Здравствуйте, Виктор Валерьевич, – первой поздоровалась Городскова.

Толоконников сразу подхватил под руку, повёл:

– Так как с моим предложением, Екатерина Ивановна?

– Нет, извините, Виктор Валерьевич, – доставала ключ от кабинета Городскова. – Я уж у себя. Мне в процедурном привычней.

– Но что же мне делать? Не к главврачу же идти?

Городскова улыбнулась – из кабинета Толоконникова выглянуло птичье лицо. Уже в красных пятнах:

– Виктор Валерьевич, вас ждут!

Толоконников обречённо пошёл. Слабохарактерный малый, безжалостно подумала Городскова. С победоносным именем Виктор. Давно бы выгнал стервозную цаплю. Терпит.

Городскова открыла, наконец, дверь, мельком глянув на трёх женщин, уже ждущих на диване.

В тесном коридорчике всё верхнее сняла и убрала в специальный ящик-гардероб. Надела голубую рабочую рубаху и штаны, на ноги лёгкие кожаные тапочки. Волосы, растряхнув, обмотала вокруг головы и поместила под высокую шапочку-колпак. Вымыла тщательно руки.

За столом в кабинете раскрыла лохматый журнал, написала на новой странице сегодняшнее число. И лишь после этого крикнула: «Входите!»

Вошла женщина в песцовой шапке. Городскова глянула на её сапоги – сапоги были в бахилах.

– Что у вас?

– Кокарбоксилаза, рибоксин и пропанорм. – Женщина подала пакетик с ампулками и направление.

Городскова отошла к столу, стала записывать в журнал первую пациентку. Одновременно говорила:

– Повесьте шапку, снимите кофту и юбку и ложитесь на бок лицом к стене.

Вдруг остановила ручку. Повернулась. Отгороженная от двери ширмой, – на лежаке сосредоточенно раздевалась пятидесятилетняя... Ленка Майорова. Со вздыбленными, непрокрашенными волосами, с морщинками – как с сеном по всему бледному крупному лицу.

Городскова выхватила из тумбочки и повязала медицинскую маску. Спросила, не оборачиваясь:

– Как ваша фамилия? Тут неразборчиво.

– Ланская. Елена Фёдоровна, – климаксным басом ответила Майорова. Уже отвернувшись к стене.

Так, артистка, значит, теперь. Певица. Конечно, по мужу какому-нибудь. Второму или третьему. Городскова быстро готовила уколы.

Большое серое бедро было всё в склеротических венках, в сосудиках. Однако что же ты так запустила себя, подруга? Тщательно протёрла кожу двумя ватками со спиртом. Словно стремилась загнать сосудики внутрь, подальше.

– Расслабьтесь, Елена Фёдоровна. – Стала вводить лекарство. Медленно.

– Не больно, Елена Фёдоровна?

– Нет. Спасибо, – вновь пробасила Ланская.

– Вот и хорошо.

Дав надеть пациентке юбку, усадила к столу, затянула на руке резину: «Поработайте кулачком». Вена вся была истыкана, как у наркоманки, серая кожа на руке обвисла. Развязывая резину, вводила лекарство. Слышала тяжёлое напряжённое дыхание Майоровой.

– Сколько лечитесь, Елена Фёдоровна?

– Третий год. Из больницы в больницу. И в Москве, и вот здесь, у вас. Уже побывала в вашей Второй городской. Муж уже замучился со мной.

– Ну что вы, муж и дети это большая поддержка при болезни, – склонив лицо, то ли плакала, то ли смеялась медсестра в голубой маске. Майорова непонимающе, настороженно смотрела. Введёт ещё что-нибудь не то.

Когда Майорова ушла – с развязанной упавшей маской сидела у стола. Покачивала головой. Слёзы в глазах стояли будто стёкла.

3.

Новый, 1979 год всегдашней компанией встречали у Дмитриевых. Родители слиняли куда-то. Сынку своему Алёшке дали карт-бланш. И Алёшка-сынок расстарался – бутылки в кухне на полу теснились полчищами.

В комнате за столом галдели, смеялись, кричали десять человек. Пять пар парней и девчонок. Каждый пока твёрдо помнил, с кем пришёл или хотя бы для кого предназначен. Даже Катьке Городсковой, чтобы закрыть за столом брешь, привели некоего Губина Генку. С чубом как пугач. Генка этот работал с Алёшкой на одном заводе, был его напарником по токарному станку.

Катька очень быстро почувствовала руку этого Генки на своей талии. Рука талию недвусмысленно подавливала. Притом чубатый хозяин руки больше всех хохотал, а свободной рукой умудрялся закусывать и закидывать рюмки. Фокусник. Городскова терпела. Словно бы ничего не чувствовала, охваченная общим весельем.

Потом стол сдвинули. И на какое-то время все обезумели – долбились в рокэнроле. Яростно. Норовя переломать себе ноги и повыдёргивать друг у дружки руки.

Когда опять вернулись к бутылкам и еде, талию вновь начала тискать рука. Отнюдь не рокэнрольная. Даже понуждать. Мол, пошли. Видимо, в пустую пока что спальню. «Отвали!» – косо глянула Городскова. Дескать, в морду дам. Рука отстала. Однако передала эстафету другой руке, левой, которая начала тискать уже Ленку Майорову. Как будто не знала, что Ленка предназначена для другого, для Алёшки Дмитриева, друга, напарника по станку.

Сам Алёшка ничего не замечал, ему нужно было заводить всех, подстёгивать, гнать веселье вперёд. Он вскакивал с рюмкой, призывал выпить. Будто вместе с ним, комиссаром, бежать в атаку. Поэтому, когда спевшаяся парочка пошла якобы покурить, но провалилась в тёмную спальню – Алёшка очень удивился, не поверил глазам своим. Ринулся в спальню и начал лупить своего друга и напарника по станку. Ленка Майорова кидалась тигрицей, но царапала не Генку (Губина), а Алёшку. Своего любимого! (Это как понимать?) Уже при свете крепкая Городскова бесстрашно разнимала, лезла между дерущимися, получала от кого-то, но всё равно лезла, не давала драться. Визг, крики стояли неимоверные. И оборвались только после того, как весь дом начал лупить в батареи. Все даже устыдились немного. Некоторые начали быстро собираться, трезво полагая, что сейчас прибудет милиция. Продолжала буйствовать одна лишь Ленка Майорова. (Выпила, что ли, больше всех?) Тащила хахаля Генку с разбитой мордой к выходу (а что он оказался её хахалем, узнали тут же, в спальне, из криков самой Ленки), орала, поносила Алёшку всякими словами. И как припечатала последним: – «Импотент!»

Это уже было серьёзно. Побледневший Алёшка снова кинулся, сам вытолкал парочку на площадку и выкинул их одежду. Захлопнул дверь.

Все начали успокаивать Алёшку, наливать, заставляли выпить. Алёшка сидел расхристанный, в порванной рубашке, послушно глотал рюмки. Тут как спасенье Новый год подоспел. Куранты забили. «С Новым годом! С Новым годом!» – кричали все, давали пробками в потолок, наливали, стукались, пили. И всё как-то снова забурлило за столом, опять понеслось. Алёшка уже пел и размашисто, призывно бил по струнам гитары, и все орали вместе с ним песню, разом забыв коварных изменщиков. И любимую Алёшки, и чубатого напарника по станку:

Как отблеск от заката, костёр меж сосен пляшет.
Ты что грустишь, бродяга, а ну-ка, улыбнись!
И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет:
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Одна Городскова не пела. Не могла отойти от скандала. Удивлялась, что Алёшка так быстро всё забыл. Трогала надорванную мочку левого уха (работа Ленки), сидела как-то отдельно ото всех. Безотчётно стукалась с кем-то рюмкой, пила. И в какой-то момент почувствовала, что опьянела. Сильно. Улыбалась блаженно, грозила кому-то пальчиком, никого словно бы уже не узнавая. Девчонки подхватили её, увели в спальню и положили в темноте на тахту. Сняли тапочки. Спи, подруга, через час разбудим!

Ночью она не могла проснуться. Чувствовала, что не в своей постели – и не могла. Чьи-то руки словно бы ползали по ней, раздевали. Она стонала, ворочалась, тоже словно помогала себя раздеть.

Разом проснулась от навалившегося тела. От режущего, бьющего внутрь огня. Ничего не могла понять в темноте. Начала бороться: «Пусти, гад!» Огонь перестал бить, угас. Словно залитый горячей водой. В свете открывшейся на миг двери мелькнула голова Алёшки. Дмитриева!

Лежала, часто дыша. Не верила. За дверью долбила музыка, кричали голоса.

Потрогала себя – белья не было, даже чулок. Только платье на пузо задрано. Села, начала шарить, искать всё. На шёлковом покрывале под собой почувствовала сырость. Как будто описалась. Завыла, зараскачивалась подстреленной волчицей, которая не знает, куда ползти.

Вытиралась своим же бельём. Потом одевалась. Руки были грязными, ко всему липли. Вытирала, вытирала их о шёлк.

Черная штора на окне уже начала сочиться красным светом. Долго стояла перед ней, точно перед входом в ад. Ждала, когда за спиной перестанет долбить музыка, когда, наконец, потонут вместе с ней голоса.

Вышла в комнату. Два парня и Танька Левшина спали кто где. Под светящим абажуром мерк и дымился новогодний разгромленный стол.

Пошла на кухню. Алёшка сидел у окна, подняв колено к подбородку, дёргал из сигаретки. Увидев – отвернулся. Был он трезв, как собака. Нагорбившаяся трусливая спина раздувалась, как корзина.

– Что же ты наделал, Дмитриев? – спокойно спросила Городскова. – Мне что, теперь в милицию идти? Экспертизу проходить? Чтобы тебя посадили?

– Прости, Катя, – всё не мог обернуться парень, – я подлец. Прости. Всё из-за этой стервы. Ужалила.

– Да я-то что, подстилка для вас? Чтобы вы с Ленкой проверяли на мне твои способности?

Пошла в прихожую. Дмитриев кинулся, схватил, попытался надеть на неё пальто. Глянула – пальто отпустил.

Парень с тоской смотрел на потолок, точно искал там крюк, чтобы повеситься.

– Не знаю, что мне теперь делать.

– В спальне всё за собой убери, – посоветовала Городскова. – Белое покрывало состирни. До прихода родителей.

Хлопнула дверью.

Мать отступила от порога: мокрые глаза дочери были будто грязные цветки.

– Что случилось, Катя?

Дочь молчком снимала пальто, потом сапоги. Не сняв изжёванного новогоднего платья, в чулках пошла в ванную.

Городсковы, отец и мать, в кухне за столом напряженно ждали. Среди вымытых, перевёрнутых на полотенце тарелок, бокалов, рюмок. Поглядывали на высокое окошко на стене, за которым шумела вода. Строили предположения, что там у них, у молодёжи, могло случиться. В новогоднюю ночь.

Катя вышла в байковом халате, очень бледная, смывшая всё с лица.

– С Новым годом, дорогие родители. – Подошла, коснулась губами щёк отца и матери. Налила в чашку воды, стала пить.

– Так что же всё-таки случилось? Катя? – подступалась, мучилась мать.

– Да в общем-то ничего особенного, мама. Просто порвала со своей лучшей подругой и со своим лучшим другом.

– А я тебе говорила, – уже кричала в спину уходящей дочери мать. – Не лезь в их жизнь, не лезь! Всегда будешь виноватой! Вот и получила! – Сбавила тон: – Сваха чёртова. И в кого такая! А? Чего молчишь? – повернулась к мужу.

Студентка четвёртого курса медучилища лежала у себя, смотрела в потолок – сваху изнасиловали.

4.

В срок месячных не было. Ни 25 января, ни 26-го. Ещё надеялась, – задержка, какая бывает у других. У той же Ленки Майоровой. Но нет: прошла ещё неделя, потом вторая – ничего. Беременна. Точно. Залетела с первого раза. Сама пьяная и кобель пьяный. Хорошее может получиться дитя.

Тянула, надеялась на что-то. Не могла решиться пойти к гинекологу. Наконец решилась – пошла на приём. Но не в районную, а платную поликлинику, единственную в городе, находящуюся в кирпичном старинном купеческом здании. На втором этаже, в кресле, словно снова была изнасилована. Мужчиной-гинекологом. «Пять недель, дорогая студентка, – сдернув перчатки, мыл руки тощий средних лет гинеколог. Вытирал полотенцем: – Будешь делать аборт, писать направление?» Почему-то с ужасом замотала головой, выскочила из кабинета, как ошпаренная.

На занятиях по теме «Акушерство и гинекология» сидела и тупо смотрела на плакат. На главный грушевидный детородный орган. Представляла такую же грушку у себя. И грушка эта уже растёт, скоро превратится в грушу, дальше в дыню, и рост её уже ничем не остановить. «Городскова, расскажи нам о строении матки и фаллопиевых труб», – говорила преподавательница Зубарева. Екатерина выходила к плакату нахмуренно, говорила по теме, зло тыкая указкой в плакат. Зубарева, похожая на белую щуку в очках, с недоумением глядела на лучшую свою студентку. Что это с ней? А деревенский Князев за последним столом прыскал, давился смехом – он один понял про матку.

Не чувствовала ничего. Ни тошноты, ни чтоб на солёное. Всего того, что бывает у других. Всяких извращений вкуса. Когда колупают и едят даже известку. У неё – ничего. Здоровая крепкая девка. Только в матке что-то засело, затаилось. И наружу теперь – никак.

Своё бельё давно стирала сама. Поэтому тогда, после случившегося, мать ничего не заметила. А те трусики и панталоны, измазанные кровью, заметая следы, завернула в газету и бросила в мусорный бак. Во дворе. Спасибо, Алёша. Век тебя буду помнить. И как-то после этого успокоилась. Девственность? Подумаешь. Пережиток.

Однако прошёл не век, а всего лишь месяц с небольшим – пришлось вновь вспомнить Алёшу. «Сволочь ты такая, Дмитриев!»

В марте Анна Николаевна случайно увидела в полуоткрытую дверь одевающуюся дочь с округлившимся животом. Обмерла. Дочь была беременной.

Охнув, Анна Николаевна вошла. Дочь сразу отвернулась, закрылась комбинацией.

– Что же ты скрывала, дочка? – уже причитала в голую спину мать. – Столько времени молчала! Почему нам не сказала? Мы что с отцом – звери?

Села на тахту и заплакала. Полуголая дочь сразу кинулась. Успокаивала мать на груди своей как ребёнка. Ну-ну, мама. Не надо.

Вечером на семейном совете решили: рожать Катюшке. Помня горький опыт Галины, которая, сделав когда-то аборт, так и не смогла потом забеременеть, смотрели в будущее Катюшки с оптимизмом. Подумаешь, пьяное было зачатие – даст Бог, пронесёт. Иван Васильевич, правда, допытывался, хотел узнать родословную: «Кто хоть отец-то, Катюша? Скажи». – «Вы его не знаете. Да и он не узнает ничего. Случайно всё». «По пьянке», – хотела добавить. Но вспомнив убитую морду Дмитриева на кухне, ничего больше не сказала.

Ходила на занятия, прилежно училась последний год. Родителям сначала казалось: дочь переживает, может быть, по ночам даже плачет, что будущий ребёнок родится сразу безотцовщиной. Но та, походило, и не думала унывать – налегала на фрукты, на соки, ела за двоих. Вернее – на двоих. И Анна Николаевна постоянно теперь спрашивала: «Что хочешь сегодня, Катюша? Что приготовить?» И студентка, уже привыкнув к своей весомости и значимости в доме, и физической и моральной, солидно заказывала: «Сегодня пельмени, мама».

Ни к кому из прежней компании не ходила. И никому не звонила. Ленку и Дмитриева, как себя уверила, из своей жизни вычеркнула. Словом, прошлое по боку. Начало новой жизни.

Однажды, уже в апреле, на улице наткнулась на Таньку Левшину.

– Катька, куда ты пропала? Не была с нами ни на Восьмое, ни на дне рождения Алёшки! – обрадовалась бывшая одноклассница, шустрая девица с мотыльковыми глазками. Как и Дмитриев, заводила компании. Только женской её части. Этакий локомотивчик. Обзванивала подруг, сообщала, где намечается балдёж, кто будет на нём, кто должен что принести, что приготовить.

На Екатерине был колокольный длинный плащ без пояса. Что беременная – не увидеть, не понять. Поэтому спокойно ответила:

– Скоро выпускаюсь, Таня. Занятий сейчас, сама понимаешь – с головой.

Левшина всё разглядывала подругу: какая-то Катька другая стала, повзрослевшая, что ли, с чистым спокойным лицом.

Спохватившись, радостно доложила, что Алёшка теперь вроде бы с Галькой Авериной. Из параллельного. Помнишь? Ленку свою бросил окончательно. Молодец! Такого не прощают.

Ждала подхвата, продолжения темы, но Городскова сказала:

– Извини, Таня, чапать надо в училище. Нашим всем привет. Увидимся.

Странная стала Катька, очень странная, смотрела вслед Левшина.

Однако кто-то из их компании увидел все же беременный живот Городсковой, потому что однажды возле училища появился Алексей Дмитриев. Екатерина заметила его в окно. Из аудитории. Он нервно ходил возле высокого крыльца, поджидал явно её.

На этот раз Городскова была без плаща – всё налицо. Спустилась по лестнице.

Дмитриев раскрыл рот. Как будто увидел молодого кенгуру на улице в России.

– Вот какая ты... стала, – только и смог произнести.

Городскова усмехнулась, пошла. Дмитриев уже озабоченно суетился, высовывался с разных сторон:

– Катя, нам нужно что-то делать. Что-то предпринять.

– И что же? – Сейчас наверняка заговорит про аборт. Однако Дмитриев удивил:

– Ну расписаться хотя бы для начала, Катя. Мне в армию скоро, так как же это всё останется.

– Что останется? – спокойно шла и всё экзаменовала Городскова.

– Ну как же. Ты, наверное, скоро родишь, а меня не будет рядом. А?

– А кто тебе сказал, что ты должен быть рядом? – Подходили к автобусной остановке: – Служи спокойно, Алёша. Тебя это никак не касается.

Городскова влезла в подошедший автобус. Автобус пошёл. Дмитриев остался на остановке.

Не удержалась, посмотрела в заднее стекло – Алёшка уменьшался, превращался в брошенного человечка. Что-то дрогнуло в душе, заныло. Достала платок, чтобы вытереть глаза.

– Садитесь, женщина, – тронул за плечо какой-то парень.

На распределении, которое было в мае, твердо сказала, что хочет поехать работать в Сургут. Что среди других городов и сёл заявка из Сургута есть. (Как будто этого в комиссии не знали.)

Пять человек в белых халатах с удивлением смотрели на сидящую на стуле беременную студентку, которая имела полное право остаться работать в городе. Никуда не уезжать. Тем более у неё здесь родители. Милая девушка, зачем вам в Сургут? У вас там муж? У меня нет там мужа, у меня там родная сестра. Ну что ж, совещаясь, повертелись репы в комиссии: пусть будет так, как девушка желает. Распишитесь, пожалуйста. Екатерина чётко расписалась в заявке и пошла к двери. В квадратном плотном платье и почему-то в чёрных тёплых чулках и туристских ботинках. Словно уже одетая для освоения Севера.

Анна Николаевна и Иван Васильевич расстраивались, тосковали – младшая дочь уедет вслед за старшей к чёрту на рога. Что убедить упрямую не смогли. Оказалось, всё у неё с Галиной было решено и оговорено заранее. Ещё месяц назад. По телефону. Галина и заявку в чёртов свой Сургут устроила. И переубедить теперь уже двух ослиц было невозможно.

В июне, сдав экзамены и получив диплом, Екатерина уехала в Сургут. Стала работать в районной поликлинике. Жила вместе с сестрой.

Точно в срок, в сентябре, родила сына. Галина предложила назвать его Валеркой. Назвали. Записали в загсе: Городсков Валерий Алексеевич. 1981-го года рождения. В графе «отец» – прочерк.

Глава шестая

1.

Ночью Дмитриев пытался продать деревенскому покупателю с сидорком пишущую машинку. Битый час он закладывал чистые листы и показывал её в работе. Громоздкая канцелярская «Украина-2» лупила как гангстерский машинган: покупатель дурак! покупатель дурак! покупатель дурак! Деревенский покупатель уважительно удивлялся: надо же. Пошёл с сидорком на спине к двери. «Стой, деревенский покупатель! – кричал на лестнице Дмитриев. – Отдам даром! Как собаку! В хорошие руки! Стой, идиот!» Но деревенский покупатель даже не обернулся.

Дмитриев перекинулся на другой бок. Деревенский покупатель начал бить его по башке. Как по ведру. Гремя на весь подъезд! «Что ты делаешь, деревенский покупатель! – пугался в ведре Дмитриев. – Опомнись! Прекрати!»

Утром из шкафа вытащил тяжеленную «Украину-2», поставил на стол. Пыльный молчащий агрегат с чугунной станиной напоминал брошенную фабрику. Может, действительно отдать кому. «В хорошие руки». Теперь все с компьютерами, вряд ли кто купит. Фломастером написал три объявления.

На мобильный позвонили уже вечером. Женский голос долго выпытывал, какая машинка, в рабочем ли состоянии, есть ли запасные пишущие ленты к ней («сейчас, сами знаете, их нигде не найдёшь»), за сколько, да возможен ли торг. «Да даром же! – сердился старик. – Придите и посмотрите!» В конце концов сказал адрес, думая, что не придёт, просто дурочку валяет.

Однако женщина пришла. И не одна, а вроде бы с мужем. Мрачный мужчина в шапке, как дом, остался стоять в прихожей, а женщина прошла в комнату. Но словно не к машинке на столе, а к мебели и стенам. Которые она стала оглядывать с большим интересом. Это была невысокая брюнетка лет тридцати, кавказской национальности, в чёрной вязаной шапке и пальтеце с воротником. «Хорошо у вас. Одни живёте?» – повернулась к хозяину. Хозяин нахмурился: «Один». В свою очередь, спросил, зачем таким молодым пишущая машинка. «А это бабушке, – пояснила смуглолицая, подойдя, наконец, к машинке и коробке с пишущими лентами. Словно не зная, что с этим всем делать. Забыто говорила: – Бабушка у нас хорошая машинистка... Так можно взять? Бесплатно?.. Николай!» Мрачный молчком забрал (именно забрал) тяжеленную машину под мышку и пошёл на выход. «Коля, осторожно, перышки помнёшь!» – оборачивалась к Дмитриеву женщина. Уже с лестницы крикнула: «Большое спасибо!» Странная пара, подумал Дмитриев и закрыл дверь.

Рано утром, вынося ведро, увидел свою «Украину-2» в мусорном баке. Кверху лапами. Вроде убитого, расчихвощенного глухаря. Бросив ведро, вытащил, понёс на руках домой.

Длинногубцами и пинцетом пытался выправлять испохабленные рычажки с буквами. Ничего не получалось. Рычажки всё равно цеплялись друг за дружку. Машинка была изувечена, убита. Сволочи! Поставил её опять в шкаф. Прикрыл чёрным бархатом. Как похоронил. Целый день просидел дома. С пустыми глазами возле мигающего телевизора.

Вечером опять позвонили: «Мы забыли коробку с лентами. На столе. Можно мы придём за ней?» – «Да я тебя, сволота такая...» – начал было пенсионер, но на другом конце разом отключились. Тяжело дышал, сжав мобильник. Отбросил на диван.

– Да какие чёрные риэлторы, Катя! – кричал вечером пришедшей Городсковой. – Видела бы ты его уголовную рожу с шапкой на глаза! Бандит! И наверняка не один. Поражаюсь, как он не вырубил меня сразу. Видимо, чеченке нужно было всё увидеть своими глазами, обследовать, и тогда уж решить, убивать или нет. Вот и решила за сутки – убивать. Позвонила. Не наткнись я утром на свою «Украину» на помойке – неизвестно, что бы ты застала. Придя сюда, – уже хмурился старик, обнаружив под шумок заставленный продуктами стол.

Городскова совала курицу в целлофане в морозильник. Советовала срочно сменить симкарту. Сергей Петрович! Могут сдёрнуть деньги. Все ваши сбережения. Со счёта в банке.

– Вряд ли такое возможно, – сбавил голос старик. – Да и нет у меня никаких сбережений в банках. Вон, всё в столе. Остатки от пенсий. Могли бы просто дать по башке и собрать всё.

Помолчал, мечась взглядом.

– Знаете, Екатерина, осталось гаденькое чувство – дал себя облапошить, подпустил их к себе, как распоследний маразмат. С палочкой. На скамеечке. С отвешенным ротиком.

Представив эту картину, старик закрыл глаза. Точно плакал.

– Ну-ну, Сергей Петрович. Не расстраивайтесь. Всё обошлось. Вам обязательно надо поставить глазок в дверь. Ведь вы открываете всем не спрашивая. Так нельзя.

Но Дмитриев всё не унимался:

– Нет, Катя, смотрите, какие психологи! Как всё рассчитали! Ведь кто в наше время продаёт или отдаёт пишущие машинки? Старые, часто одинокие люди. Старики. Ага! Вот мы и сорвём телефончик, и позвоним! Дверь-то нам и откроют!

Екатерина, казалось, уже не слушала, писала на бумажке отчёт. О купленных продуктах. С некоторых пор старик поставил условие, что за все приносимые ею продукты будет платить. Раз уж с вами бороться невозможно! Екатерина чувствовала себя жлобовкой. «Вот, Сергей Петрович, всё, что купила и сколько заплатила». Хотела отдать и чеки, но не решилась.

Старик пошёл к столу. К ящику стола. К своим сбережениям. Вернулся. Протянул деньги. Оба испытывали неудобство. Чёрт знает что, злился старик. Тем более, что Городскова сразу засобиралась. Даже не попив чаю. Куда же вы? Поздно, Сергей Петрович.

Старик тоже стал одеваться, чтобы проводить.

– Вам нельзя выходить сейчас. Сергей Петрович!

– Это почему ещё? – уже надевал свои скалолазы.

– Они могут поджидать вас во дворе.

– Не смешите, Екатерина Ивановна.

Тогда Городскова начала настаивать, чтобы он оставил в квартире свет. Увидят свет, значит дома, забаррикадировался. Ничем не взять, Сергей Петрович!

– Вы однако фантазёрка, – уже закрывал дверь старик.

Вышли во двор, в черноту, под мартовские сахарные звёзды. На улице было светлее – с дымящимися фонарями уходил, блестел гололёд. Ноги Екатерины сразу стали разъезжаться. Дмитриев крепко взял её под руку. Да, этот может постоять за себя. И всё же обмирало сердце, когда представляла, что могло сегодня быть, если бы вечером старик всё же открыл дверь бандитам. Искоса поглядывала на выдвинутое лицо. В виде железного забрала.

Ледоступы старика уверенно хрустели, грызли лёд.

2.

В конторе отопление, видимо, не работало. Чтобы согреться, нотариус ходила по комнате. Руки её со спущенными рукавами кофты роднились с мёрзнущими лапами обезьяны.

– ...Вы теперь должны, Сергей Петрович, поехать и пройти психиатрическую экспертизу, и с их справкой и двумя свидетелями вернуться ко мне. Сегодня же. Потому что справка действительна только сутки. А то мало ли что.

Точно. Клиент может сдвинуться за день, додумал за неё Дмитриев. Поднялся. Женщина вырвала листок и уже писала адрес.

– Вот, Сергей Петрович. Доедете на 60-м до предпоследней остановки. Она так и называется – «Психоневрологический диспансер». И там увидите здание на отшибе – вам в него. Жду вас. Я работаю до семи.

От остановки к «зданию на отшибе» шёл по ледяным лужам. Или вылезал из луж и проваливался в снегу рядом с лужами. К серой пятиэтажной хрущобе с окошками и без балконов вышел, окончательно промочив ноги. Однако внутри попал как будто в парную баню – весь коридор первого этажа был забит людьми. (Неужели в городе столько психов?) Очереди были и в регистратуру, и в кассу, куда нужно было платить за услуги заведения, и к кабинетам, где возле каждой двери стояли и сидели пациенты. (Психи.)

Через полтора часа, наслушавшись разного бреда вокруг себя (голову поворачивал как удивляющийся гусак – то в одну, то в другую сторону), Дмитриев оказался, наконец, в кабинете психиатра.

Врач с большим хлебным лицом, разбирая бумаги, спросил, как фамилия, имя-отчество, с какого года рождения, числа, месяца. И стал писать. Писал долго. Словно расписывал полученные скудные сведения в повесть, в роман. Дмитриев поглядывал на свои часы. Потом на стену, где висел какой-то бородатый корифей. Вроде бы Сеченов.

Через десять минут психиатр протянул справку: «Вот, пожалуйста. Для нотариуса. Вы абсолютно здоровы».

– О чём же вы писали столько времени! – в сердцах воскликнул Дмитриев.

– Извините. Нам нужно. На случай судов. Прокуратуры. Ваш анамнез. Психически здорового человека. А на это уходит время.

Психиатр с рыжим хлебным лицом смотрел в окно. Растолковывать каждый раз идиотам. Писать им эпикризы.

Да-а, тут только руками развести. Чертыхаясь, опять проваливался в мартовском снегу к остановке. И в психушке всё с ног на голову! И там всё перевернули!

Нужно было домой, сменить окончательно промокшую обувь, носки, но время поджимало, и сразу помчался на маршрутке в центр.

Завхоз Финеев Валентин Иванович при виде Дмитриева вскочил из-за стола:

– Сергей Петрович! Рад, рад! – тряс руку. – Садитесь, садитесь. Рассказывайте, что случилось. С компьютером что-нибудь?

Дмитриев изложил суть дела.

– ...Только это нужно сделать срочно. Пойти прямо сейчас. Сможете помочь, Валентин?

– Да какой разговор! Уже одеваюсь.

Быстро шли по коридору техникума. Из раскрытых изнывающих от духоты аудиторий слышались лишь голоса преподавателей. Дмитриев кивнул какому-то остановившемуся, разинувшемуся лицу.

На вахте Валентин Иванович потыкал кнопки телефона: «Лиля, ты срочно нужна. Брось все дела и дуй к нотариусу на Пушкина. Жди нас возле входа».

Невысокая женщина в беретике и лёгкой курточке прогуливалась вдоль окон нотариальной конторы на Пушкина. Увидела мужа, с ним какого-то старика с вислым, как колун, носом. Знакомясь, пожала его ледяную руку. Втроём вошли в контору.

Через час вышли наружу, застёгивая одежду. Жена Лиля сразу заторопилась домой. Что называется, нужно к плите. Старик с благодарностью потряс её маленькую ручку. Лицо его горело. Ступни ног ощущали в ботинках холодную липкую слизь. Определённо заболею. Целый день с сырыми ногами.

– Ну что, Сергей Петрович, – отметим событие? – кивнул Финеев на кафе через дорогу. Под названием «У Маруси».

Точно. Спасение от простуды. Выпить! Через пару минут уже раздевались в кафе.

– Вы простите меня, Сергей Петрович, за любопытство, но кто вам приходится этот Городсков Роман Валерьевич? – спрашивал, управляясь с бифштексом, Финеев. – Он ваш внук?

Дмитриев уже хлопнул три рюмки. Колун-нос его пошёл окалиной. Дмитриев тоже пилил ножом в тарелке. Однако прервался, потрогал на столе пластиковый файл с документами. Словно убедился, что они на месте. Лишь после этого ответил:

– Он сын и внук моих добрых знакомых. Он стал дорогим мне человеком. Я с ним подружился. Разве этого мало в наше подлое время? – Опять налил в рюмки. Поднял свою: «Ваше здоровье!» Хлопнул, стал закусывать.

Значит, завещание на квартиру написал постороннему человеку, мальчишке. Как баба подпершись рукой, Финеев смотрел на безрассудного старика. А тот, смахнув салфеткой с губ, уже рассуждал:

– Знаете, Валентин, вообще-то только дети делают нас людьми. Общение с ними. Приходится подтягиваться, стараться быть лучше, чем ты на самом деле. А так, кто ты есть – желчный, никому не нужный старик. Никто тебе не пишет, не звонит. Тебя нет. Ты невидим... У вас есть дети, Валентин?

У Финеева не было детей. Он удивился такому рассуждению старика. Можно сказать, простился с квартирой и не унывает. Смотрел на старика, как будто тот уже квартиру потерял. Безвозвратно. Жалея, хотел даже расплатиться за всё, что съели и выпили. Однако новоиспечённый бомж не позволил. Ни в коем случае, Валентин! Сам начал выкладывать купюры официантке на стол. Этаким завсегдатаем, кутилой. Потребовал ещё сто грамм. На посошок, девушка!

Сидели дальше, разговаривали. Финеев рассказывал о себе:

– Я ведь бизнес имел, Сергей Петрович. Четыре года был директором небольшой фирмы. Да компаньон кинул. Свинтил со всеми деньгами. Где-то в Америке сейчас. Пытался ещё раз подняться. Уже один. Не вышло. Вот и в завхозах оказался.

Финеев загрустил, подпёрся кулаком:

– Мы ведь живём по принципу русского человека, Сергей Петрович. По единственному. Дают – бери. Бьют – беги. Отвечать ни за что не можем, не умеем. Какой тут к чёрту бизнес.

– Валентин! Не грустить! Поднимешься! – уже приказывал Дмитриев. – Всё у тебя в порядке! Не грустить!

Пятясь, хватаясь за стулья, – поднялись. Как бы в бизнесе. Как бы каждый в своём. В кафе уже бомбила музыка из чёрных ящиков. Возле эстрады самозабвенно толклись мужчины и женщины.

К гардеробу шли с добрыми улыбками хорошо оттянувшихся забулдыг, осторожно обходили столики с весёлыми людьми. Один – старый, высокий, с пластиковой папкой в руках, другой – сравнительно молодой ещё, невысокого роста.

Под сахарными звёздами, словно разбивая их вдрызг – ударились и поцеловались. Дали клятву, что завтра встретятся здесь же. Сергей Петрович! Валентин! И пошли в разные стороны.

В верхнем ящике стола вздрюченный алкоголем Дмитриев видел всё преувеличенно чётко, рельефно. Затёртые купюры казались свежими, новыми. Даже хрустящими. Свернувшаяся нитка мутного жемчуга – будто бы сияла.

Как мусор – сдвинул всё влево, аккуратно положил пластиковый файл с документами. Жемчуг выдавился на край папки. Но это ничего. Будь Надежда жива – одобрила бы всё.

Вытянул всю нитку. Полюбовался её сверканием. Этот жемчуг купил жене на годовщину свадьбы. В ювелирном на Ленина.

Сидел на диване. Перебирал жемчужины будто чётки.

3.

Из Уфы приезжали на свадьбу мать и отец. Гобоист Пётр Петрович Дмитриев, отыграв под сценой театра двадцать пять лет, был уже на пенсии. Мать продолжала работать. Всё ещё одевала певиц-толстух.

Посреди шумной свадьбы во дворе дома на окраине они сидели потерянно, забыто. В самом конце длинного стола. Отец сильно постарел. Плешивая голова его с буйными когда-то волосами (не хуже даже, чем у самого Шавката Нургалиевича) теперь походила на выдутое осенними ветрами гнездо. Мать, как птица этого гнезда, прижималась к отцу, держалась за руку.

Умеренно пьяный, счастливый, Дмитриев всё время подходил к ним и, приобняв, словно бы показывал на свою брошенную невесту. На другом конце длинного стола. Мол, вон она, моя невеста, по имени Надежда. Моё счастье. Сейчас, правда, хмурится она от того, что я её оставил. Но с ней пройдёт. Уверяю вас! Смеясь, возвращался обратно. Под крики «горько» крепко целовал вскочившую Надежду. Точно глушил её недовольство гранатой. Падал на стул и махал родителям. Видели, всё обошлось. Смекалка. Русская.

Под весенним необъятным небом кричал, пел и чокался весь педагогический коллектив металлургического техникума. Во главе с самим Петранюком, директором. После криков «горько», когда невеста классически сомлевала в объятиях жениха, все вскакивали, снова чокались, пили, падали и закусывали. Один Петранюк был недвижим. Раздувшись от винных паров и важности, солидно говорил через стол гобоисту и его жене, постукивая пальцами по скатерти: «Спасибо за сына. Отличного воспитали специалиста». Отец и мать готовы были плакать. Хотя всегда хотели, чтобы сын стал музыкантом, а не «отличным специалистом» неизвестно по чему. Могли бы рассказать, что сын в своё время окончил музыкальную школу-десятилетку. По классу скрипки. Окончил блестяще. Но после армии почему-то поехал в Свердловск и поступил там во ВТУЗ при Уралмашзаводе... Могли бы рассказать... Но не смели. Никто бы их за этим столом не понял. Даже уважаемый товарищ Петранюк.

При прощании на вокзале Пётр Петрович опять шмыгал, раздувал свои крупные ноздри. Он словно чувствовал, что видит сына в последний раз. Был он в длинном плаще и широкополой шляпе карбонария. (Не иначе мама так одела.) Сын обнимал его, искренне обещал приезжать в Уфу чаще. Как на гаранта, показывал на жену, которая уже нашла общий язык со свекровью, и они шептались о своём, о женском.

Шли и махали уходящему поезду. «Какие у тебя хорошие мама и папа, – говорила Надежда. – Почему ты не рассказывал о них?» Дмитриеву сдавливало горло. Он и сам не знал – почему.

На похоронах отца, когда заколоченный гроб стали опускать в могилу, Дмитриев начал закидывать лицо к небу. Словно искал там отлетевшего с земли отца и не находил, не видел от слёз. Завывшую мать увёл от могилы, спрятал у себя на груди.

Меж чёрных деревьев и могил осеннего кладбища стоял весь оркестр театра с обнажёнными головами. Шла длинная очередь к ещё не зарытой могиле, и каждый бросал в неё горстку земли. Седой, весь белый Шавкат Нургалиевич дирижировал духовой частью оркестра. Дирижировал одной рукой. Потому что другой всё время выдёргивал из кармана плаща платок. Из духовиков не играл один лишь дядя Боря-фаготист. Он стоял возле могилы друга. Плакал. Осенний ветер налетал, раскачивал деревья, набитые галками.

С вокзала Дмитриев поехал сразу в техникум. Открыл дверь здания с широкими окнами без пятнадцати девять.

Соболезнуя, Петранюк смотрел в лицо Дмитриеву очень серьёзно. Определял состояние подчинённого после похорон отца. Так же серьёзно смотрели и преподаватели в учительской, удерживая руку. Все они были гораздо старше молодого коллеги. Поэтому когда к нему припала беременная жена, тоже молодой преподаватель, начали отворачиваться. Собирали свои тетради и учебные журналы.

Поздно вечером в спальне жена говорила: «Послушай, как толкается». Чуть не насильно прикладывала голову мужа к своему высокому животу.

Дмитриев полулежал, обняв женин живот. С растёкшимся взглядом слушал весь мир.

Однако утром за завтраком был как всегда весел, общителен. Словно забыл своего похороненного гобоиста-отца. Шутил. Как маленькую, кормил с ложечки капризничающую жену. «Нука за маму!» – подмигивал тёще.

Тёща, держа паркое блюдце на пальцах, не торопясь, обстоятельно отпивала. Поглядывала на зятя: ишь, старается. Но была довольна. Зять попался хороший. Любит дочь. По хозяйству всё делает. Выкопал, стаскал в погреб всю картошку. Один испилил лучёвкой дрова. Поколол, сложил в сарае. Хороший зять, не вредный.

В спальне одевались на работу. Жена перед зеркалом подкрашивала губы. Причёску уже сделала. В виде крылатой бабочки. Пятна беременной на лице удручали. Пудрой старалась замаскировать их, затереть.

У него рыжеватые волосы уже заметно отступили, освободив от себя большую часть куполообразного лба. Поправил остатки расчёской. Как кучерявый костерок на макушке создал. Так. Галстук поправить. В карман пиджака носовой платок. Порядок.

В осенних плащах под одним зонтом шли на работу. Муж оберегал беременную жену, обходил с ней лужи с выплясывающими водяными комариками.

4.

Остановив лопату, Дмитриев смотрел на соседний участок.

Страшнее динозавра вгрызался в дом Колобродова экскаватор. Мотал зубастой башкой, крушил. Разлетались балки, доски. Взрывалась пыль. Экскаватор отползал, снова лез, вгрызался.

В пыли бегал, кричал что-то экскаваторщику новый хозяин. Купивший землю Колобродова с домом. У его жены и снохи. Старух семидесяти лет и девяноста. Ходили тут недавно, плакали. Обе, как на похоронах, в чёрном. Одна давно с палочкой. Другая ещё нет. Подковыляли к забору: «Как живёшь-то, Серёжа? А мы вот решились, продали всё. Дом-то ломать теперь будут. А? Серёжа? Господи!» Да уж точно, хотелось сказать, вон какие дворцы кругом. Но успокаивал тогда старух – дом ещё хороший, крепкий. Оставят.

И вот – крушат.

Дмитриев продолжил вскапывать землю под грядки. Поглядывал на свой дом. Наверняка разломают. Когда хозяин откинется. Как-то забыл включить его в завещание.

На соседнем участке раскрыл рот ещё один старик. Свищёв. С бородой как мох. Глядя на экскаватор, наверняка думал так же, как и Дмитриев. Его дом был плоским. Смахивал на фанзу. А, Дмитриев? Окружают?

Граблями Дмитриев принялся сгребать на участке мусор. Потом сжигал. Дым столбом уходил к высокому апрельскому небу. А по вскопанному уже сорока-поскакуха прыгала. Длинным узким хвостом, как землемер палкой, взмахивала-намеряла.

Один, сидел на остановке. Покинутый в километре дачный посёлок заполнил собой всю низину до самой реки. Чужеродно, будто мёртвые надолбы, торчали с десяток трёхэтажных серых домов. Точно такой же серый надолб скоро будет торчать над участком Колобродова.

Вдали, на пустой дороге, появился автобус. В полуденном мареве плавился, искажался, дрожал. Дмитриев поднялся, надел на плечо рюкзак.

Дома обедал. Шла передача с болтающимися латексовыми уродами на заднике студии. Лысый широкогубый ведущий, эдакий серьёзный сибарит, хорошо, видимо, понимающий толк в еде и женщинах, удерживал микрофончик нежно, выпрямленными пальчиками. Как цветочек. «А теперь мы прервёмся – и продолжим культурную революцию». Х-хы, «культурную революцию». Этот от скромности не умрёт. Стоит с микрофончиком перед десятком человек и «проводит культурную революцию». Или не понимает словосочетания «культурная революция», или, напротив, оседлал его. И этот перевёртыш! И этот стоит вверх ногами! Хоть телевизор не включай! Дмитриев схватил пульт, перешёл на «Меццо». Хоть там пока всё нормально.

И сразу защемило сердце – «Баркаролу» Шуберта играл старый-престарый Альдо Чикколини. Итальянский пианист. Играл свою коронную вещь. Казалось, согбенный старик дышит этой музыкой. Это его воздух. И когда затихнет баркарола – он умрёт.

Сразу вспомнились отец и мать. Как уговаривали они его не ехать в Свердловск, не предавать музыку. Как торопились за вагоном, махали и махали, точно прощались с ним навсегда.

Дмитриев достал платок. Вытирал глаза. Совсем слезливым стал. Судорожно глубоко вдохнул, точно вернул себе комнату, действительность. Стал собирать посуду со стола.

Зазудел мобильник.

– Да, Екатерина Ивановна. Здравствуйте.

Городскова предлагала помочь на даче. С весенними работами. Завтра она выходная. Могла бы с вами поехать. А, Сергей Петрович?

Дмитриев привычно надулся, сказал, что только что оттуда. Всё сделал. Очистил от мусора, вскопал грядки. (Какого ещё чёрта! Какая помощь!)

Но Городскова не отставала:

– Так можно уже посеять редиску и морковку. Самое время, Сергей Петрович. Даже Рома вычитал об этом. Вчера звонил, – добавила для надёжности.

Старик от имени «Рома» – качнулся. Так в боксе откидываются, получив удар. К примеру, левый хук.

Пришёл в себя:

– Конечно, Екатерина Ивановна. Завтра в девять. Жду вас на остановке. Вы знаете, на какой.

На дачу ехали плечом к плечу. С рюкзаком и большой сумкой на коленях. Городскова была в штормовке. Платок на голове повязан по-пиратски – лихо.

Через час прибыли на место. Солнце было ярким, но обдувал ветерок, и было свежо, не жарко.

Старик Свищёв, выйдя в свой двор по нужде, опять раскрыл рот: теперь уже дом Дмитриева стоял будто весь выпотрошенный. Матрацы, одеяла, старая одежда, пальто, телогрейки висели везде. На бельевых верёвках, на заборах, на сарайке. Какая-то бабёнка бегала и лупила палкой. Вот Дмитриев попа-ал, – забыто сеялась моча. Как из лейки.

К обеду всё же дошло до посадки. Дмитриев довольно умело сооружал грядки. Рыхлил граблями, ровнял. Городскова переходила за ним, тыкала палочкой, в лунки кидала по зёрнышку.

Со своего участка Свищёв всё выглядывал. С мохнатым лицом, как с избушкой. Жена? Любовница?

Городскова его не видела. Работая, сгибаясь, выведывала у Дмитриева о даче. Как заяц косясь на разинувшегося Свищёва, Дмитриев двигал граблями, объяснял:

– ...Я-то рос в большом городе, никаких огородов и дач у нас не было. А Надя с матерью из деревни. Когда в техникуме стали давать землю, она сразу загорелась. Подвигла меня взять шесть соток. Хотя это совсем не моё. Она с матерью копалась в огороде, я только помогал нанятому плотнику строить дом. Пилил, подносил, удерживал. Сам постепенно нахватался. Сарай, уборную, калитку, все заборы – уже сам. Можно было всё давно продать. Но память. О жене, о сыне. Да и сам привык сюда ездить. Тем более сейчас. Когда свободен как ветер.

Екатерина спросила, любил ли Алёша бывать на даче.

– Так он вырос здесь. С апреля по сентябрь жил здесь с бабушкой. Мы-то с Надей только в субботу-воскресенье. А он все дни здесь. И река тут под носом, и рыбалка, и лес на той стороне, и грибы там, и ягоды. И друзья здесь у него были. Как утро, как солнце – несутся на речку купаться... Думаю, что и Роме тоже здесь понравится.

Часов в пять собрались, отправились домой. Разломанный дом Колобродова казался брошенными баррикадами. Дмитриев рассказывал его историю.

Невольно оба думали о судьбе другого дома. Который оставили за спиной.

Не оборачивались.

5.

Городскова готовила укол. Бодрый Звонкин уже сидел на лежаке, как всегда посмеиваясь, говорил. Рыжий хохолок его был стильным, – петушковым. Этот доживает свою жизнь весело. Не то что Дмитриев. Стариковская желчь и уныние – это не для Звонкина. Он только что сошёл с бильборда на улице. Где он, румяный гипертоник, показывал всем депозит, полученный в «Альянс банке».

– Ложитесь, Андрей Иванович (хватит болтать!).

Тут же кувыркнулся на бок. Задрал рубашку. Этот и умрёт на бегу, мазала спиртом Екатерина. Интересно свести их вместе. Дмитриева и Звонкина. Желчь и пламя. Что бы получилось?

Едва придавила ватку – вскочил. Подхватил брючонки, побежал.

– Машка – на выход! – подмигивал возле раскрытой двери Екатерине.

Вошла его рыхлая «Машка». Зло глянула на мужа – балабол чёртов!

Серьёзно относящаяся к своей болезни, двинулась к лежаку, опираясь на палку.

– Ну, Машка – молоток! – прямо-таки заходился Звонкин.

– Да уйдёшь ты отсюда или нет?.. Вы уж извините его, – откладывала костыль, устраивалась на лежаке, чтобы раздеться, «Машка».

Улыбаясь, Екатерина Ивановна сломала ампулу, стала набирать в шприц.

Ближе к концу работы собрали всех в большом кабинете Вебер Ольги Герхардовны. Главврача.

Терапевты и Толоконников с достоинством расселись вдоль длинного стола. Все они были с висящими рабочими червями фонендоскопов. Медсёстры и санитарки фонендоскопов не имели. Стояли вроде бездельниц, стеснительно заминая руки.

Крупная женщина в белом халате не торопясь перебирала на столе бумаги. Профессионально держала сценическую паузу. На ней не было фонендоскопа. Однако по напряжённым её глазам было видно всем, что под толстым лбом с зачесанной назад мужской стрижкой идёт сейчас большая умственная работа.

– Все собрались? Хорошо. Из департамента сегодня спустили вот эту бумагу: 1-го мая быть всем на демонстрации. Сбор в девять у нашего входа. Раздадут всем шары, ветки, плакаты и так далее. Всем понятно?

– Но ведь вроде бы отменили парады и шествия 1-го мая, – возразил Толоконников. – Только гуляния сейчас разрешены, Ольга Герхардовна.

– Нет. Сейчас всё возрождается. Всё будет как прежде.

– А если на дачу кому? – встряла Городскова.

Опять эта Городскова! Стоит впереди всех. Расставила крепкие ноги. В синей вольной рубахе, как вольный казак.

Прямой потомок крестоносцев нахмурилась:

– У вас нет дачи, Городскова.

– Уже есть, Ольга Герхардовна, – чуть не сломала язык на отчестве бесстрашная Городскова.

И ещё смотрит, главное, с превосходством, с насмешкой. Однако – оперилась. Пора повыдёргивать перья. На Городскову исподлобья глянули тёмные глаза:

– Вам что, Городскова, больше всех надо? Я вам могу устроить отдых для работы на даче. Постоянный. Идите лучше, работайте! (Пока не передумала.)

Все словно воспрянули от этой короткой перепалки медсестры с начальницей – выходили из кабинета оживлённо. Будто бы с победой. Толоконников тряс руку Городсковой. Молодец, Екатерина Ивановна! Дескать, уважаю за смелость. А что, собственно, изменилось, удивлялась Екатерина. Чему радоваться? На площади топать и кричать-то все будут как миленькие.

Плывущими шарами, транспарантами, плакатами, портретами, трепещущими белыми ветками была заполнена вся улица Ленина. Разноцветная толпа словно боролась со своей разноцветностью, стремилась вдаль, к главной площади города.

Екатерина Ивановна шла с портретом президента в середине объединённой колонны медиков. Подвыпивший Толоконников обнимал её, учил петь и маршировать со всеми: «И снег, и ветер, и звёзд ночной полёт! Екатерина Ивановна!» – топал он в такт песни. Впереди и позади вопили оркестрики. Каждый своё. Ничего нельзя было понять. Но Толоконников всё упорно учил, понуждал. Хотелось лягнуть его.

Вдруг увидела Дмитриева в кепке и плаще. Ехидный старик будто крался по тротуару. Словно бы даже хихикал: опять ведут баранов. Но от толпы не отставал. Шагал даже в ногу. Его словно тащили за шкирку с толпой. Однако как бы самого по себе. Советская привычка. Рефлекс.

Екатерина Ивановна кричала ему. Немо, опасно махала портретом позади Вебер Ольги Герхардовны, но он не видел её, не слышал.

На площади было странно кричать «ура» неизвестно кому – ни трибуны, ни отцов города на ней. На здании администрации только где-то прятались громкоговорители, и то мужским, то женским голосом выдавали лозунги.

– Да здравствуют наши славные работники медицины! Ура-а!

– Ура-а! – нестройно кричали в ответ и всё оглядывались. Словно искали диверсантов.

Дмитриев потянул куда-то в сторону. Не дошёл даже до Ленина с курковой кистью руки.

Городскова сунула портрет на палке Толоконникову, побежала. «К-куда?!» – успела только крикнуть Вебер. Ольга Герхардовна. Ну погоди, упрямая чертовка!

– ...Ведь попёрся, Екатерина Ивановна, – шёл и говорил Дмитриев. – Попёрся! Ноги потащили. Какая «солидарность трудящихся»! О чём вы говорите! Где она сейчас? Какие протесты? Всё те же надувные шары и портреты. Всё к тому же Ленину. Хотя бы трибунку для приличия поставили. Надулись бы на ней. Но нет – теперь призывы только по микрофону. Исподтишка. Спрятавшись в здании. Как инквизиторы.

Сидели в парке неподалёку от детской площадки с бегающими детьми. Старик отходил от желчи, рассказывал свою жизнь:

– Никогда не стремился в партию. Хотя тащили. Особенно жена. Однажды, также в первомай, бросил портрет Хрущёва. В проходном дворе. В мусорку. И как Бог наказал: упёрся в тупик, в забор. Назад нельзя – демонстрация, свои маршируют. Увидят без портрета. Полез через забор, свалился и сломал руку. Домой пришёл с загипсованной рукой. На перевязи. «Ты где был?» – спросила жена. Анекдот.

Покачиваясь, подковылял самостоятельный карапуз. На круглой голове бейсболка помолодёжному – козырьком набок. С изумлением смотрел на большой вислый нос старика. Такого носа явно ещё не видал.

Дмитриев подался к нему, протянул руку. Карапуз ухватился за его указательный палец. Другой ручонкой стал трогать нос, изучать. Дмитриев снял кепку, чтобы исследователю было видней. Карапуз сопел, трогал. Городскова отворачивалась, давила смех.

Подбежала молодая мама, подхватила хулигана, понесла назад, к песочнице. Оборачивалась, извинялась.

Старик смотрел на уносимого сердящегося малыша:

– Знаете, Катя, я уже говорил однажды. Одному хорошему человеку: только дети делают нас людьми. Только дети.

Старик задумался, ушёл в себя. Екатерина поглядывала на него. Щемило душу, наворачивались слёзы.

– Ну что, Екатерина Ивановна, пойдём, отметим праздник? Ко мне или к вам?

Не торопясь, пошли к выходу. Екатерина держала старика под руку. Шла с ним в ногу. В парке остался кричать детский птичник.

Глава седьмая

1.

Дмитриев всё так же думал (уверял себя), что только прошлое гнёт стариков к земле. Воспоминания. Поэтому стремился смотреть больше вперёд. Не оглядываться. Прошлое своё бросив где-то там, за спиной, за горизонтом.

Однако прошлое это его, брошенное за горизонтом, почему-то упорно возвращалось. Напрочь вышибало действительность. Дмитриев вдруг обнаруживал, что сидит в так называемой задумчивости (без дела!) полчаса или час. Он даже смотрел на часы. Безобразие! Тут же вставал и начинал делать махи. Пресловутые. Ногами. К вытянутым рукам. Или срочно искал себе дело. Чёрт знает что такое!

Но всё чаще и чаще, где-нибудь в городе, вдруг замедлял шаги и садился на первую попавшуюся скамью. И сидел очень прямо, точно стукнутый в лоб колотушкой. В такие минуты всегда вспоминались без вести пропавший сын и следом за сыном истаявшая жена.

В первый месяц, как пришло извещение, Дмитриев почти каждый день шёл в военкомат. Как на работу.

Военком, подполковник Кашин, злился:

– Сергей Петрович, я же вам русским языком говорил и говорю: всё у нас под контролем. Имеем прямую связь с канцелярией фронта. Если появится что-то новое о вашем сыне – сразу нам сообщат. (Чего же вам ещё!)

Возле большого тумбового стола раздражённо ходил крепкий мужчина в кителе с орденской колодкой и военным поплавком на правой стороне груди.

Дмитриев сидел на стуле. На стене висели два маршала при полном параде. Бровастый генсек и министр обороны в очках канцеляриста. Два корефана, два серьёзных подельника. В Афгане устроившие заварушку.

– Так, может быть, всё же связаться с частью, где сын служил, – подсказывал Дмитриев. – Там-то наверняка лучше всё знают. Как он пропал. При каких обстоятельствах. (Эти разговоры были ещё до поездки в Ташкент, до встречи с Олегом Баевым.)

– А вот это – ни в коем случае! Не имеем никакого права. Ни номер части знать, ни дислокацию её. Повторяю – всё только через канцелярию фронта. Ждите!

Дмитриев выносил из кабинета образы двух непрошибаемых маршалов на стене и рыскающего под ними злого подполковника.

Однако каждый раз возвращаясь вечером к убитой горем жене... утром снова шёл и поднимался по ступеням двухэтажного здания с решётками на окнах.

Однажды в обеденное время увидел Кашина в длинном военкоматском коридоре. Тот только что вышел из туалета. Вытирал платком руки. Но, увидев его, Дмитриева, тут же нырнул обратно. И закрылся там, видимо, на все защёлки, какие были.

Больше в военкомат Дмитриев не ходил.

В техникуме Надя ещё держалась. Дома почти всё время плакала. Глаза с распухшими красными веками сочились как нераскрывающиеся раковины. Дмитриев не умел утешать, мучился, потом отупел. Почти не разговаривали. Спали в разных комнатах. Утром что-то ели на кухне, потом собирались, шли на работу. Их вёл бесснежный провальный, как сизая яма, февраль.

Смертельную болезнь жены Дмитриев проглядел. Почти девять месяцев все её недомогания, боли в костях, сильную потливость по ночам, когда приходилось даже менять простыни, головные боли, частые простуды – всё это, казалось ему, из-за её нескончаемого переживания. От её слёз по ночам. От тоски по сыну. От неизвестности о нём.

На торжественном собрании в техникуме по случаю начала занятий 1-го сентября, когда она шла к сцене, чтобы сесть в президиум, Дмитриева впервые резанула её худоба. Точно увидел её из зала не своими – чужими глазами. Всегдашний безукоризненный женский костюм стального цвета, в котором она любила разгуливать и диктовать студентам письменные работы – висел на ней. Как на подростке, как на каком-то Петере из фильма. Среди других весёлых, переговаривающихся преподавателей она сидела словно бы одна, с пепельным лицом, с волнистыми белыми цветами на впалой груди, раскрывшейся в пиджаке как могилка.

Тогда же, в сентябре, к Дмитриеву прибежали прямо в аудиторию, во время лекции: «Надежде Семёновне плохо!» Дмитриев бросился следом за двумя девчонками.

В окружении студентов, только что поднятая с пола, Надя сидела на стуле, торопливо оправляла юбку, говорила, что всё в порядке, просто закружилась голова, сейчас всё пройдёт. Увидела вытаращенного мужа, опустила глаза. «Надя, что с тобой?!» – подбежав, как в театре воскликнул Дмитриев. Поднял со стула, повёл не в медпункт, а зачем-то в учительскую. Только оттуда вызвал, наконец-то, скорую.

Пожилой врач скорой, проделывая обычные стандартные манипуляции (измерение давления, температуры, прослушивание фонендоскопом), дотошно расспрашивал лежащую пластом больную в серой юбке и чёрной открытой комбинации. И, быстро почеркав авторучкой в своих документах, повёз в дежурную больницу вместе с Дмитриевым. Заподозрил у женщины неладное. И, как оказалось, не ошибся. В больнице, в первом же заборе крови обнаружили острый лейкоз. Дмитриеву не сказали об этом. «Идите домой, жена ваша полежит у нас на обследовании».

Сейчас, по прошествии стольких лет, помнилась только большая палата на третьем этаже отделения гематологии, заставленная кроватями с сидящими и лежащими женщинами в халатах мышиного цвета. Все они поворачивали головы, когда он входил и здоровался. И сразу равнодушно отворачивались, чтобы продолжить свои бесконечные разговоры или покачиваться сомнамбулами с подвёрнутыми ногами, о чём-то думая. Лежащая жена словно тоже его не видела, смотрела в потолок.

Он присаживался к ней, сразу начинал доставать из сумки принесённую еду, тянулся, ставил судки с горячим на тумбочку.

Убивала её худоба. Она почти ничего не ела. Он подносил ложку с супом, уговаривал, просил. От химиотерапии у неё стали сильно выпадать волосы. Остриженная, она походила на чёрно-белую фотографию узницы из лагерного архива Освенцима. Выполненную фашистом-фотографом с немецкой добросовестностью и даже художеством – из больших глаз обречённой жертвы зримо высвечивала смирившаяся, равнодушная душа. Дмитриев не мог смотреть в такие глаза жены, рука с ложкой начинала дрожать. Отворачивался.

15-го декабря, когда он пришёл в отделение, ему сказали, что жена умерла. Глубоко сожалеем. Пока не увезли в морг, можете проститься с нею.

Его завели в сизую комнату без окон, высвеченную высокой голой лампочкой.

Надя лежала на обычной кровати. Серый больничный халат её сливался с серым одеялом. Пепельное лицо с закрытыми глазами было спокойным.

Он выпрямленно сидел на табуретке. Держал мёртвую, в холодной испарине руку. Слёзы жгли. Как горячий ландрин.

Его тронули за плечо.

Встал, как слепой хватаясь за спинку кровати. Вышел.

По улице передвигался словно надорвавшаяся лошадь, готовая пасть, – раскачиваясь, задирая палочные ноги и оступаясь. Люди думали, что он просто пьян. Большой левый глаз его был чужим на лице, стеклянным.

После похорон автоматом ходил на работу, как-то там преподавал. Сильно похудел. Лысина просунулась вверх вроде Монблана из ледового серого венца. Коллеги покачивали головами: эко перевернуло беднягу.

Новая учительница русского пугалась в учительской Дмитриева. Когда тот выходил, за стол Надежды Семёновны садилась с опаской. Так боятся жилья недавно умершего человека. Белобрысые глаза блондинки испуганно искали оставшиеся следы от этого умершего человека. А?

2.

Установленный высокий баннер у входа в метро «Тёплый стан» походил на связанного по рукам и ногам робота с круглой головёнкой. От неудобства так стоять робот криво закусил букву М.

С большим рюкзаком на спине Рома возле робота ждал отца, добивая в планшете шахматную задачку. Утреннее солнце отскакивало от лужиц на асфальте, слепило.

Появился отец с купленной пачкой сигарет. Окутываясь дымом, торопился напитаться зельем возле мусорной урны. Целое утро не курил. Мама спрятала или выкинула сигареты. Бросил наконец окурок. «Идём!» На ходу заложил обратно сыну в рюкзак его планшет.

Рома шёл к входу, хмурился. Сколько мама пилит его из-за курёшки – бесполезно. Прячется. Чаще на лоджии. Дескать, поливаю цветы. Приседает там. Дым стелется над цветами. Он его раз-

водит рукой, разгоняет. Дескать, идёт опыление. Селекционер. В туалете он. Газовая камера. «Ты когда бросишь курить?!» – кричит мама.

Вагон битком, но сразу удачно сели у входа. Папа в чёрном строгом костюме, белой рубашке и галстуке. Никаких кед и джинсов. В министерстве с этим строго. А табаком всё равно несёт. И от руки, что тебя обняла, и от всей головы и лица со сжатыми, как у партизана, губами. Весь пропитался! Почему ему в министерстве не запретят курить?

Вагон летел, тесное молчаливое большинство покачивалось, разглядывая потолок. С рюкзаком пригнувшийся Рома смотрел на свои кеды и лёгкие пёстрые штанцы по щиколотку. Всё же с одеждой в школе демократичней, чем у папы на работе.

У выхода на Арбатской попрощались. Валерий Алексеевич, сразу закурив, пошёл направо в своё министерство, сын с увесистым рюкзаком к подземному переходу.

Выйдя к церкви, похожей на тесную луковичную посадку, пошёл к школе, не похожей ни на что. Просто к стенам её и окнам.

На входе уже поджидала Танька Станякина из параллельного. И чего вяжется!

– Привет, Город!

Хм. «Город». Рюкзак на самой как на искривлённом гвозде – и туда же!

В коридоре не отставала. Пока не согласился пойти после школы в «Повторный фильм» на комедию «Этот безумный, безумный, безумный мир». И с самым большим, наверное, на свете школьным рюкзаком, в который поместилось всё: и учебники, и книги, и тетрадки, общие и простые, и шахматная доска с шахматами, и два планшета – вошёл в свой 6-й Б.

– Люди, Город пришёл, – удивлялись рюкзаку и выносливости толстого Ромы соклассники.

Серёжа Антонов поспешно вскочил, чтобы Рома пролез к окну и скинул быстрее рюкзак.

Рома сел и начал выкладывать из рюкзака на парту. Чтобы всё было под рукой. Всё не помещалось на парте, приходилось многое на подоконник.

– Запасливый Рома Город, – продолжали удивляться вольно рассредоточившиеся по классу девчонки и мальчишки. В майках, футболках, джинсах, шортах и штанцах.

Приглашённый доцент Селивёрстов или просто ленился писать на доске, или тайно любил цирк:

– Городсков!

Подавал кучерявому толстому мальчишке в белой футболке распечатку с контрольными уравнениями. Тот, глянув на них только раз, как фокусник тут же возвращал и начинал наколачивать мелом на доску густую интегральную кашу.

Селивёрстов ждал, гоняя пальцами карандаш. В очках с большими диоптриями, из арсенала подводного капитана Немо. Затем поворачивался и с деланным удивлением смотрел на кучерявую черепушку, сумевшую всего за полминуты заварить всю эту кашу на доске. По памяти. Расхлёбывать которую придется остальному классу в течение урока.

– У тебя и решение есть, Городсков?

– Да, Герман Валентинович.

– Напиши, – пододвигал листок и ручку.

Рома быстро писал решение.

– Верно, Городсков. Молодец, садись, пять.

Остальные уже пускали слюну. Что тебе гончаки. Начинали быстро переписывать уравнения. Яростно задумывались. Двоечников в математическом классе не было. Но с Ромой Городом не поспоришь, нет.

Подпершись кулаком, Рома смотрел в окно. Сначала на прохожих, потом на церковь. На красивую связку луковок её.

К входу, как кузнечик, подскакал нищий на костылях. Замер. Изготовился, поджав подбитую лапку. Ему тут же начали кидать в привязанную кружку. И выходящие прихожане, и входящие. Наверное, очень радуясь, он умудрялся всё время креститься, не роняя костылей.

Рома хотел поделиться увиденным с Серёжей, подтолкнул даже его, мол, смотри. но тот отмахнулся. Был весь в гонке: первые пятеро, кто сдаст решённые работы, получат пятёрки. Остальные хоть и сдадут, но вроде неудачников останутся. Только с четвёрками. Такая идиотская метода у нашего приглашённого доцента Селивёрстова. С его подводными иллюминаторами. От капитана Немо.

В столовой Рома сидел с Серёжей за одним столом. Как и в классе за партой. Чувствуя за спиной нависшую маму, старался сдерживать себя в еде. Ел морковку и капустку. Тощий Серёжа жалостливо смотрел. Пододвигал свой бифштекс с картошкой и подливкой. Или сладкий коржик с чаем. Рома боролся с собой. Ну разве только половинку коржика. Хватит, хватит, не надо весь! Тут ещё Станякина всё время вскакивала, махала из угла. Будто про неё забудут. Тоже сейчас припрёт сюда весь свой поднос.

Едва на входе билетёрша оборвала на билетах контроль, Танька сразу потащила к мороженому.

В буфете с зеркальной стеной заказала себе высокую чашечку на ножке, полную белых шариков. Не отходя от стойки, начала запускать в рот ложечку за ложечкой. М-м, вкуснятина!

Буфетчица, вытирая стойку, ждала решения двух мальчишек. Рома опять боролся с собой. Из последних сил. Не предавая друга, Антонов тоже сдерживался.

– Что, чуваки, денег нет? – спросила Танька, облизывая ложечку. – Я дам.

– Да нет, есть. Мы просто не хотим сегодня мороженого, – наступил всё же на горло собственной песне Серёжа. – Нам лучше сегодня спрайта выпить. Две бутылочки, тётя.

Отошли к высокому мраморному столику.

Танька сразу подвесила рюкзачок под столик на крюк. У неё, наверное, кроме расчёски и зеркала в рюкзаке и не было ничего. Орюкзаченные Рома и Серёжа уныло цедили сладенькую зелень. Косились на Таньку. А у той глазёнки разбегались. Так много было белых шариков. Э, старается. Коза длинноногая. В шортиках. Да ещё чёрную майку напялила. С красной звездой и белыми буквами СНЕ. Мол, я чегеварка. Э-э, революционерка.

В отличие от легкомысленной Таньки в зале сидели серьёзно. С рюкзаками на коленях, как два парашютиста перед прыжком. Однако на американской комедии смеялись вместе с Танькой, хохотали, дрыгали ногами. Словно забыли, что нужно прыгать в бездну, лететь к земле, кувыркаться. И раскроются ли их парашюты – неизвестно. Из-за смеха мальчишек «парашюты» колотились о соседний ряд так, что зрители удивлённо оборачивались. «Полегче, молодёжь!»

Оживлённые после фильма, пошли опять к Арбатской, к школе. Обсуждали фильм, хохотали. Танька гнулась, сучила голыми ногами, точно сильно хотела в туалет. Серёжа и Рома так круто сгибаться не могли – мешали рюкзаки. Поэтому хватались за ремни рюкзаков и хохотали в небо.

Прежде чем расстаться на Арбатской площади, договорились через два дня пойти в «Повторный» на ещё один отпадный фильм. На «Большие гонки». И разошлись в разные стороны.

Словно забыв про свой тяжёлый рюкзак, Рома опять сидел в летящем, покачивающемся вагоне. Улыбался, вспоминая фильм. Молчаливому большинству было свободнее в полуденное время. И стояло, и сидело. Могло посмотреть даже в окно. То на летящий скользкий кафель, то на вислый свет очередной станции.

3.

В поезд подняла чемодан около двенадцати ночи. Взяв у проводницы бельё, в пустом купе постелилась на нижней полке и под мерный перестук почти сразу уснула.

Утром где-то стояли. На фоне коротких звуков станции, за спиной слышался старушечий воспрянувший голосок:

– ...Он сапожник у них. Раньше, бывало, от клиентов отбою не было. Драную обувь несли и несли. А сейчас – как отрезало. Как иголку проглотил. Сидит дома, скаргат´ает зубами. Аж желваки на скулах ходуном. А она живая, носится по комнате. Всё делает. Расторопная, как веник... А когда он напьётся – то строит их. И жену и дочь...

Екатерина Ивановна повернула голову. Две женщины в пёстрых платьях. Сравнительно молодая и старая. Старушка. Из одной деревни, видимо. Старушка сразу закивала:

– Проснулись? С добрым утречком вас!

Екатерина Ивановна поздоровалась. Села, оправила халат.

– Далеко едете? – уже спрашивала старушка. С личиком как светёлка. Не ответить которому было невозможно.

Весело теперь однако будет в купе. Екатерина нехотя отвечала, доставая из сумки зубную пасту, щётку, мыльницу. Сдёрнула со стенки казённое полотенце.

– А мы тоже в Москву, – не унималась старушка. – Я к своему старику в глазную. А Галя (пёстрой тумбой со скрещенными руками сидит рядом) проводит меня. И к родной сестре.

Да, конечно, очень приятно. Городскова протиснулась, наконец, к двери, вышла и двинулась в сторону туалета. Поезд уже летел. Падали и взмывали провода. Уходили от поезда к горизонту далёкие осолнеченные поля и перелески.

Понятное дело, начался потом общий завтрак с чаепитием. Старухи выкладывали на столик, угощали. Екатерина не отставала, доставала своё, тоже домашнее.

Разговор, конечно, шёл о болезнях. О лечении их. Городскова, о том, что работает в поликлинике, что медсестра – молчок. Ни-ни. Упадут на хвост и не слезут до самой Москвы. Когда её спрашивали, что она думает *об этом лекарстве* – запирала дыхание. Словно искала в нём, мутящемся в груди, ответ. И тогда за неё сразу отвечали, и можно было дальше дышать.

Старушка рассказывала о муже:

– ...Захворавший пёс он как всегда? – он бежит, тащится, ползёт. На огород, в поле, в лес и находит там нужную травку, листик, корешок. Так и старик у меня чутьём находил нужное лекарство в аптеке. Без всяких врачей. Никогда не ошибался. Простуда там, желудок. А вот с глазом промашка получилась. Залечил. Чего он только не привязывал к нему, чего не капал. Долечился. В Москве вот удалили. Теперь без глаза, как Фантомас изуродованный. Вот еду за ним.

Которая помоложе (Галина со скрещенными руками) поглядывала на подругу недовольно, с осуждением: зачем рассказываешь про такое посторонней? Но Анна Дмитриевна (так звали старушку) всё говорила и говорила. Она знала хорошо, что только в поезде и можно рассказывать попутчикам о своём больном или сокровенном. А как вышел из вагона – шабаш: все опять чужие, посторонние тебе. Да, Галина. И не спорь.

На площади трёх вокзалов расстались однако тепло. Екатерина, мня себя уже москвичкой, нашла и посадила подруг в такси. Помахала вслед. И с чемоданом на колёсиках сама спустилась в метро.

На Арбатской площади везла чемодан дорогой внука: сначала к подземному переходу, затем к красивым луковкам церкви.

В вестибюле школы – ждала. Поглядывала на вахтёршу в чёрном халате и умирающего от скуки охранника, который, вися на стуле, тыкал что-то в айфоне. Видимо, играл в войнушку или в надоевшие нарды.

Резко прозвучал звонок. Чуть погодя побежала к выходу мелкота с рюкзачками. Потом постарше девчонки и мальчишки заполнили коридор.

Надувшись, что тебе гуру, Рома шёл в сопровождении девочки и мальчика. Высокие и худые в сравнении с ним, они приклонялись к нему с боков, внимательно слушали.

Окликнула.

Нисколько не удивился. Подошёл с эскортом.

Пока обнимала его вместе с рюкзаком, сердился, недовольно говорил:

– Почему не позвонила? Я бы тебя встретил на вокзале.

– Как, Рома? Удрав с уроков?

Эскорт вежливо смеялся. Рома представил друзей: Таня, Серёжа. Екатерина Ивановна тронула сразу поджавшиеся руки. Девочки и мальчика.

Двинулись было к выходу, но сзади послышался голос: «Минуточку!» Подошёл учитель в очках с большими диоптриями. Представился. Отвёл Городскову в сторону. (Оставшаяся троица замерла с её чемоданом на колёсиках, внимательно наблюдала.)

Екатерина Ивановна не могла сначала смотреть в очень увеличенные очками глаза. Но педагог говорил про Рому только хорошее, и глаза эти его каким-то волшебным образом превращались за стеклом в двух добрейших плавающих осьминогов, оторвать от которых взгляд уже не могла. «Спасибо, вам, спасибо, Герман Валентинович!» – трясла руку педагога Селивёрстова.

– Что он сказал? – встретил недовольный Рома. Вместо ответа Екатерина Ивановна крепко притиснула его к себе. Сказала:

– Пошли, ребята!

Жилистый Серёжа подхватил чемодан Роминой бабушки и снёс с трёх ступеней. Дальше уже покатил.

Возле метро Екатерина Ивановна купила детям мороженое. Но только Тане и Серёже. Обещав внуку мороженое дома, в обед. Рома с тоской посмотрел на летящего куда-то одинокого голубя, забрал у Серёжи чемодан и повёз впереди бабушки.

Жестокая однако эта бабашка Ромы, Екатерина Ивановна, – смотрели Таня Станякина и Серёжа Антонов.

Потом развернули мороженое. Брикетное, сливочное. По тридцать рублей большая порция.

4.

Городскова не видела сына полтора года. Со времени переезда из Сургута. И поразила перемена в нём. Вместо всегда свежего, в меру упитанного мужчины тридцати пяти лет вечером приехал домой уставший, вконец измотанный человек с худым серым лицом и жёлтыми белками глаз. Мимоходом, даже не удивившись (как и сын его, Рома), поцеловал мать и сразу пошёл в ванную, на ходу бросая галстук и снятую рубашку.

В ванной долго шумела вода. За столом хмурая Ирина докладывала, что опять начал курить. Полгода как. Дома ему не дают, так накуривается на работе. До усёру. Прожелтел весь, провонял. Начальник курит, и они все стараются. Постоянные заседания наркоклуба, мама.

Под шумок Рома попытался взять ещё одну куриную лапу. Поджаристую, сочную. Тут же получил по рукам.

Так, понятно. Война на два фронта. С курением мужа и обжорством сына. Екатерина Ивановна не знала, на чью стать сторону. Но когда переодетый сын подсел к столу, вновь увидев его куполообразный лоб, весь иссечённой морщинками, невольно воскликнула:

– Ты что же это, а? Ты что делаешь с собой! Ты не курил пять лет! И сейчас – опять?

В глазах матери (медсестры!) пылала вся медицина, все болезни: рак лёгких! инфаркт! инсульт! бронхит! астма! туберкулёз! – Мало тебе, а? Мало?!

Пока два голоса наседали на папу, Рома опять было потянулся. И опять получил. Охрана. Бдительная. И папа теперь уже точно сегодня не покурит. Ни выглядывая из цветов, ни в туалете. Оба попали под раздачу. А ещё, главное, обещали мороженое.

Подпершись рукой, Рома смотрел в телевизор. Из длинного автобуса вылезали хоккеисты. Со своими клюшками и громаднейшими баулами на колёсиках потащились к Дворцу спорта. Как какие-то переселенцы. Из гостиницы им нужно на ледовую арену. С ледовой арены – снова в гостиницу. Вечные переселенцы. Света белого не видят. Зато едят, что хотят. И никто их не ругает.

– Ну, чего загрустил? – подошла сзади и обняла бабушка. Как фокусница, поставила перед внуком тарелку: – Вот твоё мороженое. – А увидев восстающее над столом возмущение Ирины, подняла руку: – Спокойно! Я ему обещала. Ещё днём.

Валерий Алексеевич Городсков после крутого наезда двух женщин виновато ел, не поднимал глаз.

Екатерина Ивановна уже с жалостью смотрела на высокий лысый череп с кустиком волос на макушке. Казалось, что внутри этого черепа какие-то нейроны нестойки, беззащитны перед

алкоголем и табаком. Как целые народы Севера... Счастье, что не пьёт. Не может пить. Пьянеет от рюмки. От бокала шампанского. Как тот же чукча, эвенк. Перевела взгляд на сноху: а мы его долбим за курёшку.

Хмурой Ирине было уже не до мужа – смотрела на пригнувшегося сына. Загребающего и загребающего ложечкой. Так и хотелось дать по глупой башке!

Утром, проводив всех, больше по советской привычке (как же, прибыла в Москву!) Екатерина Ивановна поехала в центр.

В полупустом летящем вагоне гуляли сквозняки. Проспавшие теплостановские москвичи покачивались, сцепив руки, думали о жизни.

На Красной площади было пустынно. На самом горбу её, возле мавзолея, точно боясь потеряться, теснились к экскурсоводам две-три группки голоногих иностранцев. Задирая фотоаппараты и сотовые, снимали почему-то только стены Кремля. Правда, когда Спасская заиграла железом – вздрогнули и все, как один, направили объективы на неё. Приходили в себя, опуская сотовые и цифровые фотоаппараты. Мраморную большую избу с Лениным и часовыми словно бы и не видели.

Утренний, весь золотой Василий Блаженный приобнял и пышный зелёный куст, и Минина с Пожарским с одной их вскинутой рукой.

Постояла, полюбовалась. Направилась в ГУМ.

В советские времена ГУМ внутри напоминал двухъярусную большую американскую тюрьму, в которой вдруг разом освободили всех заключённых. Сейчас заключённых словно бы загнали в камеры обратно – в универмаге было пустовато.

Екатерина Ивановна бесцельно бродила по стеклянным бутикам. Всё везде было то же самое, что и в провинции сейчас. Правда, такого сияния ювелирных изделий и часов провинциалы не видали никогда. Екатерина Ивановна с опаской поглядывала на чопорных чоповцев, приставленных к этим сияниям.

Ближе к одиннадцати уже ходила по залам Третьяковки. Тесным от картин. Здесь и людей было больше. С уважением постояла перед народной артисткой Марией Ермоловой. Как перед высокой и очень гордой иконой.

В двенадцать опять мчалась в вагоне метро. Готовить Ромке обед, а его отцу и матери ужин. Стиснутой со всех сторон, людей хотелось расталкивать, лягать. Но терпела. Вытолкнулась на своей станции. На станции Тёплый Стан. На станции будто в сплошных товарных контейнерах. Поставленных в два эшелона. Чёрт бы их побрал! Шла посреди измятой толпы, возвращала на место сбитую на бок юбку, оправляла белую кофточку с воланами.

За неделю, пока ждала Ромку, чтобы везти на лето к себе, его мать два раза не ночевала дома. Звонила часов в семь Валерию и говорила, что останется на ночь у родителей. «Всё у вас в порядке?» – «Да, да! не волнуйся!» – радостно отвечал смурной недотёпа. Походило, что «ночёвки у мамы» повторяются регулярно.

Москва удобный город для интрижек. Большой, безопасный. Днём, когда жена якобы на работе, поймать её на измене невозможно. Однако нашей жене, видимо, дневных свиданий стало мало. Нужно и ночки прихватывать.

Ирина говорила, избегая взгляда свекрови:

– Просто сильно устала вчера, мама, и не хотелось тащиться к метро.

Подпускала леща:

– У нас же в доме сейчас порядок. И без меня. Ты же, мама, следишь за всем.

Свекровь молчала, месила тесто. Ирина не выдерживала:

– Должна же я отдохнуть, в конце концов. От двух этих неслухов. Устала я бороться с ними. Устала, мама!

Ирина верила в то, что говорит. Как во МХАТе. Как в предложенных обстоятельствах. Да, верила! Её можно было даже пожалеть.

Днём, когда оставалась одна, подмывало позвонить *холёной маме*. Проверить. Так сказать, алиби её дочери. Номер мамы в мобильнике был. Но оба раза удержала себя.

Дурак-сын, походило, даже радовался, что жены нет вечером дома – дымил в цветочных зарослях, почти не скрываясь. Потирая руки, торопился к своей диссертации.

Заодно с ним был и Ромка – за ужином наедался от души. Бабушка – не мама: бить по рукам не будет. Сытый, тяжёлый, отправлялся следом за отцом. Писал за своим столиком формулы или думал над шахматными фигурами. Тишина у них стояла – неубитую муху было слышно.

В сон падали словно бы враз. Одновременно. Когда, досмотрев сериал, заглядывала к ним – отец, так и не сняв домашних штанов, лежал, свернувшись на диванчике. Сын возлежал на диване побольше. Всегда раздетый. До трусов. Одежда была аккуратно развешена на стуле. Толстенький педант.

Екатерина Ивановна накрывала прохладной простынёю внука, выключала свет.

На перроне Казанского Ирина маяла руки. Впервые сын поедет без неё, матери. Все любовники были забыты. Чуть ли не засовывала голову в открытое окно низко стоящего вагона: «Звони каждый день. Слышишь? Утром и вечером». Рома из тёмной утробы недовольно отвечал, ждал отправления.

Валерий тоже стоял потерянно: как же я теперь без тебя, старик? Один. С ней. Не забывай, старина. Возвращайся скорей.

Екатерина Ивановна смотрела на несчастливую сведённую пару, стоящую у окна. Жалко было обоих до слёз.

– Ба, ты что? – заглядывал в лицо внук. – Мы же будем им звонить. Да и скайп у нас есть.

– Всё нормально, сынок, – вытирала бабушка глаза. – Всё хорошо.

Вагон тронулся.

Серьёзный мальчишка добросовестно махал идущим отцу и матери. Которые уже торопились, спотыкались. Которые уже катастрофически отставали.

Ночью не могла спать. Под грохот колёс всё думала о Валерии и Ирине. О так называемых муже и жене. Спят отдельно. Не скрывают уже этого. Видимо, не тянет сын на это дело. Слабак. Как олень уже, наверное. Весь в наставленных рогах. И никакие тут большие зарплаты и премии не спасут. Не годится он для этой женщины. Не забыть быстрый взгляд его, когда спросила, часто ли так бывает. Когда не ночует. Взгляд затравленного зверя. Что будет с ним, когда разойдутся? Что будет с Ромкой?

Промокнув платком глаза, с верхней полки свесила голову, посмотрела на внука.

Внук спал как-то нахмуренно, сердито. Словно не признавал ни пролетающих шрапнелей света, ни всесокрушающего храпа старика напротив. Который влез в купе уже поздно вечером. И был сначала тихий.

5.

К приезду мальчишки старик перевернул всю квартиру, сделал генеральную. Ковёр и коврики лупил во дворе. Потом стал закупать продукты.

По гулкому высокому крытому рынку ходил, выбирал мясо. Жирный туркмен с голым торсом и в прорезиненном фартуке по говяжьим тушам хля́стал вязко. Громадным топором. Кидал большие куски ждущим продавцам, будто терпеливым собакам. Дмитриев смотрел на врубающийся топор, как загипнотизированный. Туркмен посмотрел на него. Спокойными войлочными глазами убийцы. Подмигнул. Дмитриев сразу двинулся дальше. Однако из гипноза точно не вышел – зачем-то накупил целых пять кило. У разных продавцов.

Опять прошёл мимо туркмена. Словно показать ему, что вот, мол, отоварился. Вами нарубленным мясом. Не сердитесь. Рядом с воткнутым топором жирный Муртазо сидел с круглыми

руками, ухватившими колени. Как палач. Ждал, когда поднесут новые туши. Старик для него был слишком костлявым.

Дома Дмитриев не знал, что с мясом делать. Однако обработав, срезав лишнее, разложив по пакетам, смог всё же затолкать в морозильник. Ну вот. Порядок. Теперь хватит надолго. «Минск» сразу начал колотиться. От возмущения, наверное. Но ничего – пройдёт. И не такое с ним бывало.

Из отложенных двух кусков хотел накрутить фарша для пельменей, так любимых Ромой, начал даже резать на кусочки. И остановил нож – перед глазами вдруг начал летать и хлястать топор громаднейшего Муртазо. Чёрт знает что такое! Шизофрения! Не хватало ещё после увиденного стать вегетарианцем. Перед самым приездом Ромы. Завернул куски обратно в целлофан. Положил на полку в холодильник. Лучше искрутить вечером.

Зазудел мобильник в комнате. Бросился, схватил: «Да, Рома! Слушаю!» Оказалось, что бабушка и внук только что проехали через Волгу. Длинным железнодорожным мостом. Прибудут на вокзал в два часа дня. «Отлично, Рома. Встречу». Хотел сказать «с цветами», но не сказал, закрыл мобильник.

До поезда было ещё три часа, но начал лихорадочно собираться. Как ехал на вокзал – почему-то не запомнил.

На перроне вдруг обнаружил у себя в руках какой-то свёрток. Бумажный. Плотный. Белый. Развернул – мясо. Которое собирался пустить на фарш. Для пельменей. Чёрт знает что! Альцгеймер! Полный Муртазо! А на станцию уже вползала глазастая электрическая морда, таща за собой безвольные вагоны.

Старик заметался. Побежал, бросил свёрток в урну.

Стоял перед проплывающими вагонами в своей манере – равнодушно. Вроде начальника станции. Философа железной дороги. (Приезжают. Едут куда-то. Зачем?) Однако когда поезд стал, и оказалось, что номер вагона совсем не тот, – рванул в другой конец состава.

Из третьего вагона сошли на перрон двое или трое с чемоданами. Затем появилась в дверях Екатерина Ивановна. Взмахнула рукой. Подала чемодан. Весом в килотонну. Принял. Поставил. Второй чемодан. Поменьше. Поставил. Подал руку. Ахнула на грудь. Ощутил большой живой вес. Охваченный легким платьем. Извинений не принимал. Сразу же забыл. Тянулся, хотел принять и Рому, но тот самостоятельно спрыгнул с нижней ступеньки.

– Здравствуйте, Сергей Петрович! (Хау ду ю ду?) – Деловой, без всяких сантиментов тон.

Что-то бормотал мальчишке. Хотел обнять, но не решился. Пожал руку.

Разбираясь с вещами, женщина и старик сталкивались, испытывали неудобство. Рома не знал, что такое смущение – с заплечным рюкзаком спокойно ждал.

Пошли, наконец. Екатерина покатила чемодан поменьше. Старик отвоевал килотонный и большую сумку на плечо.

Со школьным тяжёлым рюкзаком на коленях сидел в автобусе рядом с мальчишкой. Не теряя ни минуты, в планшете решали задачку. Шахматную. Женщина (бабушка, Екатерина Ивановна) сидела где-то там, за спиной, охраняла багаж.

Дома холодильник у неё оказался пустым, размороженным. Поэтому оставив бабушку и внука помыться с дороги, сразу поехал домой. Накрутить скорей мяса. Пресловутого. Мяса Муртазо. Чтобы можно было налепить пельменей. Для Ромы.

Накрутил. В фарш добавил воды, посолил, поперчил, перемешал.

Едва начал месить тесто, раздался звонок. Неужели уже помылись? Точно. Они. С мокрыми волосами. Ну понятно – голодные. Екатерина сразу же выдавила из кухни. Тоже понятно. Хозяйка. Мнимая. Пришлось вымыть руки и пойти в комнату, где мальчишка уже расставлял шахматы. Точно и не уезжал никуда на полгода.

Громко, но невпопад Дмитриев отвечал Екатерине. Переставлял фигуры тоже словно бы по обязанности – мешал включённый как всегда без спросу телевизор. Помимо воли пытался понять, что там происходит. Почему такое оживление. Даже ажиотаж. Наконец, осмыслил действия молодых людей:

– Бегают по парку, каких-то покемонов ищут. Господи! До какого кретинизма молодёжь дошла. Ни своей головы уже на плечах, ни стремления к труду. К творчеству. Только удовольствия. Покемонов ищут!

Посмотрел на замершего над фигурами Рому:

– Ты тоже бегаешь? Покемонов ищешь?

– Мне это не интересно. – Ферзём Рома съел офицера у Дмитриева: – Вам шах и мат.

Вот тебе раз! Тоже пробегал за покемоном, мат получил.

Быстро расставили фигуры. Чтобы Дмитриеву отыграться.

Углубились.

Чуть погодя в телевизоре началась омоновская истерика. «Стоять! Руки назад!» И погнали несчастного нараскоряку к машине. Это для Екатерины Ивановны. Потому и включила.

– Ты тоже смотришь такое? – спросил у Ромы.

– Нет. Это мне тоже не интересно, – безотчётно говорил мальчишка, вознеся кисть над фигурами. Взял и поставил ладью на нужное, точное поле: – Вам мат, Сергей Петрович! В три хода!

Старый шахматист опять рассмеялся. В полной растерянности.

– Это уже не смешно, Сергей Петрович, – хмурился юный шахматный наставник. – Вы или летаете сейчас в облаках, или не работали над собой. (Всё то время, пока меня здесь не было.)

Старик виновато оправдывался. Хотел сказать, что игра сегодня просто не пошла. Но тут на большом блюде вплыли в комнату пельмени, и Рома разом забыл о нём. Рома запотирал ладошки. Как будто увидел целое стадо белых свинюшек. С торчащей вилкой уже сидел за столом, с восторгом смотрел, как к нему в тарелку с ложки бабушки спрыгивали эти белые лаковые свинюшки.

– Только одну тарелку, Рома, – ставила условие бабушка.

Да ладно, ба! Рома уже поливал жидкой сметаной всё стадо на тарелке. Растопырился. Приступил. Никого не видел и не слышал. М-м, вкуснота.

Городскова сдвигала брови. Она была здесь как бы Ириной. Приняла эстафету. Ей положено сердиться на внука за его переедание. Попросту говоря – обжорство. Дмитриев смотрел на мальчишку с улыбкой. Спохватившись, налил в бокалы. Екатерине и себе вина, Роме – фанты.

– Ну, долгожданные путешественники, с приездом вас!

Рома согласно кивнул, стукнул в его бокал своим и поставил. Не до фанты. Снова растопырился. Когда я ем, я глух и нем. Русская народная поговорка. Знаем старину. Или ещё: голод и волка из лесу гонит. Да. Знаем. Или еще вариант: испекли в печи калачи – мечи на стол горячи. Никуда не денетесь.

Весь рот был у мальчишке в сметане. Как у кота из подвала. Бабушка совала салфетки. Хоть этим старалась как-то сгладить свой стыд перед стариком за неуправляемого внука. А Дмитриев и не видел никакого стыда, Дмитриев накладывал и накладывал мальчишке в тарелку новых пельменей. Ешь, Рома. Сил на даче много понадобится. Голодное брюхо к работе глухо. Если тоже перефразируя сказать.

Разговор, конечно, шёл о даче. На которую нужно отправиться завтра же. Не теряя ни дня. Екатерине Ивановне в отпуске гулять ещё неделю, так что завтра же и покатим.

– Екатерина Ивановна, есть ли у вас купальные принадлежности? – витиевато задал деликатный вопрос Дмитриев. (Впрямую – «есть ли у тебя купальник, женщина?» – нельзя: моветон.)

Городскова глянула на внука, смутилась. Сказала, что есть. Хотя никакого купальника, конечно, не было. Вот ещё задача! Придётся покупать.

Телевизор по-прежнему работал. Необременительно. Вроде жвачки во рту. Что-то там мелькало, двигалось, пережёвывалось. Дмитриев решил проверить гостей. Протестировать, как сейчас говорят. Уже перед уходом их, когда пили чай, не предупредив, – внезапно переключил на «Меццо».

На сцене в громаднейшем концертном зале, как море в шторм, колыхало волнами симфонический оркестр. А выше оркестра стоял и пел целый город хористов. Весь чёрный. Незыблемый.

И руководил всем этим – один человек. Тощенький, как стриж, дирижёр. На широкой подставке размахивающий палочкой.

Как будто постоянно меняющееся глубокое эхо, отлетающее в небеса, звучал «Реквием» Верди. Шла глубокая, мощная перекличка оркестра и хора.

Неземная музыка захватывала целиком. Однако бабушка и внук к «Реквиему» были равнодушны. Будто бы и не слышали ничего. Пили себе чай. Пару раз посмотрели только на оркестр и хор и всё. Да-а. Результат теста оказался хилым. Ниже обезжиренного кефира. С бабушкой – понятно. Но неужели у мальчишки нет слуха. Музыкального слуха.

– Рома, у вас проводятся в школе уроки музыки? Пения, например?

– Нет. А зачем? У нас же другой профиль, Сергей Петрович?

Странные вопросы задает сегодня старик, думал мальчишка. О купальниках, о пении. И играл очень плохо.

Тридцатая школа стояла тёмной. Ни в одном окне не горел свет. Только крыша отпаривала лунным светом.

Екатерина Ивановна покискала.

Феликс побежал к ней с тряским мяуканьем. Можно сказать, с воплями. Без всяких предварительных кошачьих политесов, не дождавшись даже, когда какой-то мальчишка вывалит в чашку все пельмени – начал хватать, давиться, есть.

– Что это он так... жрёт? – удивлялся толстый мальчишка. Сам, походило, не дурак поесть.

Будешь тут жрать. Десять суток не было хозяйки. Десять суток на голодном пайке. Даже чупачупсы с рюкзачками все исчезли. На каникулах.

Кот успевал поглядывать в небо. Он был родственником серой луны. Он был лунный обитатель.

Глава восьмая

1.

Подошёл старый-престарый автобус в облезлой краске. Дачный. Москвич Рома удивился, что такие бывают. Перед мальчишкой трясся ржавый железный монстр с раскрытой задыхающейся пастью. Бесстрашно Рома сунулся и хотел снять его на мобильник, но бабушка крикнула «скорей», и пришлось лезть с рюкзаком в салон. Фактически в монстра.

Сели, поехали. На ухабах, когда автобус разгонялся, спинки пустых сидений начинали страшно трястись, дребоданиться. До озноба, до зубной боли. Рома и тут не мог скрыть своего изумления: разве может такое быть? Бабушка и Сергей Петрович смеялись.

На поясе в чехле у Ромы зазвонил колокольчик мобильного. «Да, мама. Уже едем на дачу. Мы там на неделю зависнем. Да. Я тебе позвоню».

Сошли за городом на нужной остановке. Рома увидел дачный посёлок. В обширной котловине. С десятком островерхих высоких домов напоминающий тесный немецкий городок. Так и сказал Сергею Петровичу. Тот горько усмехнулся: увидишь ещё наших бюргеров.

Стали спускаться по пологой дороге. Пришли прямо к узкому деревянному мостку через быструю речку. «Волчанка», – представил речку Дмитриев. Рома осторожно передвигался по трём доскам. Волчанка неслась, промелькивала в больших щелях мостка, прямо под ногами, мосток сам как будто двигался куда-то.

«Осторожней! – вовремя поддержал мальчишку старик. – Мост ветхий. Ровесник посёлку. Иди, держись за перила».

За Волчанкой поднялись на пригорок и свернули на улицу к даче Дмитриева. Ночью прошёл сильный дождь, на неровной дороге провисли лужи. С большим рюкзаком на плече старик легко шёл впереди. Бабушка и внук, тоже хорошо нагруженные, несколько отставали. Рому поражал теперь цвет луж – тёмно-жёлтый. «Потому что суглинок», – коротко сказал поводырь.

Показался проданный участок Колобродова, на котором вовсю шла новая стройка. Уже торчали высокие огрызки стен будущего дворца.

Понятное дело, тучная иномарка на дороге стояла. Хозяин её ходил по участку, указывал.

Вернулся на дорогу, к машине. Сел. Весь откинутый, гордый – проехал.

– Вот они! – отскочил в сторону старик. – Бюргеры нашей жизни! – Стряхивал с камуфляжа грязь: – Чёрт бы их побрал всех!

Бабушка и внук от грязи увернулись – заранее вмазались в чей-то забор. Рома прутом потрогал тут же сомкнувшуюся лужу. Удивился её густоте. Замесу, если можно так выразиться. Готовый строительный раствор.

– Не отставай! – крикнула бабушка.

Домик Сергея Петровича Рому разочаровал – маленький, накрытый деревьями, что называется, с головой. Однако внутри оказался довольно просторным. Из двух прохладных комнат и светлой кухни окнами на участок. Роме и бабушке досталась комната с закрытыми ставнями, тёмная, как склеп. Но можно было ставни открыть, или включить свет. Рома на диване разбросил руки по спинке, слушал небывалую тишину. Бабушка и Сергей Петрович чем-то постукивали на кухне, уже готовились хозяйничать.

Когда Екатерина Ивановна заглянули в комнату, чтобы позвать к столу, – мальчишка спал, свернувшись на диване.

– От воздуха опьянел, – сказал старик. Достал из шкафа и накрыл мальчишку простынёй: – У нас Алёшка маленьким так же после города падал.

Старик уводил глаза в сторону:

– Дети они всегда так.

Как будто Екатерина этого не знала. Да. Всегда.

Сели обедать вдвоём. Пусть Рома поспит. Старенький телевизор еле-еле работал, но показывал явно пакостное, непотребное. Какие-то молодые девки и парни с цепями и причёсками петухов сидели за одним столом. Пробовали и оценивали приготовленные друг другом блюда. У кого лучше получилось. Спорили. Вдруг одна девка – тощая, как бледная немочь, – встала и начала раздеваться при всех. Уверяя козлов с петушиными причёсками, что такого тела, как у неё, они в жизни не пробовали, не едали. Поганцев это нисколько не смутило. Сидели и какое-то время оценивали. Другая девка – толстая, с мордой, расчерченной на манер индейца, вскочила и начала таскать полуголую тощую за волосы. Дескать, она, как блюдо – лучше. Петушиные козлы тоже начали махать кулаками. Кувыркаться от ударов. Вместо дегустации кулинарных блюд – полное непотребство. Содом и Гоморра!

– И это на всю страну, – в растерянности повернулся к Городсковой Дмитриев. – По федеральному каналу. Показывают молодёжи. Чтобы подражала. Урок для неё. Мастер-класс. В какое время мы живём, Екатерина Ивановна! Ладно, что Рома не видит. Это же волосы встают дыбом!

Пряча улыбку, Городскова посмотрела на голову старика: где твои волосы, чтобы вставать дыбом?

Дмитриев схватил пульт, переключился на другой канал.

Гламурная холёная девица, похожая на выдру с волосяными висюльками, громко, аффектированно говорила потасканному певцу с волосами драным мочалом: «Хотите знать: дочь она вам или нет? Вся страна затаила дыхание! Хотите?! Да или нет?!»

– Как жить? – кивнув на девицу, задал старик простой вопрос.

Екатерина Ивановна рассмеялась, взяла пульт и выключила всё:

– Живите спокойно, Сергей Петрович!

Однако в первое купание с Ромой, показывая ему свой мастер-класс, Дмитриев навернулся с берёзы. Со всегдашней своей берёзы, наклонённой над рекой. Перед тем как учить плавать, он хотел показать мальчишке классический красивый прыжок «ласточкой». Довольно бойко, по-молодому, полез по наклонённому стволу, одной ногой оскользнулся – и совсем некрасиво свержился в воду.

Бросилась Екатерина Ивановна, не успевшая даже снять халат. Рома тоже помогал выводить старика на сушу. Дмитриев упал метров с трёх, на мелководье, ушиб бедро, хромал, но духарился, говорил как американец, которому дали в челюсть:

– Я в порядке! В полном порядке!

Его посадили на одеяло. Городскова стала легонько поворачивать, подёргивать жёсткую стариковскую ногу, ощупывать её, мять не менее жесткое бедро. По вздрагиваниям старика видела, где ему больно. Но он не проронил ни звука. Как всегда. Понятное дело – железный.

Маленький сноб в плавках ворчал. В таком возрасте полное безрассудство лазать по деревьям. В таком возрасте надо бы это понимать. Но его грубо оборвали. Отправили назад, в посёлок, найти в большой сумке аптечку и быстро принести.

Видя, что мальчишка в неуверенности пошёл, Екатерина Ивановна подстегнула:

– Бегом!

Рома испуганно побежал.

Пока мальчишка бегал, выхлестала из двух бутылок газировку, набрала речной воды и приложила к бедру старика.

– Зачем, Катя? – удерживал бутылки старик.

– Держите! Уменьшат отёк.

Примчался Ромка. С клеенчатой толстой аптечкой. Тут же растёрла всё бедро меновазином. И начала мягко бинтовать. Разгорячённый Рома удерживал сбивающееся дыхание, смотрел, учился.

Сосед Свищёв застыл со шлангом в руках, будто с недержанием мочи – тощего Дмитриева в плавках вели с перебинтованной ногой. Поддерживали под локти жена и толстенький сын. Или внук? Или правнук? Вот это да-а. Как после боя ведут. Отвоевался.

В раскрытом мохнатом ротике застревал ветерок.

Дмитриев подмигнул. Из сопровождения:

– Все помидоры зальёшь. Сосед!

Свищёв опомнился. Дал фонтаном вверх. Начал укрощать его, перекрывать вентилем. Да не так! Шланг начал беситься.

Рома остановился, не по-детски серьёзно смотрел. Соседский старик плясал во всем своём сверкающем неподдающемся поливе. Закрывался руками... Один с берёзы падает, другой не может закрутить простой кран.

В доме, чтобы отвлечь больного от тяжёлых мыслей, сразу начал расставлять фигуры.

– Ты с ума сошёл? – наклонилась бабушка. Тихо приказала: – Убери сейчас же.

Дмитриев ничего не слышал. Дмитриев сидел с перебинтованным бедром, как с перебинтованным прикладом от винтовки, уткнутой в пол. Обдумывал свою неудачу на реке. Пришёл к выводу, что, упав с берёзы, просто облажался. Как сейчас говорит молодёжь. По полной.

В обед ели окрошку. Первую этим летом. Приготовленную Екатериной Ивановной. Огурец в ней был покупной, привезённый с собой. Как и квас. И колбаса. И яйца. И сметана. Но редиска, укроп и лук – свои. С огорода. Картошка тоже своя. Из погреба.

Старик и мальчишка наворачивали. За обе щеки. Однако не забывали и про свои планы. Договорились пойти на реку завтра. Ближе к вечеру? Нет, прямо с утра, Сергей Петрович.

На другой день, тоже придя к реке искупаться, Екатерина Ивановна от смеха поползла в кусты – старик учил Ромку плавать на берегу. Под его команды Рома ходил в громадных ластах и маске с жёлтым хоботом наверх. Учился ходить. Высоко задирал ноги. «Раз-два, Рома! Смелей!»

Мальчишка запутался в ластах и растянулся на песке. Старик поднимал его, успокаивал, мол, терпение, Рома. И опять командовал: «Раз-два! Раз-два!»

Екатерина Ивановна дрыгала ногами, не могла удержать струйки в паху. «Когда же он успел купить это всё? – с испугом успевала только думать. – Эти ласты и маску?»

Она не знала, что старик хотел прикупить ко всему и ружьё. Со стрелой. Для подводной охоты. Но не потянул. Финансово.

Поэтому пока так, без ружья. Только с ластами и маской с хоботом:

– Раз-два! Раз-два!

2.

Первые дни на огороде работала одна. Едва проснувшись и даже не поев, два стоика в плавках отправлялись на реку. Конечно, со своими ластами и хоботами. Ладно, что хватало ума не надевать их сразу. Едва выйдя за калитку. И чапать в них дальше. До самой реки.

Екатерина Ивановна думала, что так и маршируют по берегу на потеху мальчишкам и девчонкам посёлка, но дня через три её пригласили на берег, чтобы показать успехи Ромы.

Мальчишка, казалось, вяз в воде, вытаскивая и перенося руки как тяжёлые негнущиеся колбасы. Но плыл. Плыл! Под прыжки и вопли ребятишек-болельщиков. Сергей Петрович гордо стоял рядом с Городсковой, как бы говоря: вот, терпение и труд всё перетрут. Затем сам с этакой профессиональной ленцой лез на берёзу, вставал на самом её верху над всем земным простором и «ласточкой», с распахнутыми руками, летел в реку. Вся мелкотня, как по команде, карабкалась за ним, тоже прыгала, сигала солдатиком и даже кувыркалась.

Благоразумный Рома не лез ни на какие берёзы – Рома показывал всем охоту на рыб: жёлтый хобот перископом подводной лодки двигался, рассекал воды. Что делал под водой охотник – неизвестно, но все шли и следили. Рома с большим шумом выкидывался из воды, точно ухватив тайменя. В маске с хоботом – страшный. Потом в тех же ластах и сбитой маске, тяжело покачиваясь, выходил на берег. Разрешал желающим примерять ласты и даже походить по берегу. В них и с хоботом. Но в воду не пускал – опасно, нужна тренировка. Сам сидел на песке, опираясь на руки. Ленился.

Однако вскакивал и начинал бегать возле берёзы, увидев, (просмотрев!), что бабушка уже стоит на ней. Готовит себя к прыжку. В чёрном купальнике, как большая ракушка.

– Слезай немедленно! – кричал мальчишка среди тоже немало изумлённых малолетних зрителей. – Слезай! Расшибёшься!

Не так красиво, конечно, как Дмитриев, бабушка сигала вниз. В воду летела тяжёлая бомба, перебирающая белыми ногами. Брызги на всю реку! Но потом ловко, красиво плыла. Рома опускался на песок. Такие переживания! И Дмитриев ничего не видит – раскинул руки и движется себе вниз по реке. С плывущей, как дыня, головой.

Так же, как плаванье, Рома полюбил поливать огород. В плавках и бейсболке он стоял на одном меридиане со стариком Свищёвым в застиранной тельняшке. И в точности, как и тот, удерживал шланг.

– Хороший у тебя внук, сосед, – говорил по утрам Свищёв. Специально громко. Чтобы Рома со шлангом слышал. – Работящий.

Однако Городскову (жену Дмитриева? сестру? любовницу? тёщу?) Свищёв сразу невзлюбил. Как только та появлялась на огороде в купальнике или даже в халате – с досадой бросал шланг. Шёл во двор и матерился. Это всё равно – что баба на судне! (На судне-огороде.) Притом полураздетая! Сама ракушка да ещё каждый раз раком!

Старый морской волк во дворе начинал яростно сублимировать. Колуном лупил дрова. Он жил в своём домике круглый год. Как списали с флота. Никаких жён у него сроду не было. К пенсии зимой получал ставку сторожа. Мать вашу!

Пробыли на даче ровно неделю. Рома сильно загорел и как-то подсох. В кепке и кудряшками над ушами стал походить на цыганёнка. В полупустом автобусе уже не удивлялся дреботанящим сиденьям. Удерживал свой неизменный рюкзак с большим достоинством. Как дачный труженик. «Да, мама. Едем домой. Потрудились на славу. Ну и отдохнули, конечно. Я научился плавать. Сергей Петрович научил. Он отличный учитель плаванья. Да, мама. Позвоню». Человек в бейсболке сидит. Человек серьёзный. Понимающий теперь не только математику, но и работу на огороде. В частности все тонкости полива овощей. К помидорам – один подход. К огурцам совсем другой. А над зарослями моркови и укропа – только рассеивание. Из лейки.

Однако дома Рома опять удивился. После того как сел в ванну, набранную бабушкой, и намылился – чистая вода на глазах начала сереть и превратилась в грязную. Странно. И загар тоже

вроде бы куда-то ушёл. Стал бледным. И ведь на реку ходил каждый день. Два раза в день. Целую неделю. Так – почему? «Цыганский загар, – смеялась бабушка. – Это цыганский загар с тебя сошёл, Рома!» Хм, «цыганский загар», всё разглядывал свои выцветшие руки исследователь. «Это грязь, что ли, сошла, ба?» – «Она самая!»

Екатерина Ивановна отвечала из спальни, смеялась, но торопливо одевалась на работу. Сегодня – первый день после отпуска.

Феликс опять жрал, неделю не кормленный. Давился. Принимался по-кошачьи кашлять. Раздуваться как шар и пшикать. Снова хватал, давился. Целую неделю опять на голодном пайке!

Городскова с тоской смотрела по сторонам. Искала среди идущих хоть одного человека. Ведь ни одна собака не покормила.

Вывалила остатки еды в чашку. Оставила кота, который уже рыгал, как кочевник. Который не знал – хватит уже или дальше продолжить.

В поликлинике сразу напоролась на невероятное – в коридоре тощая Небылицына била Толоконникова. Медсестра своего шефа. Била неумело, по-детски, стукая кулачками его грудь: «Гад! Гад! Гад!» Невропатолог в изумлении отступал, давал себя бить, держал руки за спиной, будто связанный.

Городскова бросилась: «Ну-ка, ну-ка!» Оттащила дёргающуюся цаплю. Охватила её сзади, пыталась зажать, утихомирить, но та на удивление оказалась очень сильной – вырвалась, успев даже лягнуть Городскову. Быстро пошла по коридору. Потом с раскинутыми руками побежала. Будто пугало в медицинском халате с огорода.

Толоконников с места не двинулся. Как впаянный. Вытирался платком и только бормотал: «Она сошла с ума. Она сошла с ума». Не видел, что все пациенты в коридоре повернули к нему головы. С раскрытыми ртами. И стар, и млад.

Как больного, Городскова повела его к себе. В процедурной усадила на стул.

– Я ничего не сделал ей, ничего не сказал. Я вышел в коридор обдумать диагноз. Она выскочила как фурия. Плеснула зеленкой. Начала царапать меня, бить. Екатерина Ивановна!

Городскова только тут увидела, что на щеке невропатолога горела царапина, а его халат весь в зелёнке. Его безукоризненный халат! В который он так любил закладывать левую руку!

Городскова торопливо налила в мензурку: «Выпейте, Виктор Валерьевич, Вам необходимо сейчас».

Толоконников безропотно проглотил.

Заглянул какой-то старик. С зелёной щекой:

– Доктор, а как же я?

Немая сцена.

Вечером Городскова пришла домой сама будто избитая. В прихожей сидела в неудобной позе бандуристки, никак не могла расстегнуть ремешок на босоножке – заголившаяся толстая бандура плохо сгибалась, липкий ремешок не поддавался.

Никаких разбирательств и собраний не было. Небылицыну уволили сразу же. С трудовой и расчётом она прошла по коридору ровно через час после драки. Красные пятна на её щеках независимо горели.

Толоконников переживал. Теперь один в кабинете слушал жалобы больных рассеянно. «Обдумывать диагноз» в коридор не выходил.

После обеда не выдержал, пошёл на третий этаж. Просить.

– Точка! – хлопнула по столу Вебер Ольга Герхардовна. – Стыдно за вас, Толоконников. Мужчина вы или нет?

Толоконников постоял, подумал.

– Идите, работайте.

Толоконников пошёл.

– Развесил тут нюни, понимаешь...

Рома с удивлением смотрел на замершую бабушку. С порванной босоножкой в руках и упавшим до пола платьем.

– Ба, что случилось? На работе что-нибудь?

Отмывшись после дачи, Рома словно бы снова растолстел – раздетый, в плавках, стоял руки в бабьи бока.

Городскова бросила порванную босоножку в угол.

– Да так, пустое, Рома...

Пошла за внуком в комнату.

Ну, как ты тут, сынок? Что делал? Куда ходил? (Про оставленную еду, про обед не спрашивала, зная, что Рома себя не обидит.)

Внук обстоятельно всё докладывал. И про скайп с Москвой («Тебе большой привет, ба»), и про Сергея Петровича, который тоже звонил.

С везущимся халатом Городскова шла к ванной, выслушивая внука. Не забыла похвалить:

– Молодец, Рома!

Зашла за дверь, пустила воду. Содрала, наконец, с себя прилипшее платье.

3.

– Какое возьмёшь?

Сергей Петрович стоймя держал два удилища. Одно бамбуковое, другое, как он сказал, – ореховое. Вырезанное из лесного ореха. Извилистое, с корой коричневого цвета. Он только что слазил на чердак и достал оба удилища оттуда.

– А какое эффективней?

– Ты хочешь сказать – уловистей? Вот это – ореховое.

– Тогда – его, – твёрдо сказал Рома.

Отправились на реку. Рома, как заправский рыбак, нёс удилище на плече. Задирал голову, смотрел вверх – длинный извилистый конец орехового доставал до солнца, царапал его.

– Осторожно, упадёшь, – подхватывал Сергей Петрович.

По заводи, прямо по зеркальной поверхности, бегали какие-то комары гигантских размеров. Рома таких никогда не видал. Старался смотреть на поплавок. Однако ни черта не клевало. Даже на ореховое. Руки уже устали держать.

– Терпение, Рома, сейчас рыба подойдёт.

Рома усмехался – «подойдёт», «подъедет». Смотрел, как старик достает из целлофанового мешка жижеобразную массу, наверняка вонючую, и раскидывает её по заводи. Это у него называется – «приваживать рыбу». Он раскидывает «приваду». Сейчас, дескать, подойдёт, подъедет. Одни комары-гиганты только бегают, и больше ничего.

– Клюёт! Соня!

Рома ахнул. Рванул ореховое – плотвичка со снастью перелетела через него и упала на куст.

– Поймал! Поймал! – слетела вся надутость с мальчишки. Подпрыгивал с удилищем, как чемпион, не давал Сергею Петровичу снять плотвичку с крючка.

– Тихо, Рома, тихо. Всю рыбу распугаешь.

Дальше с ореховым в руках смотрел во все глаза. Едва торчащий поплавок начинал шевелиться – пружинно напрягался. Поплавок или разом нырял, или ехал в сторону – тут же подсекал и выносил трепещущую рыбёшку на берег, на гальку. На прыгающую рыбку смотрел горящими глазами пиеролапитека прямоходящего, древнейшего своего предка. Ждал, когда Сергей Петрович отцепит её с крючка. Сам дотронуться до живой плотвички пока боялся. Потом, Сергей Петрович. Привыкну. Снова быстро закидывал снасть. С червячком, тоже пока надетым на крючок Сергеем Петровичем. Потом буду надевать. – Ага! Есть! Попалась!

Домой шли неторопливо. Как настоящие рыбаки. С удилищами на плечах и плетёной корзинкой на руке у Сергея Петровича. Сырая корзинка, понятное дело, – с пойманной рыбой. «Да,

мама. На реке теперь зависаем. Ловим рыбу. Плотву. Завтра пойдём на язя. Очень крупного. Ловится проводкой. На бабочку. Долго объяснять. Жаль, что папы с нами нет. Он бы сразу бросил курить. Всё, пока!»

Жарёха (название Сергея Петровича) из рыбы получилась отменная. Ели её с большой сковороды. Рома плоские засушенные тушки ел, казалось, прямо с костями. Дмитриев хвостики плотвичек обсасывал. Говорил:

– Ты, Рома, поймал больше меня. Потому что удочка у тебя была уловистей. Ореховая. Мой сын Алёшка с ней всегда меня облавливал. Да.

От бабушки Рома знал, что сын Сергея Петровича пропал в Афганистане. Более тридцати лет назад. Поэтому проникнулся сочувствием. Перестал даже есть, поглядывая на старика. Но тот, видимо, упомянул сына просто так, как говорят, всуе, – обсасывая хвостики. И Рома со спокойной совестью снова ел высушенные похрустывающие сахарные рыбки.

Теперь по утрам на реку ходили почти каждый день. Очень крупного язя, правда, не поймали ни проводкой, никак, зато плотвичек всегда надёргивали предостаточно.

Приехавшую в пятницу Екатерину Ивановну в кухне встретили два повара из ресторана. Повар и поварёнок. Будто бы даже в фартучках и колпачках. Показали на стол: – Пожалуйте отведать наше блюдо.

Екатерина Ивановна ахнула. Большая сковорода с разложенными Сергеем Петровичем золотистыми рыбками больше походила на подробнейший ацтекский календарь, чем просто на блюдо из рыбы. К тому же всё было усыпано укропом и зелёным резаным лучком. Когда же это вы всё успели? Научиться ловить этих рыбок и даже жарить? А вот и успели.

На другое утро Городскова тоже стояла у воды с толстым удилищем. Ворчала:

– Ну конечно, вырезали для меня в лесу оглоблю и думают, что на неё будет клевать.

Ревниво поглядывала на вылетающих из воды трепетливых рыбок. То справа от себя, то слева. Конечно, когда иметь нормальные удочки.

Внук бросил под оглоблю, под дубину какой-то хренотени. Привады, как он сказал.

– О! О! – запрыгала бабушка. – Поймала! Поймала!

– Тише ты! Всю рыбу распугаешь.

Морской волк Свищёв не просто рот раскрыл – разинул! – по дороге шла соседская троица с удилищами до неба. Вот этто рыбаки-и. Так и зашли в свой двор, цепляя удилищами деревья. Не иначе на тайменя ходили. Шланг поливал помидоры сам по себе.

Ближе к вечеру рыбаки опять вышли с удилищами. Но не с одной корзинкой, а в полном туристском снаряжении. С рюкзаками, со свёрнутой палаткой и даже с закопчённым казаном. Понятно, закрыл рот Свищёв, отправились на тайменя. Теперь уж точно. С ночёвкой. Даже огород забросили, не поливали. Готовились. Понятно. Теперь туристы-рыбаки.

От посёлка вниз по реке прошли километра полтора. Сергей Петрович остановился, скинул рюкзак и палатку и сказал: здесь! Точно определил место бивака. Довольно просторная песчаная проплешина среди кустов, а напротив – медленно закруживающая заводь для рыбалки. Только здесь!

Начал ставить палатку. Забивать колья, натягивать верёвками брезент. Добиваясь островерхой формы летучей мыши. Рома, не совсем понимая, чего от него хотят, ходил по берегу, искал палки, ветки. Вроде бы дрова. Чтобы не маяться, притащил целую корягу. Сырую.

– Да нет, Рома, нет! Нужно только сухое. Под кустарниками собирай. Обломавшиеся высохшие ветки.

Так бы и говорили, сердился Рома.

Сергей Петрович переделал свою снасть. Привязал на удилище, как пояснил, донку. Для ловли окуней и ершей. А возможно, и щук. Поставил удилище на вырезанную рогатку. И словно бы ничего больше не делал. Ходил себе и ждал, когда задёргается кончик удилища. После резких

дёрганий снасти кидался и подсекал. Но разочарованно подвозил лесу к берегу. Подняв, смотрел на дёргающегося ершишку размером с соплю. Не слушал смех других рыбаков. Рядом.

И дальше, каждый раз обманутый сильным дерганьем снасти, – рефлекторно кидался к удилищу. Но разочарованно вёз лесу к берегу. И опять разглядывал ершишку, удивляясь силе, с какой сопливенький дёргает снасть. Прямо Геркулес. Бабушка и внук дрыгали ногами на песке, побросав удочки. А чего смешного, поворачивал голову старый рыбак.

Солнце село, начало быстро темнеть. Сергей Петрович развёл костёр и подвесил казан с водой.

Костёр жадно облизывал казан. Словно бы скликал всю чёрную ночь. Рома не отрывал глаз от него. Сергей Петрович и бабушка к пляшущему пламени были равнодушны – бабушка чистила картошку, Сергей Петрович солил уже почищенную рыбу. Разговаривали о пустяках.

Тарелки для ухи были обычными, столовыми, зато ложки – деревянными. Сергей Петрович говорил, что только такими и нужно есть уху. Он зачерпывал со дна казана уху, поднимал поварёшку и наливал вместе с густым паром в тарелку. Подавал в осторожные руки внука и бабушки.

Ели, покачивали головами, мычали от восторга.

– Вот вам и ерши, над которыми вы смеялись. Без них уха – не уха. – Сергей Петрович стягивал с деревянной ложки шумно, по-рыбацки. Хлебал уху. Как положено.

– Кому добавки?

Он ещё спрашивает! Две тарелки тут же подсунулись под парящую поварёшку.

Пили чай. Старик и Екатерина удерживали кружки задумчиво, обеими руками. Рома вне зоны их глаз налегал на печенье, не забывая припивать.

Пустой костёр догорал. Красно-фиолетовые хлопья слабели, едва трепетали над сжавшимся жаром. Усеянное звёздами небо стало близким. Рукой подать.

Часов в девять забрались в палатку.

Спальный мешок был только один. Остался от сына Сергея Петровича. От Алёши. Рома лежал в нём как в странном египетском размягчившемся саркофаге. К тому же пованивающим затхлым, давно не стиранным. Бабушка справа и Дмитриев слева точно не слышали этого запаха, как ни в чём не бывало разговаривали. Они лежали в свитерах, тёплых штанах и шерстяных носках. А Сергей Петрович вдобавок в лыжной шапке. Видимо, чтобы ночью лысина не замёрзла.

Рома старался не смотреть на ползающие по брезенту лунные тигровые лапы, всё обдумывал свое положение в «саркофаге». Потом как-то незаметно уснул.

На другой день снова ловили рыбу. Потом купались. Подходящей берёзы на берегу не нашлось, поэтому Дмитриев показывал лишь медленный мощный кроль вдоль берега. Екатерина Ивановна не отставала, махала сажёнками. Рома переносил толстые руки медленно, пытался подражать Сергею Петровичу.

На открытых буграх, на солнцепёке, уже вызрела земляника. Собирали в стеклянные банки. Не забывали кидать в рот.

Потом залезли в малинник в низине. Рома разом забыл Москву. Забыл свои шахматы и формулы – ел малину горстями. Обирающий ягоду Дмитриев смотрел на него снисходительно. С остатками красного на губах, вроде уже излечившегося вампира.

Вернулись на дачу ближе к вечеру. Немного отдохнули, полили огород и отправились домой.

Оставшийся Свищёв плясал, боролся со своим фонтаном.

4.

Всё чаще и чаще скребла мысль, что нужно рассказать всё старику. О внуке его, о правнуке. Раскрыть ему глаза. Что дальше тянуть нельзя. Потом будет ещё труднее. Ситуация, в которую загнала себя сама, давно созрела, нарвала. Её нужно было вскрыть, в конце концов. А там уж – что будет.

Городскова застывала с забытым шприцем в поднятой руке. Не видела подкрадывающейся, вернувшейся с того света попы. Попы Пивоваровой. Которая уже стояла наклонённая: «Ну что

же ты, доча? Тяжело стоять». Медсестра спохватывалась: «Извините, Анна Ефимовна». Мягко ставила укол. Помогала надеть штанишки.

Старик был постоянно закрыт, неприступен. Нахрапом брать такую крепость немыслимо. Это – по умолчанию. Нужно дождаться момента, когда он отмякнет на какое-то время, станет лиричней, что ли, пустится в воспоминания. И притом только с ней, без Ромки.

Впрочем, такой момент недавно был, но и его упустила.

Старик приехал за свитером для Ромки. («На вечерних рыбалках свежо, Екатерина Ивановна».) Взять его и сразу уехать назад. Она всполошилась: как же мальчишка там один! Сергей Петрович! (Мол, чего же ты, старый идиот, одного его оставил?)

Странный упрёк, нахмурился Дмитриев. Нужно бы знать своего внука. Человека ответственного.

Сухо сказал:

– Он поливает огород. Под присмотром Свищёва.

Подошёл к фотографиям на стене. Их можно будет спокойно рассмотреть. Пока за спиной переворачивают весь дом, ищут свитер.

Постояв перед сердитым (ответственным!) Ромой в центре, сдвинулся от него к другой фотографии. Рядом.

Молодой мужчина с высоким лысым черепом в форме кудрявой беседки. Тупо-острый нос. Напряжённые глаза в черепе будто бы на защите интеллектуальной собственности... Это и есть, по-видимому, отец Ромы. Валерий Алексеевич Городсков... Что-то неуловимо знакомое в нём проступало. Где-то когда-то уже виденное. На Екатерину Ивановну совсем не похож. Остаётся – обликом в неизвестного общественности папу. Да. Только так.

Старик отошёл от фотографий.

Однако за столом был рассеян. Глотал чай безотчётно. Блуждающие глаза его роднились с луноходами.

Неожиданно спросил:

– А чем Валерий Алексеевич занимается в министерстве? Конкретно?

Никогда не спрашивал! Как будто тот и не существовал!

Вместо того, чтобы спокойно сказать старику: да это же внук ваш, Сергей Петрович. Неужели не узнали? – и даже рассмеяться – Городскова похолодела. Быстро глянула на Валерку на стене. Начала что-то говорить о нём, отвечать. Общими словами. Второй референт он, Сергей Петрович. Участвует в заседаниях. Видимо, что-то подсказывает шефу. Ну министру.

– Вы говорили, что он пишет диссертацию. Какова её тема? – всё допытывался старик, перестав пить чай.

– А вот этого я совсем не знаю, – окончательно сконфузилась Екатерина Ивановна.

– Жаль. – Старик вернулся к печенью, к чаю, снова ушёл в себя. Забыто слетали с губ слова: – Матери бы об этом нужно знать.

Неужели узнал, почувствовал что-то, всё следила за блуждающими глазами Екатерина. Так и упустив момент.

Потом ещё был подобный случай, когда можно было сказать старику. Правда, не под фотографиями, а на почте, куда зашла зачем-то с ним получить перевод от Валерия. (Перед поездкой на дачу, где их ждал Рома.) И тоже не решилась, не посмела. И старик стоял рядом, пока заполняла бланк. Постукивал пальцами по стойке, и лицо его было недовольное и даже злое. Словом – никак. Язык опять не повернулся.

В августе приехала Галина.

Сёстры не виделись полтора года. Галина сильно постарела. Из вагона, хватаясь за поручни, спускалась тощая старуха с поредевшими космами серого цвета.

Обнимая её, чувствовала в руках какую-то неустойчивую жесткую механическую куклу.

– Ну, ну. Телячьи нежности ещё какие-то, – сердилась Галина. – Вези вон лучше чемодан.

Дома оставила её мыться и отдыхать, а сама поспешила обратно в поликлинику.

Вечером две сестры ужинали. Галина оглядывала комнату. Верная себе, давала указания. Вымытые волосёнки её походили на рассыпавшуюся хижинку китайца. Диван переставить вон туда. Телевизор тоже туда. Тумбочку сюда. Стол вообще выкинуть, купить новый. А шторы? Что это за шторы у тебя на окне? Это же жёлтая Африка! С папуасами! Жёлтый дачный огород! Завтра же купим новые. В общем – начальница. Бывший прораб. Всю жизнь среди мужичья. На стройках. Сейчас на пенсии. Беломорины только в зубах не хватает. Курить бросила.

– А где Роман? – словно только что обнаружила, что внучатого племянника в комнате нет.

Городскова рассказала о Дмитриеве. Как встретила его в первый же день после Сургута. Как ходили к нему потом, как привязался к старику Ромка.

– Ну и зачем он вам? Такой дедушка? – удивилась Галина Ивановна. – После стольких-то лет? Ведь будет думать, что за квартирой охотитесь. Не морочь голову ни себе, ни Валерию с Ромкой. Забудь, Катюшка. Быльём поросло.

Старая Катюшка начала горячиться, что всё совсем не так, ни о каких квартирах речи даже нет, жалко просто старика, что одинокий человек, что Ромке-то он прадед, родной прадед, Галя, но сестра прервала:

– И что? Поедете на передачу «Жди меня»? Устроите индийское кино? Встреча через тридцать лет? Старенького дедушки с внуком да ещё и с правнуком в придачу?.. Ты как-то подзабыла, милая, что сделал с тобой его сын. Хочешь ему рассказать об этом? Представить ему результат – внука и правнука? Тебе надо это? Это же себя не уважать!

– Да при чём тут «уважать, не уважать»! – в беспомощности восклицала Екатерина Ивановна.

– В общем, не дури, Катюшка. Завтра лучше поедем к папе и маме. Наверное, и не была на кладбище ни разу. С этим объявившимся Дмитриевым. Да и Рому не мешало бы взять с собой. Чтобы знал, кто его настоящие прадед и прабабушка, – всё ворчала начальница-прорабша. – А не всяких там самозванцев.

5.

Поехали на кладбище на другой день. Сразу после работы Екатерины.

Одетая в штормовку сестры, с сумкой на коленях, Галина не отрываясь пялилась в окно на пролетающее. Походило, ничего не узнавала в городе. Всё время спрашивала сестру – «а это что? а это откуда тут взялось?» И даже удивилась один раз, увидев громадный, как многопалубный Титаник, универмаг. Смотри-ка, тоже стало как у людей.

В своё время Галина хорошо заплатила кладбищенскому начальству. И отца, и мать похоронили в старой, зелёной части кладбища. Похоронили рядом, в одной оградке. Увидев заросшие бурьяном две могилы, больше похожие на заброшенные в огороде грядки, Галина в сердцах воскликнула:

– Бить тебя некому, Катюшка. Честное слово!

Сбросила штормовку и сразу принялась выдирать бурьян.

Екатерина Ивановна смотрела на круглые портретики в пирамидках. Мама и папа словно жили в этих пирамидках, выглядывали из них. Дочь смахивала виноватые слёзы. Была она здесь только один раз. Сразу после приезда из Сургута. И, приехав на кладбище, точно так же, как Галина сейчас, раскорячивалась и выдирала многолетнюю дурнину. Бедные папа и мама.

– Помогай! – глянула из-под шляпы сестра. – Развела нюни.

Надев нитяные перчатки, Екатерина Ивановна тоже стала выдёргивать сорняки. С другой могилы. С могилы мамы. Охапками выносила бурьян на дорожку вдоль оградок. Галина лопаточкой рыхлила землю, потом сеяла какую-то траву. Солнце садилось, лучи ползали, терялись в чёрной роще. Кукушка предночно куковала. Невольно слушали, отсчитывали своё время. Что-то маловато получалось. Кукушка вновь принималась куковать, и появлялась надежда.

Перед уходом сидели на скамейке, за две бутылки сделанной когда-то кладбищенскими людьми. Руки ощущали шершавую, шелушащуюся краску. Галина опять начала:

– Что же ты не подкрасила ничего? Ни скамейку, ни оградку? Ведь ошершевело всё. Осыпалось, облупилось. Неужели трудно было на родительские приехать и освежить?

Городсковой нечего было сказать, уводила глаза.

По дорожке за оградками прошла худая старуха с палочкой. Скрюченная, как скоба. Забыв про «покраску», Городскова невольно сравнила её с сестрой. Такой же тощей и длинной. Но Галина сидела очень прямо. С прямой спиной и задранным подбородком. Нет, такую время не согнет. Не скрючит. Так и останется прямой палкой. До последнего своего дня.

Приобняла сестру. С навернувшимися слезами покачивалась с ней. «Что это опять за нежности?» – ворчала та. Но мирилась.

Надгробные медальоны с папой и мамой словно спятились в темноту. Атеистические две звёзды над ними стали черными.

Что бы ни говорилось два дня назад, но Галина должна была увидеть Дмитриева. Так называемого дедушку и прадедушку. Дала себя уговорить сестре. И в пятницу отправились на его дачу. Посмотрим, что за гусь. Пёстрое платье на решительно шагающей Галине взбалтывалось сзади как погоняло, летняя шляпа её имела вид птицы, присевшей для взлёта.

Дачный домик Дмитриева Галина одобрила, приняла: свежепокрашенный, с побелённой трубой, весь утопающий в зелени. Хороший домик, ухоженный. И забор не облезлый. Не то что оградка у некоторых. На кладбище.

Однако во дворе, знакомясь с натуральным лысым козлом в висящих плавках, Галина Ивановна смотрела в сторону. Развесил яйца без стыда и совести и жмёт, главное, руку.

Пошли в дом. «Козёл» шёл впереди, растопыривался на крыльце, болтал меж ног своей колокольней. Да-а, вот Катюшка попала.

В доме, как увидев спасенье своё, крепко прижала кучерявую вскочившую голову к своей тощей груди.

Глубоким голосом Фаины Раневской экзальтированно говорила:

– Роман! Как я рада тебя видеть! Роман!

Рома видел родную сестру бабушки всего один раз. Три года назад. В Сургуте. Поэтому несколько испуганно мычал у неё на груди:

– И я вас, тебя Галя! И я вас!

Галина Ивановна отстранила мальчишку от себя. На вытянутые руки. Повертела, как маленького: вот же, нормальный человек, полноватый, правда, тоже в плавках, но с почти не видным детским писюном. Как и положено у полных детей. А у тощего козла-то!

Толклись в кухне, не знали, кому куда. Тоже как спасаясь, Екатерина Ивановна разливала из термоса по тарелкам окрошку, привезённую с собой. Один Рома заширкал ладошками. Один обрадовался.

Сели за стол. Так и не одевшись (а чего ещё! – на даче), Дмитриев выдернул откуда-то бутылку. Как иллюзионист из рукава. Которого на нём не было. Хмурый фокусник. Налил сёстрам. Себе. Роме не положено. Уже загребает ложкой.

– С приездом вас! – ткнул стакашком в стакашек приехавшей. Не назвав её никак. Ни по имени, ни по отчеству.

Маханул. Начал шумно хлебать.

– Ну как там?

– Где?

– У вас в Сургуте.

– Нормально.

Это разговор. С приехавшей. Вот это хам, удивлялась Екатерина Ивановна. Впрочем, Галина тоже не оставалась в долгу, всё время подпускала ехидные, с подтекстом вопросики старику. О здоровье. Ничего не беспокоит? Простатит, к примеру? И победно поглядывала на сестру, когда старик от такой наглости не знал даже, что ответить. Два непредвиденно столкнувшихся антаго-

ниста сидели за столом. Один с коричневой лысиной, поджарый, весь как из коричневых ремней скрученный, другая – одетая в пёстрое платье без рукавов, с жидкими тощими руками в пятнах.

После окрошки пошли поливать огород. Дмитриев всё время вырывал у Галины шланг, показывал как надо. Свищёв на своём огороде вообще опупел: уже две бабы на судне!

Было понятно, что Дмитриев и Галина никогда вместе не сварят каши.

После полива старик сразу увёл мальчишку на рыбалку. И, как оказалось, далеко от места купания, от своей берёзы. Потому что, когда сёстры пришли туда – рыбаков с удочками не увидели. Ни ниже по течению, ни выше.

– Смылся, – зло сказала Галина, снимая пёстрое платье. Даже забыв про шикарный свой купальник под ним. С красивыми вышитыми чашками. Который, казалось, так и приехал вместе с ней из далёких семидесятых. Правда, «шикарный» обвис сейчас на ней, сморщился как на водолазе. Да и показывать его было некому. Одна мелкотня, кипящая в речке.

С разбега плюхнулась в воду, поплыла. Катюшка наяривала за ней сажёнками.

Загорали на песке. Галина лежала на спине, подняв тощее колено как облысевший черепок. Глаза темнели из-под полей шляпы. Тихо, зло говорила:

– Эгоист чистейшей воды. Кроме себя, единственного, никого для него вокруг нет. Притом, эгоист ещё физически крепкий. Смотри, какой поджарый. Ни жиринки на нём. Такой всех переживёт. Никто ему не нужен. И ты хочешь рассказать ему всё. Дура. Ничего, кроме унижения и стыда, потом не будет. Ещё начнет требовать доказательств. Какие-нибудь дээнка проводить. В лучшем случае, отпихнёт вас всех от себя. Разом. Тебе нужно такое, Катюшка? – Приподнялась даже на локоть. Ожидая ответа.

Нет, Катюшке такого не нужно. Катюшка косо сидела, поджав ноги. Не видя, смотрела на сеющийся песок из своего кулака. Сперва из одного кулака, потом из другого.

Ближе к вечеру, после «жарёхи» рыбаков, Галина вытерла салфеткой губы, встала из-за стола:

– Ну, пора и честь знать. Спасибо за гостеприимство.

– Можно бы ещё пожить, – разрешил Дмитриев, обсасывая хвостик. Плотвички.

– Да нет уж. Спасибо. Пора. Вечером на поезд.

Галине «на поезд» нужно было в воскресенье, на девятичасовой. Екатерина Ивановна злилась от такого вранья, но тоже собиралась. Как же, ведь нужно проводить теперь гостью. Сегодня. В девять. Специальный поезд для гостьи подадут. Рома недоумевал, ничего не мог понять.

Во двор, на удивление, Дмитриев вышел одетым. В клетчатую рубашку и штаны. Смотрел, как старуха тискает Рому, прижимает. Сейчас заревёт на всю округу. На потеху Свищёву. Который уже высунулся, раскрыл рот.

Подошла. Вплотную. Искала слова на шее у него и груди. (Чувствовал её дыхание.) Видимо, чтобы сказать на прощанье пару ласковых.

Городсковой казалось, что если два эти стальных бездушных шара, как в физическом опыте, сблизятся ещё хоть на сантиметр – неминуемо шибанёт молния. Белый разряд. К счастью, обошлось. Сестра только тряхнула руку Дмитриеву:

– Счастливо оставаться, Сергей Петрович!

Галина шла, кипела:

– Вот козёл так козёл! (Она, видимо, думала, что «козёл» будут её удерживать, хватать за подол: не уходи, вернись!) Видела я козлов, но таких... И ты такому хочешь всё рассказать?

Екатерина Ивановна несла сумки, хмурилась, сама уже не знала, чего хочет.

Сестра смотрела на странного кота, который не ел свежую рыбу. Только с опаской обнюхивал.

– Чего это он?

– Не пробовал, наверное, никогда сырой рыбы, – предположила Городскова. – Сгибалась, поощряла кота: – Ешь давай, дурак, ешь!

Феликс взял, наконец, в зубы плотвичку и понёс. Как пойманную мышь. Исчез в дыре. Однако тут же вернулся – и вторую рыбёшку понёс. Опять как мышь.

– Тоже с большим приветом, – дала заключение Галина. Имея в виду Дмитриева, который категорически отказался есть халву. Привезённую ею, Галиной. Тоже воротил морду. Как Феликс. Одна порода.

Смех смехом, но сама Галина Ивановна животных любила. Всегда держала в доме. И собак, и кошек. И главной причиной сейчас её столь быстрого отъезда из гостей были как раз теперешние два её домашних питомца, – длинношёрстный кот Семён Семёнович и лопоухая такса Рикки Васильевич.

– Нет, Катюшка, и не уговаривай, – заявила она ещё на вокзале, едва сойдя с поезда. – Андреева-соседка согласилась присмотреть только неделю. С дорогой моей как раз и получится. Семён Семёнович ещё куда ни шло, а Рикки Васильевич всю квартиру загадит, если не выводить на двор. Сама знаешь. Не могу, Катя, никак.

Городскова знала повадку Рикки Васильевича – если хозяйка, не дай бог, где-нибудь задерживалась на час-другой – делал кучу. Демонстративно. На видном месте. Из вредности. Назло. Не помогали ни тыканья мордой в кучу, ни имитации хлестаний ремешком. Сердито стоял, зажмуривался. Не будешь в следующий раз бросать, стерва.

Это был лопоухий толстый малый почти без ножек, похожий на вытянутый реостат с загнутой ручкой-крутилкой. Длинношёрстный Семён Семёнович с дивана смотрел на наказанного кореша спокойно, философски. У Семёна Семёновича была в туалете своя коробка с песком. Когда она становилась достаточно полной – он бомбил с унитаза. Философ.

Субботу и воскресенье занимались делами. Ещё раз съездили на кладбище, покрасили оградку и скамейку. Пока опять покаянно стояла перед портретами матери и отца, как перед выцветшими округлёнными цифрами, сердитая Галина корячилась, высаживала на могилы цветы, купленные в магазине «Огород и сад». В городе снова ходили по магазинам, сестра покупала кое-что из одежды, почему-то считая, что таких тряпок в Сургуте нет. Хорошо обедали, ужинали. Смотрели сериалы. Однако разговор всё время крутился вокруг Дмитриева. Вокруг Дедушки. Даже на вокзале Галина никак не могла забыть его. Его тёплую встречу. Уже и поезд приближался, и нужно было лезть в вагон, а она всё говорила: «Обожди, он ещё женится. Не смотри, что старик. Он как сохранённая копия неоткрывающегося сайта. Он ещё покажет себя. Выставится. Во всей своей красе. А ты к нему с внуком, с правнуком. Забудь, Катюшка».

Городскова обняла её, вздрагивающую, железную. Подавала потом чемодан наверх. Сумку.

– И чтобы звонила каждую неделю! – уплывала с проводницей тощая старуха в пёстром платье и шляпе на глаза. – Слышишь? Каждую неделю!

Городскова шла за поездом, плакала, махала платком.

Глава девятая

1.

Ясным солнечным днём Дмитриев идёт поступать учиться. В техникум, где когда-то работал. Нужно начать жизнь заново, с чистого листа. На Дмитриеве очень большой школьный рюкзак, гораздо больше, чем у Ромы. Из рюкзака торчат шахматные доски, рейсшины и острейшие циркули. Он хорошо подготовился к вступительным экзаменам. Теперь всё – с чистого листа. На здании техникума новая вывеска – «Техникум имени Сергея Петровича». Понятно, что Дмитриева. И сбоку он сам отчеканен. Золотой, как Ильич. В профиль. Отлично! Молодцы! Постарались! Он заходит в техникум. С рюкзаком идёт по коридору. С уважением, с поклонами молодые абитуриенты перед ним расступаются. Некоторые поют вслед: «Старикам везде у нас доро-га!» Очень хорошо, плачет он, уважение к старости. Как было раньше. Он вытирает платком глаза, открывает дверь и хочет войти в приёмную комиссию. Одна очень длинная рейсшина цепляется за что-то вверху, не даёт войти. Подняв руки над головой, он отцепляет её. Извиняется перед

приёмной комиссией. «Ничего, ничего! – привстав, дружно успокаивает его приёмная комиссия. – Присаживайтесь, пожалуйста!» Не сняв рюкзака, он садится на стул. Рейсшины и циркули сзади почему-то мешают. Он терпит. Глядя на его почтенную лысину, на рейсшины и циркули над ней, комиссия очень осторожно, даже щадяще спрашивает его: «На какой бы вы факультет хотели поступить, Сергей Петрович?» «Только на физико-математический!» – твёрдо отвечает он. Тут сбоку подходит Рома, кладёт ему руку на плечо и говорит приёмной комиссии: «Я его хорошо подготовил. Он теперь щёлкает задачки как орехи». Рома одет в пёстрые короткие штаны, белую майку и бейсболку. Не поверить ему – невозможно. Комиссия вскакивает, давится слезами и яростно аплодирует. Дмитриев поворачивает просветлённое лицо к Роме, тоже плачет: «Спасибо тебе, Рома. Если бы не ты, не знаю, что бы я делал. На, возьми за это рейсшину. Самую длинную. Она тебе пригодится. И циркуль, и циркуль. Самый большой. С ним можно будет даже ходить и мерить пашню...»

Дмитриев мотнулся над постелью, сел с очумелыми глазами. Чёрт знает что такое!

Вчера был день рождения. 75. Юбилей. Бабушка и внук подарили навороченный планшет. Рома закачал в него обучающие программы для шахматистов. Заодно «Занимательную физику и математику» Перельмана. Обе книги. Вот откуда этот дурацкий сон.

Поднялся, пошёл в ванную.

Перед уходом Рома посмотрел на себя в зеркало. Из-под бейсболки чёрные кудри. Белая майка с английской буквами GEEK (чокнутый). Рюкзак сегодня не понадобится. Длинные шорты защитного цвета. Носки, кеды. Порядок.

По улице шёл, поглядывал на слепящее солнце, жмурился.

Сегодня нужно научить старика работать с планшетом. Чтобы мог брать его на дачу. Вчера на дне рождения, конечно, было не до обучения. Однако рад был старик подарку. Очень рад. Глаза его загорелись, разглядывая многоцветное навороченное меню первой страницы. Однако бабушка не дала заняться с ним: «К столу! К столу!» А там чего только не было! Чего только не наготовлено! Рома сглотнул слюну. Пока лучше не вспоминать. Наверняка и на сегодня кое-что осталось.

Колокольчиком зазвонил в кармане шорт мобильник. «Да, Сергей Петрович, уже иду».

– Ну-ка стой, жиртрест!

Его остановили трое. Длинный, средний и маленький. Оборачиваясь к прохожим, словно извиняясь перед ними, начали теснить в проходную арку. Ромка сразу сунул мобильник в карман. Зажал. Длинный молча начал рвать Ромкину руку. С мобильником. Из его кармана. Выдёргивать. Ромка руку не отдавал.

Длинный устал, придвинулся к лицу:

– Ты чё, тормоз, не догоняешь? Деньги давай, мобилу!

Средний и маленький начали пинать Ромку. Подпинывать. Молчком. Особенно старался маленький. Рвали из кармана руку. Приняли эстафету от длинного.

Одна рука Ромки зажала в кармане мобильник, другая – закрывала лицо. Его били, кидали как мешок. Ромка летал, но держался, не отдавал. Изловчившись, схватил руку длинного и вцепился зубами. Как бультерьер. Бросив и мобильник, и своё лицо. Длинный заорал, еле вырвал руку. Что есть силы пнул Ромку. В зад. Ромка полетел вперёд, упал, пропахав коленом асфальт. Бандочка, матерясь, пошла. «Же-есть», – отставал, удивлённо мотал головой маленький.

Рома лежал, сплёвывал солёную кровь. Начал подниматься. Встал. Было сильно содрано колено. Ближе к краю. И вроде бы надорвали ухо. Потрогал. Точно – кровь. Но ничего не получили гады. Ни мобильник, ни пятнадцать рублей денег.

Прихрамывая, пошёл.

У Сергея Петровича глаза на лоб.

– Кто тебя, Рома!

– Да тут подрался. Недалеко от вашего дома.

– А ну пошли! – Старик уже хватал пиджак.

– Нет смысла, Сергей Петрович. Применил два приёма – разбежались, – покачивался боец в съехавшей бейсболке. На штанине, в районе колена, будто красный бензин проступил.

Сергей Петрович открыл колено – сочная мокнущая рана! Как махровый раскрытый цветок!

Бросился в ванную. В аптечке схватил йод, вату, бинты.

При виде пузырька с йодом мальчишка начал дёргаться на диване, пытаясь освободиться от рук старика и куда-нибудь бежать.

– Спокойно, Рома, спокойно! – удерживал ногу Сергей Петрович. – Я только вокруг раны. Не бойся.

Быстро обмотал колено бинтом.

– А теперь к Екатерине Ивановне!

– Зачем, Сергей Петрович? Зачем её пугать?

– Укол от столбняка!

Помог спуститься мальчишке по лестнице. На улице поймал такси и погнал с мальчишкой в поликлинику. На заднем сидении Рома полулежал. Почти поперёк кабины. Трогал ухо. Про которое забыл сказать. Чтобы тоже помазали йодом.

После обеда больные схлынули, и Екатерина Ивановна решила поесть. Доставала из сумки холодец в квадратном пластиковом контейнере, остатки запечённой курицы. Невольно вспоминался вчерашний день рождения Дмитриева.

На «многолюдном» своём юбилее Дмитриев сидел стеснительно, как приглашённый бедный родственник. После дачи с загорелым лицом и лысиной, в белой великоватой рубахе с застёгнутым на верхнюю пуговку воротком походил на сельского старика, присевшего к столу после целого дня тяжёлой работа. Жатвы или косьбы, к примеру. Руки его, как и положено сельскому труженику, были заскорузлы, черны. Когда он взял в них подаренный раскрытый Ромкой планшет – лицо его засветилось. Много ли человеку надо? Чтобы было внимание близких, их забота. Прямо слёзы наворачивались, глядя на него.

И так было благостно весь вечер. Сельский дедушка за столом и заботливые его доченька и внучек.

Однако к концу ужина, когда уже пили чай, благостный вдруг прервал увлечённо говорящую Городскову: «Одну минуту, Екатерина Ивановна!» Схватил пульт и прибавил звук в телевизоре.

На политическом ток-шоу, в полукруглом форуме, набитом людьми, сидел и говорил постоянный участник этого представления. Екатерина Ивановна видела его не раз. С непонятной, то ли еврейской, то ли французской, то ли немецкой фамилией. Похожий на Георгия Вицина. Только на Вицина переродившегося, что ли. С усами как махорка. И ставшего злым и ехидным. Когда ведущие давали ему слово, начинал говорить всегда нехотя, вяло, даже равнодушно. Так говорит человек, знающий истину. Но когда его перебивали противники, – начинал кричать. Кричать маленьким хриплым голоском. От злобы – пьянел. Однако отстрелявшись, в паузах сидел подпершись рукой, смяв пальцами губы и махорку. (Этакий мудрец сидит.) Но это не означало, что он не участвовал и дальше в споре – он принимался или резко кивать, как болванчик, соглашаясь со своим единомышленником, говорящим после него, наглядно соглашаться, или отрицательно болтать головой на слова своих врагов. На противоположной стороне форума ток-шоу. Он постоянно играл лицом. Оно было то скептичным, то саркастичным. В такие моменты на него всегда наводили камеру. Это был театр одного актёра. В чистом виде. И, отыграв, опять философски сидит, ухватив свою махорку. По меньшей мере как отдыхающий в понедельник театр – люди, как вы глупы.

Городскова мало вникала, о чём говорил или кричал этот фантастический человек – её поразил Дмитриев. Подавшись вперёд, он не пропускал ни одного слова говорящего. Он был одной с ним крови. Такой же желчный, ехидный. Не верящий никому. Старика даже не интересовали другие персонажи шоу, которые сразу же начали базлать, перебивая друг друга, – он уже никого

не слушал. Вздрагивающей рукой он наливал чай в стакан. Потом вскинул глаза – так о чём вы говорили, Екатерина Ивановна?

Рома, как всегда за столом, был отключён. Ничего не видел. Наворачивал себе. Напоследок. На затычку. Вкуснейшее пирожное.

Екатерина Ивановна не раз слышала ехидные слова старика о людях, особенно о людях телевизионных, но то, что он словно бы сравнялся с этим маленьким злым неисправимым гадёнышем из ток-шоу, было неприятно. Почему-то задевало. В телевизоре была показана вершина желчи, злобы и ехидства. И старик словно бы вершины этой тоже достиг.

Дверь внезапно открылась. Дмитриев! Желчный! Лёгок на помине!

– Только не пугайтесь, Екатерина Ивановна.

– Что, что случилось?! – вскочила Городскова.

Рома входил как раненый хромающий воин.

– Извини, ба. Подрался. Пришлось применять приёмы. (Мол, получил боевую травму.)

Сам подхромал к лежаку и сел. Екатерина Ивановна уже осматривала колено. Дмитриев заглядывал с разных сторон.

– Нужно бы укол от столбняка, – советовал. – Екатерина Ивановна. А?

– Не мешайте! – грубо оборвала его Городскова.

Дмитриев согласно кивнул, в сторонку отошёл. Чувствовал свою вину. Не доглядел. Да и специалисту мешать не следует.

При виде приближающегося шприца с длиннющей иглой – Рома побледнел:

– Ну ты, ба, даёшь, – только смог пролепетать.

– Не трусь. Снимай майку.

Послушно снял. Пока мазали плечо спиртом, крепко зажмурился. Приготовился.

Городскова осторожно ввела иглу в плечо мальчишки. Медленно вводила сыворотку. При этом ворчала: «Я будто притягиваю к себе пострадавших близких. Как магнитом. Один с ожогом пришёл, другого с коленом привели. Скоро все перебывают здесь. Вся родня. Это называется сапожник с сапогами. Прямо хоть профессию меняй. Чтоб не жглись и колени не били».

– И не больно нисколько! – уже радовался Рома, прижав вату на плече. Даже заглядывая за плечо, чтобы убедиться, что там действительно не больно.

А вот когда обрабатывали рану – дрыгался, капризничал, плакал. Старик солидарно сжимал его руку, стремился принять его боль на себя.

– Будешь теперь применять свои приёмы, – всё ворчала бабушка, бинтуя. – Пока опять не наваляют.

В дверь заглядывали, требуя внимания.

– Я занята! – зло кричала Городскова, не поворачивая головы.

Про надорванное ухо вспомнили только дома, вечером.

– А укол больше ставить не будешь? – осторожно спросил Рома.

– Нет.

И бабушка налепила только лейкопластырь. Бактерицидный, как она сказала. В зеркале стал на манер жирного цыгана. С золотой серьгой.

2.

Дмитриев стоял в актовом зале техникума. Сбоку, в проходе. Полный зал сотрудников и студентов его словно бы не видел. Президиум на сцене тоже кого-то ждал, тихо переговаривался.

– А теперь, – раздалось, наконец, из микрофона со сцены, – слово имеет наш дорогой Сергей Петрович Дмитриев!

Зал взорвался аплодисментами. Однако Дмитриев лихорадочно думал, что он скажет со сцены. Ходил по проходу и подбирал слова. Так за кулисой ходит, ожидает своего выхода артист. Комик, к примеру. Не видит, не воспринимает обслуживающего персонала. Пожарников, декора-

торов, рабочих сцены. Вдруг начинает хмуриться и даже капризничать: отстаньте! не мешайте! не трогайте меня! И только после этого с ужимками выбегает под свет юпитеров к аплодисментам глупых зрителей.

Дмитриев так и сделал – взбежал по лесенке к президиуму и вместо пустых слов сразу дал антраша. Если по-русски – дал козла вверх. Одного. Второго. Третьего. Подряд. В воздухе перебирая ножками.

Президиум удивился, а зал вновь взорвался. Теперь от смеха. Дмитриев всё прыгал, прыгал, стрекотал ножками. От хохота сотрудников и студентов уже раскачивало, уже стелило. Как во поле спелу рожь от ветра!..

Дмитриев проснулся. Да что же это такое! Второй дурацкий сон о техникуме! Да сколько же можно помнить о нём!

За завтраком в комнате всё обдумывал приснившееся. Тупо смотрел в телевизор. На гигантскую шарообразную эмблему МВФ. Всю облепленную флажками государств. Которая походила на спрессованный разноцветный мусор. На гигантский до неба колобок. Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл, а от тебя, МВФ, не уйду. Так, что ли? Это же во сне только может такое присниться! И у них всё с ног на голову! И у них уже дрыгают вверху ногами.

Мыл посуду. Зазудел, заползал мобильник на кухонном столе. Рома! «Да, Рома! Доброе утро!» Мальчишка сказал, что сегодня не сможет поехать на дачу. «Мама приезжает, Сергей Петрович. Нужно встретить. С бабушкой на вокзал поедем. Вечером ждём вас. Приходите».

Дмитриев закрыл мобильник. Сразу сжало душу. Вот и закончилось всё. Увезут теперь до января. А там – кто знает? можно и не дождаться приезда, не увидеть больше.

Смотрел во двор. Вниз. На предсентябрьскую чахлую берёзу. Которая как старуха растопырилась. Чтобы не упасть.

Всё так же жало душу. Про пресловутые спасительные махи ног – забыл.

Без длинных стружек своих сноха Екатерины Ивановны как-то выцвела, поблекла. Как та же берёза во дворе. С гладкими зачёсанными волосами она казалась Дмитриеву кормилицей, повязанной жёлтым платком. Потому что (на удивление!) всё время подкладывала Роме. Как грудь сосунку без меры совала. Даже Екатерина Ивановна сердилась, не узнавала её.

– Что ты делаешь, Ирина?

– Пусть ест, мама, пусть, – смотрела мать на сына, почему-то полнясь слезами: – Вон как похудел.

Ничуть не бывало! Рома после лета на даче стал походить на круглого чёрного жреца африканского вуду. После изматывающего ритуала вновь насыщающегося за столом и одетого уже в европейскую одежду. В белую майку и шорты.

Но мать словно не видела этого – вилкой, будто вздрагивающей куриной лапой, тыкала какую-то еду в тарелке, не понимая, что́ ест.

На даче Дмитриева, куда дала себя увезти на другой день, – тоже вела себя странно. Вместо того чтобы поспешить с сыном на берег и посмотреть, как тот в ластах и с хоботом бороздит речку вдоль и поперёк, она начала рыскать по огороду, рвать недоспелые помидоры и есть их, впиваясь в твёрдую мякоть зубками и морщась от кислоты плодов. Все недовольно ходили за ней, как за дурой-начальницей, и ждали, чего она ещё выкинет.

Она вдруг побежала к забору:

– Привет, мореплаватель!

Свищёв в тельняшке отпрянул. Попятился, не веря в такую наглость.

Екатерина Ивановна видела, что сноха не в себе, и когда старик и мальчишка – недовольные: некому будет показывать мастерство рыбалки – отправились на неё одни, завела сноху в дом, посадила на стул и прямо спросила:

– Что случилось в Москве? Говори!

Молодая женщина точно этого только и ждала. Как девчонка закрыла ладошками лицо и заплакала:

– Мама! Валерий ушёл из дома!

– Как ушёл? Куда ушёл?

– Две недели живёт у сослуживца. Мама! У Зельдовича!

Городскова потемнела:

– Так это, может, ты виновата?

– В чём?! Мама!

– Ну это тебе лучше знать – в чём.

Когда рыбаки вернулись с рыбой в корзинке, две женщины, отвернувшись друг от дружки, молча быстро собирались. Толкали Ромкины вещи в сумки. Рома еле успел подхватить свой чуть не сброшенный на пол рюкзак. Спасти от кощунства.

– Извините, Сергей Петрович, – сказала Городскова. – Нам пора. Поезд. Рома, одевайся.

Дмитриев знал, что поезд поздно вечером, времени – море, но пошёл в огород нарвать овощей матери и сыну в дорогу. Помидоров, огурцов, лука, укропа.

В пустом дачном автобусе в город ехали точно переругавшись. Молодые со стариками. Дмитриев и Екатерина сидели впереди, с сумками на коленях. Ирина, как птенца, прижимала к себе сына позади них. Чересчур упитанный птенец ничего не мог понять, стремился освободиться от крыла мамы-птицы, но та прижимала его ещё сильней.

– Ну мама! Честное слово! Сиди нормально!

Всегдашний Ромин рюкзак, понятное дело, был набит до неба, поэтому с новой подаренной раритетной книгой от Дмитриева Рома полез в вагон, удерживая её под мышкой. В тамбуре развернулся с рюкзаком и книгой. По направлению к Дмитриеву внизу у вагона:

– По прибытии сразу сообщу. До встречи в январе, Сергей Петрович! – Снова повернул себя. Теперь на 180. И ушел с рюкзаком и книгой в вагон.

Дмитриев, борясь с собой, зло отворачивал лицо, задавливал слёзы.

Что-то пробурчав свекрови, полезла следом за мальчишкой мать, хватаясь худыми руками за поручни. Без пышной стружки Дмитриев по-прежнему не узнавал её змеиной выглаженной головы. Торопливо подавал наверх два небольших чемодана на колёсиках. Женщина пятилась, удёргивала чемоданы в вагон. Дмитриев хотел помочь, «взлететь», но Городскова остановила:

– Уже отправление, Сергей Петрович. Сама управится.

Полезла тучная проводница в обтягивающей юбке. И встала тумбой с флажком, свёрнутым в трубку.

Поезд тронулся и сразу как-то быстро пошёл.

Торопились за ним, махали Роме. Сначала его голове, положенной на руки. Потом его руке, машущей из вагона.

В автобусе старик смотрел на летящую улицу. Как зверь чувствовал, что мальчишка больше не приедет. Что-то произошло в Москве. А вот что?

Забывшись, повернулся прямо к Городсковой, к её лицу:

– Может, я что-то сделал не так, Екатерина Ивановна? Отчего такое поспешное бегство с моей дачи?

Будто взятая на нож, Городскова заперла дыхании, фальшиво рассмеялась:

– Ну что вы, Сергей Петрович! Просто Ромке нужно в школу. Да и обратные билеты Ирина взяла на сегодня. Чего же тянуть? Долгие проводы – лишние слёзы. – Сама уже отворачивалась от Дмитриева, готовая плакать.

Но старик так просто отстать не мог. Он должен выяснить всё до конца. Ссылаясь на поздний час, набился проводить женщину до дома. А там она вынуждена была пригласить его на чай. Не отвертишься теперь! Шалишь!

Поднялись. Открыли дверь. Вошли. Пока старик сидел, как моль слеп от включенного света в большой комнате, Екатерина на кухне быстро готовила чай. Лихорадочно соображала, что можно сказать Дмитриеву и как.

Однако увидев его напряженные глаза, обращённые к ней – сразу наморщилась, некрасиво заплакала. С чайником, с плетёнкой в руках ушла обратно в кухню.

Дмитриев бросился к ней, уже сидящей на табуретке, трогал её голову, неумело утешал:

– Екатерина Ивановна. Не надо. Успокойтесь. Что случилось? Расскажите лучше всё. (Мол, вам станет легче.)

Как убитую, больную, увёл обратно в комнату и усадил на стул.

Екатерина Ивановна рассказала о перепалке со снохой. Пока рыбаки удили рыбу. Со слов московской Лисы Патрикеевны, её увидел в ресторане сотрудник Валерия Зельдович. («На корпоративе, мама! Всего лишь на корпоративе!») Увидел и сразу позвонил Валерию. Обманутому мужу. Мол, приезжай и убедись сам. Какие номера тут твоя жена откалывает. Валерка, конечно, никуда не поехал. Переночевал, «на хладной постели, грызя подушку», а утром ушёл из дома, оставив якобы записку, мол, ухожу, прощай, будь счастлива! (Всё это слова плутовки, её версия, которую она вдалбливала свекрови, пока рыбаки махали удилищами.) Ушёл к тому же Зельдовичу. Товарищу по работе. К провокатору, мама. Живущему с матерью. Такому же недотёпе, как Валерка. Теперь – два сапога пара. И мама-еврейка в придачу. Веселое теперь у них время пошло, мама!

Городскова недоумевала:

– ...Я одного не могу понять, Сергей Петрович: она так любит сына и так себя ведёт. Так обращается с Валеркой. Ведь он отец Ромки, её муж! Сергей Петрович!

– Может быть, это всё неправда. Эта измена. Может, действительно, был просто корпоратив, – предполагал, ещё надеялся на что-то Дмитриев. Добавил даже уместную сентенцию: – Люди видят то, что хотят видеть, а не то, что перед ними на самом деле. А, Екатерина Ивановна?

Платком Екатерина Ивановна вытерла глаза:

– Нет. Всё правда. И дело тут не в Зельдовиче. Он-то как раз порядочный человек. Мог даже ошибиться. Но я сама всё поняла, когда приезжала за Ромкой. Своими глазами увидела её «ночёвки у мамы». Тогда она это проделывала втихаря, сдерживая себя. А уж без Ромки, видимо, пустилась во все тяжкие. Мне стыдно, Сергей Петрович, но сын мой дурак, олух. Впрочем, тоже знал. И, видимо, знал давно. Только делал вид, что не знает. Однажды вечером, когда она была «у мамы», я увидела его глаза. Глаза загнанного зверька. Загнанного в угол. Который... который только сжался весь и умрёт, если до него дотронется чья-нибудь рука! Сергей Петрович!

Екатерина Ивановна снова зашмыгала, комкая мокрый платок.

Дмитриев не знал, что сказать. Невольно посматривал на фотографии на стене. Словно искал ответ там, среди них. Но фотографии казались разрозненными, случайными, виделись размыто. Никого, кроме Ромы в центре, не узнавал.

Несколько дней Городскова ходила сама не своя. И на работе, и дома думала об одном: что будет, если действительно разведутся. Что будет с ней, с Дмитриевым, с Ромкой. В том, что мама с дочкой разом отгородят его от отца и уж тем более от неё – бабки, не сомневалась.

Набирала несколько раз Валерия, но всё время – абонент недоступен. Да что он там – похищен, спрятан?

Набрала Ромку. Спросила, почему не позвонил, не сказал, как доехали. Между делом спросила об отце.

– А он в командировке, ба. То ли в Сыктывкаре, то ли в Салехарде. Он мне позвонил. Но я не понял. Мам, где папа? Скажи поточней. Бабушка спрашивает... В Салехарде, ба. Точно. Скоро приедет.

Так. Понятно. Валерка отправлен Ириной обратно на Север. На родину. Только город она попутала. Надо бы сказать – «в Сургуте». Было бы точней. Теперь наверняка будут оба скрывать от мальчишки всё до последнего.

Через неделю северянин позвонил сам. В восемь вечера.

– Ты где сейчас? – сразу спросила мать, даже не поздоровавшись.

– Как где! – деланно удивился сын. – Дома. Где же мне ещё быть? Играем с Ромой в шахматы. Хочешь с ним поговорить?

Городскова задохнулась на миг и начала кричать:

– Да что же ты делаешь со мной, придурок ты этакий! Ты зачем уходил из дома, зачем? Зачем меня на уши поставил?! Ответь!

Валерий словно прикрывал разрывающуюся трубку от сына. Мол, зачем так кричать?

– Да говори же!

– Ну я просто пожил немного у Зельдовича. Подумал. Решил вернуться. Ты не расстраивайся, мама, теперь всё в порядке.

Городскова не находила слов. Захлопнула мобильник.

Обидно было до слёз. Хотелось долбить далёкого сына в затылок: смурняк! подкаблучник! молчи! не вякай никогда! молчи, раз такой уродился! во век свой молчи! ради сына молчи! полудурок ты этакий!

Далёкий Валерий Алексеевич Городсков отстранил от уха трубку с короткими гудками. На душе стало нехорошо. Точно эхом долетели последние несказанные матерью слова. Не воспринимал понуканий сына-шахматиста, который требовал ответного хода.

– Ну па-ап, сколько можно пустую трубку держать. Ходи!

– Тебе привет от бабушки, – глянул на вошедшею в комнату жену Городсков, воткнув трубку в гнездо.

– Зачем звонил с домашнего? Дороже стократно, – раскладывала всё для ужина жена: – Что она сказала?..

К удивлению, муж смотрел в глаза её спокойно и даже смело. Как будто знал о ней всё. Или напротив – как будто пришёл и только что с ней познакомился. Совершенно не зная, что ждёт его впереди. Блядь она или ангел.

Ирина суетливо начала переставлять всё на столе. Ожглась об электрочайник, который только что принесла и поставила на подставку. Сунула мизинец в губы. Как леденец. Потом схватилась им и большим пальцем за мочку.

– Чего смотришь? Руки иди мой.

3.

Зураб Георгиевич Каладзе, сорокалетний, крепко сбитый грузин, ждал неподалёку от здания «Новослободской», когда появится и пройдет к входу Ирина Городскова. Чтобы с удовлетворением скользнуть за ней следом.

Как всякий уважающий себя кавказский мужчина, Зураб Георгиевич имел усы. Богатые усы. Которые при виде проходящей мимо женщины можно просто дёрнуть. Как чубук. Или, если женщина уж очень хороша, вот, как эта: в летней шляпе, в белых брюках – провести под усом ногтем мизинца. Как острейшей бритвой. И вдобавок сыграть глазным оркестром многообещающий марш.

Ирина нахмурилась. Зураб не видел её. Зураб пялился на даму в белых брюках, которая тоже шла к входу. На её смачные бёдра. Каких у тонконогой Ирины никогда не было.

Глядя в сторону, Ирина прошла мимо любимого.

В летящем вагоне покачивались в разных концах его. Она сидела рядом со стариком, сложившим руки на костыле, он висел на штанге и смотрел в пролетающую прохладную черноту. На бёдра сидящей под носом дамы в белых брюках – не обращал внимания. Никакого. Демонстративно.

В подъезд вошли по отдельности. Сначала Зураб Георгиевич, через минуту – Ирина.

На четвёртом этаже Зураб долго ковырялся в чужом замке. Как домушник, после отсидки потерявший квалификацию. Тихо ругался. Квартира была Афиногенова. Товарища. Который три дня назад улетел в Америку. Чёрт бы его побрал! Не мог перед отъездом починить замок!

Ирина поламывала руки, смотрела на стеклянные акульи глаза, торчащие из дверей соседей.

Открыл, наконец, домушник дверь. Мотнул головой: давай, по-быстрому.

Вошли, закрылись.

В квартире повanивало затхлым, холостяцким. Ирина в этой квартире была в первый раз. До этого были другие квартиры. Тоже друзей Зураба.

Не теряя времени, повалились на тахту в полутёмной зашторенной комнате. Время было обеденное. Из одной организации, из одного офиса этой организации они «ушли на обед». Конечно, по отдельности. Строжайшая конспирация. У него семья. Жена, двое детей. У неё семья, муж, один ребёнок. Поэтому после всего – верные обеденному рефлексу, почувствовали зверский голод. Полураздетые, стали рыться в чужом холодильнике на кухне. Кое-какая еда от друга осталась: немного докторской колбасы, банка майонеза, какое-то варенье, хлеб. Ирина быстро всё нарезала, разложила на тарелки.

Здесь же, в полутёмной, тоже зашторенной кухне стали быстро насыщаться. Время поджимало. Опаздывать с обеда нельзя. Посмеивались. Он с голой грудью грузина, похожей на плотный волосяной коврик, она в комбинации с узорами – вроде красивейшего гарнира для полуобнажённой груди.

В ванной пошумели водой. Оделись. Ирина подкрасила губы.

– Ты первая, я после тебя.

Зураб вставил в замок ключ, хотел потихоньку повернуть. Ключ не поворачивался. Ни вправо, ни влево. Засел намертво. А?

Как мыши в мышеловке, начали метаться в прихожей, орать друг на дружку. Забыв про всякую конспирацию. Выбегали на балкон, смотрели вниз с четвертого этажа. Снова убегали в комнату.

Анекдот продолжался. В дом напротив пришёл на обед Аркадий Ильич Зельдович, бледноватый, болезненный еврей с размазанными по темени волосами. Он недавно выписался из больницы, где ему лечили вновь открывшуюся язву желудка и двенадцатиперстной кишки. В столовой министерства, где работал, он обедать пока не мог. Мама не позволяла.

Пока она накрывала на кухне всё диетическое, Аркадий Ильич вышел на балкон. Облокотился на перила, и привычно стал скользить взглядом по двору.

Остановил взгляд.

Из дома напротив, с балкона четвёртого этажа МЧС спускало по выдвинутой лестнице какую-то женщину. В очень заметном, красно-жёлтом мешочном платье, схваченном резинкой снизу, женщина походила на крупный овощ в руках эмчеэсника.

Аркадий Зельдович раскрыл рот, не веря глазам своим – в семнадцатимиллионном городе, с десятками тысяч домов, напротив его, Зельдовича, дома, сейчас спускали по лестнице Городскову Ирину, жену Городскова Валерия. Коллеги по работе. Доброго товарища! Остальные спасатели уже протягивали руки, принимали женщину с задравшимся платьем. А следом по лестнице спускался какай-то крепкий усатый кавказец в майке и светлых штанах. Спускался сам. Без всякой помощи. Спускался быстро, уверенно, как будто всю жизнь только и делал это.

Женщина одёргивала, оправляла платье. Потом поблагодарила спасателя, быстро пошла и свернула за угол дома. Грузина эмчеэсники сразу взяли в кольцо, стали требовать что-то. То ли документы, то ли деньги. Мужчина совал и то, и другое. И выхватив наконец у них свой паспорт, тоже пошёл. Так же быстро, как и женщина, но совсем в другую сторону.

Зельдович опустился на табуретку, доставая платок.

Выглянула мама:

– Иди садись. Сегодня твоя любимая творожная запеканка.

Увидела большой автомобиль, выдвинутую из него на дом лестницу, снующих мужчин в чёрной форме. Сбежавшихся ребятишек. Будто загипнотизированных с раскрытыми ртами.

– Что случилось, Аркадий? Пожар? Взрыв бытового газа?

– Нет, мама, – сказал сын. – Просто, видимо, дверь хозяева изнутри открыть не смогли. Замок. Вот и вызвали МЧС.

– Так где же они сами, эти хозяева?

– А убежали уже, мама. Наверное, от стыда, – вполне серьёзно ответил сын.

Странный он какой-то сегодня. Не заболел ли желудок опять?

4.

Теперь на коллегиях Зельдович невольно следил за Городсковым.

В ранге первого референта Зельдович сидел за столом по правую руку министра, Городсков – по левую. И всегда коллега был подтянут, собран. Теперь он сидел с постоянно опущенной головой. Лукомников Фёдор Борисович, перестав говорить, недовольно протягивал руку и шевелил пальцами. Слишком долго ожидая документальной справки от второго референта. Городсков спохватывался, подавал нужную бумагу. Успевал, что называется, подложить её под начальника. И снова грустил, опустив голову. Казалось, не имея никакого отношения к другим головам, за длинным столом дисциплинированно, двумя рядами повернутым к Лукомникову.

Зельдович не рассказал Городскову об увиденном во дворе. Но почему-то стал липнуть к нему. В перерывах подходил и стоял с ним в коридоре. Или, сам не курящий, шёл за ним в курилку. То ли изучал по опущенной, окутанной дымом голове этот в общем-то обыденный феномен под названием «супружеская измена», то ли, на удивление самому себе, хотел взять на себя хотя бы часть страданий несчастного. (Всё время почему-то думалось, что несчастный знает о пожарной лестнице в его, Зельдовича, дворе и о мускулистом грузине.) Старался отвлечь, расспрашивал о диссертации. Или вдруг вспоминал Бауманку, гда они, два смурняка, когда-то откалывали номера. На вечерах, разумеется. На танцах.

Однажды Валерий сказал сам, что у него дома нехорошо. С Ириной. (Дело было всё в той же курилке.)

– Знаешь, Аркаша, после работы домой идти не хочется. Особенно как Ромку увезли на лето. Теперь, наверное, и не дождусь его.

– Ну ты, старик, совсем уж! – возмутился даже Зельдович. Но тут же посоветовал: – Поживи отдельно, Валера. Подумай. Всё взвесь. – Помолчал и закончил не совсем уверенно: – Так всегда делают. В подобных случаях.

Через два дня привёз страдальца к себе домой. На такси.

– Прошу любить и жаловать, мама! Мой товарищ по работе – Валерий Алексеевич Городсков. Поживёт некоторое время у нас, мама.

Перед пожилой еврейкой стоял унылый русский малый с погасшим костерком на макушке черепа. На плечах унылого висели две громоздкие сумки, а в руках он держал картонную длинную трубу. Чёрного цвета. Похожую на трубу, из которой швыряют гранату.

Марта Иосифовна определила Унылого спать в комнату к сыну. На раскладушку. Стелила и убирала там за ним.

По вечерам, придя с работы, два друга склонялись над бумагами Унылого и его же чертежами. Вынутыми из чёрной трубы. Из *тубуса*, как вспомнила Марта Иосифовна название. Обсуждали их, спорили.

Потом садились ужинать. Накрывала им в большой комнате с включённым телевизором.

Она вязала, а они ели и смотрели новости. Или по Первому, или по РТР. Однажды нарвались на половой акт в каком-то фильме. Нисколько не смутились её, женщины, матери, внимательно смотрели. Идёт экспертиза. На экране вконец изнемогающая телесная борьба. Со стонами и вскриками.

Сын повернулся к другу:

– И, главное, лежат потом всегда как глупые младенцы из роддома. В развязанных пелёнках. Глазами только хлопают и удивляются. Что на свет только что родились.

Эксперты, – смотрела Марта Иосифовна на продолживших есть друзей. Одного (сына) с треском попёрли после месяца совместной жизни с женщиной. Даже несмотря на штамп в паспорте, дающий ему право жить с этой женщиной. Никуда из её квартиры не уходить. Другой – сам удрал. После десяти лет жизни под каблуком. Под тяжёлым каблуком женщины.

Пожилая еврейка смотрела на мечущего её хохлацкие галушки Унылого. Который, пожив у них, превратился даже в Весёлого. Думала о его жене. О которой уже слышала кое-что. Такая на всё способна. Ещё примчится сюда, будет скандалить, крушить мебель, обвинять в пособничестве. Переводила взгляд на жующего сына. На Беспечного. Который даже не подозревал, какую в дом привёл и поселил опасность.

...Она была в том же самом платье, что и в день, когда её спускали по лестнице с четвёртого этажа. Женщина походила в нём на жёлто-красный большой вздутый перец. На тонких ножках.

Зельдович косился на выходящих из двери министерства людей. Боялся, что и Городсков может оттуда выйти. Тяжёлый разговор с женщиной уже произошёл. Теперь бы только подобру-поздорову убраться.

– ...Не знаю, Ирина, чего вы от меня хотите. Человек обратился ко мне в трудную минуту, я ему помог, приютил на время – и всё. А видел я вас в своём дворе или не видел – это не имеет никакого значения. Я ему не сказал. Он ничего не знает об этом.

После разоблачений женщина уже пришла в себя. Тоже оглядывалась. Тихим голосом льстила разоблачителю:

– Знаю, Аркадий Ильич, знаю. И я благодарна вам за это. Вы благородный человек. Настоящий мужчина. (Зельдович заслушался, свесил голову.) Но он сам, понимаете, сам увидел меня. (Зельдович вскинул брови.) Не там, не там, не у вас во дворе, не волнуйтесь. На корпоративе! В ресторане «Баку» на Кутузовском!

Зельдович вылупил глаза – однако ты и штучка.

– ...Увидел через окно. Как его туда занесло – ума не приложу. Я танцевала там, ну веселилась, ну там было много разных мужчин – и что? Из-за этого бросать жену, ребёнка, уходить из дому? – Женщина верила во всё, что говорила, верила, готова была плакать!

– Да что вы от меня-то теперь хотите?!

– Я хочу, чтобы вы повлияли на него. – Женщина снова оглядывалась (она опять в заговоре). – Чтобы он вернулся домой. Скоро я привезу сына нашего Рому – а отца не будет дома. Понимаете? – всё оглядывалась Ирина.

Зельдович молча пошёл от неё. Махал рукой. Будто парализованной рукой. Как отвязывался. И от своей руки, и от женщины.

– ...Как он там? – летело следом. – Как питается? Не похудел ли?..

О, боги!

Верный себе, Зельдович вечером ничего не сказал Городскову о встрече с его женой. О том, что та два дня выслеживала его – и пристала-таки. Как банный лист. К одному месту. На позор перед всем министерством.

А ничего не подозревающий квартирант уже шутил за столом. Видимо, чтобы угодить матери и сыну, рассказал им даже еврейский анекдот. Чем ввёл Марту Иосифовну в большое недоумение. Что это с ним сегодня? – искала она ответ в глазах сына. А сын и сам не знал, чего это друг веселится, когда уместнее было бы ему, наверное, всё время плакать, имея такую жену. Такую б... и хищницу.

– ...А вот ещё, ещё, послушайте! – не унимался весёлый квартирант: – Приходит Зельдович к Фишману и говорит... хихихи, ой не могу!.. сейчас, сейчас, продолжу...

Отца Рома увидел, приехав из школы. Как только свернул в свой двор. Отец рассчитывался с таксистом, увешенный сумками и тубусом. Тубус на груди ему мешал, он его сдвигал, чтобы найти деньги.

Рома побежал.

– Здравствуй, папа! С приездом!

Городсков-старший отдал деньги и надолго прижал сына к себе, откинув чёртов тубус на ремне в сторону.

Рома чувствовал, что отец плачет.

– Ну пап. Что ты?..

– Долго не видел тебя, старина. Прости, – вытирал Городсков глаза.

Пошли, наконец, к подъезду.

– Почему у тебя две сумки, да ещё тубус? – спрашивал мальчишка. Зная, что отец обычно в командировки уезжает налегке. Сам Рома тащил свой неизменный тяжеленный рюкзак.

– Нужно было это всё, старик. Для дела. Необходимо на этот раз, – отвечал отец.

Приложил монету на ключе к монете на цифровой панели двери. Чугунная дверь запикала, открыл её, пропустил сына вперёд.

Двум старухам с лавочки посмотреть – загруженные сверх меры отец и сын приехали домой. По всему видать, откуда-то издалека. Оба в дорожных кепках. Как два баклана. Торопятся. Соскучились по дому.

Глава десятая

1.

В последние год-два старик с удивлением стал замечать, что в жизни его наступило время какого-то стремительного... застоя. Время летело, недели спадали, как одежда на пол, а ничего не менялось. Подъём около шести. В туалет в конце коридора. Через день-два – там же бритьё. Вместо хорошей утренней зарядки – формальные какие-то махания руками и ногами в комнате, когда думаешь о чём угодно, только не о том, как под чёткий счёт дать себе хорошую зарядку на день. Душ в ванной, где вместо энергичного мытья под контрастными струями – стоишь как согбенная лошадь под бесконечным монотонным дождём. И тоже думаешь неизвестно о чём.

Приготовил и за завтрак сел – всё то же самое. Из утра в утро. Или кашка манная, или перловая. Чай в том же стакане, того же цвета, с одной и той же ложкой сахару. Которой забывчиво мешаешь несколько минут, как дурак.

Сядешь к тетрадям с лекциями, включишь компьютер – и опять всё идёт как будто во сне. Стремительно и в то же время бесконечно. Что-то там выписываешь, куда-то вносишь. Возвращаешься к предыдущему. Зацикливаешься на нём. Сидишь в ступоре. С оловянными глазами.

Вставал из-за стола, ходил. Но думал где-то рядом с собой. Словно совсем другой человек. Потом, как вспомнив, очнувшись – смотрел на часы. Полдвенадцатого! Чёрт возьми! Куда столько времени улетело? Невероятно! И всё вокруг то же самое. Как всегда. И невозможно никуда из всего этого вырваться.

Даже на прогулках – шастал по одним и тем же местам. Никуда в сторону. Ни на какие новые улицы. Парк, потом мимо школы с ребячьими воплями на стадионе. Мимо поликлиники с Екатериной. Потом выходил на свою улицу, прямо к дому. И снова перед дверью на третьем этаже. Достаёт ключи. Нагулялся. Опять пришёл в свой стремительный застой.

Вечером сидел как каменный перед телевизором. Думал опять словно бы рядом. Ужинал часов в девять. Снова пялился в мелькания на экране. «Стоять! Лежать! Руки назад!» Глаза слипались. Наконец выключал всё. Ложился. День пропал, растворился. Вроде путника на дороге. Неизвестно когда и как. Вот только что был – и нету.

Иногда с утра вспоминал – пора в магазин за продуктами. Холодильник заметно опустел. Или нужно съездить на дачу. Или пенсию из банкомата выдернуть. Но магазины были одни и те же, – только два или три, неподалёку, и банкомат один, на Ленина, а о даче и говорить нечего.

Такое вязкое и бегущее время особенно ощущалось после отъездов Ромы в Москву – с мальчишкой всё шло как-то медленней, осмысленней. За что-то можно было зацепиться. Но мальчиш-

ка уезжал – и снова одна и та же череда ненужных стариковских дел. Опять застойная летящая пустота.

В конце сентября Городскова подвигла поехать на дачу. «Закатать на зиму банки». Её выражение. Не хотел, но поехал. Сам после смерти жены ничего не солил, не «закатывал». Большой погреб под домом был пуст, только в огороженном углу хранилась теперь картошка. Хотя когда-то все полки здесь заставлены были стеклянными банками. Жена Надя умела и любила солить. Да и варений всяких тут стояло достаточно.

Прежде всего залез на чердак, искал банки. Аккуратно сложенные одна на другую, прикрытые мешковиной – нашёл их в углу, под самым скатом крыши. В банках скопилась пыль, тенёта. По ним дотошный археолог мог бы определить возраст этой закладки – не менее тридцати лет.

На огороде под наблюдением женщины и, конечно, Свищёва (из-за забора) – мыл банки. Сперва из шланга внутрь давал, затем полоскал в бочке и снова сильной водой из шланга.

Банки в большом тазу нёс словно блестящие чистые караты невероятных размеров. Женщина с двумя большими банками сопровождала. Свищев с повёрнутой головой тоже шёл. Падал за забором, исчезал и снова шёл.

В кухне всё уже было приготовлено Екатериной Ивановной. И помидоры, и огурцы тщательно отобраны и помыты. На столе лежали пучки укропа, смородинового листа, очищенный, белейший, как новорожденный, чеснок. А в чане на плите парила горячая вода.

Екатерина Ивановна принялась за дело. Закладывала приготовленные овощи в банки. Командовала старику: подать то, убрать это. Старик метался, исполнял. И даже учился, заглядывал с разных сторон.

В награду доверила ему закатывать крышки ключом. Озабоченно уже прикидывала, как вывозить всё это тяжёлое закатанное стекло. Каким транспортом.

– Почему у вас нет машины, Сергей Петрович? Или, может быть – была?

– Нет, Катя. Никогда не было. Никогда не тянуло рулить. Гордо откинувшись на сиденьи. Ещё жена с тёщей наседали, чтобы купил, чтобы учился, получил права. Но нет – отбился. Так и таскал всё с дачи в рюкзаках да сумках.

Странно, смотрела женщина на старика, который довольно ловко орудовал закаточным ключом. Вроде бы к технике человек имел отношение. Окончил технический вуз. Преподавал. И както избежал мужского поветрия – иметь свой автомобиль. Не самоутвердился в этом.

Спускали банки в погреб. Екатерина подавала, Дмитриев принимал и сразу расставлял по полкам. Городскова невольно оценивала освещённый просторный погреб. Больше похожий на капитальный бункер от бомбёжки. Всё в нём было сделано и установлено по уму. И яркая лампа в проволочной сетке на стене, и резиновый кабель к ней, и стеллажи с полками, и огороженный закуток на бетонном полу, только на треть засыпанный сухой картошкой.

– Кто вам делал погреб. Сергей Петрович? Нанимали?

– Да нет. Всё сам. И копал. И бетонировал потом. Ну освещение, проводка капитальная. Все стеллажи, полки.

Екатерина Ивановна покачивала головой. Опять казалось странным, что такой рукастый – старик никогда не имел свой машины. Главное – не стремился её иметь.

К обеду всё закончили. Поели, закрыли дачу и отправились домой, помахав прибежавшему к забору Свищёву, проворонившему их уход.

Для себя и Екатерины старик тащил банки в двух холщёвых сумках. (Рюкзак за плечами – не в счёт.) По мостку через Волчанку шёл сосредоточенно, мелким шажочком. Как силовой жонглёр и канатоходец в одном лице. Казалось, сейчас успокоится чуть, соберётся и начнёт кидать сумки вверх. Жонглировать над несущейся речкой. Почему не сменят этот опасный, старый мосток, невольно думала Екатерина, хватаясь за перила.

Лямки у холщёвых сумок были излишне длинными, банки висели у самой земли, и Городскова опасалась, что, поднимаясь в подъезде по лестнице, старик зацепит стеклом о какую-нибудь

ступень. Хотела сказать ему об этом, но тот – сам не дурак – взял лямки на кулаки и планомерно стал восходить к квартире Екатерины на четвёртом этаже. Городскова суетливо карабкалась за прямой спиной с рюкзаком, не уставая удивляться силе и выносливости старика. Железный. А ведь семьдесят пять лет!

Но железный дышал перед дверью в блеклом дерматине вроде ишака с раздувающимися боками, который рвёт в себя воздух и качается от явного перегруза. Быстренько открыла дверь, пропустила вперёд.

После того как разложили и расставили всё привезённое в кухне, пили чай в комнате. Телевизор работал. Без телевизора нельзя. Когда не о чём говорить – главный собеседник.

На сцене, впереди рояля неутомимо дергала смычком виолончелистка. Чем-то напоминая паучиху, дергающую и дергающую свою паутину.

Екатерине Ивановне казалось, что старик не слушает музыку, а только смотрит на физические действия расшиперившейся музыкантши.

Опустив глаза, он неожиданно спросил про Ирину. Вернулся ли в семью Валерий Алексеевич.

– Почему-то вы мне ничего не говорите об этом, Екатерина Ивановна, – всё не поднимал глаз старик.

– А чего тут говорить, Сергей Петрович! Всё вышло курам на смех. Пожил пару недель у товарища и пришёл, как побитый пёс, домой. Слабый у меня сын, Сергей Петрович, слабый.

Старик слышал в голосе женщины досаду, но сам был рад. Значит, Рому теперь уж точно привезут. Зимой, на каникулы. Примирительно сказал:

– Зря вы обижаетесь на Валерия Алексеевича. Он просто очень любит сына, и поступил, на мой взгляд, правильно. Вернулся.

– Да он не может себя поставить в семье! – сразу взнялась Екатерина Ивановна. – Во всём пасует перед этой... этой (оба ждали площадного ругательства)... трепушкой. Как жить с ней такой! Ведь дальше будет ещё хуже!

Вдруг стала объяснять старику, полностью противореча себе:

– Я ему всегда говорила, всегда: смирись, молчи, не рыпайся, раз такой слабый, а он чего выкинул – ушёл из дома. А если бы Ромка узнал?

– Как так! – удивился старик. – Рома разве не знал?

– Нет. Не знал и не знает. Комедию оба устроили для него. Якобы Валерий уехал в командировку. Она его туда отправила. На Север. В Салехард. Почти в родной Сургут. В общем, дома он теперь. Вернулся из Салехарда. Как ни в чём не бывало. Как будто ничего и не было.

Дмитриев хмурился. Старался не смотреть на фотографии на стене. На фотопортрет мужчины с высокой лысиной и испуганными глазами. Словно чувствовал себя виноватым, что тот таким уродился.

Молча оделся в прихожей, накинул на плечо пустой рюкзак, сказал «до свидания» и вышел.

Спускался по лестнице, сжимал в руках свёрнутые холщевые сумки. Забыв даже захватить в них для себя пару банок.

2.

Однако эпопея с банками на этом не закончилась. Перед ноябрьскими, четвёртого числа поехал на дачу опять за соленьями. Может быть, придётся отметить праздник, пригласить Екатерину. В прошлый раз не взял домой ни одной банки, после неприятного разговора об отце и матери Ромы – забыл.

Снег в городе ещё не лёг, выпадал и сразу растаивал. Но сегодня было по-зимнему холодно, лужи везде замёрзшие, солнце дымилось в нагромождениях облаков, похожих на развалины.

Оделся легко, но надёжно: в шерстяной свитер и байковую куртку. Кальсоны под камуфляжные штаны, шерстяные носки, кеды. И на лысину наладил осеннюю кепку. Плечо не давил полупустой рюкзак, в котором были только некоторые мелкие вещи для дачи да один свёрнутый надёжный холщёвый мешок. Для двух-трёх банок.

Успел подбежать и сразу сесть в дачный автобус. У окна привычно, бездумно смотрел на пролетающий город.

От остановки стал спускаться к дачному посёлку. К быстрой незамерзающей Волчанке, уже взятой белыми закраинами.

На мосток с берега забиралась грузная женщина в сером пальто с корзинкой на руке. Поправила на голове тёплый платок, вновь подхватила корзинку и осторожно пошла по трём доскам, хватаясь одной рукой за перила. Наверняка шиповник собирала вдоль речки. Самый последний. Прихваченный морозцем, самый вкусный, медовый. Нужно бы тоже сходить, немного набрать.

Вдруг увидел тяжёлое плывущее бревно. Приближающееся к мосткам. Бревно ударило в одну из стоек мостка, начало разворачиваться поперёк речушки. Раздался треск. Женщина схватилась обеими руками за перила. Попыталась идти дальше, но поздно – с двумя провалившимися досками полетела вниз. Полетела как-то боком. Как большая серая рыбина. Плюхнулась и сразу ушла под воду.

Вскочила на ноги и закричала:

– Ой, мамоньки! Тону!

Воды ей было под грудь, но течение толкало, норовило опрокинуть, потащить.

Дмитриев побежал, бросив за собой рюкзак. Не раздумывая прыгнул к ней с обломков мостка. Она сразу безумно охватила его обеими руками как друга долгожданного, и вместе с ней он ушел под воду.

Оба вскочили. Женщина опять начала хвататься, словно хотела его непременно утопить.

– Да мать твою! – боролся Дмитриев. Смял, наконец, её руки, потащил к берегу. К дачному берегу.

Проваливаясь, круша лёд закраины, выволок тяжёлое бабье тело на берег. Поставил на ноги. Дальше повел. Подальше от воды, ото льда.

Стояли и смотрели друг на дружку как два монстра с длинными руками, истекающими водой. На Дмитриеве не было кепки, на женщине – платка. «Ой! – ощупала голову женщина. – Мой платок! Моя корзинка! Ой, мамоньки!» Пенсионерка с мокрыми волосёнками уже поворачивалась к речке, словно готова была ринуться назад, плыть, искать свой чёртов платок и корзинку. «Ой, мамоньки! Ой!»

Дмитриев спросил, где она живёт, где её дача.

– Там, – махнула женщина рукой в противоположную от дачи Дмитриева сторону. – На четвёртой улице. К сестре вчера приехала. Корзинка пропала её! Мой платок! Ой, мамоньки!

Дмитриев хотел довести её до дома, до сестры. Но женщина отвела его руки и сама полезла в горку, всё причитая «ой, мамоньки! ой, корзинка! ой платок!». Да что же ты жадная-то такая, а? – хотелось крикнуть старающейся широкой заднице с выглядывающими мокрыми чулками и панталонами. – Ведь чуть не утонула вместе с ними, дура!

Дмитриев попытался отжать на себе воду из куртки и штанов. Бросил. Выбрался на бугор, потрусил к своей даче. Нужно поскорей переодеться во что-нибудь, вскипятить чай, согреться. И вспомнил: на даче нет газа. Пустую ёмкость в последний приезд увёз в город. Для заправки. И не заправил. Вообще о ней забыл. Чёрт!

Сунулся к Свищёву – дверь в железной опояске с пудовым замчиной. Как на сельском магазине. В город продавец уехал.

Даже не зайдя к себе, Дмитриев побежал к капитальному мосту через Волчанку метрах в ста вниз по течению.

По мосту и за мостом бежал трусцой. Вдоль дороги. Необычный, весь мокрый спортсмен за городом на тренировке. Редкие дачные машины обгоняли спортсмена. Подмывало поднять руку, проголосовать, но было стыдно. Да и не пустят такого мокрого и страшного в сухую машину.

Поравнявшийся мерседес притормозил сам. Поехал рядом.

– Что с вами случилось? – послышалось из открывшегося окна.

Дмитриев бежал с голой головой. Махнул рукой. Мол, ерунда, пустое. Не обращайте внимания.

Но мерседес остановился, и от него уже бежал человек. Приобнял и повел к машине. Как сам Дмитриев недавно. Когда выводил женщину подальше на берег.

– Я весь мокрый. Всё испорчу, – упрямился старик уже со вставленной в кабину ногой. Словно пойманный и арестованный, которого суют внутрь кабины, схватив сверху за башку, чтобы, не дай бог, не самоубился до следствия и суда.

– Ничего, ничего, – поощрял хозяин мерседеса, мужчина лет сорока в длинном черном пальто, явно не дачник. – Садитесь скорей, простудитесь!

Старик влез. В тёплой машине от прилипшей к сиденью спины и ног сразу ощутил ледяной холод. Как будто вновь сиганул в холодную воду.

Мощный автомобиль плавно полетел. Резал дорогу, будто масло.

Водитель поглядывал на лысого, явно потерявшего кепку старика, нахохлившегося в мокрой насквозь одежде.

– Так что же с вами случилось, отец? Рыбачили? Перевернулись с лодкой?

Дмитриев коротко рассказал о случившемся.

– Да, история, – посмотрел на старика мужчина. Удивляясь то ли истории, то ли его поступку. Спохватившись, выдернул из внутреннего кармана пальто плоскую фляжку: – Выпейте. Вам просто необходимо сейчас.

Дмитриев отвинтил, послушно запрокинулся. Горло ожгло. Коньяк. Крепкий однако.

– Ещё, ещё. Пейте!

Ну что ж, раз дают, можно и ещё. Опять запрокинулся. Наморщился, завинчивая пробку. Протянул плоский походный сосуд:

– Большое спасибо.

Мужчина домчал до дома за десять минут. Высаживал прямо у подъезда. Как барина. Под ручку. Хотел ему заплатить. Полез за деньгами. Мокрыми.

– Вот. Только такие.

– Не обижайте меня, отец. Давайте-ка я лучше вам помогу в подъезде.

Дмитриева снова подхватили и повели. Старик опять послушно шёл, глотал слёзы. Но возле подъездной двери хватило ума остановиться.

– Спасибо вам, спасибо! Как вас зовут? – Высокий голос Дмитриева дрожал, срывался.

– Андреем меня зовут, – сказал мужчина. Видя, что старик отворачивается, явно плачет, успокаивал: – Ну что вы, отец, успокойтесь. Сейчас сразу в горячую ванну, потом крепкий чай. С хлебом с маслом. С мёдом. Есть у вас это всё? – Старик не в силах говорить – кивал. Как маленький. – Ну вот и хорошо. Здоровья вам, отец! – Мужчина уходил: – Всего вам доброго! – По-женски подцепил свои чёрные половики, занырнул в кабину. Круто развернулся и сразу погнал.

По лестнице старик торопился, дрожал от озноба, но на душе было тепло. Оказывается, не все сейчас мерзавцы бездушные.

Быстро раздевался в прихожей, сдирал с себя всё. Голый, на цыпочках, по ледяному линолеуму протрусил в ванную. Разом сильно вывернул и горячую и холодную. Ждал. Нужного уровня воды. Залез, наконец, погрузился в горячее тепло. Сразу по всей голове и лицу выступила испарина. Закрыв глаза, лежал, пошевеливал руками. Видел себя и женщину на берегу. Себя дурака-спасателя и спасённую. Которая только ойкала и стремилась обратно в реку за своим дурацким платком и корзиной. Простоволосая, в мокром сером своём пальто, как в прелых шкурах. Когда снова бежал мимо разрушенного мостка, нужно было тоже ринуться в речку и грести за своим рюкзаком. Который так и валялся на насыпи. А то ведь теперь можно сдохнуть от досады и жадности. Как тётка сейчас, наверное, сдыхает. Вместе с сестрой. А может, всё это от шока у неё было? Вся эта её «жадность?»

Быстро, жестко растирался полотенцем.

В махровом халате, в кухне потом наливался чаем. С малиной и мёдом. И масла на хлеб не жалел. Поднялся, наконец, из-за стола. Весь горячий внутри. Как выдохнувший всю простуду. Ну, кажется, пронесло.

Ночью чувствовал жар, но не мог проснуться.

Нужно было посидеть дома день-другой, прогреться как следует, полечиться народными средствами, теми же мёдом, малиной, но – нет. Утром попёрся платить коммунальные и в ТСЖ. Ещё таскался по городу, заходил в магазины, покупал продукты. Уже вовсю кашлял, поднимаясь домой по лестнице. Бухал. Останавливался – и будто в гулкую большую трубу вниз подъезда давал. Дышал после кашля как дырявый баян. Похоже, – зацепило. Не помог ни коньяк доброго человека, ни горячая ванна, ни мёд, ни малиновое варенье с горячим чаем на ночь. Дальше поднимался. До следующего приступа кашля.

После обеда смерил температуру. 38 и 5. А что будет вечером, ночью? С градусником в руке повернулся к зеркалу шифоньера. Вместо своей головы, видел в нём какой-то белый безжизненный корнеплод. Типа кормовой свёклы. С красно-синими щеками.

Опять попался! И ведь года не проходит. Полгода! Ничего никогда не пристаёт. Только простуды. Побыл три минуты в воде – и пожалуйста. Герой-задохлик. Спрыгнувший с мостка.

С такой температурой можно было вызвать врача. Или самому, в конце концов, пойти в поликлинику. Но всё тянул, надеялся на что-то.

Два раза пил капли от кашля. Однако кашлять стал ещё чаще. Зло выкидывал из себя приступы. Сгибался, никак выкинуть не мог.

Снова смерил температуру. Часов в шесть вечера. 39 и 3. Дождался!

Теперь что – в скорую звонить?

Поколебавшись, стал набирать номер Екатерины.

Слушал длинные гудки. Казавшиеся бесконечными. Опять видел в зеркале корнеплод с вертикальными страдательными бровками.

3.

В тот день Екатерина Ивановна вышла из дому на работу как обычно, в половине восьмого. Ползущее небо было тёмным, сажным. По улицам носило дождь со снегом. Порывы ветра зонт стремились вывернуть наизнанку. Поворачивалась спиной, принимала ветер на себя. Снова поворачивала зонт навстречу дождю и снегу.

Возле школы зонт пришлось сложить. Кыскнула Феликса. Стала доставать из сумки еду. Сегодня баловню одна сосиска и один вареник, облитый сметаной.

Выкладывала всё в железную плоскую банку из-под селёдки, продолжая кыскать.

Кот не выбегал. Странно.

Пошла вдоль стены, вдоль окон.

Мокрый Феликс плоско лежал с вылезшими зубами. На голове в короткой шерсти – сукровичный цветок.

Екатерина Ивановна качнулась, закрыла глаза. Постояла, приходя в себя. За холку подняла убитого, быстро пошла в школу. За два угла. К главному входу.

По коридору школы несла кота, отбиваясь от охранника. Читала таблички на классах. С левой стороны. Окнами к стадиону.

КАБИНЕТ БИОЛОГИИ. Здесь! Распахнула дверь, ворвалась. Кинула убитого кота на стол. Прямо к вскочившей полной даме. К главному специалисту по животным.

– Живодёры! Шкуру забыли содрать!

Оттолкнула охранника, пошла из класса. На пороге повернулась и что есть силы саданула дверью. Разом отринула и описавшуюся учительницу, и охранника, и весь класс, будто разинувший единый рот.

Шла к поликлинике. Не чувствовала ветра, секущего дождя. Про сжатый в руке зонт забыла.

Готовя всё к процедурам, ничего не могла понять на белом столе. Путала ампулы, шприцы, не могла разложить как надо. Рукавом халата смахивала слёзы, снова всё пихала, перекидывала. Нос её будто напитался кровью.

В дверь заглядывали больные. Законно ожидающие укола или капельницы.

Вечером, не переодевшись в домашнее, лежала на диване. Лежала на боку, поджав ноги в чулках, закрыв локтем голову. Мокрый зонт валялся тут же в комнате. Прямо на полу. Как убитый летучий мыш.

Зазвонил мобильник. Из прихожей. Из кармана висящей кофты. Поднялась, пошла. Открыла крышку. Дмитриев!

– Да-да, Сергей Петрович!

Старик слышался словно с края земли, кашлял, говорил прерывисто:

– Екатерина Ивановна, кажется заболел, опять простудился.

Вот уж правда – беда никогда одна не приходит.

– Сергей Петрович, сейчас приеду. Пейте пока горячее. Укутайте грудь. Горло. Я – скоро.

Быстро начала одеваться.

Был уже девятый час, но всё равно побежала в поликлинику.

На крыльце долго ругалась со сторожем за стеклом дверей. Недовольным татарским бабаем в русской душегрейке:

– Да работаю я здесь! (Старый ты хрыч!) Медсестрой! Позвоните Ольге Герхардовне! Пациенту плохо!

Недовольный бабай уходил к телефону, возвращался, спрашивал, как фамилия, зачем пришла. Снова уходил. Наконец открыл. И был чуть не опрокинут ворвавшейся русской бабой.

Быстро набирала в процедурной ампул и шприцов. Завернула всё в белый халат, сунула в сумку.

Опять чуть не сбила бабая на выходе.

– Ненормальный какой! – отскочил бабай.

Другой бабай, на третьем этаже открывший дверь, пятился.

– Извините, Екатерина Ивановна, вот – опять, – развёл руки, представляя себя сегодняшнего. В полосатой пижаме, краснощёкого, с белой лысиной и замотанным горлом.

Когда готовила и ставила уколы, старик кашлял почти не переставая. Лежа на боку с обнажённой жёсткой своей ляжкой – от кашля подкидывался. Нужно было пережидать приступ, чтобы успеть ввести лекарство до следующего.

Поставив три укола, Городскова безоговорочно начала набирать скорую.

– Может, не надо, обойдётся всё, – ещё надеялся старик. – А, Екатерина Ивановна?

– Нет, не обойдётся, Сергей Петрович. У вас пневмония. И, похоже, крупозная. Платок от слюней и мокроты весь коричневый.

Старик испуганно глянул на платок в кулаке. Действительно – в коричневых пятнах.

Диспетчеру скорой излагала всё чётко. Высокая температура, сильный кашель, фамилию-имя-отчество заболевшего, возраст, домашний адрес. Третий этаж. Дверь в подъезд без замка.

– Ну, Сергей Петрович, давайте потихоньку одеваться.

В спальне старик с тёплым бельём руках брыкался, не хотел никакой помощи.

– Да я же медсестра, черт побери!

– Я сам, я сам, – закрывался старик, как подросток.

Пришлось отступить, выйти из спальни.

Городскова собирала своё, ворчала. Говорила кому-то постороннему: «Опять, наверное, налегке бегал в парке. Где же ещё можно так простудиться. Только в парке любимом».

– Нет, не в парке, – каялся простуженный. – Спрыгнул с мостка, Екатерина Ивановна. В Волчанку.

Городскова онемела, не веря. Тогда старик, кашляя, рассказал, как всё было.

Екатерина не успела ничего сказать – раздался звонок: скорая!

Ввалили трое с медицинскими баулами и в белых халатах из-под тёплых курток.

Довольно молодой свежий врач в халате, с шапкой на голове задрал бязевую нижнюю рубашку старика и приложил холодную бляху фонендоскопа к согнутой спине:

– Дышите.

Старик тут же зашёлся в бешеном пароксизмальном кашле.

– Что кололи? – спросил врач, увидев разорванные обёртки и пустые шприцы.

Городскова сказала. Врач с интересом посмотрел на неё:

– Вы врач? Коллега?

– Я медсестра. Из второй поликлиники.

– Ну что ж, всё сделали правильно. Пневмония. Крупозная. Одевайте отца, спускайте вниз.

У Дмитриева уже ничего не спрашивали. Дмитриева, как ребёнка, быстро одевали. И Екатерина, и сестра скорой.

В уазике приобняла его, удерживала, опять взявшегося кашлять. Под зимним толстым пальто его как будто кто-то бил в барабан.

В приёмном покое Первой городской – снова переодевались. В спортивном шерстяном костюме на длинной молнии, теплых носках и тапочках повезли сидящим на каталке по длинному коридору. Старик испуганно крутил головой, подкашливая больше по обязанности. Подпрыгнувшего на порожке, завезли в широкий лифт, с лязгом захлопнули железную дверь. Старик исчез.

Его одежду, завернутую в его же пальто, Екатерина повезла к себе домой. В автобусе с узлом на коленях не видела в окне пролетающих ройных огней на домах, а видела Дмитриева, спасающего женщину. Как он бесстрашно прыгнул к ней с мостка, схватил, не дал унести течению. Тащил потом, боролся с водой и вытащил женщину на берег. Как та, наверное, обнимала его, плакала, а он только отворачивался, не в силах говорить.

Бедный старик. Только притворяющийся жёстким и циничным. Но почему он не поспешил вместе со спасённой на её дачу? Чтобы там отогреться, переодеться во что-нибудь, обсохнуть. Почему стал бегать возле своей дачи? Раз там не было газа.

Отказался. Стеснительный, скромный. Бедный старик.

4.

Два дня Дмитриев пролежал в коридоре отделения. На кровати вдоль стены. Ногами к голове другой лежащей женщины. Не из Волчанки. В первую ночь женщина два раза падала с кровати. (Да что за напасть: одна в Волчанку, другая – на пол!) Пост медсестёр на стоны не откликался. Спал. Старику пришлось оба раза вставать и помогать толстой женщине лечь обратно в постель. Каждый раз удивляясь, как может столько много теста свалиться с кровати.

Днём оба лежали, удерживая стойки капельниц. С висящими флаконами. Боялись, что зацепят, опрокинут.

Городскова и просила, и ругалась. Наконец сегодня Дмитриева перевели в палату. В палату, как сказали, четвёртую.

Среди других семи обитателей увидела его на кровати в углу. Будто отгороженного от всех. И Дмитриев, точно намолчавшись там, сразу начал прерывисто говорить, едва только присела к нему:

– Бездарно прошла жизнь моя, Катя. После гибели сына и смерти жены ничего, кроме работы, не видел. Не завёл ни друзей, ни даже подруги. Представь, Катя, как забавно было сидеть в день рождения одному. В обнимку с чекушкой и рюмкой. Одному, как говорят, задувать свечи. Забавно прошла жизнь моя.

За эти два дня высокую температуру ему сбили, так только – 37 и 2, 37 и 5, кашель тоже заметно убавился, но лицо изнутри оставалось больным, красным сквозь серость, как плавка. Он задыхался, сильно потел. Екатерина Ивановна вытирала ему полотенцем шею, лицо. Он отстранял её руки и дальше торопился, говорил что попало, лишь бы говорить. Похоже, быстрым говорком он сбивал кашель. Одышку:

– Ты сказала, трепушка она, проститутка. Шалишь! Сейчас проститутки зовутся путанами. Трепачи теперь бой-френды. А мерзкие педерасты и вовсе звучат очень гордо – геи. А ты говоришь, просто трепушка. Шалишь! Путана она теперь, путана!

Рядом с Дмитриевым лежал молодой и, казалось, совершенно здоровый парень, который, как и положено молодому и здоровому, всё время уходил куда-то из палаты и возвращался. У него был точно такой же синий спортивный костюм на длинной молнии, как и у Дмитриева.

– Вот вам яблоко, отец, – говорил он и клал в тарелку на тумбочке наливное блестящее яблоко. – Я его помыл.

Вместо бормочущего, будто бредящего старика, благодарила Екатерина. С края заправленной кровати парня она кормила больного. Старик не хотел есть с ложечки, всё время садился, чтобы схватить ложку и самому есть, но начинал сразу кашлять. Снова падал на подушку, обречённо скашивал рот к ложке.

– Странно, Катя: лежу, почти не кашляю, сел или встал – сразу начинаю бу́хать. Странно.

В глазах его бегало недоумение. А Екатерина, забывая про свои слёзы на щеках, половчее старалась всунуть ложку под скошенную губу. Вот так!

5.

В воскресенье отделение с утра набилось родными больных. И в коридоре, и в палатах – везде стояли или сидели у кроватей сострадающие. В белых халатах или в легких синих пелеринках, выданных внизу.

Сегодня дежурил сам Завьялов, заведующий отделением. Крупный мужчина в белой шапочке, с лицом, похожим на генеральское седло из толстой гладкой кожи. В коридоре он недовольно говорил настырной, каждый день надоедающей женщине. Вроде бы медсестре из второй поликлиники:

– Обуздайте, наконец, своего отца! (В отделении почему-то считали, что Дмитриев отец Екатерины.) Его опять видели в ванной комнате. Опять он мылся под душем. Он что, дурак, ненормальный? С таким трудом привели его к какой-то стабильности, и что теперь нам ожидать от него. Всё – с начала?

Городскова извинялась. Говорила, что «обуздает». Будьте уверены, Геннадий Иванович!

В палате выговаривала больному. Почище Завьялова:

– Вы что, на тот свет захотели? Вам же нельзя, понимаете, нельзя сейчас мыться! Ни голову, ни тем более тело. Почему вы упрямый такой? Я же приношу, каждый день приношу вам бельё на сменку. И сейчас принесла! Вы же переодеваетесь каждый день. Чего вам ещё надо?

Дмитриев, как нашкодивший кот, уводил глаза. Хотел сказать, что свежее бельё потному грязному телу не товарищ. Вонять тело будет так же стойко, как вся палата номер четыре. Но каялся: он больше не будет.

Екатерина начала выкладывать на тумбочку принесённую еду. И горячее в судке, и для чая всё.

Поев сам, набравшись сил, Дмитриев застегнул молнию на олимпийке и стал подниматься, чтобы немного походить.

– Вам рано ещё лишний раз вставать. Сергей Петрович!

– Движение – это жизнь, Екатерина Ивановна, – с большим оптимизмом говорил старик.

Пришлось сопровождать в коридоре. По выбитому старому больничному линолеуму старик ступал уверенно. И кашлял мало.

Сели на обшарпанный больничный диванчик неподалёку от лифта. На муниципальную больничную нищету. Старик спросил про Рому. Как он там? Как учится? Что нового у него в плане шахмат?

– Почему вы не взяли с собой мобильник, Сергей Петрович? – вопросом на вопрос ответила Екатерина. – Чтобы самому звонить ему?

– Я думаю, Катя, Роме не надо сейчас говорить, что я заболел. Вот как поправлюсь немного, перестану кашлять – можно попробовать тогда. Позвонить.

У Городсковой перехватило дыхание. Стала отворачиваться.

– Что с вами, Катя?

Женщина повернулась к нему. И вдруг со слезами начала качать головой:

– А вы знаете, Сергей Петрович, что Валерий ваш внук, а Ромка – правнук? А? Знаете? – Всё качала головой, как будто пеняла старику: – Знаете?

Старик то ли не поверил, то ли не мог осмыслить услышанного.

Сказал, наконец:

– Не переживай, Катя. Я давно понял это.

– Как давно! Когда?

– Когда увидел фотографию Валерия. У тебя на стене. Когда узнал в нём своего Алёшку. Да и себя самого.

– Да что же вы молчали?

– Не посмел, Катя. Слишком много времени прошло.

Старик, словно боясь, что его сейчас стукнут по голове, торопливо добавил:

– Я уже и завещание написал.

– Какое завещание?

– На квартиру свою. Правда, не на Валерия, а на Рому.

Городскова вскочила, стала ходить взад-вперед, не в силах вместить всё в голову.

– Зачем, Сергей Петрович?! Это же плохая примета!

– Предрассудки, Катя. Я ещё поживу. Ещё половлю с Ромой рыбу.

Как в бабьем плохом романе, Екатерина села, обняла старика и заплакала.

Потом, споря, обсуждали, стоит ли сейчас говорить всем – и Валерию, и Ромке, и Ирине – о внезапном превращении Дмитриева в деда и прадеда. Старик сомневался, надо ли Катя. Не испортит ли это всё?

– Надо, Сергей Петрович. Теперь непременно надо сказать. Вот как поправитесь, так сразу и раскроем им карты.

Простились у лифта. На правах невестки Городскова поцеловала старика в щёку. Раскрасневшийся Дмитриев бодро пошёл к своей палате. Екатерина захлопнула железную дверь грузового лифта, поехала вниз, чтобы выйти через приёмный покой, через который за эти дни навострилась проходить к больному. В любое время дня. И даже вечера.

На другой день, в обед, как всегда, пришла с горячим.

– А ваш отец в реанимации, – сразу чуть ли не хором поведали ей в палате. – Вчера вечером ему сделалось плохо, и сразу увезли. На пятый этаж. В реанимацию.

Больше всех говорил молодой парень в костюме-олимпийке, как у Дмитриева. Кивнул на аккуратно заправленную постель Дмитриева. Мол, смотрите, его здесь нет.

Побежала в ординаторскую.

Завьялова не было, но врач Галямова всё подтвердила. Действительно старику стало резко плохо, начал задыхаться, терять сознание. Быстро подняли на пятый. В реанимацию.

Татарские, как лодки, глаза смотрели с тревогой на растерянную женщину.

Вошёл Завьялов. Большое лицо его было озабочено.

– Уже знаете. Делают всё необходимое. Я узнавал час назад. Пока улучшения нет. Старик без сознания, но организм борется. Будем надеяться.

Екатерина Ивановна хотела уточнить, узнать подробности, но Завьялов, не давая говорить, – говорил сам и одновременно писал: «Вот телефоны ординаторской и поста в коридоре. Вам тут делать нечего. Звоните в любое время в течение дня, конечно, узнавайте. До свидания».

После работы пришла домой – разбитая. Как будто мешки целый день таскала.

Стряхнув изморозь, кинула в комнату на диван легкую, как пух, песцовую шапку. Сев, стала снимать обувь. С сапогом в руке замерла. Как и Дмитриев недавно, повернулась к зеркалу на стене. На неё смотрела женщина с обескровленным белым лбом, будто с белым обручем. Волосы взняты, схвачены вверху резинкой. Баба-яга сидит. Старуха. Пока ещё не больная. Одно только отличие от Дмитриева. Вздохнув, двинулась в комнату.

На следующий день с утра позвонила. В трубке послышался голос Завьялова, говорящего с кем-то. Перевёл голос в трубку – да! слушаю!

– Здравствуйте, Геннадий Иванович, как состояние Дмитриева? Из четвёртой?

Завьялов медлил отвечать. Городскова напряглась.

– А вы знаете, ничего. Явная положительная динамика. Пришёл в себя, разговаривает. Крепкий старик. Видимо, завтра или послезавтра переведём в палату.

– Спасибо вам! Спасибо большое, Геннадий Иванович!

Городскова чуть не плакала.

Вечером позвонил Рома.

– Я набирал сегодня Сергея Петровича. Он почему-то не отвечает. Он где: дома, на даче?

– Телефон, может быть, разрядился. Я завтра, наверное, увижу его, скажу, и он обязательно тебе позвонит. А теперь рассказывай давай, как у вас дома. Как папа, как мама?

Как всегда прошла через приёмный покой, разделась в раздевалке и поднялась на четвёртый этаж.

В ординаторской – никого. Видимо, все на обеде. В столовой.

Пошла в палату. Может быть, уже перевели.

Когда вошла, все в четвёртой палате сразу начали отворачиваться. Углубляться в свои дела. В еду. В болезни.

Постель Сергея Петровича собирала пожилая санитарка. Одеяло, две простыни толкала в серый большой мешок. Сдирала с подушки наволочку. Другая санитарка, помоложе, выгребала всё из тумбочки. Стеклянные банки из-под еды. Кульки с печеньем, железную миску с ложкой, вилкой.

Старая скатала матрас, обнажив железную сетку. С мешком, с матрасом под мышкой пошла к двери.

Все по-прежнему не поворачивались. Только парень в олимпийке крутил головой, испуганно смотрел то на оголённую кровать, то на женщину. То на кровать, то на женщину.

Екатерина попятилась, вышла.

В коридоре опустилась на диван. Обеими руками схватилась за край его. Сидела, раскачивалась. Сразу закапали слёзы. С плачущей виноватой улыбкой не могла найти платок.

В кармане кофты зазвонил мобильник. Машинально открыла, поднесла.

– Ба, ты где? Почему не отвечаешь?

Женщина отстраняла мобильник, мотала головой, словно проваливалась под землю, в ад, давилась слезами.

– Ба, ты слышишь?..

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

ОБЪЕКТЫ

Сабвей

Когда оно вчерне грохочет
и свай мельчит чугунный лес,
сцеплений ржавый чёрт хохочет,
туннельный бес,

и человек, глотатель пиццы,
сидит меж птицами огней,
и жизни топчутся крупицы
в вагонах дней,

летят победа и обида,
гул поезда в утробе скал
вдруг, выдохнут дутьем Аида,
возник и стал.

И к турникетам с птичьим граем,
как в небо ночи фейерверк,
толпа зернистым урожаем
восходит вверх.

Потоп

Ли́ло, ли́ло, и на лиловом
белело белым оловом,
неслось ли облаком,
или овалом фонаря
разбрызганного отражалось,
каблук бежал за каблуком,
зонты ломались, спицами горя́,
и всё к себе прижалось.

Владимир Гандельсман родился в 1948 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Автор пятнадцати поэтических сборников. Переводчик англо-американской поэзии. Лауреат «Русской премии» (2008). С 1991 года живет в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге. Предыдущая публикация в «Волге» – № 5-6, 2016.

На ветровых сновали дугами,
стекая, стеклоочистители –
всё смыть со всеми их недугами,
чтобы явился новый Ной
и все увидели,
как он рифмуется с весной,
с зеленой веткой
и стихшей каплей световой.

И кисть руки, и кисть руки
из рукава белела тоже,
и рябь по рукаву реки
вытягивала вдаль баржа,
вдоль бе́рега в домах уютилось,
вдвойне оттаивал из дрожи
гость у камина, дорожа
тем, что причудилось.

Вокзал

Вот некто входит в зал,
пред тем спугнувши птиц,
взлетевших – фьють! – на воздух,
в киоске глянец лиц,

в табло упершись лбом,
студент твердит: «облом...»,
в нём узник опозданья
колотит кулаком,

заплечных мастер дел меж тем
массирует жене заплечье,
а нищий целится в мишень,
но та отводит взгляд от встречи,

и все питаются по кругу –
кафе съедобный бельэтаж,
с газетой, заедая скуку,
клерк ест беляш,

бильярдный шар пломбира в лузу
розетки лёг
на счастье карапузу
с болтанкой под сиденьем ног,

обходит полисмен
с незлой собакой зал,
икает неврастен,
ик, ик, он опоздал,

и дел меж тем заплечных мастер,
жены заплечья массажист,
и нищий тот на фоне астр,
и обернувшаяся та мишень на жизнь,

в киоске всё пестрит,
вытягивая шею,
играет в лотерею
почтенный кроглодит,

и некто, над толпой
взъяренным мозгом взрыв
свод неба голубой,
уже готовит взрыв.

Анатомия

В паху гостиницы струится писсаро –
дождь вертикальных линий световых
тем ярче, чем темнее ночи дых,
там горлышками вверх устроен бар,
и льдом переливается нутро
бокала, и бросает в жар
большую барышню в луче проезжих фар,
откупори женитьбу Фигаро,

бильярд раскатывает по сукну шары,
прицельный кий, натёртый мелом,
снуёт, и сталкиваются миры,
и в лузы падают всем телом,

кишки зеркальных лифтов вверх и вниз,
то сдвинув, то раздвинув двери,
в окаменелости пошатливой сошлись
в ажурной клети звери,
замедлился бесшумно и завис,

забиты уши тишиной ковров,
по коридорам бьётся сердце в глотке,
в порочной белизне безликих номеров
постелей всеприимных лодки,

и, лакомства любви лакая,
барышник барышни большой сосед
её под ложечкой сосёт,
она ж всю ночь кричит, не умолкая,
вампира яростно алкая,

за окнами струится писсаро,
и в номерах мертво уже,
как будто отравил, яд впрыснув под ребро,
кого-нибудь де Бомарше.

крем-брюле

ой-люли крем-брюле ай-люли
ой слюна ай эрдель ай терьер
ой мороженое слижи
с пальца кормит собачку толян
сын толяна вспылил не валяй
дурака мой эрдель а не твой
ему вредно лизать крем-брюле
ай-люли крем-брюле ай-люли

ай в мороженице ля-ля-ля
ай сыновья жена ля-ля-ля
наш эрдель а не ваш крем-брюле
с пальца в пасть не сувайте ему
а толян накалился как сталь
проливная как доменна печь
он ли сына не вскармливал блюл
он ли волю ослабит свою

не ослабит толян волевой
воль своих не ослабит толян
плюнет скажет плевать я хотел
тлен слова твои шваль ты не сын
ай-люли шваль тебе пел не я ль
в колыбель умилялся не я ль
я ль эрделю лизнуть крем-брюле
позволения должен молить

вышел вон в опалённую ночь
из желтка гоголь-моголь кафе
что-то щёлкнуло в дивном ларце
головы у толяна плевать
дрожки взял запахнулся в шинель
будьте прокляты крикнул и боль
вдоль раскатом прошла громовым
ой-люли крем-брюле ай-люли

меджи меджи любимый эрдель
никогда не вернётся толян
ни к жене что молчала как тля
ни к сынку ни к проклятой его
цапле выйдет в испании он
скажет всем hola, soy tu rey

я испанский король ля-ля-ля
ай-люли крем-брюле ай-люли

Смерть Кочеткова

Цвет неба, как песок,
смотри в закат, кто хочет,
что из виска в висок
мне метроном грохочет,
когда превысит боль
всё, что превысить может,
налей мне алкоголь,
мой день дожат и дожит,
он без сознания
и мёртвой ниткой вышит,
и не смотри, что я,
как пёс, дрожит и дышит,
всё мимо по усам
и градусом не тешит,
и я не знает сам,
что так дурит и держит,
не зря, не зря, кипя,
чтоб не было в помине,
мозг, выпарив себя,
пас пустоту в пустыне,
когда сверкает боль
и мёртвой хваткой мочит,
дай, Алка, алкоголь,
кончается твой кочет,
впивайся, астроном,
в распыл небесных таин,
я труп, как метроном,
который в лёд запаян.

Полёт

Жертвенных животных стадо, очередь,
топчутся с писаниями бок о бок
и толкутся, как у бога в ступе,
скоро в небеса построчно,

как вкруг пчелиной матки рой детей,
вкруг тучной матери галдят –
кто на́ плечи к ней лезет, кто с плечей,
и вот уж в небесах летят,

то сгрудятся, молясь в иллюминатор,
покачиваются, как зачинают

чернявых чад, то в креслах спят и спят
и в господе во сне души не чают,

там в вихре вознесённый Илия –
он вскормлен из вороньих клювов сот,
Исайя весть о восседающем в Иерусалиме
над кругом маленьким земли несёт,

там всё на «и», Иеремия разбивает глиняный
кувшин, и Иезекииль,
там разбегающимся кони клином
его на части рвут и втаптывают в пыль,

всё всё на «и», и вот сквозь свитки облачные
снижается «аэрофлот», проснётся
кагал, увидев, выходя из ночи,
как крестик тени на земле смеётся.

Иван МАКАРОВ

КРОКОДИЛКА

Рассказ

1.

До половины дня... Да, нет не до половины, больше, часов до четырех Тюленев наслаждался сытостью. Потом он стал от нее страдать. Ну, страдать – это, пожалуй, сильно сказано... Скорее, недомогать, томиться... Скучать... Да, скучать. Стал скучать от сытости. Все же зашел в кафе. Съел половину хачапури с сыром, над второй половиной задумался.

Вспомнил почему-то, как он в первый раз в жизни попробовал эту самую штуку, которая называется хачапури с сыром...

Это было в Ленинграде, в Питере. Были белые ночи...

Почему-то (собственно, понятно почему) когда Питер назывался Ленинградом, его принято было называть Питером, теперь, когда его снова провозгласили Санкт-Петербургом, понятней стало имя Ленинград... Тем более с Лениным (с Лысым) имя города давно уже потеряло всякую связь...

Да и что, в сущности, теперь Ленин?

Просто исторический персонаж. Где-то на полпути от Герострата до Наполеона... Первого ли? Третьего ли?..

А для кого-то и теперь идол (идеал) или пугало... Что на самом деле одно и то же...

Да и не в Питере это было... В Разливе. То есть в Питере-Ленинграде хачапури с сыром куплено было, а попробовано уже в Разливе, после купания и плавания в веселой зеленоватой воде...

В том самом Разливе, где пресловутый лысый Ленин в легендарном шалаше прятался от властей в качестве иностранного агента-шпиона...

Кафе было летнее, и, хотя была уже осень, столики стояли на улице. У входа висело объявление, отпечатанное на принтере:

«На территории кофе жевотных кармить заприщается»

На невысокой каменной оградке лежала большая серая кошка. Другая, подобная ей, чуть поменьше ростом, ходила между столиков.

Тюленев позвал ее и стал понемногу давать кусочки оставшейся половины хачапури. Кошка кушала. Появилась кафешница, стала над Тюленевым:

– Вы что? Читать не умеете? Написано ведь: «Животных не кормить!»

Иван Макаров родился в 1957 году в Москве. Окончил химико-технологический институт и заочно Литинститут им. Горького. Работал инженером, слесарем, дворником, сторожем и т. д. Публиковался в журналах и альманахах «Новый мир», «Согласие», «Знамя», «Юность», «Поэзия», «День поэзии», «Плавмост», «Крещатик», «Топос» и др. В 2006 году вышла книга стихов. Живет в Калужской области.

– Да я животных и не кормлю...

– А это что такое?.. Брысь!

Тюленев хотел задержать кошку, но она сделала вид, что испугалась, и ушла.

А Тюленев продолжал свое:

– Да разве это животное?.. Это кошка.

В самом деле! Разве кошка – животное?

Животные это – собака, лошадь, корова, корова, свинья, я, лягушка... Мышь, черепаха, верблюд... Змея, наконец... А кошка это совсем другое. Кошка, она и есть кошка...

2.

На литургии Тюленев неодолимо дремал. Ночью он не больше получаса спал: «думал».

И теперь в голову ему проникали всякие ненужные, глупые мысли.

Впереди, вправо стоял высокий плотный мужик в джинсах. Слева – тоже в джинсах, и еще в джинсах...

Пели «Святый Боже...», а Тюленев «думал» (невольно, конечно, просто всякая ненужная и несвоевременная чепуха неодолимо лезла в голову): «Да... Одежда много говорит о человеке... Теперь, когда всяких тряпок полно и никакого дефицита нет, все нормальные люди ходят непременно в джинсах... Разве может в наше время нормальный человек другие штаны носить... Джинсы выдумали в Америке...»

Во время Херувимской Тюленев строил планы на будущее...

Дальше – хуже... Он думал, какой он хороший, и какие все вокруг хорошие, и как ему трудно живется... И всем тоже...

Тюленев то боролся с этой залезающей в голову несвоевременной чепухой, то забывал бороться, полузасыпая... И все равно было хорошо, радостно: храм, служба, литургия...

Строй церковной службы все же пробивался сквозь бред...

«А как теперь устроена вентиляция в соборе?.. Храм-то летний, но служат ведь и зимой?..»

Все же удивительно и даже пугает: такие недлинные вроде молитвы, а сколько чужого и ненужного, сколько разных, длинных самолюбивых и не слишком умных мыслей успевают пронестись в голове, пока их читают... И даже если сам про себя за хором слова повторяешь, и даже если со всеми поешь...

И все равно, слава Богу!.. Все хорошо... А это...

А это всегда одно: «или стоящу ми на молитве, ум мой о лукавствии мира сего подвижеся...»

3.

Вечером ужасно захотелось вдруг пить и гулять.

Знал, конечно, не стоило, но ужасно захотелось. Тем более, дождь шел, и густой туман стоял над выпавшим минувшей ночью первым снегом, который теперь таял. Самое время пить и гулять.

...И встретить ту женщину, большую и прекрасную, похожую на крокодилу. На добрую крокодилку из детской сказки... М. б., на ту самую плачущую по потерявшемся в Питере муже крокодилицу из страшной сказки К. Чуковского... М. б., на ее сестру... На младшую сестру, разумеется.

...Ну и что, что она хищная... Зато добрая. Тем более, я и сам зверь...

Не случилось. Помешали. Позвонили по телефону. Пришлось долго разговаривать, потом самому звонить... И такая дребедень была до самой ночи.

4·

Добрую крокодильскую самку он встретил на другой день. Только никакого не было желания пить и гулять. Было состояние трезвости, ясности...

То есть никакой, конечно, трезвости и ясности не было, а прямо наоборот: было торжество целеустремленности, многозаботности и всяческой суеты.

А она была красивая... Большая... Правда, в очках... Ну и что, что в очках. Зато добрая... Ну, не очень молодая... Так я ведь и сам не очень... А она уж, во всяком случае, моложе меня...

Схватить бы ее, обнять бы ее...

Куды там... Нельзя... Не... Люди кругом... Не поймут...

А что-то говорить, что-то объяснять, ухаживать... Говорить...

Нет. Разговаривать Тюленев не мог. Не умел, не любил. Ни сил для этого не было, ни времени. Говорить... Нет. Что угодно, только не это. Только не говорить... Говорить – это непосильно... Трудней, может быть, только слушать...

Так, ни более близкого знакомства, ни чего другого с доброй крокодилкой у него тогда не вышло. Жаль, конечно... Хищная, добрая продавщица в продмаге на окраине... Кто-то кроме Тюленева ее пожалеет... А он ведь даже и не знал точно, как ее звали по-настоящему... Аня, кажется...

А на другой день он уехал. На Родину, домой. В маленький городок Пергаментово.

5·

Тюленев гулял. Хорошо гулял. Весело. И деньги у него были. Заработал.

Тюленев был художник.

Хорошо быть художником.

Богатая творческая натура.

Тюленев был художник-монументалист. Даже скульптор. А это ведь ни какая-нибудь графика, которую, как бы она ни была хороша, неизвестно где складывать, или живопись маслом, которой теперь столько стало, что под нее, несмотря на весь наш недавний «строительный бум», никаких стен не хватает...

Теперь вот он сделал памятник. Получил деньги. Большие. Страшно сказать, сколько... И гулял.

В кабаках, даже в провинциальных, даже в Пергаментово, ему было, конечно, противненько. Не любил он этих всяких кабаков с электрической музыкой и играющими огнями. Нет у нас культуры «кабацко-кафейной» жизни и ее там прожигания. Утрачена. Никакой там свободы нет, ни общения человеческого. Это в каких-нибудь других странах... У нас хамство преобладает. И хвастовство, и шум...

Но ведь это только когда с улицы заходишь, противно, а стоит немного выпить – и привыкаешь. Будто все так и надо.

И все равно он этого не очень любил: как-то все жадно и напоказ. Оскорбляло эстетический вкус.

И он гулял по улицам своего маленького городка. Пил, гулял, смотрел то в небо, то под ноги...

Или к Лизе ходил. К натурщице...

Счастливая она была баба. В смысле душевных качеств и устроения.

Красивая, умная, не злая... И даже «с образованием». До того, как пойти в натурщицы, она успела в Казани университет кончить. Исторический факультет.

Но ни красота, ни ум, ни образование, ни работа натурщицей не мешали ей оставаться живой и простой.

Еще она сына растила. Поэтому Тюленев чаще всего приходил к ней поздно. Когда ребенок уже спит.

Он ее любил, он ее лепил...

Лиза, Лиза...Что же прежде? Любил или лепил?

С одной стороны, конечно, главнее профессиональное. Он же художник, скульптор.

Но как можно лепить и не любить? Никак. Значит, сначала любил?

Ой, бред...

Кутерьма, философия...

И когда же я наконец перестану «думать»!..

Хотя Пергаметово был родной город Тюленева, знакомых у него там немного было. Просто прописан был там, а жил главным образом в столице или в тех населенных пунктах, куда заносила его творческая работа.

Он и теперь по делу приехал. Нужно было сделать заграничный паспорт. Пока деньги не кончились, хотелось еще где-нибудь «на стране далече» погулять...

6.

Вечером на площади возле торговых рядов Тюленев нечаянно познакомился с одним «ветераном». Просто пожилым человеком Георгием Владимировичем. Он, оказывается, не только бабушку, но и прабабушку его помнил: «Такая гордая была старуха... Всех коммунистов далеко-далеко посылала, в церковь ходила, и ничего ей, представьте, не сделали... Как будто боялись...»

– Я тоже стараюсь в церковь ходить... Не всегда получается, но я стараюсь...

Тюленев позвал его в маленькую забегаловку возле городского театра:

– Здесь хорошо, здесь музыки нет...

Заказал вермут, коньяк, лимоны, шпроты и пельмени со сметаной.

Выпили раз, выпили два... Тюленев поневоле начал хвастать:

– Да, я тоже в церковь стараюсь ходить... А вообще-то я художник, скульптор... Я и вам, ветеранам, памятник сделал... То есть не вам, конечно... Другим, тем, которые еще раньше вас были... Тому поколению... Позапозапрошлому...

Он чувствовал, что не совсем то говорит, что нужно, помолчал, спросил еще раз про прабабку и про прабабкиного мужа, про прапрадеда, но его Георгий Владимирович не помнил...

Тюленев еще выпил и снова свернул на свое. Сказано ведь у Сираха: «ремесленник молится об успехе художества своего»... Вот и он ни о чем другом ни молиться, ни думать не мог:

– Да, вот в Овражном памятник сделал... Знаете, где Овражное? Деньги получил... Хорошо...

7.

В Пергаментово был небольшой, но с древними и славными традициями заводик. Химический. Как ни странно, еще работал. Средства от насекомых производил. Ядохимикаты. И одноразовую посуду.

Конечно, ни на какой заказ от этого заводика рассчитывать не приходилось, но когда пригласили выступить в заводском клубе на межрайонной конференции по памятникам и городской среде, Тюленев не отказался.

На крыльце постоял, покурил, помечтал.

Романтика... Труба, дым, кирпичный забор с колючкой, а тут же рядом колонны, лепнина – клуб.

Утро. Сумерки. Завод.
Цех, труба, и дым идет.
Дым, похожий на змею,
На любимую мою...

На конференции, однако, случился сюрприз.

Тюленев готов был, когда попросят, сказать какие-нибудь подходящие к случаю слова о художественном благоустроении городской среды обитания, о необходимости сохранения памяти павших, даже, может быть, об историческом воспитании, но... Язык к гортани прилип.

Посреди разговоров дверь приоткрылась, скромненько вошел и присел с краю небольшого роста пожилой человек с лохматой седой головой, в очках...

Николай Васильевич Афанасьев... Художник. Настоящий художник. И еще преподаватель композиции в художественном училище, где учился Тюленев. Любимый учитель.

Тюленев протиснулся к нему...

Николай Васильевич крепко пожал ему руку, обнял:

– Поздравляю... Поздравляю... Но потом, после поговорим...

После и поговорили, и за столом посидели.

Николай Васильевич его хвалил. И памятник хвалил:

– Видел, видел твою работу... Хорошо. По-настоящему. Не халтура. Теперь ведь столько всего такого ставится... Такие памятники... Спаси и сохрани!.. Самовыражаются... Блат, откаты – и все за счет бюджета... А ты молодец... Слава Богу!.. Работай. Ты не сдавайся...

Растроганный Тюленев выпил рюмку и поклялся не сдаваться. Разумеется, поклялся сам себе и не вслух.

Когда-то давно, а может, и не очень давно, время быстро бежит, делали они с Николай Васильевичем выставку. Общую. Тюленев тогда еще студентом был.

Все было трудно и прекрасно...

Подвал. Полная почти безлюдность в смысле зрителей. А все было такое замечательное, настоящее – и скульптура, и графика, и живопись кое-как (акварель, гуашь, темпера), и фотография, и порнография...

И чай, и пиво... И столько еще было нерастраченных сил... А главное, какие надежды... И жизнь какая-то настоящая была... Бедная, на краю нищеты, но не притворная, не пустая...

– А теперь... А теперь я почти в забвении, да что там почти... Никому уже ничего не надо... Пробавляюсь кой-как лекциями и поденщиной и такие вот конференции посещаю... – Николай Васильевич тряхнул лохматыми сединами, стал жевать лимон.

Тюленев пытался его утешить, уверить, что все не так... Только что скажешь... Он и сам чувствовал, что только слова роняет...

Впрочем, он положил себе непременно в самое ближайшее время добыть для учителя какой-нибудь стоящий заказ.

8.

Документы на загранпаспорт он, наконец, сдал.

Осталось ждать.

Неожиданно позвонили из Овражного.

Оказалось, там его памятник многим понравился. Предложили еще заказ, позвали приехать. А почему бы и нет? Поехал.

Один богатый человек решил поставить у себя на участке монумент. Дом его стоял на крутом берегу реки, прекрасный пейзаж, далеко видно вдаль. И там, на краю, он захотел воздвигнуть памятник (скромных размеров).

Сократу.

С чашей.

Предложил подумать и принести эскиз.

Тюленев стал думать и рисовать в блокноте.

И еще на этот раз ему удалось поближе познакомиться с доброй продавщицей Аней.

В самом деле, это раньше было, если продавщица в продмаге, то это как-то не так, не то... Не первый сорт, не высокий полет... Прилавок, он и есть прилавок... Но это раньше... А теперь, когда у всех с работой трудно, и в продавщицы самые разные женщины идут. В том числе и очень прекрасные... Потому что больше некуда.

А как она складно говорила!

Спрашивала:

– Вам чего?

– Пиво крепкое «Амстердам»... Если дадите, конечно...

– Дам, дам... Ну, как я могу вам не дать... – И улыбалась, отворачиваясь за пивом.

Он вышел из магазина, что-то вдруг пришло ему в голову (или взбрело), он остановился под фонарем, достал блокнот и стал рисовать Сократа. С чашей. Но – вполоборота. Так, подумал он, точно еще никто никогда Сократа не изображал...

В это время магазин закрылся, и некоторое время спустя вышла Аня: выручка сдана, замки повешены, сигнализация включена.

Тюленев еще раз раскланялся.

– Вот... Рисую...

– А... Это вы у нас памятник делали... Я видела. Ну, и как, заработали?

– Да. Хорошо заработал. – Тюленев несколько смутился таким прозаическим подходом, но вида не подал. – А давайте тратить... Ну, пожалуйста... Вы завтра свободны?..

– Я подумаю.

9.

На другой день принялись прожигать жизнь.

Шампанское, кильки, цветы.

Пиво, коньяк, ананасы, разговоры про жизнь. Про жизнь, которая такая большая и такую маленькая.

Тюленев был неотразим. Продавщица Аня мила, остроумна, очаровательна. Главное, она была простая. Как будто они всегда были знакомы. Тюленеву неотвратимо везло.

Он обнял ее за плечи.

Аня отвела глаза:

– Как вы в отношении десятой заповеди?.. Нарушаете?.. Я вообще-то замужем... Правда, муж далеко... На заработках... А может, уже и заработал свое...

Тюленев чтил десятую заповедь... Но... Но...

– Муж у меня тоже дурак... Сменял меня на военную... С гусаркой сбежал... Правда... Честное слово, не вру... С военнослужащей сошелся... Прапорщица какой-то там секретной службы... Или

космической... Все-то у нас в жизни стало необыкновенно... Раньше женщины с военными убегали, а теперь наоборот... – Она засмеялась.

Какое у нее скромное и нескладное платье, какое-то жесткое, неласковое, безвкусное, – думал Тюленев, – и зеленое... Непременно надо будет ей завтра другое подарить... Нет... Лучше заказать у Клокова... Он настоящий художник, и учились мы вместе...

10.

Утром она сидела по постели, обхватив руками колени:

– Ты вот памятник поставил... Деньги получил... Давай делиться...

Фу, какая проза... И сколько б ей дать, чтоб не обиделась... И как?.. Чтоб не очень стыдно и обидно было... И вообще, зачем я так... Не такой же я уже старый, чтоб так вот, за деньги... Стыдно, больно, жутко...

В самом дела... Уж такой простой меркантильности Тюленев не ожидал. Молчал, думал. Мрачно было на душе, трудно... Жить не хотелось...

А я думал, любовь... Размечтался, дурак...

– Налей-ка мне вина... А впрочем, нет, я сама... – Крупная и прекрасная, она встала, подошла к столу. – Или лучше водки... У нас осталось?

– Вот, немного...

– Ну, давай.

Она разлила водку и залпом выпила. Тюленев тоже выпил. Закурил, повернулся к окну. Пустая улица, листопад, дребедень. Некрасивый старый автомобиль стоит на углу... Похоже, он уже давно никуда не трогался... Тоже памятник...

Лужа. Лужа вещь хорошая. Мокрая, конечно, зато блестит...

Аня поправила прическу и села за стол. Совсем, как учительница. И очки на носу... Только одета с утра не по-педагогическому... Почти совсем не одета. Тюленев смотрел на нее в профиль: «Ух, ты...» – Она не только на крокодилку была теперь похожа, но и на курицу... Еще и волосы сзади пучком...

«Ух, ты... И птица она, и рыба... Правда, крокодила, конечно, не рыба, и яйца кладет, но ведь и курица не совсем птица...»

Тюленев снова отвернулся к окну. Лужа, конечно, вещь хорошая. Но никто от нее не застрахован... И блестит она только тогда, когда в нее что-нибудь другое светит... Солнце или луна... Или хотя бы фонарь...

А Крокодилка повторяла свое:

– Давай делиться... Ты памятник поставил... Заработал... Надо делиться...

Тюленев укусил себя за руку: тоска! И все на одной ноте... Может, это у нее от вина? Хотя вроде и немного пили...

А она продолжала:

– Я-то ведь к этому памятнику тоже некоторое отношение имею... Да, представь себе... Хотя бы как наследница... В братской могиле под твоим памятником и мой дед лежит... В 41-м году... Мать моя его и не видела никогда... Когда она родилась, он уже тут, в могиле был... Они тогда в деревне жили. Выжили. Сюда, в город, уже после войны переехали... Матери тоже уже нет... Мать учительницей была... Рисование преподавала... И лепку... Мухиной бредила... Но считала, что Голубкина лучше... Я тоже раньше учительницей работала... Только не в школе, а в техникуме. Детали машин преподавала... Потом ни машины, ни детали, ни техникум стали никому не нужны... Пришлось торговать идти... А от деда осталась только карточка... Молодой такой... Сразу после школы сфотографировался... Самое страшное, рассказывают, какой тут холод был в 41-м году... Земля как камень... У деда от всей роты тогда пять человек уцелело... Один из них земляк, он и

рассказал. Ему повезло: его по ранению сразу комиссовали... Выжил... Ладно, давай выпьем... Да не бойся ты... Ничего мне от тебя не надо и ничего я от тебя не возьму... Твое здоровье...

11.

...Вот, значит, чем мы за наши ночлеги платим... И за пиво, и за коньяк... И за килек, и за «художества»...

Солдаты, убитые страшно холодной зимой 41-го года... И вместе все похороненные...

А еще Сократ с цикутой... А еще 12-й год... 812-й, 612-й... А уж на 612-м году сколько большие люди заработали... Это не в сказке сказать... На 17-м столько не зарабатывали... Только мне ли судить...

На 612-й назначили теперь праздник преодоления смутного времени... Хотя оно тогда еще и не думало прекращаться... Только никому до этого дела нет...

Но я-то что же... Я-то тоже... Это ведь совсем здесь, совсем близкое... Не 400 лет назад... Братская могила... Памятник... Крокодилка... Крокодилкин дед...

Чему я радовался, когда лепил?

Но ведь радовался... И не деньгам радовался, не заработку, а работе... Как таковой. Самой по себе... «Художество», прости, Господи... «Связь времен»... Чепуха...

Тюленев не был ни циником, ни ремесленником. Просто он работать любил. И глину... И Аню. Теперь и Аню тоже...

...А мой дед...

Мой дед, правда, до этих морозов не довоевал... На него еще в августе похоронка пришла... И не похоронка даже, а «пропал без вести»... Неизвестно где... Дед танкистом был...

Осталась бабушка... И 41-й год пережила, и 42-й... И всю войну. И 47-й...

Когда-то, Тюленев еще маленький был, в доме завелся радиоприемник. Кажется, назывался «Рекорд». Включали и слушали его довольно часто.

А в то время ввиду юбилеев и общего героического подъема часто передавали «Священную войну».

Маленькому Тюленеву тогда эта песня вообще-то нравилась. Громкая, решительная, торжественная... Героическая.

Но когда она начинала звучать по радио, ему надо было из любой точки комнаты бросаться к радиоприемнику и выключать его: бабушка не могла слышать – начинала плакать. Иногда тихо, иногда навзрыд. И долго не могла потом успокоиться...

12.

Осень... Осень...

Очень осень...

Братская могила.

Список похороненных он помнил наизусть, еще раньше, чем начал лепить, выучил:

«Абрамов, Борисов, Ветров, Ильин, Курочкин – лейтенант ...»

Ни одного не было старше двадцати двух... Он узнавал. Он, прежде чем начал лепить, все, что мог, узнал. По-теперешнему – совсем дети...

И еще один неизвестный боец...

Как мало они в этой жизни не увидеть успели… Хорошего… Только этот холод в 41-м году…
Страшнее всего почему-то Тюленеву было думать, какие страшные морозы тогда стояли…
Так и погибли, не отогретые…

Сколько-то суток прошли, как в угаре. Если б не крокодилка Аня, Тюленев бы, кажется, погиб.
Или в больницу попал. Может быть, навсегда.
Аня заботилась. Как за ребенком ходила. Пьяного укладывала. Буйного унимала, с улицы уводила…
Он и свое произведение, памятник на братской могиле поломать хотел… Говорил, плохой памятник…
Но все проходит.
Крокодилка спасла. Более или менее, выходила.

Тюленев шел вдоль реки. Все было в серой пыли, кое-где кое-как подбеленной инеем. Пыль. Сухая, холодная. До минус десяти по ночам. И – никакого снега… Выпал было, но сразу растаял. А теперь одна только морозная пыль везде… И на земле, и на дороге, и на ветках деревьев… Кажется, даже вода в реке, в полынье, где не замерзло, и та пыльная…

Видно, Запад совсем от нас отвернулся: даже снегу не дает, вся атлантическая вода в Европу падает и ее заливает…
Или это мы так отгородились? Устойчивым и задумчивым северным антициклоном… Или северо-восточным…

И как дальше жить?
Без памяти, как без памятника, никакой работы даже вообразить нельзя… Да и вообще никакой жизни не бывает без памяти…
А память-то наша, она вроде памятника: все на крови, все на костях… Все боль, все страдания…
Это мы «художничая» или «созерцая» – все по Гегелю, не к ночи будь помянут, – от страшного отвращаемся, представляя его прекрасным и героическим. Чужие страдания теперь для нас как бы и не страдания, а «красивое»… Впрочем, иногда и свои тоже…
Может быть, хоть это оправдание?..
Нет… Чепуха…

Ничего, – уговаривал себя Тюленев, – все это немного пройдет, немного успокоится, тогда я и сам успокоюсь и смогу сказать себе:
«Ничего. Кажется, выжил. Может быть, еще поживу немного».

А если нет?
А нет, так нет.
А на нет и суда нет.
Никакого суда нет.
Или другой будет суд.

Данила ДАВЫДОВ

РАССКАЗЫ

Исповедь писаря

Когда мы вторглись на землю Зо, Властитель был уже тяжело болен. Три лекаря лечили его, и помощь их оказалась ничтожной. Воздух чудовищно колыхался, кони падали, Свиньи болели чем-то страшным, есть было нечего, а селение пустовало. Тогда, когда хрипел Властитель, Начальник канцелярии призвал зятя его, господина Эро, и тысячника, господина Тону. Было сказано необходимое. Нам было долго продвигаться, но мы ждали послов. В земле Зо было тоже не ладно, и послов появилось трое. Первый был отвергнут, поскольку проповедовал безумие о едином боге, но ша Тайена и ша Лиши приняли мои господа, а я лишь записывал. Ша Тайен сказал: наша война не имеет смысла, у вас рознь и у нас рознь. Нужно прекратить войну. При них был младший, Тону, не имеющий право на Ша. Но мы именовали его так. Ша Тону сказал: мой старший брат прав: и рознь есть, и прекратить войну необходимо. Но кто против твоего властелина, Эро? Господин Эро сказал: я буду властелином. Тогда скажи, продолжал Тону, тысячник: кто будет твой властелин? Кто угодно, но не Эро, ответил тот. В горах, продолжал он, живет Изгнанный Сын, господин Вар. И он наш Властелин. Тут князь и тысячник посмотрели друг на друга так, что я никогда не забуду. Но и у вас, сказал Тону, то же самое. Ша Тайен и Ша Лиши ненавидят друг друга, и Властитель наш так же при смерти. Я не вижу выхода. Выход есть, сказал Вирэ, мой слуга, из дверей, обе наши армии уже сметены Высшим Посланником Овирэ. Мне сложно пересказывать дальнейшее, я всего лишь писарь.

Наблюдатель

Посмотрите, друзья, на тот вот дом, да-да, вон на тот. Там живёт одна девушка, которая не живет, точнее, жила, теперь не живет, да она и вообще уже не живет, но я вообще не о том. В пятом подъезде есть странная привычка не открывать мне дверь, хотя мне там часто оставляют письма, – почему там? – им не надо знать моего настоящего адреса. Зато в третьем живет довольно значительный человек, и за машинами его интересно подглядывать. Сидишь себе на лавке, ничего, вроде бы, не предпринимаешь, но знаешь уже всё. Рассказ мой, однако, про четвёртый подъезд, куда я порой заходил, еще в студенческие, да что там, в школьные времена. Там живёт один очень занимательный человек. Да и вот он, идёт, покачивается. Он вряд ли когда подумает, что мы разговариваем о нем.

Штырь

Я, говорит, видел и не то. Вот, смотри, штырь. Зачем штырь? Он ведь не это – не пред-ус-мотрен, так? Штырь стоит. А сказано: штатив. А мне что: палка так палка. А мне говорят штырь, а

Данила Давыдов родился в 1977 году. Поэт, прозаик, критик, литературтрегер, художник, кандидат филологических наук. Девять книг стихов, книга прозы, книга критики и эссеистики. Переведен более чем на десять языков. Живёт в Москве.

вообще, антенна. А говорю: во, читайте. Штатив. И потом сколько ходил, сколько ходил... А ведь премия была... Он натужно расплакался, и я, не зная, что сказать, переспросил: Штырь? Штырь, ответил он, собравшись. Я дал ему два рубля.

Увольнение

А вы думаете, что так? – и он не оборачивался, перекладывая какие-то явственно застарелые папки, думая меня унизить. Но я почему-то не был унижен, совсем не был, хотя боялся именно такой сцены. Вот заявление, сказал я, положил лист на стол. Он обернулся, зыркнул, уперся кулаками о стол, будто так и надо, но теперь было не надо, и он не знал, подписать ли то, что он сам потребовал, или продолжать меня воспитывать, когда он уж не имеет никакого на то права. Вы свободны, хотел он сказать, но я и так был свободен, и вдруг он это понял, и как же плохо стало ему, и как же мне стало хорошо, но потом я, не потом, а сразу, устыдился, подумал, он же старше меня, как так можно, а потом подумал, что старше меня всего на семь лет, и какое это имеет значение в нашем возрасте, и я вспомнил дачу, и Андрюху, и Кирилла, и как я к ним перелез через забор и говорю: а в карты, а они, гогоча, подростки, козлы, золотая молодежь: в бур-козла? В свинью? нет, говорю, давайте просто в переводного, и я у них, блядей, в девять лет, у этих четырнадцатилетних хамов, выиграл, выиграл, вот и ты, подписывай. Подписал.

Гуси

Так себе они все, да и эта тоже так себе, и на снаряде так себе, он-то вот летал на снаряде, да не на таком, а прям почти в рейхстаг, и как его потом прославляли, дали орден, и в лагере тоже его уважали, а она ногами круть-круть, будто девка, хотя и девка. А на ведь надо побеждать, надо, чтоб как у товарищей баталова и смоктуновского, но что без атомов, потому что это в дисциплине не отследить, а нам нужно рекорд. На лавочке сумка, в ней вино молдавское, красное, нельзя, можно, нельзя, нельзя, можно, можно, тётка же, можно, и со свистом, без перекрестков, в первую градскую, а родился на селе ведь, а там корова была. И гуси. Гуси были.

Лапушка

Лапушка вот выросла, и всё началось, и всё случилось, а потом выгоняли из дома, но сразу вернули, кровиночка ведь. И жила, а потом умерла. Вот взяла и умерла, родители потосковали, долго тосковали, не отнимешь, но потом хлев, потом огород, а потом и умерли. Осталась Глаша, ее из дома выгнали, нашелся дядя, и пошла она по дорогам. И ходила она босая, и попрошайничала, и отдавала своё тело, пока вдруг, на дороге, не явилась ей Светозарная Лапушка. Что, говорит, сестра, бродишь-попрошайничаешь. А та ей в ноги: спаси, мол, сестра. Хуй тебе, сказала Светозарная Лапушка и исчезла. А Глашу спасли Добродетельные Инопланетяне, они накормили ее творожком, дали чаю, устроили всё как надо. А светозарность сестры такова: служила она сотоне, вот.

Расстрел

Красивый был парень Иван Сизых. Служил со мной. Как-то мы головы рубили ихним, а он и говорит: нехорошо рубить головы. Ну и взяли, и расстреляли перед строем. А ведь потом эти оборванки шастали по лагерю, спрашивали, гдэ сызых, гдэ сызых.

Династия

Царедворцу надо думать о многом, куда поглядеть, с кем пошептаться, а конюх его чешет кобыле гриву и знает, что ошибётся вот, и всё, а кобыле-то гриву чесать надо, а там, глядишь, и можно новую династию затеять.

Песня

Ух ты, как мы это всё. А они-то сидели, думали, так. Нет вот так мы их, что просто зашибись. А потом один наш встал у памятника и начал петь, и так пел, так пел хорошо. А потом они его стрельнули, ну и мы их, конечно. Жалко, песня-то хорошая была, хоть не по-русски, диес ире называлась.

Рысь

Я шёл по лесу и думал, что вот не надо бы. Много чего, а это уж совсем. И довольно, да, довольно. Не молодой вроде уже. А с другой стороны так хочется. И думал я так, пока не встретил рысь.

Любовь

Птичку кот сожрал, и жаль птичку, но кот свой. Так что пускай ест, хотя это жестоко. Не люблю я жестокости: покоряя планеты, я всегда отворачиваюсь от экрана, когда они их режут. Неприятно это, и вообще, должна царить любовь. Желательно, правда, еще пару систем уничтожить, но всё равно, пусть любовь.

Ограничение

Идиоты вы что вы вот так все, дураки вот, совсем вот дураки и идиоты, а грубее тоже знаю, только мама говорила не говорить, дураки потому что, дураки.

Сила воли

Его поедали за моей спиной, мне не стоило оборачиваться, вот я и не оборачивался. И что, что друг. Друг. Сколько вместе. Но его поедают, а меня пока нет. А что я могу сделать, обернуться разве, но я сильный человек, я не обернусь.

Тёмные углы

Он был летучий змей, и был так, когда хотел. Но хотеть тоже задача, потому обычно он сидел за столом и разговаривал с тёмными углами своей комнаты. Крысы, крысы, говорил он, вот, если хочу, я летучий змей, а так что? Крыс-то нет, ушли они давно, а ты все летаешь, отвечали. А кто ж говорит? – он удивленно, как будто в первый раз, ставил бокал, закрывал книгу. Мы углы, мы тёмные углы. И ни один из нас не желал бы быть летучим змеем. Крысы вот как-то хотели – и что?

Где крысы? Где? Улетели, вздыхали тёмные углы. Он грустил, раздумывая о концентрации воли и желания, потом дремал прямо в кресле, и снились ему улиточка, трансцендентный глашатай и весёлый позвонок.

Смс

я што хачу тибе сказат. это вот хачу. ты не панемаеш, потому что тдура. ая ведь умный

Сошествие

Когда вот именно этот ангел ступает на землю, всем прочим смешно, потому что ему никогда еще аккуратно ступить не удавалось. И всегда он попадает, спускаясь, в дурацкие места: то в свинарник, то на заседание литературной группы, а то и прям в реку, и турбина гидростанции засасывает, засасывает, а он пытается помахивать крылами, смешно ведь. Вот и теперь, отряхивая куриное дерьмо с ног, он случайно превратил эту палку в розовый куст.

Приезд

А у ей, кода ходили до ей, всегда бывало, што это, не то, что у ей. А у ей-то не, не надо у ей. Евгений Павлович оглянулся, поднял воротник, ему было неуютно. У ей, говорю, у ей, а не у ей.

Хроноклазм

Назовём это пустошью. Условно. И, скажем, два собеседника на этой условной пустоши располагают только друг другом и самими собой. Смысл их разговора ясен, ясны стратегические задачи и тактические, ясны психологические приемы. Не ясно лишь одно: почему именно здесь – и именно они? Перенесемся в прошлое. Оно большое такое, прошлое, туда переноситься нелегко, но мы уверимся в некой точке, почувствуем, что она нас держит, будем там. Младенцы и их матери, и братья их старшие и сестры лежат убитые на дне ямы. Над ямой стоят двое. Ты хочешь еще куда-то перенестись? – спрашивает один. Другой отвечает: Нет. Но они всё равно переносятся.

Святость

Один юноша, не будем его называть, войдя во храм, не совершил должного. И немедля был растерзан, хотя жрец и призывал повременить. После того жрец, оказавшись у алтаря, долго думал, не имея сил ни к молитве, ни к жертвоприношению. Потом он снял шлем и, давясь, с наслаждением глотнул швепсу. Служка, бывший при алтаре, наблюдал жреца в высшем молитвенном деянии: тот стоял, воздев руки, неподвижно и каменно. О том рассказывали потом многие поколения.

Бивуак

Бригадир почесал лоб и сказал: Вы все козлы ароматные. Разрешите обратиться, осмелился Ворчевский, почему ароматные. Потому – что козлы! – взорвался бригадир, сплюнул, и уже

спокойней произнес: что мы видим? а – не развернуты орудия, бэ – не проведена проверка оборудования, вэ – штепсели где, штепсели???? Он опять начал орать, и я вышел из избы. Синее распухающее солнце уже начинало отбрасывать тень, карлик заходил. Бегали и покрикивали зюйцы, но за ружьем было идти лениво. Я отправился спать в палатку, но спать мне не дали, мне встретился доктор Кривоколенов.

Предательство

Пиши, сказал Анатолий Валерианович, я сел и начал писать. Очевидность, диктовал он, даже не расхаживая, а как будто бы прогуливаясь по столь замкнутому, где вроде не повернуться, пространству, заключена не в головах и не в социальных отношениях. Но и не в трансцендентальном, о нет! – он воздел перст, и всё вокруг будто засветилось. – Нет! – он воскрикнул, подбитой птице подобно, и рухнул в заскрипевшее кресло. Нет. Пиши. Очевидность очевидна! – Тут я глянул на Анатолия Валериановича, и мне стало, нет, не страшно, мне показалось, что я мгновенно сбросил бред, длившийся лет восемь или девять, и откинул ручку, и на его стенание: Ты что? – даже не произнес ничего, просто вышел туда, где расцветали груши, пели какие-то птички. Но потом мне стало не до груш и не до птичек; вернувшись в келью, я встретил там Анатолия Валериановича, такого же, даже помолодевшего; юный ученик записывал, он же, оглянувшись, шепнул: теперь занято, и даже вроде бы подмигнул. Мне всего пятьдесят, но жизнь моя разрушена.

Казачьи песни

А дядька еще рассказывал, что у них были поисковые рыбы. Берут, значит, рыбу на цепь – а цепи-то в те года, ох, умели, тонкие, длинные, и давай рыбе плыть, и как что учует, туда и надь. Но они вообще дохли быстро, дядька говорил, умирали со скуки и просили казачьи им песни петь, пока помирали. Мы пели.

Сергей ЗОЛОТАРЁВ

***

Человечек при родах вещей
изгоняется вон из Эдема
акушеркой взашей.

Ибо призван давать имена,
но не должен быть в курсе всей темы
появленья слепого пятна.

Человек у окна
ждет в земном коридоре.
А на белом столе
пеленают его первородное горе,
не присвоив ему позывного.
И тогда на земле
человечек затребован снова.

***

И коль скоро требует объясненья
проживаемая через силу
золотого тиснения
(или вилами по воде – с нажимом на вилы)

жизнь – приходится изгаляться
в проясненье позиции индивида
чередой невиданных инсталляций,
вытесняемых горечью из обиды.

Вот и ты содрогаешься ежесекундно
от себя-толкованья сердечной мышцей
кровеносной традиции, и покуда
не столкуешься с нею, не истомишься.

Сергей Золотарёв родился и проживает в г. Жуковский. Автор книги стихов «Книга жалоб и предложений» (М.: Воймега, 2015). Публиковался в журналах «Арион», «Новый мир», «Новая Юность», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Урал» и др. Лауреат премии журнала «Новый мир» (2015).

***

Река стекает вниз по свету,
когда тимением в волне
вверх отражаются предметы,
что, тем не менее, на дне.
Став отражающей, поверхность
возможным делает исход
всех оглашенных, ставя верных
над бездной вод.
Как рыба первая на сушу
бросаясь, оставляет след,
всего себя, как богу – душу,
нам отдает себя предмет.

***

Снег как следственный комитет.
Мы под следствием. Из последствий –
погружается целый свет
в тьму служебных несоответствий.

Потому, как любой полет
льдом упадничества подкован,
здесь снежинка, буксуя, лед
продирает до мерзлоты
путь свой делая тупиковым.

И поскольку твои следы
накрывает ступнями лестниц,
как сачком, к нам из темноты
поднимаются стайки вестниц –
как капустницы, гнут пинцет,
ухвативший мечту за крылья...

Снег как следственный комитет
сам проводит дознанье с тыльной
стороны – и как к таковым
не имеет претензий к ковам,
с упоением поисковым
вечно строимым их искомым
под прикрытием снеговым.

***

Вот уже и слезы на глаза наворачиваются.
Человек подворачивает их и несет

проходными дворами куда-то в прачечную,
чтоб отчистить верований мазут.

Ох, уж эти чистюли мне! Вместо радужной
оболочки глаза теперь дыра.
Человек, узнавая приметы радости,
надевает прищур, который скрадывает
недостаток яблочного ребра.

***

Раньше дым сжигаемых по весне
прелых листьев бережно обволакивал
воспаленное горло моей Валахии –
станционной Малаховки, если точней.

Этот дым двустворчатый, как люголь,
наносился палочкой на миндалины
расставаний – мягко снимая боль,
обнажая проталины.

Отслоенье сетчатки грозило тогда лишь тем,
что такое использование сетки рабица
уменьшало разрешающую способность стен
и сквозь стены видеть уже совсем
невозможным делалось бедной радужке.

И тогда навернувшаяся слеза
защищала пленкой своей бензиновою
человека – лужу его – глаза
в подворотне стынущие от бессилия.

***

Вышел на «Отдыхе».
Небо ночное отёчное
мерно качает бескровные ходики
времени точного.

Самого точного времени.
Т.е. того, на которое дырами
глаз – при внимательном рассмотрении –
ветошь ориентирована.

Выучить заново
этот запавший язык оказийного
дня окаянного
вкуса вина магазинного.

Капли стекаются
в руку холодными длинными пальцами,
и за свою дислокацию
в мире тактильном цепляются.

***

За окном – цирюльня, кулинария
с осетинскими пирогами,
что слепила дева Мария
утром в технике оригами.

А слепила и ослепила
ароматом необычайным.
И народ в голубых бахилах
марширует по водам к чайным.

Как по небу шагает – вдев
в облака свои ноги парные.
И сидят возле старых дев
искусители их бездарные.

На кофейной гадают гуще –
до пришествия далеко ль еще?
И поюще, и вопиюще,
и взывающе, и глаголюще.

***

Снежинок пустые скорлупки
белеют повсюду, где снег
собравшейся с духом голубки
покинул февральский ковчег.

Неся, как гармонию, в клюве
сжимаемый обруч живой –
тот образ, где вписан Витрувий
в пылающий круг цирковой.

Где чучело главной снежинки
пропитано жидкостью для
сжигания жира в суглинке,
дабы показалась земля.

***

Зрачки их по(д)качиваются при движении.
Кажется, что во время разгона
на этих рессорах покоятся шейные
позвонки головного вагона.

Глаза их, как пневмоподушки,
смягчают неровности психологической топологии
ж/д путей – которыми следуют многие,
(минус 10% утруски, усушки).

Коммивояжеры сидят, мигая на суржике,
глаз костяшки сжимают до хруста.
Зрачки их сужены
за чтеньем Пруста.

Едешь с ними, смотришь на солнце сквозь слово,
будто собственным именем окликаешь кого-то другого.

***

Шуршанье шин за окнами непарных.
Я знаю, на какое колесо
какая из частиц элементарных
сегодня припадает. И сквозь сон

пытаюсь разобрать – кто иномарку
ночами водит в придорожный яр,
что утром свет напоминает ярку,
остриженную ножницами фар?

Еще и капли толоконной смерти
целуют нас в подставленные лбы,
как будто жизнь – клавиатура qwerty,
знакомая их пальчикам слепым.

Так, звуки уподобились вожатым
моим – а уж податлив или нет
клаксон, который создан быть нажатым,
когда-нибудь услышим мы ответ.

Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ

МИР ЖЕЛЕЗНОГО ЗАЙЧИКА

Рассказ

Мы давно не вспоминали Катьку-железного зайчика, но даже не потому, что забыли о ней, как ее можно забыть, скорей, мы просто давно уже не собирались нашей вечнозеленой, пряной, тугой, как рождественский венок из прутьев и костей, компанией – у Ленки дачу закрыли хозяева на ремонт, у Сашки проблемы с младшим ребенком и не до этого, у Юльки такая работа, что и себя-то саму нигде не собрать, и мы как-то выживали все эти годы без святочных необязательных историй про железного зайчика Катьку. И зря – они повыветривались, как скалы, стали невспоминаемыми в более узких составах, словно Катька стала нам жать в суставах, торча из нашей коллективной рождественской плетеной кости неловким шарниром, неверным побегом, предчувствием ломоты, хромоты, фатального шага не туда. Когда с месяц назад мы с Юлькой встретились в городе на кофе и попробовали – как обычно! – вспомнить что-нибудь о том, как в те грохочущие разрушением и стройкой всего сущего дни Катька-зайчик устроилась работать билетером в какой-то единственный в городе трамвай и регулярно снабжала нас дикими историями о трамвайных изнасилованиях, рельсовой войне и встрече с царем ее снов ровно в то самое мгновение передачи талончика из ее влажных от утреннего мороза пальцев в его грубое перчаточное сжатие – сжалось, сошлось, и вот они вдвоем пылко сходят с трамвая в промзону прямо в снег и лежат там, как два огромных хвостатых мотылька под увеличительным стеклом господа нашего, беспомощно шевеля мохнатыми крылами. Но воспоминание стопорилось, не шло. Обычно подобные беседы структурировались просто и смешно – как магнитные игрушечные вагончики друг к другу приложить, чтобы получился звонкий легкий поезд памяти – вначале кто-нибудь вспоминал дикую Катькину историю, во всех неправдоподобных ее, алогичных деталях, потом кто-нибудь другой вспоминал, как неловко и случайно выяснилось, что Катька все как всегда наврала – потом третий обязательно вспоминал, как реагировал наш непримиримый железный зайчик на разоблачение, со страстью опытного шпагоглотателя настаивая на аутентичности и глубине проникновения воображаемого лезвия в свой натруженный, запекшийся от порезов пищевод – дальше кто-нибудь обязательно выступал в роли свидетеля нелепых, железобетонных, неукоснительных – каких еще? – попыток Катьки реорганизовать реальность согласно собственным же рассказам о ней – и пока клокотало и лилось и звенела вилочка о краешек хрустальной бездны, мы все хохотали и над своей юношеской жестокостью, и над Катькиной бессмысленной боевитой напористостью (да, отмечали мы, она фактически тратила лучшие годы жизни на то, чтобы доказывать нам правдивость своих несуразных, ни с чем не сходящихся историй, и как мы сможем ее отблагодарить за это ненужное подношение?). В тот раз у нас не сложилось, Юлька не могла вспомнить, как же Катька оправдала этот гигантский грохочущий трамвай, откуда она его выкопала, как именно он оказался тем утром около нашего

Татьяна Замировская родилась в 1980 году в г. Борисове (Беларусь), училась в БГУ, Минск (факультет журналистики) и в Bard College, Нью-Йорк (высшая школа искусств имени Милтона Эйвери). Автор двух сборников рассказов: «Жизнь без шума и боли» (АСТ, 2010) и «Воробьиная река» (АСТ, 2015). Публиковалась в журналах и интернет-изданиях «Октябрь», «След», «Искусство», Snob.ru, Colta.ru и других.

общежития? Король ли Катькиных снов ее выдал, однажды после третьего ящика вина удивленно округлив глаза: какой талончик, мы на курсах по керамике познакомились! (и все сразу все поняли – та полная неясности и противоречий душераздирающая история с погибшим в автокатастрофе горшечным мальчиком тут же обрела дополнительные очертания и объяснения: вот откуда Катька взяла ту амфору со стихами вдоль и поперек! она специально пошла на курсы, когда мы в очередной раз подловили ее на несовпадении!) Возможно, она специально договорилась с музеем городского транспорта и сняла у них на сутки винтажный трамвай? Но где она взяла деньги? Могла ли она заработать их в ночном клубе? У нее была история о том, как она подменяла подружку, сломавшую ногу, в ночном клубе, впервые в жизни в режиме неподъемного подвига дружбы жалобно извиваясь своим угловатым, мебельным, неловким набором веснушчатых рук и ног вокруг шеста, и вдруг какой-то сердобольный иностранец выдал ей заоблачную, невообразимую сумму денег, из жалости, что ли – половиной Катька оплатила себе учебу, а еще на половину, допустим, арендовала тот трамвай, чтобы в очередной раз посрамить нас и доказать, что мы в очередной раз предали ее, не верили ей совершенно зря. История про подружку со сломанной ногой у нас тоже не клеилась – вроде бы потом Катька специально повела свою школьную подругу Аделину, неловкую пухлую коровоньку, которая даже на велосипеде не умела кататься, на каток, и как-то так все подстроила, чтобы Аделина и правда сломала ногу – не специально, конечно, просто понадеялась, что именно Аделину подведет этот тоненький ледок, беленький снежок, у Катьки была отличная интуиция, и вся эта затея с катком и последующей поездкой в больницу была лишь ради того, чтобы как-то притащить к нам взрезанный будто бензопилой гипсовый корсет Аделины и радостно закричать, что сняли, наконец-то сняли, теперь не придется больше подменять (какой бред! кому была нужна та корова на шесте!). Но могла ли она подстроить это все специально для того, чтобы мы поверили в ту заоблачную сумму, свалившуюся на нее неведомо откуда? Возможно, отправить одинокую, бездетную, но совершенно в Катькином духе упрямую двоюродную тетку Алевтину на бизнес-курсы, а через год устроить ей, уже выигравшей какими-то биржевыми махинациями полвселенной, идеальную катастрофу и черный гроб с завещанием на колесиках было слишком сложным или даже жестоким занятием для оправдания каких-то пяти-восьми тысяч? Ничего не складывалось. После пятого кофе в висках пульсировало. Мы с Юлькой неловко прощались – возраст, память, все нас обмануло-подвело – и разбегались. Точно так же получилось и с Вадиком, с которым мы с год назад сидели в баре «Старый замок», и кто-то из нас сказал – как мы обычно делали, когда привычные темы для разговоров превращались в мелкое, пресноводное безрыбье с просвечивающими сквозь мутную взвесь белыми камушками дна – а помнишь, как Катька сфотографировала НЛО около больницы, и что она тогда устроила, когда мы случайно нашли пленки и поняли, что она тогда с ними на самом деле сделала? Оказалось, что никто из нас толком не помнит, что именно Катька сделала с пленками. Вадик вспоминал, что ей пришлось специально знакомиться с персоналом той больницы, и что она вроде бы даже посидела где-то полночи на снегу, чтобы заработать кровавый цистит, это была вроде бы особенная почечная больница, или именно из нефрологических окон был такой вид. Мне казалось, что все было не так – что Катькины пленки специально испортил какой-то отвергнутый поклонник, который хотел всем доказать, что она постоянно врет, но на пленках и правда был НЛО, и тогда он виртуозно закапал их кислотой из какой-то микропипетки, так называемый «эффект подделки», часто используемый в ученом сообществе для того, чтобы довести коллег до суицида. Но когда Вадик вспомнил про цистит, я тут же вспомнила, что тот цистит Катька придумала для того, чтобы мы поверили, что она и правда была девушкой Артемия, и они с ним не спали в привычном нам всем понимании только потому, что у нее все эти три месяца, пока они встречались, был жуткий, невозможный, кровавый цистит, а когда возмущенный до глубины души Артемий сказал нам, как все было на самом деле, не менее возмущенная нашим недоверием Катька подделала этот цистит, провалявшись полночи в снегу, хотя как подделала, по сути, ничего не подделала, мы ее и правда навещали в больнице и, действительно, видели эти бледные шары над болотом за окном, помнишь? Но Вадик ничего такого не помнил, кроме того, что он и надувал

те шары, сидя по жопу в ледяной воде: Катька умоляла его об этом так жарко, что он был ради нее готов буквально на все.

Ничего не сходилось. Впрочем, и мы тоже сходились крайне редко. И совсем недавно впервые за много лет мы наконец-то начали снова много и обильно говорить про Катьку – так жарко и насыщенно, как будто это снова наш основной интерес, любимое занятие, магический костер воссоединения, вокруг которого можно, как в лучшие наши годы, расслабленно и спокойно расставить канистры с бензином, аккумуляторы всех сортов и баллончики с краской, ванильным дезодорантом и взбитыми сливками.

Вначале мне позвонила Ленка: оказывается, к ней на работу тоже приходила Катька и просила ее хоть куда-нибудь устроить, потому что все совсем плохо, совсем беда, денег нет, жить практически негде, все плохо.

– Я ее не видела лет десять, – испуганно сказала Ленка. – Ты же вроде с ней раньше где-то пересекалась? Она всегда такая была? Или только последние пару лет? Что у нее происходит?

Я не знала, что ответить. Катька и правда выглядела ужасно – я ее даже не узнала. От нее разило какой-то ветхой неустроенностью, окончательной и безнадежной: одежда ее была чистой, но какой-то чрезмерно, болезненно чистой – я вспомнила, как иногда в благожелательном тоне говорят о каких-нибудь старушках, «опрятная бабушка». Опрятная, нескрываемая, звенящая чистота бедности, отчаяния, бездны. Катька-зайчик была вестником той реальности, где чистые бледные тряпочки долго-долго полощут в мыльной водичке небытия.

Она пришла к нам ровно-ровно в обеденный перерыв, даже не удивившись тому, что я постаралась всем своим видом продемонстрировать неудивление – села напротив меня ровно в то же мгновение, когда я приподнялась над креслом, чтобы рвануть прочь, в оранжерейный сад и приветливое молчание столовой, и затараторила:

– Олька, привет, слушай, тут совсем беда, может, в вашем агентстве какие-нибудь вакансии есть, ты же помнишь, я же раньше креативила много, да ты конечно же помнишь, может, вам копирайтер нужен или еще кто, я много чего могу, ты точно сможешь меня порекомендовать, сможешь же? Тут просто такая ситуация, я даже рассказать не могу, совсем труба, у меня просто слов нету, да и я не хочу тебя грузить, но ты же всегда мне верила, ты мне и сейчас поверишь, поэтому нет смысла даже рассказывать и тратить твое время, ты просто верь и все, очень нужно, вот прямо очень нужна работа, вообще любая, может быть, вам нужна секретарша куда или вот девочка кофе делать, или на ресепшн девочка.

Я сфокусировалась и заставила свою зрительную кору, отказывающуюся обрабатывать визуальный облик Катьки, отрефлексировать происходящее и помочь мне подумать о том, что Катька меньше всего похожа на девочку на ресепшн – на девочку вообще – больше всего она напоминала именно что опрятную суетливую старушку-богомольца, от которой инстинктивно хотелось отодвинуться подальше.

– Ты главное не стесняйся говорить вообще что есть, правда, не бойся меня обидеть, – продолжала Катька. – Если вам уборщица нужна – я согласна тоже. Мне хоть какую работу. Важно работу, просто получить работу, проблемы с документами.

Обеденного перерыва в итоге у меня так и не случилось, я что-то мямлила, Катька тем временем поспешно съела целую коробку офисного печенья, торопливо и будто между делом запуская в нее

суховатую, обветренную руку с обкусанными ногтями. Было заметно, что она старается скрыть, что голодна, я же изо всех сил старалась скрыть, что я это заметила, и из неловкости даже взяла из коробки пару печеньиц, потому что и сама почувствовала голод – столовая меня не дождется, поняла я, без шансов.

У Ленки было что-то похожее – из жалости, сочувствия или даже высокомерия, не очень понятно, она потратила больше часа на собеседование с Катькой, хотя ей было очень страшно, что к ней в кабинет кто-то зайдет и увидит, что у нее сидит такое странное, непрезентабельное существо, как будто кто-то пришел на благотворительность деньги собирать, раковые дети, хоспис отчаяния.

– Ну как ее куда возьмешь? – сказала Ленка. – Она, наверное, уже много лет нигде не работала. Ты видела, у нее лицо старушечки? Как печеная картошечка! Где она живет вообще? Она тебе сказала? Она была замужем вообще? Дети у нее есть? Куда она пропала тогда? Кто с ней последний раз общался в те годы?

Было бы хорошо, если бы Катька, как обычно, начала сыпать нестыкующимися друг с другом фактами вроде «случился выкидыш по моей персональной вине, за это выгнал из дому муж, потом умер дядька Антоний, на чьей даче я жила потом, но потом оказалось, что дача была не его, а его племянника по другой линии, первой его жены линии до моей тети, он даже не родной дядька мне был, а теткин муж, и он, этот побочный племянник, меня тоже выгнал, к тому же у меня было семеро кошек и они портили там все в доме, и теперь я живу у одной знакомой бабки, которой я в награду за диван готовлю и стираю, а одна из моих случайных кошек оказалась абиссинской, породистой, я ее продала в питомник и год как-то с этого жила» – обычная, привычная нам, старая Катька сделала бы потом все возможное, чтобы мы ей поверили: нашла бы себе бабку, начала бы ее прилежно обстирывать, устроилась бы в кошачий питомник подстраивать неликвидный для размножения живой товар, подыскала бы тетке мужа-вдовца, да что угодно, она могла что угодно! Но нет: теперь она суетится, мямлит, сгорает от неловкости – откуда в ней эта неуверенность, шаткость, откуда эти провалы, зияния?

С Вадиком потом списались, оказалось, что и ему звонила и приходила в студию устраиваться дизайнером или хотя бы полы мыть, хоть какая нужна работа, просто чтобы выжить, тяжело выживать, тяжело.

– Она ужасно изменилась, – написал Вадик. – Я слушал ее, конечно, а сам поймал себя на том, что не знаю, как ребятам потом объясню, кто это приходил, и начал тоже продумывать аркады вранья – мол, скажу, что это моя однокурсница, это же правда, вранье лучше городить всегда на какой-то правдивой основе, фундаменте; художница, блаженная, которая много лет жила в монастыре и монастырь потом продали какому-то застройщику, который делает там отель хилтон, а всех разогнали, и она теперь ищет работу. Но было ужасно неловко, когда поймал себя на этой мысли, откуда во мне это высокомерие, надменность, почему я ее стыжусь? Разве я стыдился ее раньше?

Вадик, в отличие от нас, девочек, оказался более искренним – действительно, мы ее стыдились, стыдились нашего железного зайчика, который посвятил всю свою юную, отважную, огненную жизнь тому, чтобы мы ему всегда и безоговорочно верили – и теперь, когда нам нужно было поверить в нее, поверить в то, что ей нужно дать шанс, чтобы она смогла впрыгнуть, вскочить в этот улепетывающий от нее в ужасе поезд общества, в этот общий вагон социальной успешности, чего нам стоило поверить в то, что суетливое, сморщенное, коричневатое старушачье личико разгладится, посветлеет, порозовеет, и напротив нас снова будет сидеть хохочущая, циничная,

изобретательная и вечно сердитая на нашу аморфность и недоверчивость Катька! Человек приспосабливается ко всему, и если приспособившаяся к чему-то невыразимо чудовищному, привыкнувшая к тайной своей катастрофе Катька смогла так разительно измениться, то ей – точно по такой же схеме – ничего не будет стоить вернуться в прежнюю форму буквально за месяц работы с молодыми профессионалами, креативным народцем, старыми приятелями. Я изо всех сил пыталась представить Катьку, поедающую это крошащееся, рассыпающееся в ее сведенных артритом узловатых пальцах офисное печенье, в уютном сером шерстяном пиджачке и блестящей, как крышка рояля, кожаной юбке – но воображение отказывалось дорисовывать разве что ярко-алые «Мартенсы», которые превращали бы мою надежду на преображение Катьки в факт и данность – и картина почему-то рушилась.

Никто из нас не мог взвалить на себя эту обязанность, и всем было чудовищно стыдно. Катька как будто превратилась в прокаженную, навещая нас на рабочих местах все в том же своем гиперчистеньком застиранном жилетике, будто с чужих ног бежевых брюках из уже неясно какой ткани, может, и не ткани вовсе, и надсадно-белой рубашечке, надетой явно из невротичного, панического, искаженного уже соображения о том, что в белой рубашечке скорей возьмут работать в офис, приличный должен быть вид, не должна выглядеть неудачником.

– Я ее подкармливаю иногда, – призналась Сашка, когда мы собрались с ней, Ленкой и Вадиком вместе – в кои-то веки! – чтобы обсудить, что делать с опустившейся, несчастной Катькой, которой объективно нужна помощь, но как ее оказать – непонятно, невероятно, невозможно. – Заметила, что ребенку готовлю, когда ухожу – и всегда две порции – вторую беру Катьке, и точно знаю, что она зайдет в этот день. И заходит. Девочки, мне ужасно стыдно, как же так, она же была такая, такая. Девочки, что мне делать, давайте мы, может быть, скинемся деньгами, чтобы ей помочь как-то на первое время, а может быть, вы знаете, где нужна какая-то простая работа – уборщицей, почтальоном, с ребенком посидеть?

Мы перебрасывали Катьку друг другу, как пылающую картофелину стыда – никто так и не смог взять на себя ответственность ни за нее, ни за то, что с ней случилось. Хотя о Катастрофе – а мы точно понимали, что случилась какая-то катастрофа – она никому не рассказывала. Отмахивалась, отшучивалась: ай, слушай, лучше не буду тебя грузить, ты все равно не поверишь, ты же никогда мне не верила. Или наоборот: да ты же всему, что я несу, верила, так что и тут что бы я ни рассказала, ты это примешь, поэтому какая разница, что я расскажу, придумай себе там что-нибудь.

И мы придумывали – собирались, как раньше, и придумывали. Решили найти Катькину маму, вроде бы она жила где-то в Новосибирске – но дальше нашей решительности дело не пошло. Потом Юлька, которой было сложнее всего – к ней Катька приходила прямо в редакцию, мрачно, как призрак, проходила по всем коридорам, каким-то сверхъестественным образом минуя охрану (что больше всего потрясло Юльку, так это то, что Катька в своей безразличной, текучей, речной стремительности прошла мимо Дэвида Бирна, который как раз был тогда у них в редакции на интервью – приезжал с гастролями в город – а ведь когда-то она была фанаткой Talking Heads, буквально наизусть знала каждую их песню! А тут взглянула рассеянно ему в лицо – медленно, отстраненно, будто призрак, или будто он сам был редакционным призраком – и еще до тех пор, пока оцепеневшая от неправдоподобности этой сцены Юлька почувствовала, что происходит что-то непоправимое, что нужно помчать, побежать, уберечь гостя редакции от сумасшедшей полупрозрачной полустарушки-поклонницы!), нашла для Катьки подработку в больнице на ресепшне, ничего сложного, улыбаться, встречать, заполнять карточки, выдавать талоны. Договаривалась, приносила коньяк, шоколадки. И тут новость – Катька устроила скандал, обиделась, возмутилась.

– Стоит вся красная, всю ее трясет, я впервые вообще у нее хоть какие-то эмоции заметила, не потерянный еще человек, видимо, – рассказывала Юлька в фейсбук-чате группы «Как помочь железному зайчику», созданный нашим коллективным неловким чудовищем вины и стыда. – И говорит: как ты можешь, как ты так можешь со мной, я же должна работать тут, в журнале, почему ты не можешь устроить меня в журнал, чего ты боишься, мне нужно к тебе, в журнал, понимаешь?

Потом началась вообще полная неразбериха – но, как мы были вынуждены признать – намного больше в духе Катьки-зайчика, чем это старушачье шоу немощи и поглотившей человеческую живую волю бездны бесприютности и отчаяния.

– У меня нет документов, – мрачно сказала Катька Вадику, когда он согласился принять ее в студию якобы неоплачиваемым интерном, но платить ей из своего кармана какие-то триста в неделю, причем эти триста мы решили собирать сами коллективно. – В том-то и дело. Я умерла в 2011-м, и у меня поэтому нет документов. Ни паспорта, ничего. Свидетельство о смерти где-то было, но его кто-то взял, может, кто-то из родственников, но я не знаю, кто. Да и потом, если бы и не взял, ну вот как бы ты меня устроил интерном по свидетельству о смерти, ты вообще думаешь головой?

– Да, я сказала Вадику, что умерла в 2011-м, – сказала мне Катька, когда пришла пожаловаться на Вадика. – А что мне было еще делать, если он не хочет меня брать на работу без документов, а я действительно, допустим, умерла? Что мне ему нести? Да и если бы я сохранила каким-то образом паспорт, все равно не было бы смысла, я уже давно не на учете в налоговой, все эти индивидуальные номера. Лучше бы, блин, подумал, что делать. Можно же как-то восстановить учетные записи, наверное. Хотя я читала когда-то статью о том, как люди, которых ошибочно признали мертвыми в бюрократическом смысле, потом годами отстаивали свое право функционировать как живые, система вообще не заточена на то, чтобы возвращать мертвых в общество, даже если они умерли по ошибке. А если не по ошибке? Что тогда?

Катька уже не пожирала это ужасное печенье (наверное, я больше никогда не смогу есть именно это печенье – оно казалось мне теперь каким-то навсегда зараженным), я с неделю назад именно ради нее позаботилась о том, чтобы в офисе всегда были питательные закуски – хумус с крекерами, нарезанные дольками органические яблоки в порционных пакетиках, чипсы из сладкого картофеля, еще какая-то дрянь. Она пила кофе и заедала его моцарелловыми палочками из мешочка на десять палочек – одна, вторая, третья. Видимо, у Катьки была моцарелловая диета или моцарелловая же недостаточность.

– Я узнаю у знакомых, кто может сделать документы, – наигранно-бодрым голосом сказала я и возненавидела себя тут же за эту интонацию. – Наверняка кто-то поможет. Не волнуйся. Я тебе верю.

Я знала, что прежняя Катька – если ей не поверить – может специально убить себя, чтобы мы поняли, что зря, ох зря, мы выкатили ей этот неподъемный, предательский мысленный вотум (она читала подобные вещи по интонации, по взгляду, и паническая мнительность в ней сочеталась с болезненной, безошибочной и безжалостной, как нож, интуицией). Более того, если она особенно упрется, то запросто убьет себя в 2011-м году, она такая.

– Мне не нужно, чтобы другие, – ответила Катька. – Мне нужно, чтобы ты взяла меня на работу, неужели не понятно? Почему вы все такие? Какие-то, сука, беспамятные, ну.

– Катенька, – сказала я. – Я очень плохо помню все наше совместное прошлое, и мне от этого так же больно, как и остальным ребятам, поверь. Наверное, мы стали уже взрослые, старые, разочаровали тебя, ты нас явно не такими представляла. Но давай ты и правда сделаешь документы и мы подумаем, как тебе помочь. И вот, например, хоть я плохо помню – но ты когда-то нам рассказывала про Авдотью – я запомнила именно благодаря имени, редкое имя же – которая работала в паспортном столе и могла подделать из мертвого паспорта любой живой паспорт. Помнишь? Это было тогда, когда у тебя нашлась сестра-близнец в Канаде, а потом оказалось, что просто паспортная ошибка, но потом все же выяснилось, что не ошибка. Авдотья, помнишь?

Катька расплакалась. Видимо, это была последняя капля.

– Как так, как же так! Вы все оказались вообще не такими! – всхлипывала она, закрывая свое пергаментное, желтоватое лицо сведенными кулачками. – Как мне вообще выбраться из этого теперь?

– Катенька, – начала я фразу, которую даже не думала заканчивать.

– Я не вру, понимаешь? Все так и есть, – бормотала она. – Я просто не знаю уже, что говорить, и подумала, что, может быть, надо сказать вам, как есть, и тогда сработает. Я умерла в 2011-м, очень нехорошо умерла, и там выяснилось, что ничего не отработано, вообще все плохо, очень много работы осталось, все нужно отработать, я отрабатываю, но не выходит все равно, ты не понимаешь даже, как это тяжело, ты не была в этой ситуации. Если не отработаю – все. А чтобы отработать, обязательно надо на кого-то из вас отработать, понимаешь? Неужели не понимаешь? Иначе всё. Всё, Олька! Вот вообще – всё! Мне еще повезло, что можно отработать, другие в моей ситуации сразу – всё – а мне разрешили, разрешили попробовать! Потому что вы – вот вы! Понимаешь – вы все! Потому что ни у кого такого не было, а у меня вот были – вы! И мне говорят: ну попробуй, может быть они помогут, раз они у тебя есть. И теперь вы мне такие – ах, приходи потом, поищем что-нибудь! Вы вообще понимаете?

– Катенька, – снова начала я ту же фразу, но поняла, что никогда ее не закончу. – То есть нет, Катя, зайчик. Я тебе верю, это раз. Два – нам всем ужасно стыдно и страшно, что мы не можем тебе помочь. Просто понимаешь – мы все работаем в таких компаниях – ну, серьезных – то есть нет, не то. К нам очень сложно устроиться с улицы. Может, попробуй других друзей? Помнишь, у тебя еще была какая-то другая компания? Мы, твои дурацкие однокурсники, из-за своей дурацкий взрослости оказались какие-то не те друзья, Катя. Мы плохие друзья, понимаешь? И теперь мы видим это так отчетливо, что, возможно, как минимум из чувства ужаса и стыда ничем не можем тебе помочь – наверное, чтобы вечно помнить о том, как чудовищно мы с тобой поступаем. Но, черт возьми, были же другие друзья, Катя! Ты же рассказывала нам про них постоянно! Неужели ты у них ничего не спрашивала, не интересовалась? Давай подумаем вместе. Я даже помню некоторых из них, хотя многое позабывала. А этих помню. И неудивительно. Аделина. Артемий. Авдотья. Отличная фантазия, правда?

– Ну, – мрачно сказала Катька. – Давай дальше. Давай. Может быть, сообразишь кое-что.

– Еще был какой-то Амфибрахий, но ты его точно придумала, мне кажется.

– Угу, придумала. Еще Апраксия, – напомнила Катька. – А также тетка Алевтина. И одноклассники Афанасий и Аввакум. Ну?

Я молчала.

– Еще? Авессалом? Или хватит? – сквозь слезы закричала Катька. – Эта компания не подходит! Одноклассников я отрабатываю иначе! Они мне рекомендации пишут. Нужны рекомендации от той компании, предыдущей. А вы – именно вы! – должны меня взять на работу! Ты, Олька. Ленка. Сашка. Юлька. Вадик. Понимаешь?

И тут я поняла, что вообще ничего не понимаю.

– Нет, Олька, ты понимаешь. Ты у меня, Олька, директор лучшего креативного агентства в городе. Ты все понимаешь. А Юлька у меня главный редактор местного – местного! – Vice, между прочим! А Вадик – директор и основатель лучшей в городе фотостудии! Сашка владеет собственным издательством, она у меня вообще круче всех. Ленкой тоже можно гордиться, половина всех сериалов, что тут делается, через ее продюсерскую компанию, между прочим, проходят, разве нет? И после этого всего – после всего, какими вы вышли успешными, красивыми, идеальными – вы не можете меня взять хотя бы полы мыть – чтобы я могла это все отработать? Нет, не можете? Конечно, не можете. Лучше бы подумали, почему все так гладенько, почему у вас имена, как в этих советских книжках дурацких: Ленка, Олька, Юлька, Сашка. Так что, бывает в жизни? Вы думали про это вообще хоть раз? Но нет, так далеко мы думать не можем. Мы только можем думать о том, как они все отреагируют, все эти ваши коллеги, подчиненные, все эти важные для вас фигуры, если вы меня в этом моем состоянии возьмете на работу! Хотя думать вам надо было вообще в другую сторону! Важные фигуры, с ума сойти.

Я извинилась перед Катькой и сказала, что у меня важный митинг через пять минут – пришло сообщение вот только что.

– Врешь, – сказала Катька. – Хотя, с другой стороны, как я могу обвинять тебя или кого-либо из вас, дорогие мои, в том, что вы врете. Все, не справилась. Не вышло. Не получилось. Теперь сами меня ищите, когда поймете, что во всем этом не так. Больше я к вам не пойду унижаться, надоело, пусть все оно горит нахрен, не отработаю так не отработаю, есть в мире и более страшные вещи, чем самые страшные в мире вещи. До свидания, Олька-Олька.

И ушла, хлопнув дверью.

Хотя никогда до этого не хлопала дверью.

Почему-то мне показалось очень важным не соврать ей – пусть она бы вряд ли как-либо об этом узнала – и я решила организовать важный митинг, устроив скайп-конференцию с Вадиком и девчонками, чтобы обсудить с ними одну крайне неприятную штуку, которая пришла мне в голову. Или была ловко вложена в мою голову Катькой.

Но когда я собрала их всех в один костяной веночек – Ленку, Юльку, Сашку и Вадика – поняла, что от того, сообщу ли я им эту штуку – ничего не изменится ни в мире, ни в том, что миром считает наша Катька, ни даже в том, что этим миром по какой-то причине до настоящего момента считали мы. По сути, тот факт, что ничего не изменится от моего сообщения, и был той самой информацией, которую я собиралась им сообщить. И если об этом знаю я – видимо, об этом знают и остальные.

Как и о том, что нам всем придется теперь хорошо поработать, чтобы остаться существовать в этом новом, довольно неуютном с учетом всей этой информации, мире железного зайчика.

Виталий ЛЕХЦИЕР

***

дурачиться на краю материального мира
red style говорить, *red style of fashion*
никто не знает
что вот оно, вот расхожденье прямых
осталось-то всего ничего...
а здесь пинается с той стороны пупка
девочка, чьё имя уже известно
читаю о том, как умер Лукреций
лучшего аргумента не придумать
и ты – доксограф, не более
докажи теорию настоящей вины
прозаической, нестерпимой
смешны твои мысли после Пасхи
прокатившейся по фейсбуку
бесконечное откладывание
трусливая защита весельем
в очередной раз уцепиться за *сейчас*
когда в комнате твоей спят взрослые дети

симпосион № 5

о роли театроведения для биологии
как перевоплотиться в растение
расспросить животное?

человеческое сердце из шпината
ухо из яблока

Виталий Лехциер родился в 1970 году в Ташаузе (Туркмения). Окончил филологический факультет Самарского госуниверситета, доктор философских наук. Публиковался в журналах «Волга», «Воздух», «Цирк Олимп», «Дети Ра», «НЛО», «Золотой векъ», на порталах «TextOnly», «Syg.ma», «Литературата», в антологиях «Нестоличная литература», «Девять измерений», «Поэтический путеводитель» и др. Автор шести поэтических сборников, четырех философских монографий и более ста пятидесяти статей и эссе в различных периодических изданиях. Участник и лауреат ряда международных и российских литературных фестивалей. Соредактор электронного литературно-аналитического портала «Цирк Олимп+TV» и одноименной книжной поэтической серии. Куратор региональных акций «Антропология поэтического опыта» (2012-2013) и «Поэтическая логоцентрика» (2013–2017).

художник вводит в петунию
собственные гены

красные прожилки
похожие на кровеносные сосуды

диалог с Гёте:
он понимал существо театрального действа

биолог – тот же актёр

натуральный звук
распространяющийся в пещере
по всем её закоулкам
как в монашеском пении

утрачен?

самое замечательное –
обонятельные рецепторы
практика парфюмерного ремесла

Гиппократ учил различать
двадцать запахов тела
запах болезни, здоровья

всё светится, все – светлячки
мы можем регистрировать
слабые воздействия

новая практика – новая этика
конец человеческой исключительности
не будем есть, убивать

когда рептилии спали
леопарды охотились на людей
поэтому мы так любим кошек

партия животных была
органичным продолжением
моего зоофренического проекта

пищеварение наше происходит от крыс
если вам интересно
предлагаю обменяться контактами

***

прекрасен сон в летний день
после завтрака

/ух, как ты там
развратничаешь/

и предупреждения МЧС

о том, что лёгких взрослых людей
может унести
ветром

как и малышей в колясках

лёгкие люди
должны сидеть дома

/если вспомнить
как происходила аннексия ВЦИОМ
то всё встаёт на свои места/

тяжесть спадает с плеч
в такую погоду

/в какое сумасшедшее время
мы живём, пипец/

даже небоскрёбы
раскачиваются

наверно специально
так построены

всем, кто не слушается МЧС
собираясь в дорогу:

встретимся в Стране Оз

***

Общественный транспорт в Риме – это ад
сказала
подпрыгивает на брусчатке
оглушает выхлопами

подумалось: *и это всё*
что хотелось?

андеграундное жильё
внезапно и фатально
катакомбы/апартаменты

*smart*овские малютки паркуются поперёк

due, due – все время due
как этрусское погребальное ложе

больной умирающий Китс
нет Вакх
люди в чёрном, девушки, мужчины
чёрно-белое ретро видео
в bigAL
вы можете его видеть улыбающимся, с сигарой
в светлой шляпе с полями
чикагских 20-х

палочками китайскими выведенные узоры
как полы косматеско

ветки метро завёрнуты в цветочки цукини

жизнь всё-таки колется
как нутро артишока
или табак Петрарки

унизительная упреждающая работа
над воспоминаниями

портрет приговорённой
за (отце)убийство

версия об отце-насильнике
раскрученная романтиками

странные речи о былой *пользе Каддафи для Италии*
доброжелательная приветливая румынка
с удовольствием повторяет за вечерним чаем
русское *пошли, пошли*

служащий в церкви разводит руками в недоумении
мол: *разве можно вытворять такое здесь*?

скрывающийся от возмездия провокатор
изображающий пятки и задницы
на передних планах

забит до смерти

художники учатся
расположившись на траве

утренняя пробежка среди древностей
прятки за статуями

марафон, посвящённый борьбе с раком груди
разбавленный информацией о предотвращённом теракте

подглядывающий Давид
шуточки разные про *надоедливые музы*

пористый каравай Дженцано
с толстой корочкой –

нечто особенное

классика жанра
вечное возвращение
антибиотиков

***

Мы на этой даче – гости
здесь живут ящерицы и ещё чёрт знает кто
они так и шныряют, волнуются
когда мы приезжаем

ты ко мне относишься небрежно
муха гоняется, выгони её на ночь
иначе мы не сможем спать
сидеть приятно на такой пушистой траве
перед глазами стоят горы
как я плаваю между ними
здесь очень важно это *со*
в слове собеседник
а ты только сачки расставляешь

***

после димедрола оказывается
человек спит
лишь первые три-четыре часа
остальное он досыпает
в силу привычки
потому что ночь

когда заканчиваются носовые платки
нет большего утешения
чем жизнь других
через замочную скважину
телевизора
просачивающуюся в лобные доли

какая-нибудь мочегонная трава
или народная лепёшка
разогретая в духовке
для ублажения трахеи

этот засахарился
он не пойдёт

не вращай головой
не дави пальцем
не хмурься по-бычьи
теплом и отёками
разгуляется по упрямому телу
иммунный ответ

я люблю спрашивать

1.
всю жизнь
я учился и переучивался

вникал в детали
но я люблю спрашивать

я успешный приспособленец

надо закрыть глаза
открыть глаза
прислушаться к тому
куда тебя двигают
и не сопротивляться

это ощущение подсказок
чем дальше
тем больше –
не всё так просто...

было много провалов
находки, удачи
как на волнах
глубочайшие падения

постепенно эти взлёты
стали плавней
появилась канва

...в поисках
порядочных людей...

2.
перебравшись в однокомнатную квартиру
мы быстренько стали размножаться
жена стала расти по служебной лестнице
и меняться в худшую сторону
я всегда виноват был в нехватке денег
я собрал всех детей в зале и объявил
что у мамы есть любовник
мне сказали, что плохо с моей головой

при разводе мне было на всё наплевать
я жил по нулям, что заработал
то съел, я заработал на нервной почве
стенокардию, плечо разбито
так что жизнь прекрасна и замечательна
паскудна и мерзопакостна
я иду по нулям, что заработал, то съел

3.
ещё раньше я встретила
мужчину, но это было такое говно

дерьмо, не могу сказать как
всех унижал
мама говорила: «живи»
но когда она умерла
он даже не поднялся
меня обвинил
мы расстались

через несколько лет
я встретила первую любовь
спустя 23 года –
он законченный алкоголик
предал меня
мы расстались

мой муж моложе на 10 лет
он такой жизни не знает
всё должно быть так
как он скажет
ненавидит моих детей
категорически
только своего любит

4.
в памяти отразились тюльпаны
орехи, яблоки
виноград всегда в изобилии
красиво: поле тюльпанов

я вообще человек не скандальный

парторг мне сказал:
«Вступай, будет тебе жильё»
это меня оттолкнуло

жизнь моя удалась
меня всегда уважали
достиг я многого

даже на обед приходили вовремя
опоздал... значит, не обедаешь
свободное время – всё детство

пропадали в лугах, мазались
кушали дикий лук, бегали
плавали, посещали базар

летом – Воложка
зимой – лес, катались на лыжах

человек умирал –
не знали, от чего

бабка моя заболела
походили по врачам
походили – умерла
специалистов таких не было
чтобы определить
сердце это или печень

всё в корне меняется
время движется вперед
мы тоже

жизнь прожита не зря
есть вершины, которых
я не достиг
но кредо своё
выполнил максимально

готов уйти из жизни
в любой момент
встанет сердце
ну и...

5.
маленький был
ничего не понимал
но всё видел

мать мне подчас говорила:
«не дай Бог, ты там расскажешь
что-нибудь про Брежнева или Хрущёва
молчи – проживёшь дольше»

мы всё понимали
в нашей жизни присутствовал страх

однажды я деду сказал:
«А Бога-то не существует»
он ответил: «Бог тебя простит»

можно ли закончить?

Татьяна ГРАУЗ

ТЕМНАЯ СТОРОНА ТРАВЫ

Рассказ

Крошечная, такая крошечная, как яичная скорлупа, рассыпанная по столу после праздника. Цветная скорлупа, пахнущая крутым белком. Розовая снаружи, внутри – белая влажная. С отсветом неба на вогнутой сфере и краем неровным.

Небо расколото на сумерки жизни и свет. Ты прикасаешься, трогаешь морщинистыми руками складки, шершавости, угол стены, угол невидимого дивана – эту упрямую, не подающуюся цвету и форме тьму жизни. На ощупь идёшь. Глаза видят смутные очертанья предметов. Старческий облик твой (женский когда-то, сегодня – бесполый) так мил и так жалок. Сто два длинных лета, сто две зимы ты прожила. Скользила острыми лезвиями коньков по льду одиночеств. Лыжными палками отталкивалась от снежного склона. Лицо раскраснелось под шапочкой серой. Упругое тело звенит. Ноги в чулках шерстяных, поддетых под плотные с начёсом штаны, немного устали. Варежки с красным узором пахнут здоровым теплом. Ты сильна, крепка, молода. Месячные приходят строго по лунному календарю, зарплата – строго по графику, дочка в школе, а позже – в ВУЗе престижном. Муж – бывший муж – прописан в соседней квартире. Вы развелись год спустя после рождения дочки. Перед самой войной. А потом – с утра и до ночи гул самолётов. Взрывы. Окопы. Лопата, будто сросшаяся с маленькой крепкой рукой. Раскаты жаркого неба. Солнечный полдень. Кто-то с вывороченными кишками в соседнем окопе лежит. Поля и окопы. Август дождливый. Полупустые комнаты. Немец (хороший такой, интеллигентный) посапывает за перегородкой твоей оккупированной квартиры. Утром за завтраком он пьёт немецкий свой кофе, курит душистую сигарету (мирно так, интеллигентно), а во время попойки приятель его (от нечего делать) чуть было не застрелил твою дочь. В тот день ты навсегда провалилась в бездонный чёрный окоп. С макушки до пяток засыпало тебя гнилым чернозёмом. В глазах (с утра и до ночи) рыхлая вонючая живая земля – с червями незрячими и корешками травы. С ночи и до прохладного одинокого утра в горле сухом (пересохшем) шёпот, навязчивый шёпот. Ты говоришь с мёртвыми незабытыми теми. Зима в твоём сердце мостит ледяные мосты. Заваливает снежным пеплом дороги. Перед глазами пепел угрюмый. Ночь. Трупный запах и вонь. Опять эти мёртвые девочки стоят как живые, а муж говорит что-то резкое, жестокое что-то. Спиной поворачивается. Чуть сутулой спиной. Ты видишь короткую стрижку, курчавящиеся тёмные волоски, свет на затылке – прощальный, заупокойный. И крепко сжав маленькую натруженную ловкую руку, ты держишь, хранишь тот несгибаемый свет.

По праздникам вставляешь зубные протезы. Долго жуёшь кисловатый крыжовник. Выплёвываешь (недовольная) жёсткую зелёную кожуру. Свешиваешь с кровати отёкшие ноги. Пытаешься встать. Приподнимаешься, но подняться не можешь. Лежишь – обречённая – в мутной сырой темноте. Вот она – голгофа твоя – твоя старость. Перед глазами пульсируют колбочки мутного

Татьяна Грауз – поэт, эссеист. Родилась в Челябинске. Закончила 1-й Московский Медицинский институт и театроведческий факультет ГИТИСа. Публикации в журналах «Новый мир», «Волга», «Воздух», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Комментарии», «Гвидеон», «Дети Ра», «Журнал ПОэтов», «Окно», «Топос», «Футурум-арт», «Черновик», «REFLECT...» и др. Автор нескольких книг стихотворений. Лауреат поэтических премий журналов «Футурум-Арт» (2001), «Окно» (2011) и мн. др. Живёт и работает в Москве.

света, на четверть наполненные солёным раствором, и освещают морщины, борозды жизни, прорезанные безжалостной чьей-то рукой окопы того невозможно далёкого лета.

***

Полая вода подмывает берега.
Русская пословица

Это и тебя касалось. Тёмное дерево человека касалось и тебя. Юное дерево с синей, зелёной листвой. Глаза войны. Тёмные глаза войны из каждой ветки, каждого ствола в тебя целятся. «Пли». Пели птицы. «Пли-пли». Пели. И всё раздваивалось и врастало в землю – по пояс стояло в земле. «Хуже не будет», – сказал, а ещё сказал: «Будь как будет». Что ещё говорил – если бы ты понимала. Если б сумела понять эту тьму (темноту) человека другого. Но не понять её, не поднять – только раздеться, лечь с краю. «Баю-бай» губами белыми, «баю-бай» губами синими сказать и дрожать, и любовно шептать «баю-бай». А в окне – свет пепельный, серый, будто кто ножиком вырезал эти деревья. Ножиком перочинным вырезал тёмные горбоносые профили туч и молоточком прибил острые гво́здики звёзд. Куда мы несёмся? Куда падаем? Вот она бездна (двоящаяся) одиночеств. Вот оно – жаркое местами, а местами – сплошная грязь. А прежде были одни самородки. Одни зимородки звенели в голых кустах. Что за галдёж? Что за сияющая кутерьма? Это – весназималетоосень. Присаживайся, вот тут рядом. На эту скамейку. Краска совсем облупилась, выгорела добела синяя краска. Как же тревожит это бледное и голубое. На даче одно комарьё. Столько листьев нападало. В них мыши прорыли глубокие норы. Вольготно гуляют. Прикрой воздухом призрачным (прозрачным) лицо и не стыдись неразменного времени. Куда ты уходишь? Не торопись, мой родной, мой овраг, враг мой любимый, почка моя, мой побег. Как мне попасть на ту слизкую кочку в болоте гнилом, в том топком болоте, где тихо тренькает коростель, а из ряски торчат мёртвые сухие деревья – жалобы наши, жалкие наши желанья. Будем сор слепой выметать из сарайчиков ветхих. На свет выносить ржавые грабли, старые башмаки, рухлядь, слежавшуюся труху. Го́ре нам, го́ре, что ничего не умеем поделать с хаосом этим. А на горе́ было так хорошо. Так бы и провели на горе́ многие лета. Огнём бы горели, словно сухие поленья. Как фонари стояли на улице тёмной. Но мы – отчуждённые и обнажённые – спим, прижавшись холодными спинами и согнув неудобно колени. Вздыхаем во сне. Сон золотой выдыхаем. А сколько мы знали всего, сколько пересмотрели в ч/б и в цвете, в тёмных залах целуясь. Под сенью цветущих деревьев шагая, чужие слова, как родные, сколько раз повторяли, когда курили в постели или спускались на эскалаторе и в мутном потоке лиц видели только войну и опасность. Летели как камни по улицам сонным и замечали лишь пыль в узком луче взгляда чужого – лёгкую невесомую, ранящую до боли едкую пыль.

***

В диком лесу города как мне найти тебя под синим холстом дождливого лета? Как разыскать тёмные глаза одиночеств? Хрустнула ветка. Птица вылетела из глаз молчаливых. Щебет незрячий. Ты под холодным душем стоишь, ёжишься, чувствуя тело своё как тело чужое. Соски напряглись, сморщились ягоды жизни. Саван прозрачной воды окутал бёдра, лопатки. Неужели ты до сих пор ещё здесь – и живая? родившая свет в этой тьме, в холоде слизком, в сумерках смрадной, гнилостной душевой? Даже на нарах можно найти крошку убого света. Даже в ложке можно увидеть своё отраженье, корнями проросшее в мутную синеву – в замызганную и оплёванную бездомность смертного неба. Под ложечкой всё так же сосёт, а червь-надзиратель впивается гни-

лостными губами в твои посиневшие губы. Мутная слизь на коже чахоточной зэчки, смертельно усталой. Крепкая всё ж ты «подковка» – просто так не согнуть, не перековать даже водой адской и ледяной. «Душу свою береги», – говорила тебе рано ушедшая мать, когда хлебала горькие корни преданий, размоченные в воде родниковой, а ты прорастала в землю родную, откуда не выкорчевать тебя, не стряхнуть как куст земляничный с ягодами плоти живой. Если понадобится, ты наденешь мужскую одежду, вынешь из имени влажные буквы, оставишь лишь кроткое короткое «ты» и днями, ночами будешь впиваться умом в беспредельность. Срывать цветы сострадания с кожи мгновений. Ждать и терпеть, и освящаться ветром священной и многоглазой той темноты, того невозможного света, что тлеет в яблочной завязи и в полёте белянки. Усики известковые и завитки, почки и точки, линии тишины и вершины, невидимые глазу дороги, кости белёсые, желтоватые мощи, катышки света, забившиеся в норы сумрачной жизни. К ним припадая, ты словно целуешь прах звёзд одиноких. Они как сияющие светляки, как узелки безмолвной молитвы.

Сегодня ты – родина пепла, родина цветущей рябины, родина ягод, горько алеющих у перекрёстка. Счастливое время твоё похоже на безымянное лето, когда ещё можно услышать визг газонокосилки, увидеть скошенную, умирающую на солнце траву и запах почувствовать её – грустный, зеленоватый. Ты напоминаешь мне воскресенье, когда привычным движеньем руки расправляешь тёмные складки одежды и уходишь в тихое кроткое царство любви. Мученица высокого света.

***

как во поле сеяли длинные льны
как во третий день лета сеяли
длинные невесомые синие дни

Смотри, не смотри, а всё равно не увидишь судьбу свою домотканую – бедные белёсые будни. Как быстро уходят и не возвращаются телесные силы, когда муж болеет, а ты его, как ребёнка, с ложечки кормишь, обхватываешь за тёплые плечи, чтобы он на ноги встал, чтобы рукою трясущейся тебя приобнял, «спасибо-спасибо» голосом хриплым сквозь сети тягучего дня прошептал. А ведь недавно всё было иначе: дача, июль или август, розовые помидоры, хрустальная зелень паслёна, хрусткий салат и мужественный и приободряющий свет человека, смеющегося под небом высоким, огромным. Тихая, как молитва, вода медленной звёздной реки, и руки, крепкие руки, лунно сияющие во влажной густой темноте. Свет этих рук тебя притянул и утянул из пустоты уязвлённого женского твоего, из бессмысленных выяснений *за что, почему твой «первый» за что тебя бросил и предал*. А этот «второй» вырвал тебя из сырой паутины – и ты свободно вздохнула и с головой нырнула в большую его полноводную реку. Сплотилась с простым его вдовьим бытом. Три комнаты, кухня, кладовка. Пыльные вязы перед балконом. Под ними курила твоя ненаглядная дочь, податливая, как водоросли, что плывут по течению и крепко держатся за камни песчаного дна. Теперь и она под присмотром. А падчерица пишет кому-то нервные эсэмэски, болтает часами по телефону и всё что-то метит, мутит.

Снаружи всё у тебя «чики-пики». Налаженная (наглаженная, как белый крахмальный халат) твоя жизнь. Мир, труд, осень. Краснокирпичные стены больницы. Утренний холодок полуторачасового обхода. Белёсое небо. Бессонные ночные дежурства и удушающее заблуждение, что муж не изменяет тебе не потому, что он любит, а потому что так он воспитан. Ты повторяешь (маниакально) слова эти каждое воскресенье, когда готовишь на кухне, когда идёшь в спальню, ложишься на только что выглаженную простыню и в духоте золотистой слушаешь проникающий через стёкла уличный шум. Солнце – единственная (на все случаи жизни) живая таблетка, утоляющая безысходную боль. А прикроватная тумбочка напоминает античную вазу: каждый ящик её, набитый лекарствами, – путь нисхожденья в аид. Ведь тот, кто был крепким когда-то, кто обнимал

тебя нежно, до боли, однажды – большой и цветущий – сломался. Что-то в сияющем теле его надломилось. К вам пришло время худое. Мелким шагом оно семенит за тобой, когда смотришь тэвэ, пьёшь крепкий чай и сидишь один на один с этой жизнью, – тебя накрывает мучительный шевелящийся ужас. Ночь темна, глубока. Ты слушаёшь животное дыханье болезни. Ждёшь в свете тусклого ночника скорую помощь. Горестно направляешься к двери. Вздыхаешь. И входит в тебя будто тать едкая жёсткая мысль, что жизнь твоя – ласточка скорого поезда – пролетела – от любви до окраин – быстро, так быстро, а ты так отчётливо помнишь, как ехали, звенели стаканами, пили и целовались, шутили, читали газеты. Где теперь то безрассудное лето? Где те черешни и запах травы луговой? Где та вода, куда окунали тела молодые – души свои окунали в звёздную темноту августовской тяжёлой воды.

***

Из белизны, из тоскующей белизны соткан твой день. Рюкзачок за спиной, а в нём – замшевый тёмный футляр, а в нём – молчаливо сияющий телефон. Треньканье мыслей мобильных. Быстрые шаги курьера. Нестареющие лёгкие шаги. Вечно юное тело. Трусики 44-го, лифчик 46-го размера. Третий купальник за долгую (недолгую) жизнь. Волосы собраны в седенький хвостик. Очки-кругляшки́. Кольца серебряные на худеньких пальцах. Бирюльки на узких запястьях. Старые босоножки, приоткрывающие высокий подъём стопы. Ты была (и будешь) волной – беззубой прохладной волной – проточного озера, там, на краю города, на краю жизни, на берегу позднего лета, где тела людей похожи розовые подвижные камни – приплюснутые к земле голыши. Камыш шелестит, плодоносит, нет, это совсем не камыш, а рогоз и осока. На солнце блестят тугие и острые сабельки-листья, а рядом круглоголовая ива поёт о свете насущном, переливается светом. Тебя беззащитную защищает. Чего ты боишься? Родов, рождения, боли зубной, желудочной боли? Ложных схваток любви? Ты сидишь на скамейке, ноги поджав, подставив лицо бессовестно целующему тебя июльскому солнцу. Веснушчаты плечи твои, руки, нос и виски. На севере жизни твоей белая ночь. На севере жизни белое утро. На севере белый день и звезда жестяная краснеет на старенькой (ещё советских времён) водокачке. Пусты пустынные улицы, надзирающие за тобой – за твоей неприкаянностью, за ненужностью твоей безоглядной. Безбашенная велосипедистка, ты крутишь педали, как ручку старинного патефона, и разгоняешься всё быстрей и быстрей. В ушах только ветер тянет свою неприкаянную скучную песню. А сердце колотится всё быстрей и быстрей и поднимает давление жизни. Что ты молчишь? Что смотришь так отчуждённо? Снова (опять) спряталась в бессловесное. Совпала с тенью блаженной. В глубине твоего безвестного утра – как в глубине колодца – тихо, прохладно. Смерть не бывает первой – бывает последней. Ты умываешь лицо, смываешь шум электрички, завтрак готовишь. Кормишь больную старую мать, рассыпая повсюду крошки хлеба, как крошки любви. Мать улыбается, пахнет мочой застарелой, пахнет тоской и больницей. Тусклые запахи жизни. Как не испугаться их? Как полюбить?

Серый, казалось бы, день сегодня на севере, а в Париже, возможно, дождливое утро. В Москве тополь больной, рахитичный, выросший на балконе с видом на пятиэтажку, опять зеленеет, когда ты хоронишь юность свою, когда засыпаешь землёй свою зрелость и забываешь лица любимых. Остаются лишь мутные фотографии в рыжих – похожих на ржавые – точках. «Вот посмотри, – говоришь, – как хороши были эти вязы и розы, эти тёти Раи и тёти Венеры, когда краем глаза их будто впервые увидишь... но где же они?..»

***

Когда ты перешагиваешь лето, глаза зажмуриваешь – видишь – сияние и мать – а в ней – себя, зачатую в весенний день. Земля устала. Когда сметаешь сор сорокадневный, хоронишь свет

и тех, кого любила, кому цвет кожи отдавала, когда курила на балконе, а он глядел в тебя как в пустоту – на твой веснушчатый чуть вздёрнутый твой профиль – и пил вино хмельное встречи. О рисовые зёрна речи. Скудны, прохладны, слабы, лживы. Ты пела с прямотой о том, что в ритме джаза пролетела на светофор прохладного дождя и родила двух рыб, как лилий белых, тем знойным вечером июня, когда он брал тебя, как землю. А брату соврала, что слушала, как под мостом глухое эхо уносило сияние и горечь слов пустых, вплетало в тень травы, в судьбу вплетало. А пьяный целлофановый пакет, подняв мечты, летел между домами. В гудящих проводах. Как смерть. Освобождение для тех, кто любит. Да, он любил тебя, когда ты надевала дешёвенькое штапельное платье и шла по жизни как нагая, звенела загорелым телом, монетой лёгкой неразменной. Ты шла. Зародыш света. Не ведая, не зная, почему сюда попала. Разрушен храм. Рассыпан в пыль и изувечен камень. На месте алтаря – полынь сухая. В глазницах мёртвых окон – только травы. До смерти выпит воздух и сияет – бескровная сияет тишина.

***

Сегодня день гадания по грому: если гром глухой, дождь, говорят, будет быстрым; а если гулкий, то – к ливню. Сегодня мы открываем с тобой гул заповеданных гроз. Ты ведь не плакала целую вечность, только хмурила брови и расточала запах смирения. В твоей безупречной крови, в тёмной листве её ночи глубокой, так редко поёт соловей – лишь ухает глухо сова и жёлтое пламя зари восходит над хрупкими рёбрами, а сердце безумное рвётся на части – на шелест могучих деревьев и лютиков молитвенный свет. Дети проходят длинною вереницей между прохладных стволов, идут по тропинке, несут золотистые фонари, переговариваются тихо, тихо, не зная, что ты за ними идёшь, вслушиваешься в их тревогу – в гул их рождения. Вот они – твои нити зачатья, твои переулочки и переулки, стягивающие осипшее горло, оттуда доходят звуки весеннего света. Где они, твои неунывающие позывные, твои позвонки? глаза вопросительные? смешливые губы? руки в царапинах и заусенцах? гладкие пяточки, милые пуговки, солнечные жучки-паучки? корочки ран засохшие на нежных коленках? Ты открываешь глаза – и часть жизни сгорает. Другая неведомая непостижимая часть прорастает. И в этом солёном, потом пропахшем изгибе, в этой древесной коре, где снуют как муравьи зеленоватые звёзды, в этой ране земли, где тело матери, тело отца, тело брата, сестры – и рождается твоё уязвимое тело. Онемевшая, ты глядишь, как взмывает, крыльями закрывая полнеба, в воздух взмывает бедная, изувеченная, искажённая твоя жизнь. И в листве потемневшего ясеня ты ясно видишь, как тихо сверкают капли безмолвного лета – дождливые ягоды слёз.

***

Смолкло всё опять кругом...
В.А. Жуковский

Земля скорби и гнева в тёмных горшках. Вино печали и плача в глиняных кувшинах. Пыльный ковёр с тёплым ворсом и свет, золотистым зерном рассыпанный по деревянному полу. Грустные пустые глаза самодельных кукол на подоконниках рядом с цветочной рассадой. Двухъярусные кровати в крошечной детской. Трое, да, трое детей, трое усиков, ростков, зёрнышек трое проросших. Гирьки, безмены, грузики жизни. Вот они – эти глаза – просительные, доверяющие. Вот они – рты – плачущие, молчаливые. Сомкнутые, приоткрытые солёные сладкие губы мгновений. Утро на 5-м каком-то Богом дарованном переулке, куда не добраться, куда можно только влететь впопыхах, прихватив пару дынь переспелых и полосатый арбуз. Купить за бесценок на

рынке «у трёх тополей». И долго взбираться на гору в пыльном трамвае, смотреть, как на перекрёстке собака выкусывает из слежавшейся шерсти блох или вшей и слезятся глаза её тёмные. Преданные собачьи глаза.

Речь пригорода не пересказать, не перевести на язык человеческий.

На горе, где кривится узкая улочка и артезианскую воду качают краном (дореволюционным чугунным), а в теплице, построенной в форме башни-звезды, медленно проезжает рассада и душный свет согревает ранней весной пупырчатые зелёные огурцы. Если пройти мимо башни, обдуваемой всеми ветрами, можно увидеть, как маки цветут и синеет полынь, и ветер приносит из степи голос далёкой орды. Сверкание сабель и копий. Топот копыт. Прелый соломенный запах навоза. Там, на горе, мы собирали воздуха веснушчатый свет. Горькое счастье нас покрывало с макушки до пяток. Мы будто врастали в звенящие эти холмы, как небо врастает в синюю даль большой, извивающейся водным драконом реки. Это было. Это будет всегда. Роды в ванне чугунной. Плацента в плохо морозящем холодильнике. Крик младенца, запелёнатого в батистовую цветную пелёнку, и чистота полураскрытой детской постели. Мальчишеского затылка нежный, сияющий невинностью свет. Прозрачное утро в трёх смежных комнатах. Вздохи и выдохи, что вот, мол, ушёл и забыл их, и, видимо, уже не вернётся. Теперь вот одна с малышами, с хлебом этим насущным, с картошкой в мундирах, с кашей без продыху, с башмачками поношенными, платьицами на вырост и брючками не по размеру. Ведь трое их, трое, а я – одна на троих. А он – не помогает даже деньгами. А дети скучают... Скорби сухая земля. Речь неподъёмная, как мешки с проросшей пшеницей. Не перемелешь её, не сделаешь из неё ничего – даже коврижку пустую не испечёшь.

– Ты будешь кофе?

– Конечно.

Медленно закипает кофейник. Чашки на низеньком столике сверкают жалостью и чистотой. Завтрак для гостя. Скромное угощенье. Мятные пряники. Крепкий кофе двойной. Вкуснее этого кофе не было у меня ничего.

***

Маленький мальчик будто кузнечик, свернувшийся внутри тебя прозрачный кузнечик с недремлющей песней глубокого сна золотого. А ещё: трубочка и шар. Пластмассовая трубочка, из которой летят разноцветные пузыри в тусклый воздух за окном, и шар с лампочкой сердца внутри. А ещё: домотканые дорожки, ведущие в пустыню жизни, где в тёмном углу твоего будущего сидит на корточках великовозрастный идиот, улыбается слюнявым ртом, ёрзает худеньким задом: после обеда он обделал детсадовский туалет, измазал какашками кафельные стены и пол. Тошнотворный запах детских испражнений. Резиновые, канареечного цвета перчатки и тряпка. Одно, другое, третье ведро со зловонной жижей. Слёзы бессилия. Как унять эти слёзы бессилия? Этого ли хотела, когда летела – юная и золотистая – неслась через город к тому, вечно чужому и страстно (пристрастно) любимому, с высокомерно вздёрнутой верхней губой, когда целовала рот его горький. Этого ли хотела, когда размывала границы, чтобы лечь и замереть в его тёмных объятиях, и в муках родить на свет его и своё продолженье. И тосковать среди чужой мебели, чужих стен в чисто убранном чужом доме. А через несколько лет сбежать от него (от всего) и начать всё с начала.

Утраченный воздух любви. Ты собирала его как манну – по крохам, крупицам. Бережно перебирала шершавые катышки света: съёмные комнаты, кухни, квартиры, работу с утра и до ночи. Чёрное дерево за окном чужой спальни. Незнакомое дерево, похожее на будущее – такое же сумрачное, неведомое и желанное. Тишина ресниц. Тишина печали. Спящий за шкафом сын, не по дням, а по часам растущий. Тишина сердца. Свет сердца. Яблоки и каштаны, рассыпанные по столу. Ты подолгу сидела, прислонившись затылком к стене, и смотрела туда, куда заглядывать

так тяжело. Малиновый компот с крупными ягодами в прозрачном стакане. Твоя рассыпанная и заключённая в прозрачные стенки жизнь, переплетённая с зеленоватым светом дерева за окном. Шелестящая листва, освещённая твоим смирением. Ты освещалась скорбью и радостью, когда кормила тех бедных несчастных детей. Ты и не думала, что выдержишь это. Просто шла по тропинке, усеянной хвойными иглами, шла в приют для убогих и брошенных детей, чтоб вытирать им сопли и слюни, чтобы сказки на ночь читать. Тридцать три детских несчастья ты взяла в сердце своё и пошла с вязанкой их бед неизлечимых, с коробом горя неведомого, с клубком сожалений. Ты поднималась по лестнице в душевую, чтобы переодеться, надеть спецодежду (брюки зелёные и рубаху). Шла. Спускалась и поднималась. На детскую горку вела их – хнычущих и безучастных. Они летели с горы. Орали от страха и счастья. А ты их ловила. Одного за другим.

***

Худой как щепка, как смычок худой и тонкий. Смычок и скрипка с туго натянутой струной. С этой никому неслышимой музыкой внутри. Трение конского волоса, трение чешуек живой (или мёртвой? – нет, конечно, живой) материи о жилу – о тонкую жилу невидимой скрипки. Невидимой глазу струны. Внутри тебя какие-то прозрачные колбочки, на четверть наполненные светящейся прозрачной водой. На голове – вязаная шапка, съехавшая на затылок. Ты куришь взатяжку, сипло смеёшься, морщишь лицо. Стриж или дятел? Скорей всего – коростель. Стряхиваешь веснушчатыми руками пепел сухой. Не замечаешь, что стряхиваешь себе на ботинки. Толстая подошва ботинок – вот всё, что удерживает тебя на земле. Потомок старинного рода – ты кажешься безродным совсем. Кто-то из дальних «твоих» сгнил в лагерях, кто-то перемахнул через овраги, болота, степи и города и на другой стороне, на земле чужой и далёкой влачит худо-бедно существованье. Кто-то свой век заповеданный доживает под присмотром сестёр синеглазых, в доме для престарелых, где цветут олеандры, жасмин, и море – как горе – большое. А ты как бездомный живёшь, ходишь с осени до глубокой весны в пальтишке не по размеру коротком. Горло обмотано старым мохеровым шарфом. Тёплым когда-то. Нелепым сегодня. Жалкий ты. Длинноногий. Под грубой вязкой домашнего свитера прячешь сердце (больное) большое, когда приносишь своей ненаглядной картошку, лук, апельсины, когда моешь полы и посуду, и пишешь, пишешь. Что пишешь ты в серой тетради? О чём твои мысли? О том ли, что ненаглядная твоя не понимает любви, что сын ходит сам по себе, будто воздух. Что горе так близко, как нераскаявшаяся душа. Пятнистым жучком спит душа твоя на ладони. А ведь она – как девушка нежная или подобная солнцу жена. А на деле выходит всё как-то иначе: сонная домохозяйка, халатик в мелкий горошек, упрёки, сор раздражения, ревность сухая. А когда-то она была рыбкой твоей золотой. Воздух от моря до моря искрился свежо и прозрачно. Губы – влажные берега безысходного счастья – блестели и пахли черешней. Время это быльём поросло. Киснет в тазу замоченное цветное бельё. Пыль на шкафах лежит как бумага. Ходики жизни стучат и стучат. Тусклый щебет минут. Как это выдержать? Как не сломаться? Может, убавить натяженье струны. И ты убавляешь – глотаешь мутный напиток будней холодных. Глаза прикрываешь. Молчишь. Долго молчишь, пока куришь горькую ту, последнюю сигарету.

***

Ярко-белый. Это был ярко-белый, как тюльпан, самолёт за распахнутым настежь окном. Самолёт пролетал будто огонёк сигареты в чьей-то невидимой руке, и только по дрожанию стаканов и колыханию света на потолке мы понимали, что самолёт летит туда, куда мы уже не полетим. Мы лежали на простынях июльского утра и смотрели, как в лодочке облака проплывают наши ещё не рождённые дети, и тёмные гробы деревьев, необструганные и шелестящие нежной серебристой

листвой, сияли за окном, когда ты ставил чайник и говорил о бессмертии слов. Мы, как слова, были бессмертны. Мы, как слова, были невидимы. Никому до нас не было дела. Это было похоже на счастье – на отсвет в прозрачном стакане, больно и сладко ударяющий в голое сердце мгновений. Всё самое страшное, казалось, осталось за дверью: ненависть мира, его злоба, предательство, землистое лицо войны, жадное лицо огня, изувеченные смертью тела, бессмысленность насилия и как дым разбухающая жестокость. Мы будто забыли об этом. Мы онемели от странного кристально-ясного света, впустившего нас в своё пламенное (плазменное) течение. Мы кормили с руки нашу бедную жизнь – блестящих стрекоз и муравьёв, лишайных дворовых собак. Ты наливал из бутылки в ладонь свежую воду, и пёс, старый пёс, зажмурившись от удовольствия, лакал шершавым языком прозрачное неглубокое озерцо. Мы смотрели на его желтоватые острые зубы, на его – такие нестрашные в эту минуту – клыки.

***

«Старею... и это приятно». Опустила голову. Вспомнила что-то. На лицо набежала тусклая тень. Молчишь. Но та, что внутри тебя, неслышно нанизывает слова, как фундук, на невидимую невесомую леску. Вот они – твои рукодельные бусы. Кому их подаришь? Куда заведут, куда приведут тебя эти дороги? Отводишь глаза. Улыбаешься. Сидишь неподвижно. Но та, что внутри тебя, заторопилась, перелистнула страницу, перешагнула порог, перебежала улицу, посмотрела с досадой. Та, что внутри тебя, так далеко от тебя. Ты – совершенно другая.

Счастливое время твоё – зима. Обледенелые клёны. Хрустально звенящие тополя. Заснеженные проспекты. Солью посыпанные дороги. Синевато-белые утра. Карнизы. Озябшие голуби. Жалость. Железо. Шубка мутоновая перешла по наследству, как и шапочка норковая с помпоном. Ты в них похожа опять на подростка, когда бежишь по белёсому тротуару, везёшь деревянные санки, а в них – драгоценную тяжесть – закутанную спящую дочь. Санки скользят, чуть поскрипывая. Сонный свет дочери освещает зимнее утро. Алые щёки любви. Чудо твоё – твоя дочь – любит детсадовское какао, манную кашу и сон после обеда. А ты – после крепкого поцелуя и тёплого вкуса детских малиновых губ – с удовольствием покупаешь рогалик, болтаешь с толстушкою продавщицей и слушаешь улицы тахикардический шум. Бежишь по делам, подкрашивая на ходу полноватые губы. Полнота твоя от достатка. Единственный твой недостаток – любовь к арифметике. Ты скрупулёзно подсчитываешь: сколько зим между ним – единственным твоим неповторимым – и между тобой, сколько между вами оврагов и занесённых снегом полей. Перед глазами стоит то далёкое поле, где деревья, обнявшись с морозной заиндевелою тишиной, инеем лёгким сверкают, где кто-то дальний, кто-то близкий тебе лежит под мёрзлой землёй, а над могилой высится столб сияющей песни. Песня растёт, прорастает как свет невесомой берёзы между белыми ребрами, на месте бесценного сердца. Небо слоями – тонкими монотонными серыми – прикрывает небо другое – небо Иакова и Рахили, небо Иосифа и Иезекииля, небо смертных и небо святых, родивших тот давний завет, что пламенеет в книгах – древних, неотменимых – что спрятаны, так глубоко запрятаны в сердце твоём.

***

Гулкое здание из стекла и бетона с длинными проходами, переходами. Прохладный воздух, дующий из узких щелей. Сероватые стены. Кондиционеры. Бесшумные прозрачные двери. Светлое (тёмное) пространство, перегороженное, разгороженное, как лабиринт. Столы. Светящиеся экраны компьютеров. Плоские цвета мониторов. Обои «для стола». Какие ты выберешь сегодня обои «для стола»? С ослепительно ярким морским пейзажем или холодное техно?

Я иду по просёлочной дороге. Тепло нежаркого северного солнца на щеках и плечах. Сандалии пропитаны пылью. Почти невесомы. Мягкая живая пыль земли. Я иду по просёлочной дороге от озера к деревянной церквушке, что отмечена на карте нечётким крестиком в сосновом бору. Утомлённая. Утолённая прогулкой. Ожившие, движущиеся вместе со мной дремучие, сбросившие свою вечную дрёму сосны. Могучий, искрящийся свежестью воздух. Великая мистерия воды в облаках. В соборе августа полуденный распев. Фрески сосен и умиротворяющий дух можжевельника. Пастушья сумка тянет свою заунывную мелодию о скоротечной и вдохновенной растительной жизни. Я лечу вместе с пылью по просёлочной, не ведающей о своём завершении дороге. Между терракотовыми стволами сосен я переговариваюсь с тобой, будто ты рядом, слышу твоё дыхание, смешанное с запахом неунывающей хвои.

Старик в выцветшей рубашке и замызганных штанах проходит мимо. Здороваюсь с ним. На этой дороге можно встретить только его – моего соседа. Он спешит из магазина домой. Бутылка «беленькой» выглядывает из матерчатой сумки. Рядом с бутылкой два ещё тёплых ржаных кирпича.

Вечером старик сидел на изъеденной дождями скамейке возле своей избы, изведавшей горе, нужду. В заросшем бурьяном палисаднике тёмнела давно отцветшая сирень. Жена старика умерла лет десять назад, оставив трех пятнистых кошек, юношу-сына и неутихающую печаль, не утоляемую даже крепкими напитками. Кошки плодились и умирали, сын, вернувшись из армии, женился на худенькой бойкой медсестре из соседней деревни и после свадьбы сразу переехал к ней. Раз в две недели сын навещает отца. Привозит на раздолбанном мотоцикле располневшую нарядную жену в зелёной, с серебристыми блёстками косынке и потёртой джинсовой юбке. Жена одаривает старика кротким молчанием, похожим на густой туман на краю деревни, а мальчик-подросток, внук старика, равнодушно собирает в алюминиевый бидончик терпкую (с густым солнцем внутри чёрных плодов) смородину в глухом дедовском саду. Разомлев от свежего воздуха, жена сына кивает старику и усаживается на заднее сиденье мотоцикла. Мальчик забирается в коляску, ставит на колени бидончик, доверху наполненный тёмным пахучим солнцем, и долго пристраивает между ног увесистый пакет с грушами и крепкими, как молодость, яблоками. Мотоцикл устрашающе урчит, пока сын обнимает старика. На каком-то очередном железном рыке мотоцикл, утяжелённый людьми и дарами, срывается с места и убегает по просёлочной дороге в неведомую безысходную даль.

Старик долго роется в кармане, вынимает пачку «Примы». Злой огонёк то гаснет, то вновь разгорается в глубоких пепельно-синих деревенских сумерках. На крыльцо недавно отремонтированного дома, что темнеет напротив стариковской избы, выходит женщина и с каким-то отчаянным любопытством наблюдает за мерцанием этого слабого, душу надрывающего огонька.

Сегодня в храме водосвятный молебен, так мне сказала хозяйка, у которой я снимаю комнату с неширокой кроватью и высоким окном, выходящим в сумрачный, уводящий в тоску одиночества лес. Я сбежала сюда неделю назад. Длинные дни и короткие ночи провожу я здесь – среди белых озёр и мудрости тёмной природы, среди хвойных игл и доверчивых и открытых для любви людей. Я иду и думаю о заблудившейся в лесу корове, о её неунывающем колокольчике, привязанном к тёплой пятнистой шее, о ночном лае собак, о серебристых плошках далёких и таких близких к отчаянию звёзд. Мои колени зябнут под ситцевой юбкой, когда я сижу на камне под величественными, упирающимися в синеву неба соснами и говорю с тобой. Сверкающий муравейник – царство порядка неведомой жизни. Дотронешься узкой травинкой, и вот уже бежит рыжий, сверкающий чистотой труда и заботы муравей, щекочет тонкими лапками по ладони. Брожение света в траве. Шевелящаяся темнота земли. Камни-голыши. Из них, из их таинственной жизни рождается свет древних фресок. Умная рука таинственного иконописца приносит нам сияние иной синевы – небесный живой голубец, охру и киноварь, преображённые в лазурь одиночеств. Я стою перед этими почти невесомыми стенами, перед ликами, ускользающими от любых, даже

самых правдивых и истинных слов, и молчу. «У тебя всё в порядке?» – слышу я далёкий твой голос и шепчу в ответ в холодную трубку мобильника: «Прости, я не могу говорить, у меня разряжается телефон...»

***

Белая рубашка. Мне снилась твоя белая рубашка. Она пузырилась на ветру и свежо и весело ударялась о тишину утреннего сна. Ватные минуты. Сквозь веки плывут облака. Зеленоватая тень тополя улыбается как тётя Лиза, подарившая нам горсть черешен – сладких и тёмных слёз того невозможно далёкого лета. Как мы встретились? Как мы расстались? Расскажи мне историю нашего солёного моря – повесть прекрасного горя мне расскажи.

Мутная душная улица. Блестящий асфальт. Фонари, притупляющие темноту ночи. Лужи, пропитанные жалкой печалью дождя. Почему мы так долго сидели на узкой скамейке, обращенной к темноте бегущей реки? Ночной плеск волны. Тревожные огни на другом берегу. Зыбкий свет счастья другого. Влажный запах листвы за спиной. Доверительно робкий цвет примулы и утешительный свет влюблённости. Губы, пахнущие свежестью. Лунная белизна рубашки. Влекущая белизна сердца, не ведавшего утрат. Это было вначале. А позже – дни, как подтаявший снег на ладони. Гостями непрошенными приходили к нам ревность и отчуждение.

Мы сидим на солнечной стороне улицы в открытом кафе и смотрим на усердных шмелей, заботливо целующих губы гортензий и флоксов. Мы пьём прозрачную воду прощания. Мы выходим на перекрёсток. Прихожие проходят мимо. Не замечая нас, спускаются по подземному переходу на другую сторону жизни – там почта, телефон, телеграф, осиное гнездо общепита, там происходили (и происходят) убийства, восстания масс, военные шествия и парады, там щёлкают фотокамеры и день разбивается на миллиарды пустых фотоснимков. А дерево жизни растёт. Сквозь дома, сквозь грубую штукатурку и пыльные стёкла, сквозь грохот машин и гудки телефонов, сквозь раздражённое, злобное: «что, дура безмозглая, шляешься тут, попрошайничаешь, я сейчас вызову полицейских...» – орёт невысокий, в сандалиях новеньких и бриджах широких. Он нас не видит. А мы смотрим на его лысую бедную голову, затуманенную пустотой. Дерево жизни растёт, и сияют в ветвях его розовые облака как улыбки, как помощь или забота во время болезни, как голос сочувствия. Дерево жизни растёт. Лёгкое движение птиц, ударяющихся о тишину. Мужчины и женщины (старые и молодые) на фоне невыразимого покоя мира.

Андрей ПЕРМЯКОВ

СТИХИ ДЛЯ МАРИИ ПАНКЕВИЧ

Советы пьющему вторую неделю

Из шкафа к тебе выползает удав.
Говоришь ему: удав, ты не прав!
Уползает удав.

Из две́ри выходит граф.
Говоришь графу: «Гав».
Непременно сбегает граф.

Под столом качается гриф.
На бессмысленных ножках гриф.
С лысой, длинною шеей гриф.
И уходит, двери прикрыв.
Он довольно хороший гриф.

С-под обоев шевелится мёртвая дрянь.
Ты на дрянь построжее глянь –
Непременно исчезнет дрянь.

Никакой, словом, лени или тоски.
Кто не пьют – дураки.
Но как явятся кролик или лягушка в лорнете –
Беги.

Голый стой под вторым фонарём.
Мы тебя подберём.

Андрей Пермяков родился в 1972 году в городе Кунгуре Пермской области. Окончил Пермскую государственную медицинскую академию. Жил в Перми и Подмосковье. В настоящее время проживает во Владимирской области, работает на фармацевтическом производстве. Стихи, проза и критические статьи публиковались в журналах и альманахах «Абзац», «АлконостЪ», «Арион», «Вещь», «Воздух», «Знамя», «Графит», «День и ночь», «Новая реальность», «Новый мир» и др. Автор книги стихов «Сплошная облачность» (2013) и трёх книг прозы. С 2007 года постоянный автор журнала «Волга». Лауреат Григорьевской премии (2014).

Вахта

Четыре с половиной моряка:
приземистые все, как будто гномы.
О, фотокарточка – висячая строка,
одною буквою причастная иному.

Вот половинка – это кто? Рука,
Полбороды, у глаза папиллома.
Без ленточки, без имени, без дома –
Желтеющий кусочек дурака.

А эти тоже: рожи, папиросы –
Ушедшей жизни безымянный сор и пар.
Но будет славный грипп и славный жар,
Когда ответствует на тихие вопросы
Не морок, не колдун и не кошмар –
Отсутствующий в кадре полматроса.

О несложении

Вымытый с вечера лес интересно горчит,
явленный из выцветающих лент –
дивный оркестр, где единомоментно звучит
непременно один инструмент.

Эта гроза вчера как навсегда была,
а теперь – ничего и лужи.
Сныть немного переросла,
сделалась снытью ненужной.

Воздух похож на гранит.
Нет, сам-то он лёгкий, покорный,
но цветом похож на гранит –
красный такой, отборный.
Красный весьма, от комаров звенит.

От комаров звенит, и сам по себе звенит.
Само по себе звенит в этом воздухе бесполезное:
о притяжении ветки и пламени, ветки и лезвия,
камня и птицы –
воздуху нынче весьма хорошо звенится.

Вот примерно из этого вызванивается, является.
Подрастает, иногда выживает.
Бывает смешное, как заяц, бывает – кусается.
Из ничего бывает.

Нет, в этот раз не придёт, Сегодня – не хватит отчаяния.
Зато ароматом сосны другое вечно и прочно:
свет беспечальный, луч неурочный,
ветер молчания.
Лес обещанием ночи.

Много ног

Небольшие летят, ошибаются,
подымаются, снова летят.
Наверху облачата шатаются –
золотые, навроде утят.

Самый краешек, краешек краешка:
чуть пониже – беда и вода.
Не заметишь, так сразу растаешь как
златый свет по волне навсегда.

Что ещё золотого в окрестностях?
Да, пожалуй, что всё золотое.
В сентябре вдоль сплошной сельской местности
золочение тоже сплошное.

Изгибаются хуже перчатки,
кучелапы, смешны, горячи
пауча- пауча- паучатки,
золотые мои москвичи.

Недобрый водоём

Анастасии Шумиловой

Он тянул за длинный трос,
и кричал «Уробо́рос»[1]!

Только не «Уроборос» он кричал,
но «Уробоо́с».
«Уробоос!», громко так, «Уро-бо-оос!»
Сиречь на удмуртском – «телеги».
На Сиве там летом причал,
а зимой переезд-перевоз.
И полыньи, укрытые в сильно обманчивом снеге.

(Снова не так? Надо не «в снеге» – «в снегу»?
Наверное, надо. Но за прапрадеда отвечать – разве сейчас могу?)

[1] *Про ударение мы знаем. Это не ошибка в орфоэпике, суть будет дальше.*

Он как умел, так и кричал.
Лошадь тянул на причал.
Вытягивал всякий товар.
А снег – он ведь очень ковар...

Ладно, хоть самого себя спас.
Долго болел.
Конь оптимальный – тот вообще околел.
Но это, как говорят: «Раз на раз».

Такая вот драма конца позапрошлого века.
Такая, считай, что трагедия на одного.
Длительный шрам на судьбе неплохого вполне человека,
но в плане утечки времён – так совсем ничего.

Так, совсем ничего. Так: совсем ничего не осталось.
Хотя б премалейшая малость, чтоб память чуть-чуть зацепилась.
Дети остались? Но дети – иная шалость.
Опять обманул: речка Сива не переменилась.

Чуть похудела, но так бывает нередко:
к старости злые всё время худеют, я знаю.
Зато на закате нет-нет да блеснёт монетка.
А, нет. Не монетка, карасик. Но он – как монетка.
Или всё же монетка? Нет, точно карасик.
Или
речная душа прапрадеда Курбаная.

За валом

Сергею Хламову

Камень сей день весьма специальный, тающий.
А резьба по нему непременно делана ворожеями:
лев приветствующий, лев припадающий,
гуси с переплетёнными шеями.

Воздух пред камнем тающий, специальный.
Воздух – он свет и ещё немного.
Ближний, как будто дальний;
свет ближний, как будто дальний:
это бывает на ровных и мокрых дорогах.

Вот такие они – предварительные итоги:
Чуть более половины жизни, чуть менее половины грусти.
Резные по камню пророки
под сенью чудных дерев.

Удвоенные переплетёнными шеями гуси.
Лев непременно приветствующий, чуть припадающий лев.

Заблудился

– Католики, потому, как язычники, сивилл почитают,
Что истинной благодати от Духа Святого не знают.
Правды Христовой, унылые люди, не ведают,
Тем себе путь ко спасению тихой души заповедают.

Насколько же лучше, достойнее их чечевицы-птицы.
Всякая из которых готова ко благу сей-часъ обратиться.
Всякая чечевица наша превыше любого их кардинала,
У неё пилеолус, шапка такая, от Господа – алый-преалый.

Про нас говорят, дескать, мы деревяшки несчастные.
А мы через Крест Святой, знаешь, Кому сопричастные?
У Него про нас всё размерено.
Ты тут давай не думай, забрёл, так ложись, помирай.
Станешь надёжным деревом, скажем, рябиною – сразу и в Рай.

Да хоть бы, не к ночи будь сказано, даже орешником.
Всё много надёжней, чем сдохнуть великим грешником.
Паче ежели от топора тебе выйдет мучение.
А то выдумали себе: сивиллы, крещенье...

Искусство обращения

Иногда наступает лето премногих лет,
а в том самом лете самый-пресамый час.
Это когда в ночи ещё виден яблонев цвет,
а самая ночь – нет.

Такое в июне случается один раз.
Или несколько раз,
но тогда – за несколько лет.

Сверчок практикует джаз;
тихо, как зреет квас,
с подоконника падает свет.
И разбивается свет.

Тихо, как будто для нас,
падает свет.
И разбивается свет.

Здесь завершён сонет,
в коем был, кроме прочего, квас.

А самый-пресамый час длится, туман садится.
Падает лист в лето премногих лет.
Девятихвостый лис в лавку хвостом стучится,
девятихвостому лису снится разбитый свет.

Съездил в Даурию в командировку

Время было насекомое, неприятное:
люди вешали людей наутре.
Ходили при власти, зато неопрятные,
пели песни о красной заре.

Пели другие песни? Конечно, пели.
А отчего не петь, когда верили?
Смеялись про пули, возможно, боялись шрапнели
и песня про деву в походной шинели
надолго присутствует в плеере.

Неподобное сочетание удобных звуков:
Унгерн идёт на Ургу –
сон невпопад и, безусловно, не в руку,
как письмо от врага врагу.

Совершенно другая война, невозможные лица.
Невозможные краски давно сокрушённых степей.
И ведь поди ж ты – зачем-то снится
как железки летят в людей.

Скоро минует сто лет и ещё одно лето,
а в четверти сна, вперемешку в потёмках чужой квартиры:
чёрный сапог барона, чёрная рама велосипеда.
Странное красного мира.

Крышечка от кефира.

Неверная рука

Се – Стюард Грейнджер на коне,
се – томагавк, отменно алый.
А се – глядящее извне
сплошное любопытство зала.

Эпоха фильмов невпопад
про невпопадную эпоху,

когда стреляют наугад
так хорошо, что даже плохо.
Сперва погоня много миль,
затем глухая оборона.

И дольше века длится фильм,
и не кончаются патроны.

Культурный шок

Слово «машинописный» сделалось желтофиолью –
ушло с говорильного горизонта.
Это не очень плохо, это совсем не больно.
Далее *pro et contra*:

Всё-таки пишущие машинки – они ж кузнечики.
А «Роботроны», пришедшие им на смену – совсем японки.
Эти машинки надо было трогать за плечики,
а «Роботроны» имели нечеловечески тонкие плёнки.

Ну, и вот. Ну, и сделал прогресс ещё один шаг.
Поздравляю, прогресс, иди, мы тебе не мешаем.
Только вот если честно: самому-то тебе оно как?
Это ж как с мелкого рублик за гаражами.

Переулок

У дома был палисадник и задний двор.
На заднем – конюшня, где куры
(Заместо лошадок – куры).
Горка к реке называлась Иренский угор,
кошка – Мартышкой, а по-настоящему – дурой.

Тихие травы росли до середины угора.
После была крапива и горькие травы.
До середины угора – педаль до упора,
дальше канава.

Велосипедом всё-таки лучше, где проще.
Крутишь педали, а небо само тебя крутит.
Из переулка немножко левее, к берёзовой роще.
В ней прудик.

«Роща» мне представлялась именем собственным, вроде Наташи.
Удивлялся, позднее увидев в подписях к Левитану
рощу не с прописной.

Наша была холоднее, чем у Левитана, но краше.
Стояла вполне на пригорке, была устроена странно –
никак подобраться весной.

Слякоть, затем половодье, далее снова слякоть.
Когда дорога получится – весна уже завершится.
Плакать не будем, зачем из-за слякоти плакать?
Но вот теперь на машине можно б решиться.

Едешь на малодорожнике, будто и не дурак,
по переулку вместо угора к берёзовой роще,
где кошка мышиного цвета по имени Крыса
гоняла кошку Мартышку, ту самую дуру.
Хочешь вернуться, только вернуться – никак.
И развернуться никак.
А горка такая лысая.

Минувшее проще.
И велосипедом проще.
Плещется рыба Вагак.

Как-то оно вот так вот. Как-то оно вот так.

Фотокадр

Даше

Малоприметное слово «момент» –
тонкое слово:
точный ритмический эквивалент
иного.

Мелко толчёный, тоненький звук,
пока ждали света.
Томный последний оранжевый жук
прошлого лета.

Точно бы слепок обнявшихся тел –
прочный о прочном.
Беркут взлетает, взлетает, взлетел.
Точка.

Два

1. Природно-социальное

ветер выдохнул [вджух]
а ничего –

изыдите, оглашенные
никого {вдруг и} не осталось

2. Социально-природное

драпировки
дикого вдруг:
ЕУЫ – лилия Кручёных
АУЕ

Ехать в марте

Лене Шарафиевой

Машину чуть-чуть подбросит, затем ещё чуть подбросит.
За лобовым несусветное моросит.
К вечеру подморозит, к вечеру так подморозит,
будто мороз не знает, что гитлер уже разбит.

Всю *следущую* неделю нам минус два – минус пять.
Наверное, ветер. Снег со снегом, наверное.
Оттого ни ветра, ни тебя не обнять,
но так-то всё равномерное

(А на волосах у тебя непременная льдинка,
а в радио песня про *волки да вороны*,
а посёлки Обманка Вторая и Невидимка –
в разные стороны).

За Невидимкою будет Горнозаводск.
В Горнозаводске будет уют.
В Горнозаводске будет киоск –
в киосках пока продают.

Будет нам, будет прекрасное.
И непременное.
Белое будет, красное.
Обыкновенное.

(А что от шарфа как бы по детству колко,
то ненадолго.

Всё вообще ненадолго.)

Нина КОСМАН

ТРИ РАССКАЗА

Рассказ о поисках человека, настучавшего на моего деда в 1937 году

Я проснулась от света, просачивающегося в комнату сквозь закрытые жалюзи. Будильник показывал без пяти десять. Вечером я поставила его на семь тридцать; перед тем как заснуть, проверила – он был включен. Теперь он был явно выключен. Никогда со мной не случалось такого, чтобы я выключила будильник и забыла об этом начисто, даже если я сделала это в полусне, подумала я.

Я спрыгнула с кровати и оделась в считанные секунды, надеясь успеть к концу завтрака. Официально завтрак был с восьми до десяти, но двери обычно оставались открытыми до четверти одиннадцати, поэтому я могла успеть. Я схватила сумку и побежала к двери. На бегу мне показалось, будто что-то упало. Я наклонилась и подняла гребенку, карандаш и ручку, которые, должно быть, выпали из сумки. Я запихнула их обратно в сумку, но не успела дойти до двери, как те же самые предметы вывалились на пол. Теперь уж точно не успею на завтрак, подумала я, переворачивая сумку, чтобы посмотреть, в чем дело.

В нижней части сумки было вырезано четыре креста. Разрезы были достаточно широкими, чтобы мелкие предметы с легкостью могли через них выпасть, но одновременно они были достаточно узкими, чтобы не быть слишком заметными. Было совершенно ясно, что разрезы эти были сделаны ножом, и что сделано это было пока я спала. Я стояла посередине комнаты, пытаясь понять, что это означает. Кто-то был здесь, в моем номере, и этот кто-то мог бы с таким же успехом вырезать такой крест на мне, не только на моей сумке. Возможно, этот был тот самый человек, который выключил мой будильник.

Несколько мгновений я стояла как вкопанная. Мне нужно было ещё полминуты, чтобы стабилизировать дыхание, но дыханием можно было заняться и в лифте по пути вниз. Я проверила, в сумке ли мой кошелек и паспорт. Он – или они – кто бы они ни были – вырезали кресты в моей сумке, но оставили мне мой паспорт и деньги.

Я сняла шарф и постелила его на дно сумки, чтобы мелкие предметы не выпадали из крестов, и поспешила вниз. Придется обойтись без завтрака, а может, и без обеда, но это уже не имело значения.

Нина Косман (англ. Kossman) родилась в Москве. В 1972 году эмигрировала с семьей в Израиль, потом в Америку. После окончания учебы в Беннингтонском колледже преподавала русский и английский в колледжах Калифорнии, Массачусетса, Пенсильвании, Нью-Йорка. Автор двух сборников стихов: «Перебои» (Москва, 1990) и «По правую руку сна» (Филадельфия, 1996). Публиковалась в журналах «Крещатик», «Новый журнал», «Слово\Word» и др. Перевела две книги стихов и поэм Цветаевой на английский – «In the Inmost Hour of the Soul» (Humana Press) и «Poem of the End» (Ardis / Overlook, 1998, 2003, 2007). Переводчик стихов Кавафиса на русский. Составитель антологии «Gods and Mortals / Боги и смертные: Современные стихи о классических мифах» (Oxford University Press, New York). Живет в Нью-Йорке.

***

Не дожевав твердый, как камень, кусок хлеба, я вышла из столовой. Вместо того чтобы присоединиться к шумной группе переводчиков, ожидающих лифт, я открыла дверь и побежала в вестибюль. У одного из выходов уже собралась небольшая группа из шести или семи человек. Некоторые из них были явно рады моему прибытию. Те, кто меня увидели, передавали радостную новость другим, и через несколько секунд, когда я подошла совсем близко, вся группа взорвалась аплодисментами. Я и понятия не имела, что так популярна среди моих попутчиков-переводчиков, но довольно скоро я поняла, что приветствуют они не столько меня, сколько моё владение русским языком.

Судя по их взволнованным лицам, от меня ожидалась срочная помощь в переговорах с русскими – нужно было русским что-то сказать, что-то у них спросить или объяснить.

Ирени Линден, переводчица с итальянского, положила дрожащую руку мне на рукав.

«Нина, дорогая, умоляю вас, скажите им, что мы испытываем неудобство».

Я спросила её, в чём дело, что за неудобство. Она перевела дрожащую руку с моего рукава на чье-то плечо и сказала:

«У них до сих пор ещё не готов наш автобус, они должны были нам сказать об этом раньше, мы ведь спешим, мы пришли сюда вовремя, а автобус ещё не готов...»

«Если бы мы знали, что автобуса так долго не будет, мы бы ещё посидели в ресторане, попили бы кофе», – сказал человек, плечо которого служило временным пьедесталом для руки Ирени.

«Мы так огорчены», – вздохнула Ирени с неподдельной печалью.

Я сказала, что попытаюсь выяснить, что там с автобусом.

Я подошла к одному из официальных столиков и после продолжительной консультации с дежурным чиновником, который ничего ни о каком автобусе не знал и потому вызвал другого чиновника, после долгих переговоров чиновников друг с другом и с кем-то ещё по телефону я наконец узнала, в чём дело.

Дело было в автобусе. Нет, не в самом автобусе, а в шинах автобуса. Что-то случилось с шинами, они должны были быть проверены, их нужно было починить, сменить, но... что-то случилось и теперь их пришлось доставить в полицейский участок из-за... Тут чиновник споткнулся, и мне показалось, что кто-то произнес слово, которое вертелось у меня в голове с утра. Это слово висело в воздухе, как молчаливый вопросительный знак. Один чиновник что-то сказал, другой его поправил, и как часто случается, когда люди перенапряжены, слышатся слова, которые не были сказаны, слова, сказанные в адреналинном порыве словесного запала, слова, которые не должны произноситься вовсе, которые были произнесены по ошибке, слова, которые захотят взять назад, как только они вырвутся изо рта, слова, о которых будут сожалеть и за которые будут извиняться.

«Мне показалось, вы сказали, кресты».

«Шины должны быть проверены, но, к счастью, у нас есть еще один автобус к услугам ваших коллег. Если ваши друзья изволят ещё чуть подождать...»

«Но что произошло с шинами?»

«Их нужно заменить».

«Простите, мне показалось, что вы сказали... да нет, ничего, просто мои нервы сдают из-за того, что случилось сегодня утром».

В этот момент охранник, стоявший у дверей гостиницы, подошел к столу и, положив конверт на стол первого чиновника, сказал:

«Фотографии крестов. Передайте...»

Я не расслышала имя – кому их нужно было передать.
Охранник ушел.
Чиновник поднес руку к конверту.

Эта способность, должно быть, была у меня давно, но до этого момента я о ней не знала. Вдруг я обнаружила, что могу отвратительно быстро соображать и так же быстро действовать. Я осознала это, когда увидела, что моя рука успела схватить конверт за четверть секунды до того, как до неё дотянулась рука чиновника. Конверт не был запечатан, и я вытащила из него четыре фотографии. Каждая из них была крупным планом одной из шин с крестообразным вырезом.

«Такие же точно кресты были вырезаны в моей сумке».

Через несколько минут я сидела в кабинете главного. Содержимое моей сумки валялось у него на столе. Шарф, покрывавший крестообразные разрезы в моей сумки, был мне возвращен и теперь красовался на моей шее. Главный сказал, что моя сумка была реквизирована в качестве важного доказательства, и вместо сумки вручил мне полиэтиленовый пакет, в который я должна была собрать свои вещи.

«Но кто это сделал?» – спросила я.

«Не волнуйтесь, милая, – сказал главный. – Мы вам дадим другую комнату».

«Но как они смогли войти в мой номер?»

«Уверяем вас, замок в вашем новом номере будет самого высшего качества, новый номер и новый замок».

«Но, все же, я хотела бы понять... Кресты на шинах. Кресты на сумке...»

«Уверяю вас, милая, это не более чем неудачное совпадение».

«Но как это может быть просто сов...»

«Это больше не повторится, милая. Спите крепко, окей? Может, вам принять снотворное, чтобы получше спать?»

«Знаете, если бы это случилось в Америке, – сказала я, глядя в пустые голубые глаза главного, – я бы подала на вашу гостиницу в суд».

«Ну, так ведь это вам не Америка. Я ещё, кстати, не встречал американок, так свободно изъясняющихся по-русски».

«Я здесь родилась», – сказала я.

***

Самым крупным событием московского съезда ПЕН-клуба был прием в американском посольстве. Это было единственное мероприятие, на которое пришли все, даже те, кто, как я, не являлись ни на какие заседания и лекции. Пришли все, даже необщительные авантюристы, проводившие целые дни в блужданиях по городу и рисковавшие этим заработать репутацию незаинтересованных участников.

Все явились. Даже сам посол. Когда я вошла, он заканчивал свою приветственную речь толпе, собравшейся вокруг стола с закусками. Другая толпа, поменьше, собралась вокруг стола с напитками, поближе к балкону, и в этой толпе у балкона люди больше, казалось, интересовались беседой друг с другом, чем речью посла.

Мне, с другой стороны, хотелось услышать, что скажет посол, – не в своей речи к собравшимся, а в ответ на то, что я должна была рассказать ему о крестообразных разрезах в моей сумке и таких же – на шинах автобуса. Но сначала нужно было его разыскать – как только он закончил свою речь, он куда-то исчез. Никто не мог мне сказать, куда он ушел, даже два его помощника, которые работали в посольстве, один русский, другой американец, оба предложившие мне найти его в тех местах, где он обычно скрывался от посетителей. Американец был весьма впечатлен моей

историей о произошедшем этим утром в гостинице, а реакция русского была неоднозначной, и я пообещала себе разобраться в ней позже, когда буду одна.

«Вселенная!» – воскликнул русский, разводя руками, ладонями вверх, словно он держал в них вселенную или, по крайней мере, нашу маленькую планету. «Как много в ней совпадений! – добавил он с чувством. – Мы не должны пытаться их объяснить. Пусть тайна останется тайной, загадка – загадкой».

«Я бы не стал называть тайной вселенной то, что рассказала нам эта девушка, и если тебе жаждется и на это прицепить ярлык тайны, хорошо, но это тайна особая – антропогенная, – заметил американец. – Такого рода тайну, я бы сказал, необходимо вывести на свет».

«Возможно! Всё возможно!» – Русский, казалось, наслаждался звуком собственного голоса.

Мне хотелось его прервать и сказать, что я говорю о реальной опасности. Он пропел «О-опасности!», как будто я предоставила ему новый текст для вокального упражнения. «Ре-ально-ой опа-асности!»

«Я хотела бы, чтобы мне кто-нибудь объяснил, как вообще они могли проникнуть в мою комнату на 22-м этаже».

«На два-адцать второ-ом э-эта-аже!» – пропел он.

«Только человек, работающий в гостинице, мог попасть в мою комнату. Вы понимаете, что это значит – это значит, что гостиница об этом знала!»

«Го-ости-ини-ица зна-ала!»

«Вот почему мне надо поговорить с послом, понимаете? Вы понимаете? Потому что многие американцы, я имею в виду, американские туристы, бизнесмены и так далее, которые приезжают в Москву, останавливаются именно в этой гостинице».

«При-иезжа-а-ают в Москву! И та-ак да-але-е!»

Было очевидно, что я просто трачу время на разговор с этим человеком. «Если вы собираетесь перекладывать мои слова на музыку, может, мне сначала защитить свое авторское право на каждое слово, которое вы будете петь?» Я уже собиралась уходить, когда к нам присоединился другой русский, который, видно, сменил тихого американца.

«Вот вы говорите о гостинице, – сказал он, – о гостинице, в которой часто бывают иностранцы, но знаете ли вы, что случилось с американским владельцем, первым владельцем этой же самой гостиницы?»

«Нет, – говорю. – Что случилось?»

«Проказники выстрелили ему в голову».

«Какие такие проказники?» – сказала я, автоматически сморщив нос; это обычно происходит, когда я чувствую нечто близкое к отвращению.

«Проказники, – второй русский прошептал мне на ухо. – Это я так называю мафию. Русскую мафию». Шепот его был не менее громким, чем обычный голос, поэтому непонятно, почему он должен был наклоняться к моему уху и громко шептать.

«А тот, что бы-ыл до-о не-его? – пропел первый русский. – Спры-ыгнул с кры-ыши!»

«Здорово, – сказала я, думая, как бы избежать продолжения этого оптимистического разговора. – Ну что ж...»

«Здорово? Нет, нет, это не совсем правильное слово».

«Я ищу человека, который настучал на моего дедушку», – внезапно сказала я. Я вовсе не собиралась об этом говорить; эти слова просто сорвались с языка, как иногда бывает, когда долго и интенсивно о чем-то думаешь.

«Насту-учал на де-едушку...»

«Мой дед был расстрелян в 1937 году из-за того, что кто-то выдумал, будто он был британским шпионом и что он отравил воду в московском водохранилище».

«В моско-овском во-одохра-ани-илище...»

«Это что, какая-то новая болезнь, заставляющая вас петь каждое слово, которое вы слышите?»

«Но-ова-ая боле-езнь...»

«Его не изменить, так что не трать силы», – сказал второй россиянин о первом. – Когда он начинает петь... мы должны просто переждать».

«Понимаете, я приехала сюда не просто, чтобы участвовать в конгрессе ПЕН-клуба, это для меня вообще не имеет значения. Я должна найти этого человека, если он ещё жив, а если его уже нет, то хотя бы его детей или внуков. Это нечто вроде миссии, понимаете? И я не хочу, чтобы со мной что-то случилось прежде, чем я его найду».

«Ну, – сказал непоющий русский, – так всегда бывает, начинаешь искать плохих людей, и плохие люди сами к тебе идут. Возможно, не те, которых ты ищешь».

«Благодарю вас, – сказала я, – вы меня успокоили».

«Закон мироздания, – продолжал он, беря стакан и наливая водку из бутылки, которую он держал, оказывается, все это время, – или, по крайней мере, нынешней России». Он налил и себе и своему певчему другу, и, когда они вдвоем стали быстро, большими глотками поглощать содержимое стаканов, я почувствовала, что влияние водки скажется на будущих попытках разговора, и потому мне больше нечего там было делать и не о чем говорить.

Переводчица

Я обычно не принимаю всерьёз т.н. «знаки», посланные мне т.н. судьбой, но несколько лет назад что-то меня заставило о них задуматься.

В то время я довольно интенсивно занималась поисками корней – я имею в виду не корни, из которых я делаю фигурки, а то, о чем писал Алекс Хейли в нашумевшем когда-то романе «Корни» (“Roots”). Я собирала старые фотографии нашей семьи, писала в архивы Латвии и Украины, записывала разговоры с родителями об их детстве и их родителях... Но к тому времени мои родители были уже старые и больные, поэтому, когда после долгой и сложной переписки мне наконец прислали из Латвии рукопись мемуаров моего прадеда, написанную по-немецки, я не обратилась за переводом к отцу, хотя немецкий был его родным языком, он много лет преподавал немецкий в московском инязе, написал несколько учебников немецкого и множество статей для немецкоязычных газет в Нью-Йорке. Я послала запрос в Goethe House и в тот же день получила ответ, в котором мне рекомендовали переводчицу, немку, проживающую в Нью-Йорке. Когда я ей позвонила, она изъявила желание встретиться, и для встречи предложила ресторан в Вест Виллидж, и вот мы сидим за столиком и пьем кофе, и она говорит о своей собаке, какая она чудная, как она лижет её лицо и руки по утрам... такой замечательный, любящий друг. Я сказала что-то о своем прадеде, чьи мемуары, я думала, мы собирались обсуждать. Точно не помню, что именно я сказала, скорее всего что-то о его детях, о том, что они были убиты нацистами, все, кроме одного, которому посчастливилось быть за пределами оккупированной территории в 1941 году. Возможно, я немного похвасталась своим прадедом, чьи книги, опубликованные в конце XIX и в самом начале XX века, все еще переиздаются, даже на Amazon можно купить новые издания. Кто знает, возможно, это и заставило мою новую знакомую начать рассказывать о своем детстве в Берлине во время войны. Она тогда была маленькой девочкой, но она помнит, да, помнит, как ее отец симулировал болезнь желудка, хотя названия болезни она не помнит, но это, конечно, не важно, она знала, что он притворяется специально, чтобы его освободили от службы в Вермахте. В этот момент я ощутила странную головную боль, но это было только начало, боль была ещё терпима, поэтому я не обратила на нее особого внимания. Переводчица продолжала говорить о том, как тяжело было ее молодой матери во время войны, одной с маленькой девочкой, и тогда я

заметила некоторую непоследовательность в ее словах и спросила, разве ее отец не симулировал болезнь и не был освобожден от обязанности служить в Вермахте, так в каком смысле ее мама была одинока и беспомощна? Ах да, сказала она, отец таки был освобожден, но он умер во время войны, она даже точно не знает от чего, возможно, от сердца. Значит, он сделал вид, что болен одной болезнью, а умер от другой? Я не сказала это, просто подумала... Тем временем со мной происходило что-то странное: голова болела так, как никогда раньше не болела, хотя я хорошо была знакома с головной болью. Моя новая знакомая говорила о том, как пришли русские, а мать её все еще была молодой, привлекательной женщиной, и хорошо ещё, что с ней ничего не произошло, ведь вы знаете, что вытворяли русские солдаты, вы же знаете.

В этот момент головная боль стала чудовищной; я раньше не испытывала ничего подобного. Я была почти не в состоянии ей отвечать. Каким-то образом мне удалось заплатить за кофе и расстаться с моей будущей переводчицей. Мы договорились, что я пришлю ей мемуары моего прадеда, но я их ей так и не выслала, потому что невыносимая головная боль длилась так долго после нашей встречи, что я начала воспринимать это как некий знак, посланный мне судьбой... знак, пытающийся мне что-то доказать... А что, если отец моей знакомой, который, по ее словам, умудрился не служить в Вермахте, не просто воевал, как обычный солдат? Что, если он служил в Einsatzkommando? Что, если он был послан в Ригу, и был в лесу под Ригой в тот день (30 ноября 1941), когда тысячам беспомощных женщин, детей, стариков было приказано раздеться и лечь в канаву поверх уже убитых, головы лежащих в верхнем ряду на пятках лежащих в нижнем? (Фридрих Еккельн, приписывавший себе изобретение этого метода, называл это «sardine style»). Матерям было приказано держать младенцев у груди, так чтобы одной пули хватило бы и на мать и на дитя. Убийцам надо было экономить на пулях, а людей было много. И что, если пуля именно из его автомата убила мою бабушку...

Не знаю. Никогда раньше у меня не было такой головной боли, и никогда она не длилась так долго, ни до ни после этой встречи.

«Надо читай русскую поэзию!»

Было уже поздно, и я понятия не имела, где пропадает моя дочь. Я много раз ей звонила, она не отвечала, и я, конечно, волновалась. Наверное, нет ничего необычного в моем волнении, все матери пятнадцатилетних подростков волнуются, к этому просто надо привыкнуть или как-то это преодолеть. Когда она наконец пришла домой и я спросила ее, где она была, она сказала, что была у подруги, ужинала с её семьёй – это был субботний ужин, поэтому она не могла пользоваться телефоном и отвечать на мои звонки и сообщения. Я выразила удивление, что у нее есть подруга, семья которой соблюдает шаббат. Да, сказала дочка, они русские, они православные русские[1], вот почему.

«Хорошо, – сказала я, – но они не могут быть православными русскими, если они соблюдают шаббат. Если они соблюдают шаббат, то они ортодоксальные евреи, а не православные русские».

«Но они русские, я даже спорила с ними по-русски, и о чем ты думаешь, мы спорили? О расизме. Они расисты, как все русские».

«Что значит – “расисты, как все русские”? – возмутилась я. – Я не расистка».

[1] Слово «Orthodox» на английском может означать и «ортодоксальных евреев» (Orthodox Jews) и «православных» (Russian Orthodox).

«Это потому, что ты прожила здесь бóльшую часть своей жизни, мама. Но те, кто приезжает оттуда во взрослом возрасте, все расисты».

«Так что же они сказали, что навело тебя на мысль, что все русские – расисты?» – спросила я свою дочь.

«Много всякого. Окей, дам тебе пример. Они говорили о низком уровне американского образования, и, мол, это всё из-за того, что американское правительство хочет, чтобы все ученики закончили среднюю школу, и по их мнению, афроамериканцы не так умны, как белые, поэтому общий уровень низкий. То есть они совершенно уверены, что уровень специально занижают, чтобы всем было легко. И они продолжали перечислять всё, что было более развито в России, например, математика и физика в русских школах были на более высоком уровне, и там не было ни одного ученика, который к третьему классу не умел бы читать и писать и т. д.».

«Ну и что ты на это сказала?»

«Я сказала, что они совершенно неправы. И я сказала это по-русски!»

«Ну и как же ты это сказала по-русски? – спросила я, сомневаясь в способности моей дочки сказать что бы то ни было по-русски, так как она отказывается говорить по-русски дома. – И как из этого следует, что все русские – расисты?»

«Ну, ты же знаешь, все эмигранты такие, они приезжают в Америку, просто чтобы много заработать».

«Мои родители не из-за этого сюда приехали», – замечаю я.

«Я знаю!»

«Ну так родители этой твоей подруги добились того, из-за чего они сюда приехали?»

«Да! Они же зубные врачи!»

«Ну что ж, молодцы. Знаешь, мама твоей лучшей подруги тоже зубной врач, и насколько я знаю, она очень гордится и своим большим домом, и своей зарплатой, и своей должностью – и она эмигрантка. Так, наверное, это и к ней относится?»

«Мама! – Лицо моей дочки выражает отвращение к моему непониманию. – Я имела в виду – все эмигранты с востока! Кроме тебя!»

«Ну, – сказала я дочке, – а ведь мама твоей самой любимой подруги – эмигрантка из Гаити, а Гаити по твоей схеме – не восток, ну и так что же мы будем делать с этим стереотипом – Россия=восток, и все иммигранты из России – это эмигранты с востока, и что приезжают они в Америку только за тем, чтобы заработать много денег? – сказала я. – Мы согласны с тем, что нехорошо стереотипировать афроамериканцев и латиноамериканцев, а что насчет стереотипов “всех русских”? Или всех эмигрантов с т.н. “востока”, т.е. из России?»

Переходя на русский, дочка подражает моему голосу. «Надо читай русскую поэзию!»

«Не “надо читай”, – говорю, – а “надо читать”».

Она продолжает имитировать меня. «И надо отвечай мне всегда по-русски! И не стереотипируй россиян, не все россияне одинаковы!.. – Дочка разводит руками в отчаянии. – Я родилась в Америке, мама! Что я могу с этим поделать?!»

Она уходит в свою комнату, закрывает за собой дверь. Там у нее есть все необходимое – ноутбук, кошка, телефон. А я остаюсь у себя и думаю... думаю.

Георг ТРАКЛЬ

(Georg Trakl, 1887–1914)

Из книг «СТИХОТВОРЕНИЯ» и «ВИДЕНИЯ СЕБАСТЬЯНА»

Перевод, комментарии Алёши Прокопьева

ИЗ КНИГИ «СТИХОТВОРЕНИЯ» (1913)

Молодая служанка

Посвящается Людвигу фон Фикеру[1]

1
Вечерами у колодца
Забывается в улыбке.
Ходят вёдра у колодца,
Брезжит образ, лёгкий, зыбкий.

Вьются галки чёрной тенью.
Вьются косы, белобрысы.
Замирает бледной тенью,
Мерзкий писк услышав крысы.

Век опущенных коснётся,
Льстя ей, гибель, – воспалённых.
Ластясь, ног её коснётся
Гибель трав, жарой спалённых.

2
Вышивает: тихо-тихо.
Видит только двор пустынный.
Дрозд поёт ей тихо-тихо.
Плачет флейтой куст бузинный.

Облик в зеркале так странно
Смотрит на неё. Пугая,
Брезжит серебристо-странно
Чистота зеркал нагая.

Бредит песнь: батрак во мраке.
Как ей больно отчего-то!
Каплет Красное – во мраке.
Южный ветер бьёт в ворота.

3
Ночью шатко в лысом поле,
Одержима лихорадкой.
Ветер взвизгивает в поле,
Месяц слушает украдкой.

Скоро звёзды побледнеют.
От мучений изнывая,
Щёки, словно воск, бледнеют.
В испареньях гниль земная.

Тростником шумит болото.
Мёрзнет сжавшийся комочек.
Крикнул петел. Пал в болото
Жёсткий серый свет средь кочек.

4
Вверх взлетел кузнечный молот.
Сердце за ночь не остыло.
Увидала красный молот
И, как мёртвая, застыла.

Сквозь туман плывёт усмешка,
Закачались дружно стены.
Тяжела его усмешка
И, как молот, откровенна.

Брызжут огненные искры.
Пальцами хватая пламень,
Ловит огненные искры,
Тихо падает на камень.

5
В сладком страхе на постели,
Просыпаясь, умирает.
На застиранной постели
Золотой туман играет.

Резеда струится в окна,
Небо светло-голубое.
Залетает ветер в окна
В колокольном разнобое.

Пляшут тени на подушках,
Бьют часы тревожно-грубо.
Тяжко дышит на подушках,
Алой раной рвутся губы.

6
Простынёй кровавой – вечер,
Тучи плавают над чащей,
В чёрных простынях под вечер.
Воробьи шумят всё чаще.

Белая, лежит во мраке.
Нынче голуби не в духе.
Как в кустистом – падаль – мраке,
Облепили рот ей мухи.

После танцев над деревней –
Отзвук скрипок безголосый.
Лик витает над деревней,
В лысых ветках вьются косы.

Музыка в замке Мирабель[2]

Родник взял ноту. Облака
В лазури ясной – белоснежны.
Безмолвные, в руке – рука,
В саду гуляют пары нежно.

Седой кладбищенский гранит
И птичий клин хитросплетений.
И фавн мертво туда глядит,
Где в тьму переползают тени,

И – красно – с дерева, падуч,
Летуч, в окно вдруг лист влетает.
И огненный в пространствах луч,
Рисуя призрак страха, тает.

И белый Странник входит в дом.
Собака бросилась с лежанки.
Ночной сонаты метроном.
Лицо задувшей свет служанки.

Меланхолия вечера[3]

– Лес умер, где его границы? –
И тени вкруг, как загородки.
Ручей чуть слышно бьётся, кроткий,
И птица из укрытья мчится,

Где папортник, надгробный камень,
Венки – плеск серебра и блески.
И скоро – в чёрных безднах всплески.
– Там звезд, наверно, бьётся пламень? –

Равнина сверху – безразмерна,
Болото, луг, деревни, кочки.
Блуждающие огонёчки.
Холодный блеск – скупой, неверный.

Всё небо в заревах проплешин,
Взмывают птичьи караваны
В другие, царственные, страны.
Камыш, как пьяный, безутешен.

Красивый город

Рынок – солнечно – в молчанье.
Кроткие монашки в спешке,
В тень от буков – перебежки,
В синь и золото, в молчанье.

В буро освещённых храмах
Смерти чистые картины,
И гербы князей – картинны.
И блестят короны в храмах.

Кони скачут из колодца.
Когти тянутся соцветий.
Дети, спутав всё на свете,
В тихих играх у колодца.

Девушкам, что у ворот ждут,
Краски жизни робко любы.
Влажные, дрожат их губы.
И они всё у ворот ждут.

Колокола дрожь. И звуки
Марша. Крики стражи рвутся.
Слышат Странники, как льются
В неба синь – органа звуки.

Инструментов визг и пенье.
Сквозь листву садов, их рамы –
Вьётся смех, щебечут дамы,
Матерей уснувших пенье.

Душный сквозь цветы на окнах
Дёготь, ладан, дух сирени.
Веки в серебре томлений
Чуть сквозят в цветах на окнах.

Мальчику Элису[4]

Элис, в чёрном лесу тебя уже кличет дрозд –
Это значит, пора закатиться.
Синий холод ключа, бьющего из скалы, пьют твои губы.

Бог с ним, пусть бы чело твоё кровоточило
Соком древних легенд,
Тёмным смыслом в полете птиц.

Но так мягко ты входишь в ночь,
Что она распустилась багряными гроздьями.
А движения рук твоих даже прекраснее в синеве.

И терновник шумит –
Ветер занёс туда лунные очи.
Как давно уже умер ты, Элис!

Плоть твоя – гиацинт, и в него
Погружает монах восковые пальцы.
Наше молчанье похоже на чёрный зев,

Из которого изредка нежный выходит зверь,
Опускающий медленно сонные веки.
На виски твои падают капли чёрной росы –

Звёзд подгнивших лежалое золото.

Ненастный вечер

Эти красные закаты!
Виноградом перевиты,
Голубою тьмой объяты,
Страхи в окна бьют сердито.

Пыль клубится – сток вонючий,
Звон стекла в дрожащей раме.

Жеребцов горячих тучи
Хлещет молния кнутами.

Окон всхлип. И чаек. С треском
Зеркало пруда разбилось.
Скачет пламя перелеском,
В елях вспыхнуло, забилось.

Крик истерики в больнице.
Синий посвист в перьях ночи.
И внезапно, как зарница,
Дождь сверкнул ей прямо в очи.[5]

Муза вечера[6]

В цветник под окнами тень колокольни странно
Льёт Золото, со лба сгоняя воспаленье.
Как хорошо! – ты шепчешь: боль, томленье, тленье.
Источник падает во мрак ветвей каштана.

Пустынной площади – без сна, листа и краски –
Внимает траурная роскошь врат тяжёлых.
И нежных игр в саду шуршащий тихо полог
Скрывает встретившихся для безумной ласки.

Так хорошо душе дышать – колдун весь в белом.
Вокруг хлеба шумят – жнецы после полудня
Ушли в дома, в молчанье снов, в терпенье будней.
Фонарь в хлеву. Корова спит всем мягким телом.

От ветра пьяные сомкнутся веки слаще –
И глубь чужих и странных звёзд не знает броду.
Эндимион, сойдя из тьмы дубовой чащи,
Глядит в печальную бестрепетную воду.

Духовный стих

Знаменье цветы творят:
Вздрогнул, как шитьё, цветник.
Льётся Бог – к стеклу приник –
Голубым дыханьем – Сад,
Ясный Сад.
Крест, воздвигнут, – в виноград.

На селе – веселья чад,
У кладбища жнёт старик.
Золотом скользящий блик –

Звук органа, свет и лад:
Свет и лад.
Хлеб с вином – Любви обряд.

В танце девушки горят,
Петуха последний крик.
Жар молитв, посулы книг,
Прутья ветхие оград,
Розы в ряд –
Бел, Мария, твой наряд.

Нищий молится у врат,
К камню пал – как мёртв – приник.
С гор пастух спустился. Тих,
Ангел детям пел, и – спят,
В роще спят –
В ближней роще дети спят.

Вечеря – моё сердце[7]

Вечером слышишь свист летучих мышей.
Два вороных на лужайке резвятся.
Красный клён шелестит.
Страннику явится этот трактир у дороги.
Блаженство сулят молодое вино и орехи.
Блаженство: хмельным – как стемнеет – шататься в лесу.
Сквозь чёрные ветки – скорбный напев колокольный.
Капля росы – на лицо.

Меланхолия[8]

Синь или тень? Глаза, что плыли рядом –
Как вы темны! – в меня глядясь. Рекою
Гитары льются, осень льёт тоскою, –
В сад, тронутый листвы гнильём и ядом.
Там нимфа нежно гладит смерть рукою,
К сосцам, истёртым в кровь, гноясь распадом,
Льнут губы, локоны блистают ядом
У солнца-отрока, лиясь рекою.

В старый альбом

Опять и опять возвращаешься ты, меланхолия,
О, кротость одинокой души.
Перед смертью обычно золотом полыхает день.
Терпеливый, – смиренно он подчиняется боли,

Мелодичен и звучен – нежным безумием.
Смотри! Уже и смеркается.
И опять возвращается ночь, и жалобы Смертного,
И другое, такое же Смертное, вместе страдает с ним.
Содрогаясь под звёздами осени,
С каждым годом всё ниже опускается голова.

Превращение

Прощальным красным выжжены сады:
Здесь жизнь простая, спорая в работе.
В глубины взгляда – боль плывёт в заботе,
Когда в руках тяжёлые плоды.

Закат, молчанье: чёрная земля,
И в красных буках – шум шагов тяжёлый,
И синим зверем в смерть уйдёшь – и голой,
Платьём сгниет пустая плоть твоя.

Перед трактиром безмятежный сброд,
И чей-то лик в траве, взгляд пьяный, длинный.
Хмельные флейты, нежность, плод бузинный,
Дух резеды, что к Женственному льнет.

Маленький концерт[9]

Ты потрясён виденьем – красный! –
И солнце сквозь ладони светит.
Так сердце в сладкий, страстный метит
Неясный замысел – безмолвно.

Полей потоки – жёлтых, дивных.
Сверчков почти не слышишь снова.
Косы железный взмах суровый.
Молчанье рощ – златых, наивных.

В зелёной тине огнь гниенья.
Рыб стылый столп. Бог ветром жжённым
Коснулся струн – и прокажённым
В чаду был знак выздоровленья.

Тень синяя – в ней дух Дедала,
В лещине – сок молочный, липкий.
Учитель долго выл на скрипке.
Пищали крысы у подвала.

В трактире на обоях в лысом
Свету – фиалок цвет прохладный.
И умер гомон людный, адный,
И флейты кончились нарциссом.

De profundis[10]

Се, Господи, сжатое поле и чёрный дождь.
Се – багряное дерево, стоящее одиноко.
Воющий ветер вокруг опустевших домов.
Скорбный закат.

За огородами
Всё ещё ищет сиротка редкие колоски,
Глаза её круглые – золотом тьмы в предвечерье,
Небесный Жених, да грядеши в лоно ея.

Пастухи, по дороге домой,
Сладкое тело нашли,
Сгнившее в колких кустах.

Тенью скитаюсь от мрачных селений вдали.
Из лесного источника
Пил я молчанье Твоё.

Холодный металл на чело мое встал.
Пауки подбираются к сердцу.
Се, Господи, свет – но гаснет он на устах.

Очнулся в лощине,
Среди нечистот коченея и осколков звёзд.
В лещине
Снова песнь завели хрустальные ангелы.

Трубы[11]

Где смуглые дети под ивами в невыразимых
Играх с листвой – пение труб неземное,
Хоругви Червлёного, всадники скачут сквозь скорбное клёна, – в ночное
Вдоль мельниц заброшенных и бесполезных озимых.

Или поют пастухи по ночам и смеются их губы,
Оленей пугают костры древней скорбью земною,
Танцуя, толпятся они перед черной стеною...
Хоругви Червлёного, хохот, безумие, трубы.

Псалом[12]

Посвящается Карлу Краусу

Се – свет, и ветер его задул.
Се – кабак, его же покинул вечером пьяница.
Се – виноградник, прожжённый до чёрных дыр, где кишат пауки.
Се – космос, который они молоком побелили.
Помешанный умер. Се – остров на южном море:
Дабы здесь бога-Солнца приветствовать. Бьют в барабаны.
Мужчины в воинственных танцах.
Женщины качают бёдрами среди вьюнков и огненных маков,
Когда море поёт. О наш потерянный Рай.

Нимфы покинули золотые леса.
Погребение Странника. И сразу затем светящийся дождь.
Сын Пана является в образе дорожного рабочего,
Чей послеполуденный сон на раскалённом асфальте всё длится и длится.
Се – маленькие девочки во дворе, в нищих платьицах, разрывающих сердце.
Се – комнаты, наполненные аккордами и сонатами.
Се – тени, в объятиях перед ослепшим зеркалом.
В окнах больницы греются на солнышке выздоравливающие.
Белый пароход на канале тащит за собой кровавые эпидемии.

В чьих-то злых видениях снова является чужая сестра.
Покоясь в лещине, играет она с его тенями.
Студент, быть может, двойник долго смотрит ей вслед из окна.
За ним стоит умерший брат, или же он спускается по лестнице винтовой.
В темноте бурых каштанов бледнеет фигура послушника.
Сад погружается в вечер. В крытой галерее порхают летучие мыши.
Дети привратника, игры забросив, ищут золото неба.
Квартета финальный аккорд. Маленькая слепая дрожа бежит по аллее.
А позже её тень ощупью пробирается мимо холодных стен, в окружении сказок
и святых преданий.

Се – пустая лодка, плывущая вечером вниз по каналу.
Во мраке старинного убежища тлеют человеческие останки.
Мёртвые сиротки лежат у садовых стен.
Из серых комнат выходят ангелы, перепачканы крылья в говне.
Черви капают с их пожелтевших век.
Церковная площадь, мрачная молчаливая, как в дни детства.
На серебристых подошвах проплывают прежние жизни
И тени проклятых спускаются к стенающим водам.
В могиле своей белый маг играет со своими змеями.

Над местом казни молча открываются золотые глаза Бога.

Вечерняя песня[13]

Вечером, когда бродим по тёмным тропинкам,
Бледные наши фигуры идут нам навстречу.

Хочется пить –
Пьём белую воду озера,
Сладость печального детства.

Умерли – и в кустах бузины лежим,
И кружатся над нами серые чайки.

Вешние тучи завесили мрачный город,
И о доблестном веке монашества он молчит.

Узкую руку твою взял я в свою –
И круглые ты распахнула глаза,
Давно это было.

Но когда сладкозвучие тёмное рушится в душу –
Появляешься, Белая, в осеннем пейзаже друга.

Ночная песнь[14]

Дыхание Недвижного. Лицо зверя
Оцепенело от Синевы, её святости.
Могуче молчание в камне:

Маска ночной птицы. Трезвучие
Сливается в один нежный Слог. Элаи! твой лик
Склоняется безмолвно над голубой водой.

О вы! тихие зеркала истины.
На висках Одинокого, цвета слоновой кости,
Отблеск падших ангелов.

ИЗ КНИГИ «ВИДЕНИЯ СЕБАСТЬЯНА» (1915)[15]

Детство[16]

Весь в ягодах куст бузины; безмятежно детство
Обитало в синих пещерах. Теперь над ушедшей тропой,
Где один только, в мягкий багрец, дикий сорняк шелестит,
Задумались тихие ветви… шум листвы

Точно такой же, как синяя вода в скале поёт.
Нежно печалится дрозд. Пастух
Следует молча за солнцем, что катится там с холма.

Голубое мгновение – мерцание чистой души.
Робко появится зверь на опушке, и мирно
Покоятся в земле древние колокола и мрачные деревушки.

Трепетней осознаёшь теперь смысл тёмных лет,
Холод и осень в пустынных комнатах,
И в святой синеве светятся звонко шаги.

Скрипнет рама окна – до слёз
Растрогает ветхое кладбище там, на холме,
Вспомнишь когда легенды и сказки; но светлеет душа временами,
Мысленно видя добрых людей в тусклом золоте вешних дней.

Молитва на этот час[17]

Тёмными взглядами обмениваются любящие.
Светловолосы, лучисты. В оцепенелом мраке
Руки сплетаются хрупко в тоске.

В багрец разбился рот блаженных. Круглые глаза
Отражают тёмное золото весеннего послеполудня,
Опушку леса, черноты его, вечерние в зелени страхи...
А может быть, птиц несказанный полёт, прогулку Нерождённого
Мимо мрачных деревень, одинокого лета, и не одного,
Когда из отгнившей синевы встаёт, временами, Отжившее.

Тихо шумит в поле жёлтый злак.
Сурова жизнь и сталью взвивается коса земледельца,
Мощные балки плотник вгоняет в пазы.

В багрец окрасились осенью листья... монашеский дух
Сквозит в ясно-звонкие дни... созрел виноград
И праздничен воздух в просторных дворах.
Слаще аромат пожелтевших плодов... тих смех
Добрых людей, музыка и танец в тенистых погребках...
В брезжущем саду шаги и молчанье умершего мальчика.

В пути[18]

Странника на закате в мертвецкую отнесли...
Дёгтя запах... лёгкий шелест красных платанов...
Галок тёмный полёт... на площади стража сменилась.
Солнце в чёрные простыни пало... вновь и вновь возвращаешься ты, ушедший закат.

В комнате рядом: Шуберт, соната, – играет сестра.
Чья улыбка чуть слышно в ветхий фонтан летит,
Что синея в сумерках плещет. О, как наш, человеческий, древен род.
Чей-то шёпот в саду, под окнами... кто-то чёрное небо покинул.
Обдают ароматом яблоки на комоде. Бабушка золотые свечи зажгла.

Эта мягкая осень. Тихо звенят наши шаги в старом парке
Под высокими кронами. И серьёзен гиацинтовый лик строгих сумерек.
Синий источник у ног твоих, скрытное красного рта твоего.
И вокруг – дремлющих листьев мрак, умирающих подсолнухов тёмное золото.
Отяжелев от мака, на лице моём тихо подрагивают твои веки.
По груди ходят трепетом колокола. Синим облаком
В сумерках на меня лик твой сошёл.

Под гитару поют, что в чужом незнакомом трактире взвенела.
Дикие заросли там бузины, давно ушедший день ноября,
Знакомые шаги на брезжущей лестнице, вид прокопченных балок,
И открыто окно, где терпение сладкое так и осталось ждать –
Так не сказываемо это всё, Господи, что, потрясённый, бросаешься на колени.

О как темна эта ночь. Багряное, погасло
Пламя у рта моего. В тишине
Умирает струны одинокий звон, робкой души.
Пусть, пьяна от вина, катится в сток голова.

Элис[19]
(3 редакция)

Совершенна тишина этого золотого дня.
Под старыми дубами
Появляешься, Элис, Покойный, круглые катишь глаза.

В их синеве отражается лёгкая дрёма Любящих.
У твоих губ
Гаснут их розовые стоны.

Вечером тащил на берег тяжёлые сети рыбак.
Добрый пастырь
Своё стадо опушкой леса ведёт.
О, как праведны, Элис, все твои дни.

Тихо склоняется
К голым стенам синяя тишина оливы,
Умирает старца тёмный псалом.

Золотой лодочкой
Покачивается твоё сердце, Элис, в сиротливом небе.

2

Нежно колокола в груди Элиса играют, поют
Вечером,
Когда его голова опускается на чёрную подушку.

Синий зверь
Тихо исходит кровью в терновом кусте.

Багровое дерево уединенье нашло...
Синие, падают наземь его плоды.

Знаки и звёзды
Тихо тонут в вечернем пруду.

За холмом стала уже зима.

Синие голуби
Пьют по ночам ледяной пот,
Что стекает у Элиса с хрустального лба.
Вечно он тут поёт,
У чёрных стен Бога, сиротливый ветер, судьба.

Ночью[20]

В омрачении ночи погасла синева моих глаз,
Красное золото сердца. О! как пламя горело тихо.
Синий плащ твой гибнущего укрыл,
Красные губы твои помраченье скрепили печатью.

Соня[21]

Вечер в сад забрёл, плутая;
Соня ходит в синей дрёме.
Проплывает птичья стая;
Лысый дуб в осенней дрёме.

Дал подсолнух слишком рано
Кров для белой жизни Сони.
Алая велела рана
Жить затворницею Соне –

Там, где благовесты сини:
Ходит, ходит, словно в дрёме.
Мёртвой птицы – тени линий,
Лысый дуб в осенней дрёме.

Солнце древнее кружится,
Соне выбелило брови,
Снег на лоб её ложится,
Влажен дикий абрис брови.

Покой и молчание[22]

Пастухи хоронили солнце в лысом лесу.
Рыбак тащил
Власяною сетью луну из стынущего озера.

В голубом хрустале
Бледный живёт человек, прижимаясь щекой к блеску своих звезд,
Или он голову клонит в багряном сне.

Но чёрный полёт птиц вечно касается тенью
Свидетеля, святость синих цветов,
Близость безмолвия перебирает в уме Позабытое, погасшие ангелы.

Снова ночью очнёшься на лунных холодных камнях:
Сияющим отроком
Проходит сестра мимо осени в чёрное тленье.

Сумерки духа

Тихо встретится на опушке леса
Тёмный хищник;
На холме бесшумно умирает вечерний ветер,
Перестал причитать чёрный дрозд,
И нежные флейты осени
Не поют в тростнике.

На тёмном облаке
Проплывёшь пьяный от мака
По ночному озеру,
Звёздному небу.
Всё зовёт и зовёт лунный голос сестры
Сквозь ночь духа.

Песня страны заката

О, бьющая крыльями ночью душа:
Вышли однажды мы, пастухи, из сумеречных лесов
И смиренно шёл за нами красный хищник, зелёный цветок и лепечущий
Ключ. О древняя песнь сверчка,
Цветушая на жертвенном камне кровь
И крик одинокой птицы над над зелёным безмолвием озера.

О вы, крестовые походы и пылающие мученики
Плоти, стук о землю багряных плодов
В вечернем саду, где когда-то ходили блаженные отроки,
А ныне воители, очнувшиеся по причине ран и звёздных видений.
О, нежный пучок васильков, эта ночь.

О вы, времена безмолвия и золотой снова осени,
Когда мы давили, монахи, багровые гроздья;
И вокруг блестели холм и лес.
О вы, охота и замки; покой вечера,
Когда в своей каморке правое человек замышлял,
Обретая голову Бога живого в молитве немой.

О, горький час заката,
Когда мы каменный лик созерцаем в воде.
Но лучась поднимают Любящие свои серебристые веки:
Род наш е д и н . И струится ладан с розовеющего изголовья
И воскресших сладкий псалом.

Passion

Лишь только Орфей серебристо коснётся струны
И станет оплакивать мёртвое Мёртво в вечернем саду,
О, Полузабытое, кто ты – под сенью дуплистых деревьев?
И Плач твой, так жалобно стонет осенний тростник
И пруд голубой,
Умирающий тихо под сенью зелёных деревьев
И молча идущий за тенью сестры;
За тёмной погибелью
Страсти, терзающей дикий наш род,
От которого с шумом день катится прочь на колёсах своих золотых.
Тихая ночь.

Под сенью угрюмых елей,
Два волка, смешали мы кровь,
Каменея в объятиях; пух золотой
Оставило облачко, переходя по мосткам,
Терпение детства, молчание,
И снова навстречу
Тень милого трупа, тритонами пахнущий пруд,
Заснувшего в его волосах, гиацинтово-влажных.
Когда ж наконец ты рассыплешься, холодная голова!

Но вечно бежит синий хищник,
Глазастый такой под сенью закатных деревьев,
По этим тропинкам, что темнее ещё,
От сна вдалеке, благозвучием ночи взволнован,
За нежным безумием;

Или Тёмное это блаженство
Вздрогнет струной,
Припадая к холодным стопам вечно молящей прощения
В городе мёртвых камней.

Зимняя ночь

Выпал снег. Заполночь, багряным вином захмелев, покидаешь тёмную область людей,
красное пламя их очага. О этот мрак!
Чёрный мороз. Земля жестка, воздух горчит. Звёзды твои составляются в знаменья зла.
Каменным шагом движешься к насыпи, круглыми сделав глаза, как солдат,
что штурмует чёрный окоп. Avanti!
Горький снег и луна!
Красный волк, душит ангел его. Ноги звенят, синий лёд; от скорбной надменной улыбки
каменным стало лицо, и от мороза бледней;
или молча склонилось над сторожем, что в своей деревянной сторожке повалился и спит.
Морозная дымка. Белой рубахой звёзд обжигает плечи, и коршуны Бога клюют
твоё сердце-металл.
О каменистый холм. Тишина здесь оттаяла и холодное тело, забытое в серебристом снегу.
Чёрный сон. Слух долго следит за странствием звёзд на льду.
Просыпаешься под колокольные звоны в деревне. Из восточных ворот розовый день
выступил весь в серебре.

Солнце

Как всегда, поднимается жёлтое солнце над сонным холмом,
Лес прекрасен и тёмный зверь,
И хорош человек: пастух он или охотник.

В зелёном пруду застыла рыбёшка, алея.
Под круглым небом
В синей лодке своей проплывает рыбак.

Медленно зреет рожь, наливается виноград.
И к часу, когда тихо падёт день,
Зло и добро обретут свои очертанья.

Когда будет Ночь,
Странник поднимет тяжёлые веки:
Из мрачного ущелья переломится солнце.

Лето

Вечером бросила плакать
Кукушка в лесу.
Ниже склонилась рожь,
Алый согнулся мак.

Чёрная встала гроза
Там, над холмом.
Дух испустила
Древняя песнь сверчка.

Зелень каштана – лень
Двинуться ей.
Шумное платье твоё
На лестнице винтовой.

Тихо горит свеча
В тёмных покоях:
Пальцы, светясь серебром,
Гасят её:

Ни ветерка, ни звезды – царствует ночь.

Страна заката

Эльзе Ласкер-Шюлер с почтением[23]

1
Месяц, как мёртвое Мёртво
Вышло из синей пещеры,
И соцветья осыпались многие
На горной тропе.
Серебристо рыдает Больное
У закатного озера.
Уплыли на чёрной лодке
Любовники, убыли в смерть.

Или то Элиса шаг
Шорохом полнит листву
Гиацинтовой рощи,
Отзвуком длясь под дубами?
О, мальчик, твой облик,
Сотканный из хрустальных слёз
И ночных теней.
Колючие молнии высветили
Навеки холодный висок,
Когда на цветущем холме
Запели весенние грозы.

2
Нешумливы зелёные рощи
Нашей родины,
И хрустальная тихо волна
Подступает к истлевшим стенам

Так, что заплакав во сне,
Поём и, помедлив,
Мимо колкой ограды
Плывём: вечереющим летом,
В священном покое далёких
Лучащихся виноградников;
Тени мы ныне в холодном
Лоне ночи, лениво-больные орлы.
Так долго целит лунный луч
Багряные метины скорби.

3
Вы, гордые города,
Возведенные из камней
На огромных равнинах!
Вот и следует молча Отверженный
Тёмным ликом за ветром,
За лысыми деревьями на холме.
Вы, брезжущие, в даль брызжущие потоки!
Вы, могучие
Краски заката
В ненастливых тучах!
И вы, вырождающиеся народы!
Бледной волной
Разбиваясь о скалы Ночи,
Вы – падучие звезды.

Комментарии

[1] Людвиг фон Фикер (Ludwig von Ficker, 1880–1967) – один из первых публикаторов (и благодетелей) Тракля, редактор авангардистского журнала Der Brenner.

[2] В (5) стихотворении сборника 1913 г. появляется der Fremdling (Пришлец, или Странник), причём не сразу, а только во второй редакции – в первой его не было. В стихотворении «Молодая служанка» отражение уже глядело из зеркала на героиню fremd (странно, отчуждённо). И теперь Странник будет проходить по страницам книги, иногда превращаясь в абстрактное существительное ein Fremdes, как в стихотворении «Весна души», которое разбирает Хайдеггер в одном из двух своих эссе о Тракле («Душа на земле – Постороннее», или «нечто Пришлое», кому как нравится). Я, видимо, остановлюсь на словах «Странник – странно – Постороннее», как уже решил более двадцати лет назад, иначе не получится провести сквозной словообраз.

[3] В (6) стихотворении сборника происходит интенсивная игра звука – с цветом и светом (мраком), живого (животного, природного) с неживым (мёртвым человеческим, кладбище). В третьем четверостишии масштабная смена плана – сначала вид сверху, затем – сразу же снизу. И последняя строка – качающийся камыш. Кино. (Без шуток, по этому стихотворению можно сделать прекрасный фильм.)

4 (12) стихотворение сборника – первое, написанное без рифм и нерегулярным метром. Это позволяет Траклю добиться множества новых эффектов; к примеру, сочетания длинных и коротких строчек ведёт к возникновению пустот (пауз), не менее важных, чем звучание стиха. (Одним из первых обратил на внимание этот приём у Тракля – Рильке)

Элис – помимо всего множества гипотез, опубликованных во множестве, – для меня просто синкретический образ (один из многих у Тракля), вбирающий в себя (как и Helian в дальнейшем – от Helianthus, подсолнечник) – солнце (пора закатиться), «солнечного отрока» = сестру (так он называет её в другом стихотворении), подсолнечник (из того же Ван-Гога), странствующую душу, и объект перверсии, который он рассматривает «по ту сторону», в траклевском зазеркалье – там, где жизнь продолжается после смерти.

Самый мощный здесь образ – грандиозная картина, когда антропоморфизированное (закатившееся, умершее) солнце «тихими шагами» входит в ночь, а всё, что следует за этим, – невероятная живопись словами.

5 Для поклонников перевода слово в слово,
последняя строфа может иметь такой вариант:

Крик истерики в больнице.
В перьях ночи сизый слышен
Свист, и вдруг сверкнёт зарница:
Дождь блистая бьёт по крышам.

6 В (14) стихотворении сборника 1913 г. после фантастической динамики и ужаса предыдущего – дикая скорость переключается на очень медленную. Тот же самый гениальный cameraman производит тот же «монтаж» (то есть резкую смену планов и перспективы), но страсть уходит вглубь. На техническом уровне обеспечивается переходом к шестистопному ямбу (от четырех стоп хорея) – но какому! Противу всех правил, установившихся в немецкой поэзии аж с 17 века, а во французской – ещё раньше (так называемый александрийский стих с обязательной цезурой на третьей стопе), Георг пишет бесцензурный шестистопник. (Это как если бы александрийский столп лишился опоры и повис в воздухе силой любви и тоски.) Не все строки, конечно, но большая часть напоминает напряжённое легато, читать их надо не делая пауз от первого слога до последнего. И тут хороши оказываются длинные слова, которые в обычном стихотворении обычно не знают, куда деть себя, «встретившихся», «бестрепетную». В таком меланхоличном созерцании не может обойтись без любви к сестре и тоски по ней. Когда Георг говорит «игры в саду» и «для безумной ласки» – это всегда о ней, о Грэтхен. В самом стихотворении полно мистических красот – источник падает «во мрак ветвей каштана», то есть в никуда, не говоря уже о том, что здесь появляется один из сквозных персонажей – белый Маг. И изумительна концовка – веки закрываются, а в следующей строке открываются они «zu fremden Sternenzeichen», к чужим (странным) знакам звёзд, к чужому Зодиаку. Не на Земле, а в другом месте космоса, где у звёзд иная констелляция. Появление Эндимиона поэтому совершенно не случайно.

Из важных исправлений – одно: как раз про эти чужие звёзды, каюсь, в первом издании это просто выпало у меня (решались другие задачи).

7 (18) стихотворение являет раздвоение и слияние: непонятно, кто это слышит и видит и ощущает. Странник сливается с субъектом и наоборот. Путь в никуда. Блаженство и безысходность композиции.

8 И снова – в текучую трансгрессию, в (21) стихотворении – строки зеркалят. Причудливая рифмовка abbabaab (при том, что bbb второй, третьей и восьмой строки и аа четвёртой и седьмой – вовсе не рифмы, а повторяющиеся слова; соблюдать всё до последнего грошика не стоит, главное

– воспроизвести эту зеркальность) создаёт ощущение «дурноты», усиленной своеобразной декадентской лексикой. Солнце-отрок, как уже говорилось в комментариях к «Элису», это младшая сестра Георга, Грэтхен, как объект страсти и перверсивного психоделического ужаса.

[9] (28) стихотворение сборника, идущее после «Превращения» (27), возвращается к разработанной манере на каком-то новом уже уровне. Сначала идёт «концерт» цветовых пятен – по одному в каждом четверостишии – красный, жёлтый, зелёный, синий – и вдруг всё завершается «более прохладным» цветом фиалок, и выясняется, что цвета и цветы – в последней строчке нарцисс – это ещё и звук! И выясняется это, только когда всё это умирает, и «последний аккорд флейт» (звучит = умирает) нарциссом.

[10] (31) стихотворение показывает, что отход от «с таким трудом наработанной манеры» дарит множество новых возможностей. По форме оно – сонет (без рифм и метра) с хвостом, в виде «отражения в воде»: после двух катренов идут, как положено – два терцета, а затем ещё один терцет и ещё один катрен (то есть ещё половина сонета, но в обратном порядке). После «Пил я молчанье Твоё» – первая (ложная) концовка, за которой следует «Холодный металл».

Слово braun (чаще всего перевожу как бурый) встретилось здесь уже в 14-й раз!

[11] (32) стихотворение – по метру, расшатанный разностопный дольник – ещё один шедевр.

Braun – задумаемся, этот цветовой эпитет появляется в пятнадцатый раз! (теперь это braune Kinder)

Но здесь наособицу выделен Червлёный (выбор цвета связан с тем, что в оригинале Scharlach, означающий изначально кошениль, а также скарлатину), он не просто повторяется, но ещё и не являтся определением цвета хоругвей, наоборот – хоругви есть определение Червлёного – и это, в свою очередь, всадники, но и всадников недостаточно, они ещё и скачут сквозь клён, но и этого мало – они скачут сквозь скорби клёна. Не хватает теперь только чёрного, если мы правильно читаем Тракля. И чёрный появляется – в виде чёрной стены. И мы понимаем, что это ночь.

[12] (39). От «нежного безумия» – через сарказм и трогающие за сердце образы к видению сестры, но косвенно, через похотливые замыслы-видения кого-то другого, в окружении странных гротесковых фигур в странных и страшных ситуациях. Собственно: важнее всего сестра, являющая из искривлённого и чуждого пространства, остальное – фантасмагории фона.

Самое начало стихотворения пародирует Священное Писание. Безумец, который умер, и Странник, которого хоронят в следующей строфе, сливаются в одну фигуру, в которой при желании можно различить и Бога-Сына, над местом казни которого в заключительной строке в полном молчании открываются золотые глаза Бога(-Отца), и фигуру автора, но ещё театрализованнее и по-своему «страшнее» появление в этой компании бога-Солнца (напомню, что с образом солнца непременно связан у Тракля образ сестры – в других стихах).

Карл Краус – австрийский писатель, поэт-сатирик, литературный и художественный критик, фельетонист, публицист, а по совместительству и благодетель Георга Тракля, печатавший его стихи в легендарном журнале «Факел» (Die Fackel), на страницах которого публиковались Альтенберг, Демель, Кокошка, Ласкер-Шюлер, Генрих Манн, Шёнберг, Стриндберг, Верфель, Оскар Уайльд.

[13] (48) Стихотворение построено на повторении слова «когда» (wenn – wenn – da – doch wenn) с заключительным «Но когда»; это же слово, если прочитывать его как «если», переводит подчинительную связь из временной в уступительную. На это и расчёт, ибо речь идёт о прогулке с сестрой, которая (прогулка) была так давно, что оба уже «как если» умерли, такая детская игра (к слову сказать, в отечественной поэзии мастерски использовавшаяся Григорием Дашевским). А может быть, они тогда, давно, играли в эту игру.

Из всех этих «когда» я оставил только то, что в первой строфе, и то, что в последней, русский синтаксис позволяет.

Одно из редких у Тракля стихотворением со сдержанным «колоритом», здесь только «белый», «серый» и «тёмный».

[14] (50) Предпоследнее стихотворение прижизненного сборника оставляет широкий простор для интерпретаций, хотя письмо здесь совершенно прозрачное. У зверя не морда, а именно лицо. Затем прослеживается параллель трёхсложных метаморфоз: лицо – маска – лик (зверь – птица – Элаи!) В последнем слове уже знакомый нам Элис, превращающийся в следующем завершающем, панорамном и программном стихотворении «Гелиан», – собственно в Гелиана: Солнце, божество, подсолнечник, Helianthus (в Элаи ещё и намёк на табуированное Элохим), – вот почему это трезвучие «нежное» и вот почему оно сливается в единый слог. Триединство, хотя и происходящее из христианской догматики, но о религиозности здесь говорить приходится в очень особенном ключе. Теперь только мы понимаем, что значат все эти птицы и звери, заглядывающие в стихи, обитающие на опушке или вылетающие из леса, либо раненные, умирающие, кровоточащие в кустах. Всё это лица, маски и лики одного и того же существа, без упоминания о котором, как выясняется, не обходится ни одно стихотворение. Скоро (эти стихи попадут уже в другой сборник, 1915 года) на них начнётся охота. А рифмованных стихотворений станет меньше. Ещё один ряд метаморфоз – камень, вода, зеркала истины. Камень у Тракля почти всегда ассоциируется с надгробием, здесь и ещё и дополняемым образами не(по)движности и оцепенения. Недвижности как имманентного состояния и оцепенения как реакции на святость Синевы. Вода: кто-то у нас уже склонялся над водой, помните? Это был Эндимион, открывающий глаза и видящий чужие, незнакомые звёзды. Переходом в иной мир закончилась та прогулка... И последний ряд: молчание – трезвучие – отблеск... Читатель может найти и свои, ему одному видимые, слои смыслов и ряды превращений в этом коротком, но поистине бездонном произведении.

[15] Переходим к сборнику Sebastian im Traum (1915), подготовленному к печати автором, но вышедшим в свет уже после его смерти.

Два слова о названии книги, перевод которого как «Себастьян во сне» кажется мне большой ошибкой. Много раз в комментариях я уже говорил о том, что Тракль описывает не сновидения, а просто видения – дьявольская разница!

Так что, после долгих раздумий, называю его «Видения Себастьяна» (1915).

[16] (1) Первое же стихотворение показывает нам, как меняется поэтика Тракля. Изменения сразу не видны, но поражают, когда начинаешь их замечать. Во-первых, это более тонкая игра с цветовыми эпитетами (которые, как мы уже давно выяснили, только притворяются цветовыми). Симметричной строфике соответствует рамка коричневатого (тронутого багрецом) и тёмно-золотого (в переводе «тусклое золото»), внутри которого из строфы в строфу, неторопливо, последовательно и настойчиво, как удары колокола, звучат: In blauer Höhle, das blaue Wasser, Ein blauer Augenblick, in heiliger Bläue – это последнее вставлено вообще в (фонетически, ритмически и интонационно) волшебную строку Und in heiliger Bläue läuten leuchtende Schritte fort, что я ещё больше двадцати лет назад попытался передать через комплекс «в – св – снв – свт – звн», и до сих пор считаю это удачным решением.

В стихотворении есть и ещё одна строка, мимо которой не может пройти внимательный читатель Тракля, начиная от Хайдеггера и (не) заканчивая Головиным. Ein blauer Augenblick ist nur mehr Seele, перевести которую даже дословно довольно трудно из-за смещённого синтаксиса. Душа – (длящееся) синее мгновение; душа – лишь далее (более) синее мгновение (?), причём ещё и с глубокомысленной инверсией: Голубое мгновение – (вот что такое) только больше душа (вариантов перевода ещё больше). Пришедшее в голову как озарение: Голубое мгновение – мерцание чистой души, – менять не стал.

Зато изменил «Теперь над заросшей тропой» на «Теперь над ушедшей тропой», потому что заметил игру со словом «vergehen» – «проходить» (как проходит время, слава, как проходят годы, но по отношению к тропе – звучит как приём), тропа ушла, как ушло то безмятежное время.

Недавно полтора часа подряд разбирал этот шедевр Тракля, но жанр комментариев требует поставить точку. Скажу только, что стоит обратить внимание на то, что происходит с солнцем, кладбищем и холмом, на их взаимную игру, а также обычную для автора игру живого и неживого, одушевлённого и не очень.

[17] (2) Название стихотворения (Stundenlied) отсылает к рильковскому Das Stunden-Buch (Книга часов, сборник молитв на разные часы), без которого оно вряд ли понятно.

Головокружительная композиция: трёхстишия словно служат прелюдиями к шестистишиям с анафорическим зачином Purpurn.

Слово «пурпурно, пурпурный» (перевожу как «багрец», поскольку во втором случае слово прилагается к осенним листьям, по пушкинскому лекалу «в багрец и золото») в сочетании с der Gesegneten Mund (благословлённого рот) позволяют предположить, что действие начинается в церкви, а потом без пауз переходит в поле перед лесом, где происходит удивительная метаморфоза с глазами (круглыми=расширенными, круглыми=как круглый пруд), которые, словно некий водоём, отражают окружающий мир, с невероятным продолжением «а может быть» (то есть, может быть, отражают не только лес, но и полёт птиц, сам по себе уже невыразимый, но этого мало – может быть, они отражают и вовсе незримое – путь (тропу) Нерождённого, впервые появляющейся у Тракля фигуры).

После чего следует второе трёхстишие (Prelude), с ясными зарисовками (так и подмывает сказать, с натуры), но опять звучит: Purpurn, багрец – с типичным для Тракля осмыслением Осени как предварением смерти, но и как дарительницы плодов для человека, простых крестьян, радующихся новому вину и урожаю.

Обращает на себя внимание также симультанность весенне-летне-осеннего в том, что «отражают» глаза. Путь Нерождённого пролегает мимо одиноких лет (мн. ч. от «лето»). И в самом конце выясняется, что всё предыдущее было всего лишь фоном для последней строки об умершем мальчике (он же солнце-подсолнух-Helianthus-Элис-сестра-Гелиан), перверсивном образе ушедшего из жизни (в видениях), но никуда не девшегося объекта страстной любви, объединяюшего в себе всех живущих и умерших. (Ещё) Нерождённый и (уже) умерший, а может быть, и это – одно и то же лицо! – в любом случае, скрепляют весь, как почти всегда, красочный подвижный пейзаж, движущийся (ведь это отражение!) в обратном направлении. Ну да, и звук приглушён.

[18] (3) Третье стихотворение сборника «Видения Себастьяна» (1915) продолжает ту же линию, что и первые два.

Теперь каждая новая строфа короче предыдущей на две строки, последняя – на одну. Собственно, описывается угасание (дня, вечера, пламени, сознания, человеческого рода) на фоне (счастливого?) пребывания вместе с сестрой. Так долго они ещё не были вместе. Угасание задаётся сразу в первой же строке про умершего Странника. В одном из написанных раньше стихотворений его уже, помнится, похоронили. Но здесь «снова и снова возвращается ушедший закат» – в этом мире ничто не уходит сразу и навсегда. Затем следует прогулка с сестрой, неожиданно, без перехода и подготовки, заканчивающаяся сном сестры, и ясно только, что они всё ещё рядом (в оригинале «её веки, отяжелевшие от мака, видят сны на моём челе»); строка «Sanfte Glocken durchzittern die Brust» («По груди ходят трепетом колокола») вызывают трепет и во мне. Такого тонкого и проникновенного, я бы сказал, священного эротизма во всей европейской поэзии ещё поискать! Сочетание красного (губ, рта) и синего (мрак, облако, плащ) будет занимать Тракля ещё и ещё. Звук (гитарной струны) угасает вместе с цветом (багряное пламя у рта). А «робкая душа» угасает и как звук и как цвет. И всё стихотворение называется – «В пути».

[19] (6) Стихотворение ещё более совершенным образом продолжает череду изображений траклевского «зазеркалья».

Обе части кончаются одним и тем же эпитетом (при разных существительных), einsam, одинокий (небо; ветер); перевожу как «сиротливый», чтобы подчеркнуть, во-первых, их связанность, во-вторых, один из важнейших мотивов этого шедевра. В первой части «золотой» звучит в самом начале и в самом конце, что в общем логично: Элис-солнце-подсолнечник-отрок-сестра в перевёрнутом мире, где (по)явление среди старых дубов не случайно, вспомним Эндимиона в сборнике 1913 г.

Endymion taucht aus dem Dunkel alter Eichen
Und beugt sich über trauervolle Wasser nieder.

(дословно)
Эндимион появляется из тьмы старых дубов
И склоняется над печальной водой.

Это Эндимион вошёл в печальную воду и вышел теперь с другой стороны как Элис (вспомним «чужие, незнакомые звёзды»).

Неминуемо возникает опять мотив отражения в круглых глазах Элиса, мир отражается в них и течёт нелинейно, рыбак вытаскивал сети, а пастух (сказано тут же) ведёт своё стадо.

Любящие дремлют, но ещё не отзвучали их стоны, угасающие только у самых уст Элиса: в перевёрнутом мире это означает, что он их целует. Во второй части голова Элиса опускается на чёрную подушку – это и описание заката, и – одновременно – смерти, что произошла раньше этого описания: вот и небо уже было одиноким (сиротливым), хотя золотой лодочкой покачивался в нём Элис. Плоды, падающие наземь (явная осень) одновременны с зимой за холмом. Это всё просто музыка и живопись, мерцающие в текучем завораживающем слове поэта.

Последние строчки двух последних строф (а лучше сказать, фрагментов строф, потому что между ними пауз больше и они субъективно длиннее, чем словно бы на полуслове обрывающиеся строки, так и не складывающиеся в полноценные катрены и даже не застывающие в литые терцеты, а робко ограничивающиеся двустрочием), – последние строчки неожиданно рифмуются, чем ещё больше подчёркивают зеркальность происходящего.

[20] Стихотворение Nachts последнее в первом разделе посмертного сборника 1915 г., который (раздел) называется так же, как и книга, «Видения Себастьяна». А завершает его прозаический кусок.

Это блистательное четверостишие строится, как легко можно заметить, на параллелизмах: на двух цветовых эпитетах, синем и красном, слове Nacht в первой строке и Umnachtung («помрачение») в последней, на словах «сердце» и «губы» (звучащих в этом настойчивом параллелизме как внутреннее и внешнее), на мотиве угасания (цвета глаз и сознания) и горения (золото сердца и пламя (лампы? свечи? того же сердца?)), гибели и спасения (гибели от запретной любви и спасения благодаря ей).

И ещё: «я» и «ты» даны лишь косвенно – через притяжательные «мой», «твой».

Стихотворение, замыкающее раздел, единственное, где тема прогулки-видения сменяется достаточно откровенным минималистским эротическим нарративом. (И поэтому соблазнительно видеть его завершением то ли всякой прогулки, то ли всякого видения.)

Кроме того, слово Freund (друг), явно приобретающее в этом стихотворении значение «возлюбленный», возвращает нас к стихотворению «Вечер в Лансе», где в последней строке оно звучит как выдох:

Freund; die belaubten Stege ins Dorf.

Друг... листьями усыпаны мостки в деревню.

(это замена, конечно же... так и хочется сказать:

Милая... листьями усыпаны мостки в деревню)

[21] Соня – Сонечка Мармеладова. Тракль в это время читает Достоевского, Ницше и Гёльдерлина. В двух последних строчках мастерски, двумя ударами кисти, даётся зимний Петербург.

[22] И вновь Георг Тракль меняет регистр, переходя от рифмованных и в метре – к свободному стиху.

Стихотворение открывает третий раздел сборника «Видения Себастьяна», который, как и прочие, назван по самому важному стихотворению в разделе: «Семипсалмие смерти» (Siebengesang des Todes).

В Православии есть понятие о Шестипсалмии, и оно тоже связано со смертью.

Я не случайно ставлю точки над «ё». Здесь – «своих звезд», а не «своих звёзд».

Ну и трёхстишия – непременно о смерти, о сестре. Но важнее всего здесь взаимодействие света и мрака. Погасшие ангелы.

[23] Эльза Ласке-Шюлер (Else Lasker-Schüler, полное имя Elisabeth Lasker-Schüler; 1869–1945) – немецкая поэтесса и писательница еврейского происхождения, одна из представительниц экспрессионизма.

Сергей БОРОВИКОВ

В РУССКОМ ЖАНРЕ – 53

В середине декабря 2016 года я должен был умереть. Врачи так и сказали сыну: не надейся. Однако мне была дарована жизнь.

Пролежав полгода в больнице, я возвратился домой. Многое я воспринимаю по-новому, однако ж куда меньше, чем можно было ожидать. Из прежних пристрастий ушла выпивка. А вот привычка к писанию, оказывается, осталась.

Посмотрим, что из этого выйдет.

29 сентября 2017 года

***

В тяжёлых и дурных чертах моего характера виновато воспитание, которое выражалось в невыносимо плотной опеке моих поступков и перемещений, непомерном числе ограничений и запретов со стороны родителей, при полном отсутствии их интереса к внутреннему моему миру, его движению, даже просто моим наклонностям и всему индивидуальному.

Свою роль сыграло и то нестандартное место, которое наша семья занимала в окружающей среде.

Поступив в 3-ю школу, первый год как неженскую, одну из двух самых элитных в городе, я впервые побывал дома у тех одноклассников, которые жили в больших квартирах в домах, которые позднее назвали «сталинками», на улицах Советской и Вольской. Это были дети работников КГБ и МВД.

Большинство же жили в таких дворах, как и наш, на улице Яблочкова, 9: главный двух-, реже трехэтажный дом на улицу, от него внутрь двора теснятся, пристраиваясь друг к другу, дома пониже, обросшие террасами с наружными лестницами. Еще один дом замыкал двор, иногда имея ход на другую улицу, такой двор был проходным, для жильцов неудобным. По другой от домов стороне двора иногда шли сараи, иногда, как у нас, еще одна двухэтажная коммуналка, а сараи были при входе во двор. Конечно, были разночтения, и дома во дворе могли стоять врозь, террасы быть каменными, застекленными.

Несколько иными были дворы немногих центральных улиц, застроенных большими, постройки конца 19-го – начала 20 века трех-четырехэтажными домами, низ которых занимали магазины, дворы были заасфальтированы, там были гаражи, склады и жилые выходы жались в этих торговых пространствах словно норки.

В центре было десятка три-четыре «сталинок», да еще сколько-то в двух промышленных районах – Ленинском и Сталинском.

Наш двор замыкало трехэтажное старинное здание Фрунзенского райисполкома, выходящее фасадом на главную улицу города – проспект имени Кирова, прежде же и нынче вновь Немецкую. В полуподвале райисполкома жила угрюмая семья Матасовых, устроившая внутри подобие деревенской избы. Нам повезло с райисполкомом, не то что в 15 и 19 номерах нашей

одноквартальной улочки. Там соответственно были черные ходы из 45-й столовой и главного ресторана города – «Волга», бывшей «Астории». На нашу мусорку из райисполкома попадали пачки бланков, какие-то разодранные папки, порой даже коробки с перьями для ручек, – но не протухшие яйца, бочки из-под селедки и прочие духмяные прелести, от которых летом было невозможно дышать носом и которые привлекали фиолетовые тучи мух.

Еще на нашу улицу были выходы из кинотеатра «Центральный», магазинов головных уборов и грампластинок.

Заселен наш двор был, думаю, достаточно типично для тех лет. Дом, где жила наша семья, выходил на тихую улочку, в 1947 году переименованную из Малой Казачьей в Яблочкову по имени изобретателя, который скончался в гостинице «Центральная» в угловом трехэтажном доме под номером 1, в мое время бывшую одной густонаселенной коммуналкой с кухнями и сортирами в конце длиннейших коридоров.

В нашем доме о двух этажах, красного, навсегда отсыревшего кирпича, так как первоначально располагался там соляной склад, а весь двор был не жилым, а большим торговым подворьем, жили четыре семьи. В кв. 1 – мои родители, старший брат, бабушка по матери и я. Примерная общая площадь квартиры 50 метров, которые были поделены на 3 комнаты, кухню, ванную и уборную. И хоть лишь в кухне и одной комнате было больше, чем по 10 кв. м, мы, как и наши соседи, были элитой двора.

В квартире над нами жила семья Хоревых: Федор Георгиевич, бывший военный, германско- и сталинско-пленный с супругою Лидией Ивановной, женщиной рыжей, всегда круто надушенной и легко носящей свое обширное тело на высоченных тонких каблуках. Про неё я как-то услышал разговор матери с кем-то из гостей, что пока супруг по не зависящим от него обстоятельствам долгие годы отсутствовал, она сдавала квартиру офицерам и вела себя не очень хорошо. С ними жили дочь Галя, кажется, врач, ее муж Олег, шофер, и внучка Наташка года на три младше меня.

Напротив них, а от нас по диагонали, жил (и, кажется, до сих пор живет) мой приятель детских лет Владик Сладков, по отцу Лифшиц. Про него, его родителей и его старшего брата Женю я написал рассказ «Кронштейн» (альманах «Остров», Берлин, 1996, № 50).

Квартиру № 2 напротив нас занимали Мегаловы – отец, мать, два сына, один лет на 10 старше меня, второй на 2 года младше. Мегалов был референтом по сельскому хозяйству в обкоме и носил, как многие тогда из его ведомства, китель без погон. Старший сын женился и привел жену Инну, студентку-педагогичку, которая мне очень нравилась. Вообще в возрасте лет 5-6 я постоянно влюблялся во взрослых девушек и даже молодых женщин, и только в школе переключился на сверстниц. Помню остро свое разочарование, когда Инна поправила меня в слове, объяснив, что про взрослых в третьем лице надо говорить не он или она, но они. Подошедший мой старший брат жестоко высмеял Инну, она покраснела, и я поверил в правоту брата.

Именно с Мегаловыми связано одно из первых ярких воспоминаний детства. В этом эпизоде проявилась моя врожденная, еще не испорченная жизнью натура, не терпящая сближений, особенно насильственных. Было мне три года, и был я большой нелюдим. От Мегаловых вышел брат хозяина, мужчина жизнерадостно полнокровный, к тому же, видимо, после братского угощения. Не слушая предостережений моей матери, развешивавшей белье в палисаднике под нашими окнами, он схватил меня на руки и неосторожно поднес к своей цветущей физиономии, в которую я тут же и плюнул. Как сейчас вижу широкую красную щеку, с которой он стирает уже текущую на его белоснежный летний китель мою слюну. Помню и охватившее меня сладостное чувство освобождения, которому с годами я все меньше давал воли.

***

Недавно мне приснились, точнее, вплелись в засыпание, вещи, которые окружали меня в детстве. А еще точнее, вчера была Пасха, Светлое Христово Воскресенье 2000 года, и я вспомнил

о своей нелюбви к крашеным яйцам. У нас в доме их не красили, да и не приносили в дом, разве кто-то из соседей настойчиво угостит.

Вообще я долгие годы брезговал есть где бы то ни было вне дома, как в гостях, так и в общепите. В пасхальных же яйцах мне особенно было неприятно, что от покрашенной скорлупы белок яйца делался желтым, розовым или голубым, как бы игрушечным и несъедобным. В куличах, которые в доме бывали, но не пеклись, а покупались (в булочных они тогда продавались под названием «Кекс весенний»), мне нравилась, как ни странно, не засахаренная верхушка, а запах куличной мякоти. От пасхи же меня отвращал изюм, живо напоминавший о кутье, которую мне изредка уже доводилось отведывать на поминках.

Раз уж зашла речь о еде, не могу не вспомнить о своих двух странных пристрастиях. Одно, впрочем, не такое уж в те годы и редкое – я ел штукатурку, и стена возле дивана, на котором я спал, вся была расковыряна. О другом своем пристрастии я от других не слыхал. Я очень любил дрожжи. Когда мама замешивала тесто, я выпрашивал их у нее и мог съесть всю палочку.

***

Повышенная нетерпимость к фальши, вызывающая чисто физические страдания, была у меня с детства. Двух-трёх лет я прятался от гостей под стол – прекрасно помню ботинки и туфли, склоняющихся ко мне людей, задиравших надо мною свисающий край скатерти. Гости и общение с ними были нестерпимо фальшивы – ведь не так говорили дома без них! Не стелилась скатерть на стол в большой комнате – обычно обедали-то не в комнате, а на кухне, никто в доме не курил, не пил вина, не звучал проигрыватель.

В школе меня мучила необходимость внешней формы, доводили до ужаса возможные неясные и оттого еще более ужасные формы наказаний. Приводили в отчаяние своей бессмысленностью линейки, вставания при ответах, необходимость держать руки по швам и т.д. До взрослых лет я донёс непреодолимый страх перед публичным выступлением. Необходимость говорить публично то, что надо, чему учат, заставляют, а не то, что внутри – ужасала меня еще больше, чем вызов к завучу. Что завуч! Сейчас мой старший сын-школьник не может себе представить, каким могильным холодом отзывалось для нас слово «пед-со-вет»!..

Как сейчас понимаю, уже тогда я чувствовал ценность того, что творится внутри человека, и – уважение к тому, что творится его руками. Но не к формам человеческих отношений. Церковная служба и военные парады ещё не так давно, может быть лет в 25, наводили на меня тоску предопределенностью следующего шага, тем, что все, заранее зная, что будет дальше, тем не менее серьёзно исполняли назначенные им роли. Игра! Вот что видел я во всем том, что признавалось и поощрялось, как настоящая жизнь. И я, сызмальства игравший наедине с собой в клоунов, кукольный театр, радиста и т.д., увидя игру во взрослой жизни, испугался и возненавидел её.

Чем далее и неизбежно глубже входил я в эту жизнь, тем более нестерпимым оказывался для меня разлад между тем, что внутри меня, и тем, чего от меня ждут и не получают снаружи. Если бы те, кто махнул на меня рукою, знали, сколько разнообразия кипело в моих мыслях, каким мечтам я предавался наедине с собою! Но всё шло в разлад, и он расширялся и углублялся, так что я уж более не надеялся перемахнуть черную щель меж мною и той жизнью, которая почиталась настоящею. Больше того, я уже начинал находить наслаждение в собственной неполноценности и потаенности. Ведь ко всему прочему я видел, что те, кто играет, в сущности и живут, а я, переживающий подлинные страсти внутри себя – не живу.

Когда же я понял, что в сущности все человеческое общество постоянно занято игрой, и отказываться от неё – отказываться от самой жизни, если только ты не герой, или не способен на полное отшельничество?

Понял-то я это, пожалуй, совсем недавно. Но жить, подобно большинству, уж не стесняясь этого, а находя в этом всё больше удовольствия, я начал гораздо ранее. Как и почему свершился во мне тот перелом – отдельная тема.

ноябрь 1984

***

Уцелевший листочек из толстой пачки, когда я, школьник, чуть ли не три раза в день записывал погоду. Жалко мне сегодня себя тогдашнего, мечтающего стать географом-путешественником, а вместо этого женившегося в 20 лет.

«В марте то дождь, то мороз.

26 марта – уже сухо, уже полоса чистой воды у берега.

27 марта – тяжёлый снег. Красота, потому что обильно облепил всё. Куски его срываются с веток и разбиваются со звуком коровьих лепешек.

28, 29. Свистопляска. Сухая крупа и утренний мокрый низкий ветер, черная вода у берега – что твой СПБ.

31 – солнце.

И весна вечером. Потемневшая рыхлая земля газонов, вспоротый вчера двумя круглыми ледоколами. Пестро-черный снег. Коричнево-черные поля чистой воды, словно пруды. Гулкость звуков. Твердые шаги каблуков по сухой мостовой».

***

Судя по посещению издательства «Детская книга», поездка в Москву относится ко времени, когда мы в «Волге» стали выпускать свои книги и для цветных суперобложек ездили для операции цветоделения на фабрику издательства где-то за Сущевской, у Рижского вокзала, кажется, это район Марьиной Рощи. Середина 90-х.

«20 сентября, Москва.

Минпечать. Гостиница. Новый мир. Салимон. Попов.

21 сентября. Прогулки по студеной Тверской с полдевятого утра (не знал, что ст. Маяковская работает только на выход). Ледяное выжженное чужим и холодом ощущение от улицы Горького, бывшего ресторан “Якорь” и т.д.

“Детская книга”.

Пешком по Октябрьской.

Пельменная: пельмени, приличный портвейн.

Решение ехать завтра».

***

На проспекте – Немецкой – торговля, или предложение торговли. Полдень. На лавке из нескольких деревянных дуг раскинулась тетка лет шестидесяти с разбитым крепким лбом, вытянув по скамейке босые ноги с невыразимо грязными кривыми лапами, от которых не в силах оторвать взгляд ни один прохожий. В полуметре от ее лап с когтями девица с переносного лотка торгует консервами, фантой и чем-то еще.

14.07.92

***

Под окном (оно становится, кажется, основным источником моих впечатлений) два молодых мужчины и беременная, месяце на 6-м, с торчащими титьками в блузе, женщина. Один забил косячок, затянулся, заслюнил конец, дал второму, тот взял в рот табаком, первый мундштуком, они положили руки друг другу на плечи, словно целуясь, постояли неподвижно, первый сел на бордюр, долго не выдыхая, держа дым в легких. Второй тем временем таким же способом обнялся с женщиной. Затем отдал папиросу первому и тот сделал несколько последних без выдоха затяжек. Время от времени они оглядывались на близкие балконы и окна.

Опрятные. Второй нерусский. Всем лет по 30.

Теплый, 25 градусов, полдень.

19 сент. 98 г.

***

Неужели никто из юмористов, в большинстве евреев, не додумался обыграть: Ой, ты ГОЙ еси...»?

***

Замкнутый образ жизни, сиденье дома, возраст привели к тому, что самым употребительным словом у нас с женой стали: «этот», «эти», «эта» – «Ты видел эту – ну ту, рядом с этим...»

И я вспомнил, какого персонажа русской классики мы стали напоминать – тетку Купавиной Анфусу Тихоновну из пьесы «Волки и овцы»: «Да, уж бы... чайку бы уж...» «Не то чтоб, а так уж... по соседству... известно уж...» «Да уж все...» «А что же... уж... как же это, уж?» «Да, да, уж...» «Ну, ну, уж вы... сами; а я... что уж. Уж что уж... уж...» «Да я... что ж я... я вот...» «Уж мы, уж я уж...» «Гости... уж тут они...» «Уж я уж давно... уж».

Меж тем вокруг Анфусы идет бурное действие, с интригами, обманами, подлогами, а она как в броне этих свои «уж» да «уж».

**

Крайне любопытна претензия Твардовского Эренбургу: «...для огромного количества читателей Ваши собаки, возникающие там-сям в изложении, мешают его серьезности. Собаки (комнатные) в представлении народном признак барства и это предубеждение так глубоко, что, по-моему, не следовало бы его “эпатировать”».

***

Вот запись на обороте приглашения меня на сессию облисполкома в июле 87 года. За 17 дней израсходовано:

3 р. – стрижка
10 р. – буфет обком
10 р. – рынок
17 р. – п/взносы
15 р. – увы мне, увы, пропил!
3 р. – сардельки
3 р. – корзина белья в стирку

17 р. – по рублю в день, молоко, хлеб, транспорт
170 р. – шкаф, гордость хозяев
100 р. – Данечкина путевка
5 р. – Данечкины брюки
2 р. – варенье, яйца, повидло
1 р. – папиросы

***

«В кабинете редактора большой либеральной газеты “Слово народа” шло чрезвычайное редакционное заседание, и так как вчера законом спиртные напитки были запрещены, то к редакционному чаю, сверх обычая, были поданы коньяк и ром. Матерые, бородатые либералы сидели в глубоких креслах, курили табак и чувствовали себя сбитыми с толку. <...>

– ...Сложность нашей задачи в том, что, не отступая ни шагу от оппозиции царской власти, мы должны перед лицом опасности, грозящей целостности Российского государства, подать руку этой власти. Наш жест должен быть честным и открытым. Вопрос о вине царского правительства, вовлекшего Россию в войну, есть в эту минуту вопрос второстепенный. <...> ...Поэтому предлагаю уважаемому собранию найти приемлемую точку зрения. Со своей стороны, смею высказать, быть может, парадоксальное мнение, что нам придется принять эту войну целиком, со всеми последствиями. Не забывайте, что война чрезвычайно популярна в обществе. В Москве ее объявили второй отечественной. – Он тонко улыбнулся и опустил глаза. – Государь был встречен в Москве почти горячо. Мобилизация среди простого населения проходит так, как этого ожидать не могли и не смели...»

(Алексей Н. Толстой. Хождение по мукам)

***

В свое время я услышал ряд упреков в том, что в своей книге об Алексее Н. Толстом утверждаю, что более всего в новой России его, эмигранта, страшило воцарение в официальной культуре «господства бурлюков», названных им позднее «красными мухоморами, посыпанными мышьяком». Для него «диктатура пролетариата» воплощалась не столько в ЧК, сколько в торжестве футуристического искусства.

Поэтому был рад, узнав из книги Елены Толстой «Деготь или мёд» о том, что в 1919 году Алексей Николаевич опубликовал в парижской русской газете «Общее дело» полученное им летом 1918 года в Одессе письмо его тещи Анастасии Романовны Крандиевской из Москвы.

«С чего и начать-то вам повесть нашей жизни, уж и не знаю. Не жизнь, а агония, и разница между смертельной и этой нашей – лишь в том, что смертельная длится дни, а эта – месяцы. И вот тут-то, в этом пункте, у меня всегда чувство благодарности судьбе, что вы уехали, что дети ваши хоть голода-то не знают, как знают все, здесь живущие. <...>

Сейчас огромные дела с искусством делают футуристы, – Маяковский, Татлин, С.Д. и проч., до того они ловко сами себя и покупают, и прославляют. В народный музей скупаются сейчас картины и статьи, и в первую голову идет бредовая мазня футуристов. Татлину же, кроме того, большевиками отпущено на искусство бесконтрольно полмиллиона рублей. <...>

Иной раз кажется, что в этой беспросветной мгле так и закончишь свои земные дни...»

Анастасия Романовна, слава Богу, дожила и до возвращения и сверхблагополучия зятя и даже до развода его с ее дочерью. А «С.Д.», которую она упоминает в ряду Маяковского и Татлина, это Софья Исааковна Дымшиц, предыдущая жена Толстого, художница, в те годы рьяная авангардистка.

***

«Они вовсе не заражены соцстроительством, как хотят показать на словах. Они заражены рвачеством. Они одержимы мещанским духом приобретательства. Краснодеревцы не только Пильняк. То же делает и Лидин, и Леонов, и Никифоров, и Гладков. Все они собирают вещи, лазят по антикварным магазинам, "вкладывают" червонцы в "ценности".

Малышкин рассказывал: иду, говорит, вижу – Леонов шагает по улице. Сбоку, по дороге, на саночках два человека везут красного дерева шифоньерку. На углу Леонов глазами и головой, чтобы не заметили, делает им знаки: свернуть. Заметив, что они поняли, как будто он ни при чем, пошел дальше, поглядывая по сторонам. "Волок" шифоньерку в гнездо. При этом торгуется из-за десятирублевки: взвинчивает себе гонорар по-купечески. <...>

Лавренев рассказывает: вчера к часу ночи зашел в подвал Дома Герцена Пастернак. Слегка был выпивши. Выпил еще несколько рюмок. Охмелел. Стал читать стихи. Какая-то компания сидела рядом за столиком. Из этой компании кто-то сказал: "Нельзя ли без стихов?" Пастернак рассвирепел, подскочил к ним и, сказав: "Если вы пришли сюда, то сидите и молчите" – опрокинул их стол со всеми закусками, вином и посудой. Те вскочили и бросились его бить. Подоспевшие писатели вырвали Пастернака, но все же ему успели раскровенить лицо. Картинка, напоминающая есенинские сцены в том же подвале. Проклятая дыра. Здесь погибал Есенин. По его следам идет Олеша. Тянет и Пастернака.

Когда Лавренев обмывал Пастернаку окровавленную щеку – Пастернак все порывался идти вниз, убедить своих обидчиков, что они не правы: "Да у них логики нет, ведь я им объясню, ведь должны же они понять..." – и все порывался идти.

А какая-то женщина из этой компании говорила: "Ежели они поет, то, значит, они могут делать, что им хотится..." <...>

На днях (30 мая) у него *(Горького. –* ***С.Б.)*** было собрание литераторов. Приглашали по особому списку. Я уехал в Магнитогорск, да меня он не приглашал. Рассказывают про скандальный характер собрания. Попутчики "перепились". Напившись – стали "распоясываться". Бубнов заявил, что Пастернак – чужой. Ал. Толстой предложил тост за Пастернака. Его поддержал один Вс. Иванов. Дальше Толстой кричал Бубнову *(народный комиссар просвещения. –* ***С.Б.****)*: "А ты роман написать можешь? А ты, Авербах, напишешь? Не напишешь! Не сумеешь!" и т. п. Авербах ему заметил: "Я с вами, гр. Толстой, на брудершафт не пил". Толстой кричал Бубнову: "Значит, ты меня в ГПУ пошлешь? Где моя подушка?!" Безобразно. Сейфуллина сказала что-то советское. Никулин бросил ей: "Сколько тебе дадено?" – В пьяном виде эта публика открывает свое лицо. <...>

Был Леонов с женой. Жена – Сабашникова – старозаветная купеческая дочка, тихая, скромная, под башмаком у мужа – но "хозяйка". Вместе с мужем "гонят" монету, собирают "имущество", строят жилье. В том же доме, что и Лидин, – новая квартира с "обстановкой"».

(Дневник Вяч. Полонского, 1931)

***

«2 января 58. Обед у Пастернака с Фединым, который, даже выпив водки, не сошел с трибуны председателя, до которой добрался с таким трудом. Он ждал, что Пастернак будет раскаиваться в "Доктор Живаго", а тот сказал:

– Прошлый год был для меня счастливым из-за свершенной мной ошибки. Я желаю тебе, Всеволод, и тебе, Костя, того же счастья.

А руки у обоих, особенно у Федина, страшные – кровь напряжена, надула жилы, и вот-вот кажется, хлынет и пойдет в сторону. – Оказывается, картины своего отца он [Пастернак] положил на мою дачу, а она сгорела».

(Дневник Вс. Иванова)

***

Леонов – Каверин – антиподы-братья.

Везде расчет вместо поэзии, сухой умысел взамен вдохновенного вымысла. И так ли далек «Русский лес» от «Открытой книги»? Там и здесь злодеи и герои, встречи и расставания по указке автора, самодовлеющая и самодовольная наука в виде фетиша. Леонов изощрённее в слове, а Каверин в сюжете.

***

В 1939 году Михаил Зощенко написал имевшую успех комедию «Парусиновый портфель», на сюжетной основе одноименного рассказа 1937 года.

Спустя год за сочинение комедии тоже из советской действительности принялся Леонид Леонов, и в 1941 году комедия «Обыкновенный человек» была поставлена и долгое время шла в основном на провинциальной сцене.

1939–1941 годы можно назвать своеобразным золотым веком сталинского режима. Отшумели политические процессы. Вокруг верного ленинца остались исключительно верные сталинцы. В культуре все более реализуется заказ на грандиозное, классическое, национальное, парадное, веселое, песенное, оптимистическое. Словом: «Жить стало лучше, жить стало веселее».

И драматурги тех лет, еще недавно писавшие о гражданской войне с непременным брат на брата, свой-чужой, о коварных для коммуниста изломах нэпа и затаившихся вредителях, превращаются в безобидных комедиографов, выдавая пьесы на камерно-бытовые темы, создавая кинокомедии, в которых вроде бы и нет никакой идеологии. Все эти веселые ребята, антоны ивановичи и волги-волги отличались лишь степенью одаренности авторов.

Сталин и после войны вернулся к тому же госзаказу на веселье, чему примером «Весна», «Кубанские казаки», «Вольный ветер» и проч. И Зощенко разъярил его тем, что терпимые в 20-х – начале 30-х годов его «уважаемые граждане» вновь предстали во всей трамвайно-коммунальной красе. А ведь Михаил Михайлович почти всем, написанным перед войною, и общественным поведением давал основания надеяться на свою возможную перестройку.

Повести «Керенский» (1937), «Тарас Шевченко» (1939), сценарии и пьесы на советские темы. Сам Михаил Михайлович иронизировал на собственный счёт в письме В. Ардову (1941): «На днях приступаем к большому полотну – историческая повесть из жизни бедных людей под названием – “Рука всевышнего отечество спасла”. А с весны приняли государственный заказ на написание пиесы, достойной украсить столичные подмостки».

***

Из жизни С-кой писательской организации времен Л.И. Брежнева.

Поэт М. пришел к прозаику С., который был ответственным секретарем организации, и спросил, почему ему не дали путёвок в Пицунду.

– Ты в прошлом году уже ездил в Пицунду, – ответил С.

– Ну, сука, я тебе этого не забуду, – сказал М.

И правда, на отчетно-выборном собрании, когда С. припоминали грехи, М. привел самый вопиющий, когда С. помочился перед дверью кабинета редактора областной газеты и убежал. Напрасно С. доказывал, что тогда еще не был ответственным секретарем. Его не переизбрали.

В тот же день свергнутый С. и обличитель М. помирились в ресторане «Москва», и оба затем попали в медвытрезвитель, так что пришлось по велению обкома созывать партийное собрание, которое вынесло обоим по выговору.

***

Читая в Википедии справки о некоторых хорошо известных мне литераторах, вижу, как они самолично их составляли, высунув от усердия язык.

***

И свою натуру молодую
Радостно развитью предала.

(Некрасов)

***

Нелепым было бы и бесконечно странно
Селить в загробный мир старух и стариков.

(Случевский, *1894)*

Ср. у Вяземского:

Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду,
Что страшно вновь иметь за гробом жизнь в виду;
Покоя твоего, ничтожество, я жажду:
От смерти только смерти жду.

(1871)

***

Впервые при просмотре «Золотого теленка» более всего поразило то, что изнутри показан станционный сортир, причем Корейко-Евстигнеев идет меж луж на каблуках, что так знакомо советскому человеку, как и то, что в кабинке все стены исчерканы темными полосками.

Вообще же фильм – шедевр. То, что Бендер там не хам, а интеллектуал, не просто заслуга Юрского и Швейцера, но и следование роману, где великий комбинатор вовсе не тот ухарь в малиновых штиблетах, что в «Двенадцати стульях». Юрский – великолепен, а парочка Гердт – Куравлёв – гениальна, это – нечто монументальное, они срослись и впрямь, как сиамские постреволюционные братья.

Считаю, что роль Корейко надо было дать актеру без того великого обаяния, каким обладал Евстигнеев.

Удивительно непохожи один на другой фильмы Михаила Швейцера.

«Кортик» (черно-белый, вместе с В. Венгеровым поставленный), деревенская «Чужая родня» по Тендрякову с Рыбниковым и Мордюковой, приключенчески-революционно-морской «Мичман Панин» с дебютом Л. Куравлёва, новаторский лихорадочный, как первые пятилетки, «Время, вперед!», «Воскресение» с Е. Матвеевым – и вдруг князем Нехлюдовым... А «Крейцерова соната», где Янковский не просто гениально, а единственно гениально находится десятки минут один в кадре со своим монологом. Наконец, лучшая из всех бывших, постановка «Мёртвых душ». Разве что не перекрыл замечательный В. Шаповалов Павла Луспекаева в ленинградском телеспектакле.

Осечка у Швейцера единственная – «Бегство мистера Мак-Кинли», из-за мертворожденной литературной основы.

Михаил Швейцер, конечно, известен, но не уверен, что его имя так же на слуху у широкого зрителя, как Бондарчука, Гайдая или Михалкова, вокруг него не роятся киноведческие страсти, подобные тем, что вскипали и вскипают вокруг работ Тарковского, Киры Муратовой или Сокурова. Жаль.

***

Не раз поражался тому, как великий актер способен в ничтожнейшей ленте создавать шедевр. Я готов бесконечно смотреть бездарную «Девушку с гитарой» ради эпизода, в котором директор музыкального магазина нанимает трех типов, чтобы выдать их за именитых деятелей культуры.

Собаковод Мамин «народный артист республики» в исполнении Сергея Филиппова, парикмахер Цыплаков – «заслужённый деятель искусств» Борис Новиков и техник домоуправления Пенкин – «профессор театроведства» Михаил Пуговкин являют чудеса комизма, профессиональности, бесконечного обаяния. И это несмотря на присутствие в кадре Раневской, Жарова, Блинникова, Петкера, Гурченко.

Кстати, великой Раневской не удавалось быть равной себе в плохих фильмах. Достаточно вспомнить ужасную «Осторожно, бабушка». То же и Михаил Жаров. И еще можно вспомнить великие имена. Видимо, это особый талант актерской суперкраткости.

***

При погребении хотел бы слышать «Славянский танец» Дворжака.

***

Фельетоны Булгакова 20-х годов стилем имитируют Чехонте.

***

Трогательные груди.

***

Доживаю свой срок, дважды был женат и так было кое-что. Но никак не могу понять, к чему Всевышний придумал столь безобразный способ для продолжения рода? Неужели не могло в его бесконечных пределах возникнуть средство не похабное? И то, что сейчас во многом деторождение отодвинулось, отделилось и даже враждебно утолению похоти, которое стало самоцелью, говорит об ответе человечества на этот Его вызов. Продолжение рода слишком серьезное дело, чтобы так начинать его.

***

Был Осетров Евгений Иванович, крупный, с грубым розовым лицом, седыми бровями, обязательной улыбкой.

Служил по разным местам, в мою пору – вторым замом главного редактора «Воплей» при Озерове, первым замом был Лазарь Лазарев. Обычная кадровая расстановка тех лет: главный редактор – угрюмый партиец, пишущий книги об изображении коммунистов в советской

литературе, первый зам – еврей-либерал, второй – почвенник-патриот. (Правда, с замами типичнее было наоборот.)

По поводу роли Осетрова Семанов говорил: «Е.И. – типичный шабес-гой – русский, который в субботу у евреев служит. Прибежит к ним и сообщит: Сережка Семанов с Олежкой Михайловым погром готовят. Его отблагодарят. К нам придет и шепчет: на Пасху жиды опять христианского младенчика резать будут. И т.д.»

Я с ним встречался в Москве, Ялте, Саратове. Ездил он всюду с женой, обожавшей его, как часто в бездетных парах. Едва Палькин стал в «Волге» главным редактором, у него возникла дружба с Е.И., который писал на него рецензии, а сам печатал в «Волге» целые книги – о «Слове», Карамзине и даже Николае Рыленкове – одинаково гладкие и скучные. Но тогда не было принято этот жанр публиковать в толстых журналах с продолжением – Палькин стал первопроходцем. Тогда и другие москвичи потянулись. Юра Селезнев предложил своего Достоевского, которого я рекомендовал, но зарубил зам главного Дедюхин, ревностно относящийся ко всему, что написано про Достоевского, т.к. сам мечтал написать о нем книгу. Прислал своего «Островского» Лобанов, который, как и Осетров, и Селезнев, проходил по моему отделу. Уже имея собственное представление о Лобанове, я отобрал несколько глав попроще, напугав Палькина, который Лобанову, как и всем «единомышленникам», в Москве по пьяни обещал все напечатать, пересказав главу (сам Палькин таких текстов, конечно, одолеть не мог), где Лобанов выставлял Катерину блядью, а Кабаниху и Дикого – хранителями русской народной нравственности. И я его напугал, что Лобанов выступает против Добролюбова.

О тогдашних нравах в патриотическом стане говорит то, что Лобанов по-своему истолковал отказ «Волги» в полной публикации «Островского». В то время у нас печатался очередной Осетров – кажется о Карамзине, и Лобанов говорил в Москве: в Саратов приплыла хищная щука по фамилии Осетров и его сожрала. Е.И. если чем и сожрал Лобанова, так не наветами, а тем, что приезжал к Палькину с огромными тугими сумками, вероятно, набитыми столичными деликатесами, тогда как М.П. был по-плюшкински скуп и в Саратов не ездил.

У них дошло до того, что рассказывали: они подрались (так!) в историческом для совписцев месте – очереди в кассу Гослитиздата.

***

Одним из взращенцев Осетрова было чудовище по фамилии Корнюшин. Леонид Корнюшин. Вспоминая его, даже не вполне верю, что он, вот такой, мог быть на самом деле. А ведь был.

***

Я часто вспоминаю один из немногих, а может быть, и единственный момент в своей жизни, когда был несказанно беспричинно счастлив и желал бы остаться в этих мгновениях и, быть может, продлить их в постоянство.

Это было в Ялте в начале октября 1985 года.

Мне оставалось два дня из срока жизни в Доме творчества. Поздним утром я сидел на ступеньках лестницы на центральный рынок, под очень яркими и почти негреющими лучами солнца. Мне было чуть зябко в тонкой модной тогда рубашке из ткани «марлевка». И вдруг – это было да, единственный раз в жизни так мгновенно и остро, я ощутил собственную самоценность. Я понял, что не желаю возвращаться в прежнюю жизнь, с ее зависимостями, ни в Саратов, ни в семью, ни в журнал. Я даже о возлюбленном трехлетнем сыне вспомнил вполне равнодушно.

Это воспоминание во все годы приходило ко мне, и лишь недавно я продолжил его, вообразив практическое вероятие, на которое вполне бы мог пойти другой.

Что мне стоило продлить путевку, затем поехать в Симферополь, там спознаться с тамошними «письменниками», подзаработать на выступлениях и внутряшках и остаться в Ялте зимовать.

***

Сейчас видел тётку, которая побирается на помойках, объезжая их на велосипеде.

30 сентября 2017 года

***

29 января 1900 года Чехов пишет из Ялты Лике Мизиновой, изощренно ее унижая: «Мне не нравится, что вы живете в “Гельсингфорсе”. Ведь есть же мебл<ированные> комнаты и почище. Наконец можно квартиру нанять. Жить в «Гельсингфорсе» – это дурная привычка, которая не кажется Вам дурной, пока Вы живете в нем, но стоит Вам неделю-другую пожить в другом месте, как Вам “Гельсингфорс” станет так же противен, как мне. (...) Вы пишете, что уезжаете в Бердичев. Разве Вы бежите с кем-нибудь из редакции “Курьера”? С Коновицером? Да? (...) В письмах, как и в жизни, Вы очень интересная женщина».

С кем она живет в Гельсингфорсе? Ведь весь секрет унижения, что в первой фразе «вы» со строчной, т.е. во множественном числе. Т.е. ее вынуждают (кто? с кем она сейчас?) жить в неподобающем месте, он подчеркивает ее униженность. А второй удар – в шутку, как всегда у него в шутку! – что любое ее перемещение, хотя бы и в шуточно ею названный Бердичев, связано с ее бегством с мужчиной, т.е. он снова давит на больное место. Как невеликодушно! Он в письмах словно мстит ей за сожительство с женатым Потапенко, в котором сам был виноват. Вот зло шутит в 1898 году: «Вашего кузена, женившегося на другой без развода, поздравляю. Уж не на Вас ли он женился?!»

***

Письма к Суворину. Он в них подросток, который перед взрослым дядей желает выглядеть взрослым.

А его *не*обращение к Суворину! Он не называет его никак, только Вы: и боялся быть ниже адресата, и не знал, как этого достигнуть, и прибегнул к этому *никак*. Едва ли не единственное от 27 марта 94 начинает «Здравствуйте!».

В шутовском письме М. Киселевой обращается к ней Василиса Пантелеевна, а подписывается Василий Макарыч. И правда, что-то очень «посконное» есть в этом имени-отчестве.

Он посылает Модесту Чайковскому «Крейцерову сонату» с условием возврата. Что, Модест Ильич сам не мог купить?

***

«Он поцеловал ее еще раз и сказал, надевая свой смешной картуз:

– Вот и всё, что может дать вам инвалид. Один турецкий паша, добрый старичок, получил от кого-то в подарок или, кажется, в наследство целый гарем. Когда его молодые красивые жены выстроились перед ним в шеренгу, он обошел их, поцеловал каждую и сказал: “Вот и всё, что я теперь в состоянии дать вам”. То же самое говорю и я». (Чехов. Три года)

«Он <Куприн> выслушал меня, медленно взял с вазы вишню и попросил меня взять ее за хвостик в рот. Вишня повисла у меня на подбородке. Он придвинулся ко мне и осторожно взял вишню ртом, почти не коснувшись меня. Когда он выплюнул косточку, он сказал:

– Это – моя последняя стадия». (Берберова. Курсив мой)

***

Реальное или мнимое снохачество М. Горького давно стало предметом обсуждения (см., например, Михаил Ардов. Ненаписанная трагедия).

Я лишь давно обратил внимание на то, что у Горького не редкость успешное соперничество сильного отца с слабым сыном.

Один из самых первых опубликованных рассказов «На плотах» (1895) о могучем сплавщике Силане, женившем слабосильного больного сына на приглянувшейся хорошенькой бабенке и сразу начавшем с ней сожительствовать. Собственно, весь рассказ – о слабосильности парня и мощи отца. А вот как комментируется эта ситуация в последнем ПСС Горького (Л. Евстигнеева): «Рассказ пронизан могучим чувством оптимизма. Силан – воплощение жизненных сил, действенности, здоровья и сильного чувства <...> Его сын Митрий начинает галерею вырождающихся представителей имущего класса». Бог мой, какой имущий класс! Митя – сын плотогона-сплавщика...

В легенде «Хан и его сын» (1896) отец с сыном соперничают из-за русской полонянки, ибо, по убеждению старого хана, «Перед женщиной нет ни отца, ни сына. Перед женщиной все мы – мужчины, мой сын...»

В рассказе «Мальва» (1897) гулящая красавица живет с сорокапятилетним караульщиком Василием, взрослому же его сыну объясняет: «А ты задорный! Вот у приказчика черненький кутенок, видел? Так он такой же, как и ты. Издали лает, укусить обещает, а близко подойдешь, он подожмёт хвост, да и бежать!»

Пьеса «Зыковы» (1914). Сын-пьяница, которого могучий отец лесопромышленник заставляет жениться, объясняет тетке: «Пусть бы лучше отец женился на ней, а меня в отставку! *Софья.* Какая чушь! *Михаил (с усмешкой)*. Все равно – сейчас не женится – после отобьет». В другой сцене отец, показывая на пьяненького сына, говорит его невесте: «Видишь? А я – втрое боле его выпил». И как предсказывал сын, уводит у него молодую, чему она очень рада.

Мотив этот присутствует и других произведениях.

***

Он не побоялся в 1919 году, когда его пьющему сыну было уже за двадцать, воспроизвести в очерке о Леониде Андрееве его слова: «Ты вообще нехороший человек, пьешь много, а не пьянеешь, от этого дети твои будут алкоголики».

***

А я впервые встретил имя Леонида Андреева в романе «Золотой теленок». В здании «Геркулеса», где до революции помещалась гостиница, особенно дурной славой пользовался номер пятый, где «останавливался в 1911 году знаменитый писатель Леонид Андреев». Имел я тогда от роду, вероятно, лет 14, и споткнулся о неизвестное имя.

***

Мой приятель Гога Анджапаридзе отмечал свое 35-летие. Мы немного поссорились по этому поводу. Дело в том, что Гога обожал расцвечивать тусклое течение жизни разного рода срежиссированными им провокациями. На этот раз он замыслил собрать гостей по принципу контраста и посмотреть, что из этого получится. Гвоздем программы было соединение за одним столом знаменитого драматурга Михаила Шатрова и известного в определенных кругах главного редактора журнала «Человек и закон», пламенного борца с жидомасонским заговором Сергея Семанова.

Ко мне и другим приятелям была адресована просьба Гоги привести его девиц как наших собственных. Мне досталась чрезвычайно непривлекательная дылда на голову выше меня, с неопрятным блестящим лицом и волосатыми ногами. Глупо, но я забастовал, чем обидел Гогу.

Жил тогда он в Нижнем Кисловском переулке у Арбатской площади. Квартира выходила во двор и была, чего я прежде в Москве не встречал, с обширною застекленной деревянной верандой. Дело было в теплом конце апреля, и стол был накрыт на веранде.

Гога возбужденно наблюдал за гостями, похохатывая своим хорошо поставленным баритоном. Пришли и Шатров, урожденный Маршак, и борец с мировой закулисой Семанов. Оба были женаты на Гогиных знакомых, не то по университету, не то по работе. Во всяком случае, у Любы, жены Семанова, Гога был научным руководителем диссертации.

Пришла полузабытая уже тогда звезда советского киноэкрана Валентина Титова. И еще многие, которых не помню, кроме одного, замечательного человека, давно уже покойного Жени Лебедева.

Шатров-Маршак был по обыкновению угрюм, на него игриво катал свои рачьи глаза Семанов. Застолье в общем-то не оправдывало расчетов хозяина на скандал. Несколько оживил атмосферу наш друг Женя.

Опишу его внешность. Если вы можете составить себе собирательный образ послевоенного хулигана – это и будет портрет кандидата филологических наук, специалиста по творчеству Батюшкова, Тютчева, Баратынского, автора книги о Ломоносове, доцента Литературного института Евгения Николаевича Лебедева. Скуластое смуглое лицо, маленькие вдавленные глазки, сиплый смех, чего вам еще? Ну еще: из ноздрей у него торчали длинные колючие на вид волосы. Любимой шуткой другого нашего общего друга, увы, покойного, было при встрече сказать: «Сброй усы!»

Надо ли говорить, что Женя крепко пил. Как-то по пьяному делу он потерял паспорт и пошел в милицию, где спросил: как получить новый паспорт. Мельком взглянув на него, начальник паспортного отдела спросил, при себе ли у него справка об освобождении.

Женя, как обычно, нарезался быстрее всех. И взялся обольщать киноактрису Титову. Был первый в застолье антракт, Гога включил магнитофон, и Лебедев потащил в круг звезду в платье с голыми плечами. Казалось бы, кинодиву должны были оскорбить и Женькины «усы», и потертый пиджак, и весь нетрезвый облик партнера, включая папиросу во рту. Но она оказалась женщиной выдержанной и улыбалась Женькиным шуткам. Человек он был большого незаемного острословия.

Но в бодром состоянии Женя пребывал недолго, и к следующему антракту в застолье, усевшись в просторное кресло, он начал что-то выкрикивать. При этом беспрестанно курил свой беломор, и, дабы не отходить за пепельницей, гасил окурки в надорванном матерчатом подлокотнике кресла. И, не забывая об угрозе возгорания, предварительно густо плевал в место тушения окурка. Вскоре он заснул с тяжелым храпом.

Хозяек – Гогину тетку-грузинку необычайной красоты и жену Оксану, казалось, не слишком заботило поведение Жени. Они много лет были знакомы. Но меры, как оказалось, все же приняли. На веранде неслышно возникла маленькая бледная аккуратная женщина – вызванная по телефону жена бедолаги Лена. Она предложила мне: давай снесем его.

Яркая картина стоит перед моими глазами: по крутой старинной лестнице я тащу на плечах тело Женьки, при этом ноги его в ботинках бьются по ступеням, как у покойника.

...Когда я писал этот текст в 2004 году, Женьки уже не было на свете, он умер в 1997 году, пятидесяти шести лет от роду, а Гога был жив. Но и его на следующий год не стало, умер в шестьдесят два года.

Уходят, уходят друзья, собутыльники, поверенные... все больше их *там*, а я еще *здесь*.

Буду вспоминать, что было.

2017

Олег ЛЕКМАНОВ, Михаил СВЕРДЛОВ

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ: ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ВЛАДИМИР

(Глава из биографической книги об авторе «Москвы – Петушков»)[1]

«Я ушел тихонько, без всяких эффектов», – вспоминал Ерофеев в интервью с Л. Прудовским свое расставание с филологическим факультетом МГУ. На самом деле уйти совсем «тихонько» не получилось. Под разнообразными предлогами Венедикт, сколько мог, не выселялся из университетского общежития, ведь жить ему в Москве было решительно негде. Наконец, администрации это надоело, и 8 февраля 1957 года Ерофеева со скандалом выдворили со Стромынки.

С этого выселения начался долгий период его бродяжничества и ночлегов у друзей, подруг, знакомых и родственников, в общежитиях педагогических институтов и рабочих контор, в съемных комнатах, на дачах, в экспедиционных палатках, а то и просто под открытым небом. «Он по природе своей был очень бездомным человеком», – резюмировал Владимир Муравьев. «“Москва – Петушки” – это то, что вызревало в нем с конца 1950-х», – свидетельствует филолог Николай Котрелев, не в последнюю очередь имея в виду скитальческий опыт Ерофеева.

«Не вино и не бабы сгубили молодость мою. Но подмосковные электропоезда ее сгубили», – отметил Венедикт Васильевич в записной книжке 1973 года. «Лет восемь или десять мы жили в железнодорожных тупиках, – лишь самую малость сгущая краски, рассказывал о второй половине 1960-х – начале 1970-х годов и тогдашнем быте Ерофеева и его компании один из участников этой компании, Игорь Авдиев. – Мы садились в электричку и ехали по старому любимому маршруту, до Петушков. А потом последний поезд загоняли в тупик, и там, в тупиках, приходилось ночевать». Он же вполне убедительно обосновал одну из главных причин, заставлявших Ерофеева в юности постоянно переезжать с места на место и бросать один институт за другим – нежелание служить в армии: «С 1963 по 1973 гг. Венедикт имел работу в СУС-5 – (Специализированное управление связи), пристанище (вагончики, общежития), убежище: на этой работе не требовали прописки и приписки. Последнее место, где гражданин В. В. Ерофеев был прописан, это Павловский Посад, и там же приписан к местному горвоенкомату в 1958 году. После этого “гражданин” (со священной обязанностью перед Родиной) исчез. Можно удивляться, с какой легкостью Венедикт оставляет институты, сам провоцирует изгнание себя из общежитий этих институтов, если только не понимать всей подоплеки этих поступков. Я шел по следам Венедикта и знаю: после исключения из первого института я поступил в следующий, но не мог прописаться в общежитии – уже был объявлен всесоюзный розыск дезертира». Относительно «всесоюзного розыска» Авдиев несколько погорячился, однако прикрепление к военкомату, действительно, было обязательным условием прописки для любого гражданина СССР. А с военкоматами и в те времена шутки были плохи.

Однако в феврале 1957 года до житья в вагончиках еще не доходило. Тогда Ерофеев коротал ночи у своей тети Авдотьи Карякиной, а также у друзей из университета и их знакомых. Тот же Николай Котрелев вспоминает, как Венедикт несколько раз оставался на ночь в коммуналке на

[1] Полностью книга выходит в 2018 г., в издательстве АСТ, в серии «Редакция Елены Шубиной».

Трубной улице, в комнате младшего брата Владимира Муравьева, Леонида (Лёдика), и сосед Лёдика по квартире потом ворчал: «Опять мурма́нский ночевал».

В начале марта Ерофеев устроился разнорабочим во второе строительное управление «Ремстройтреста» Краснопресненского района и получил комнату в общежитии этого треста. На инерционной волне студенческой дружбы сюда к нему несколько раз заглядывали прежние товарищи. «Была осень 1957 года, наш курс жил еще на Стромынке, – вспоминает Юрий Романеев. – Леня Самосейко сказал мне, что у Вени день рождения, и я смог бы его поздравить, только непременно с бутылкой водки. Дал мне Леня адрес, по которому я в вечерней Москве легко нашел новое Венино обиталище. Именинник оказался дома. В комнате было несколько кроватей с тумбочками при них. На Вениной тумбочке возвышалась стопка книг. Это было дореволюционное издание Фета. Кажется, в комнате были и другие жильцы, но в общение с нами они не вступали. И сам я долго не засиделся, поздравил Веню посредством бутылки и вскоре ретировался на Стромынку».

Упоминание про «стопку книг» на тумбочке Ерофеева – это деталь характерная и весьма значимая. Где бы он ни жил, в каких бы трудных условиях не оказывался, его всегда сопровождало множество книг. «У Ерофеева была удивительная способность русского человека к самообразованию, то есть – способность без учителей начитать огромное количество материала, – рассказывает Алексей Муравьев. – Я думаю, что первоначальный разгон у него был такой сильный, что на этом разгоне он много чего освоил. Читал он постоянно». «Ерофеев не был систематически образованным человеком, однако знал очень много и этим знанием не подавлял. Цену себе знал, но держался с непоказной скромностью», – вспоминает Николай Котрелев. «Он всю жизнь читал, читал очень много, – свидетельствовал Владимир Муравьев. – Мог месяцами просиживать в Исторической библиотеке, а восприимчивость у него была великолепная».

Посетила Ерофеева в общежитии «Ремстройтреста» и сестра Нина Фролова: «Я поехала к Венедикту, его проведать. Какой-то мужичок все мне пытался что-то о Венедикте сказать, а Венедикт ему не давал, потому что мама еще была жива тогда, и Венедикт скрывал, что в университете уже не учится. И я помню, вид у него, конечно, был не очень-то... Я ему еще брюки отглаживала».

Совсем по-другому описывает встречу с Ерофеевым и его новыми соседями Владимир Муравьев: «...общежитие его было возле Красной Пресни. Когда я туда пришел, все простые рабочие на задних лапках перед ним танцевали, а главное – все они принялись писать стихи, читать, разговаривать о том, что им несвойственно. (Веничка эти стихи обрабатывал, а потом сделал совершенно потрясающую “Антологию стихов рабочего общежития”. Кое-что, конечно, сам написал.) Я спрашивал у Венечки, как удалось так на них повлиять, но в этом не было ничего намеренного. Он просто заражал совершенно неподдельным, настоящим и внутренним интересом к литературе. Он действительно был человеком литературы, слова. Рожденным словом, существующим со словесностью».

Некоторые из стихотворений, вошедших в «Антологию стихов рабочего общежития», сохранились. Приведем здесь три из них, впервые опубликованные Борисом Успенским.

Автором первого значится Василий Павлович Пион:

Граждане! Целиком обратитесь в слух!
Я прочитаю замечательный стих!
Если вы скажете: «Я оглох!»,
Я вам скажу: «Ах!»

Если кто-нибудь от болезней слёх,
Немедленно поезжайте на юх!
Правда туда не берут простых,
Ну, да ладно, останемся! Эх!

Второе стихотворение подписано псевдонимом «Огненно рыжий завсегдатай», который сразу же и раскрывается – автором числится А. А. Осеенко:

Сегодня я должен О. З. очень заболеть
Чтобы завтра до вечера Л. лежать
Мне очень не хочется С. спать
Но больше не хочется Р. работать

С утра надо выпить К. Д. кило денатурата
Потом пробежать К. Э. Т. километров этак триста
И то, что П. З. М. Ц. Д.
З. С. У. Б. В. С. А. Т.[1]

Жанр третьего стихотворения обозначен как эпиграмма, авторами значатся Ряховский и Волкович, а обращена эта эпиграмма к самому Ерофееву:

Ты, в дни безденежья лакающий цистернами,
В дни ликования – мрачней свиньи,
Перед расстрелом справишься, наверное,
В каком году родился де-Виньи!

Чтобы у читателя не возникало иллюзий относительно достигнутого в случае Ерофеева духовного единения *интеллигента* и *простого народа*, приведем здесь откровенный фрагмент из ерофеевской записной книжки 1966 года: «...мне ненавистен “простой человек”, т. е. ненавистен постоянно и глубоко, противен и в занятости, и в досуге, в радости и в слезах, в привязанностях и в злости, и все его вкусы, и манеры, и вся его “простота”, наконец». Очевидно, Ерофееву были абсолютно чужды как толстовская последовательная программа просвещения «простого человека», так и страстное толстовское желание опроститься самому. Может быть, поэтому он и не испытывал никаких трудностей при общении с «простыми рабочими»? Тон и стиль этого общения попытался передать в своих, к сожалению, чуть беллетризованных воспоминаниях о Ерофееве и Вадиме Тихонове Игорь Авдиев: «Не успели мы шлепнуть по маленькой, в комнату к нам стали всовываться коллеги Вени, работяги. Они были стыдливы. В них не было наглости и панибратства.

– Ну-ну, заходите, суки, – нехотя разрешил Веня. – Нальем им чуток? – Мы с Вадей согласились.

В комнату наползло человек пять-шесть. Что это были за люди? С ревнивым интересом я вглядывался в этих людей. Тихонов всех знал, он работал с ними. С Тихоновым они были на равных. А к Вене они относились с почтением.

Один из работяг, выпив, начал спрашивать у Вени что-то “умное”.

– О дурак! Откуда ты это взял? – отмахнулся Веня.

– Да ты же, Веничка, сам советовал почитать... – виновато промямлил пожилой обормот... – Вот я и взял в библиотеке книгу. – Вот – “Давид Строитель”...»

11 ноября 1957 года Ерофеева уволили из «Ремстройтреста» за систематические прогулы. При этом «Стройтрестовское начальство настрочило на Ерофеева несколько доносов в местную милицию с требованием “принять меры” <...> И милицейское начальство запретило ему покидать место обитания – общагу строительных рабочих в Новопресненском переулке – до рассмотрения

[1] С. 504. «П. З. М. Ц. Д.» Пранас Яцкявичус (Моркус) предлагает расшифровывать как «придется зверски мучиться целый день»), а «З. С. У. Б. В. С. А. Т.» как «зато с утра буду в состоянии абсолютной трезвости».

заведенных на него дел в местном райсуде. Узнав об этом, Ерофеев из общаги спешно бежал и перешел на нелегальное положение».

В начале декабря Венедикт от греха подальше уехал из столицы в украинский город Славянск, где его сестра Нина работала с июня 1951 года в геолого-разведочной партии. На подходе к ее дому Венедикта избили и обобрали два неизвестных хулигана.

С 18 декабря по протекции Нининого мужа Юрия Фролова Ерофеев устроился грузчиком в отдел снабжения местного ремонтного завода. С супругами Фроловыми Венедикт 24 октября 1958 года встретил в Славянске тот свой день рожденья, который описан в «Москве – Петушках»: «... когда мне стукнуло двадцать лет, – тогда я был безнадежно одинок. И день рождения был уныл. Пришел ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна, принесли мне бутылку столичной и банку овощных голубцов, – и таким одиноким, таким невозможно одиноким показался я сам себе от этих голубцов, от этой столичной – что, не желая плакать, заплакал».

27 апреля 1959 года Ерофеев перешел в Славянский отряд Артемовской комплексной геолого-разведочной партии. Здесь Венедикт работал грузчиком весной и летом. «В эту пору он составлял “Антологию русской поэзии”, – вспоминает Нина Фролова. – <...> Любил петь романсы. Научил мою пятилетнюю дочь Лену петь “На заре ты ее не буди”. К моей младшей дочери Марине относился с нежностью. При прощании поцеловал ее, а она заплакала. Хотя, по его словам, он не признавал родственных отношений».

Страсть Венедикта Ерофеева к составлению всевозможных антологий (например, «стихов рабочего общежития» в Москве, или «русской поэзии» в Славянске) вытекала из еще одного основополагающего свойства его личности, которое позднее отразилось и в знаменитых графиках из «Москвы – Петушков». Ерофеев был одержим идеей систематизации всего, что он по-настоящему любил и ценил в жизни, будь то стихотворения русских поэтов, или количество выпитых им каждый день грамм, или найденные в течение лета и осени грибы, или свидания с любимой девушкой. Причем желание все описать и систематизировать не противостояло в сознании Ерофеева хаосу его беспорядочной жизни, а мирно уживалось с этим хаосом.

Вероятно, как раз стремление все-таки продолжить регулярное, систематическое образование (и, конечно, необходимость обрести постоянный кров) побудили Ерофеева 14 июля 1959 года подать документы на филологический факультет Орехово-Зуевского педагогического института. Хотя выбор именно этого института, если верить самому Ерофееву, был осуществлен наобум, куда бог пошлет: «...я бы так и исцвел на Украине в 59-м году, если бы мне один подвыпивший приятель не предложил: вот перед тобой глобус, ты его раскрути, Ерофеев, зажмурь глаза, раскрути и ткни пальцем. Я его взял, я его раскрутил, я зажмурил глаза и ткнул пальцем – и попал в город Петушки <...> Потом я посмотрел, чего поблизости есть из высших учебных заведений, а поблизости из высших учебных заведений был Владимирский пединститут». Что́ и говорить, история замечательная, прямо из «Москвы – Петушков», но и откровенно завиральная. А что если Ерофеев ткнул бы пальцем в какую-нибудь Бельгию, или Аргентину? На каком это глобусе он нашел город Петушки, или хотя бы Владимир? А, главное, если нашел Владимир и узнал, что там есть педагогический институт (откуда, кстати, узнал?), почему тогда документы подал в Орехово-Зуево, а во Владимирский пединститут поступил только в июне 1961 года?

«Когда было Орехово-Зуево, когда – Владимир и все остальное, я уже не разбирал, – рассказывал в своих мемуарах о Ерофееве друг Муравьев. – Он приезжал ко мне и высыпа́л, как из рога изобилия: “Давай я тебе составлю списки русских городов. Ты их читай по-разному: сначала по алфавиту, потом – в обратном направлении”. Из него сыпало все, что угодно: Коломенское, Павлово-Посад, Владимир-на-Клязьме. Он говорил: “Я люблю двойные имена”. Приезжая, сообщал: “Я привез тебе рапорт о достижениях”».

Что́ происходило в жизни Ерофеева в Орехово-Зуевский, а что во Владимирский период перепутать, действительно, немудрено. Стремясь такой путаницы избежать, условимся Орехово-Зуевский отрезок ерофеевской биографии считать прошедшим, в первую очередь, под знаком любви, а Владимирский – под знаком дружбы.

Мемуаристки по-разному оценивают как степень увлеченности Ерофеева противоположным полом, так и степень его собственной привлекательности. Скажем, театровед Ирина Нагишкина считает, что у автора «Москвы – Петушков» не было «эротического куража». Журналистке Наталье Бабасян тоже запомнилось, что «человек он был милый и совершенно асексуальный». А вот ерофеевская племянница Елена Даутова (та, которую он научил петь «На заре ты ее не буди...») рассказывает, что с дядей в пору его молодости «невозможно было идти по улице: проходящие дамы всегда обращали на него внимание». Сам Ерофеев в записной книжке 1966 года признался, что «еще не встречал человека, которого эротическое до такой степени поглощало бы всего».

В МГУ его поглощало чувство к Антонине Музыкантовой. В Орехово-Зуеве в жизнь Ерофеева на долгие годы вошла тогдашняя студентка биологического факультета педагогического института Юлия Рунова.

Существование Ерофеева в Орехово-Зуеве колоритно описано в воспоминаниях Валентины Еселевой, учившейся в тамошнем педагогическом институте в одно время с будущим автором «Москвы – Петушков»: «“П”-образный дом общежития, еще дореволюционной постройки, служил когда-то пристанищем для орехово-зуевских ткачей и имел славное революционное прошлое. Построенный в виде каре, дом имел два этажа и два отдельных входа, справа – для преподавательского состава и слева для студентов. Комнаты прекрасной половины располагались на втором этаже здания. По лестнице, идущей на второй этаж, вы сразу попадали в небольшой угловой вестибюль, где у стен располагались два кожаных дивана, и висела тусклая лампочка. Рядом по коридору был холл, – нечто вроде “красного уголка”, здесь стояла радиола, телевизор и стол для пинг-понга. Здесь всегда было людно.

С первых же дней появления Ерофеева в общежитии его окружает целая свита девушек “всех курсов и возрастов”. Мимо кожаного дивана, на котором по вечерам восседал Венедикт, прогуливается и обменивается с ним короткими репликами почти вся женская половина общежития. Здесь и грациозная как пантера и вся из себя Галя Пантелеева, и хорошенькая математичка Дина Денисенко, и добрые биофаковские тетки: Ломакина, Коргина и Буянкина, ни разу не отказывавшие Венедикту в ссуде денег даже на самые сомнительные цели. Некоторые девушки просто брали над Беном шефство. Соловьева и Давыдова, например, подряжались по очереди стирать и гладить Венедикту рубашки, и делали это так естественно и незаметно, что никому и в голову не приходило заподозрить их в какой-то особенной корысти. А Дина Денисенко, после очередного крутого мальчишника, просто подносила Ерофееву рюмку, другую в открытое окно его комнаты <...> За некоторыми из опекавших Ерофеева девушек, такими как Окунева или Моралина, ходила по институту веселая и нелицеприятная слава. Отличницы на факультете, они были еще и завсегдатаями местного ресторана “Заря”, и Венедикт не раз участвовал в их кутежах. Однажды на вопрос Юлии Руновой: “Что его может связывать с такими, вот, девицами?”, – Венедикт, нисколько не смутившись, ответил, что “он просто попустительствует их распущенности”».

«Юлия Рунова у них была “комсомольская богиня”, – рассказывала Лидия Любчикова. – Она была, кажется, секретарь комсомольской организации, девица с волевым характером, ездила на мотоцикле, стреляла и так далее». Свою первую короткую встречу с Ерофеевым Рунова позднее вспоминала так: «...осень 1959 года была необычно теплой для октября. Я училась на третьем курсе ОЗПИ. Здание института находилось на другом конце города, и студенты, живущие в общежитии, каждый день преодолевали 40-минутный путь до учебного корпуса и обратно.

Рядом с шоссейной дорогой, идущей к мосту через речку Клязьму, пробегает, закутанная в кустарник, узенькая тропинка. По ней обычно никто и не ходит – ну, разве что такие придурки как мы с Ерофеевым.

В тот вечер я шла вприпрыжку, по дороге собирая то ли засохшие цветы, то ли опавшие листья. Неожиданно свет померк, и передо мной выросла необъятная фигура человека. Как вкопанная останавливаюсь, и первое, что я вижу – серые спортивные тапочки, одетые на босу ногу. Медленно поднимаю голову в поисках лица... и никак не могу его увидеть. Не знаю, почему я засмеялась. А он сделал шаг в сторону и пропустил меня дальше...»

Самим Ерофеевым эта встреча была преображена в «сладостную легенду» (пользуясь формулой Федора Сологуба)[1] в сочинении 1962 года под названием «Благая весть», которое, по его собственным словам, «знатоки в столице расценили как вздорную попытку дать “Евангелие русского экзистенциализма” и “Ницше, наизнанку вывернутого”»:

«...и вот явилась мне дева, достигшая в красоте пределов фантазии,
и подступила ко мне, и взгляд ее выражал желание и кроткую решимость;
и – я улыбнулся ей;
она – в ответ улыбнулась,
я – взглянул на нее с тупым обожанием,
она – польщенно хихикнула,
я – не спросил ее имени,
она – моего не спросила,
я – в трех словах выразил ей гамму своих желаний,
она – вздохнула,
я – выразительно опустил глаза,
она – посмотрела на небо,
я – посмотрел на небо,
она – выразительно опустила глаза,
и – оба мы, как водится, испускали сладостное дыхание, и нам обоим плотоядно мигали звезды,
и аромат расцветающей флоры кутал наши зыбкие очертания в мистический ореол,
и лениво журчали в канализационных трубах отходы бесплотных организмов, и классики мировой литературы уныло ворочались в гробах,
и – я смеялся утробным баритоном,
она – мне вторила сверхъестественно-звонким контральто,
я – дерзкой рукой измерил ее плотность, объем и рельеф,
она – упоительно вращала глазами,
я – по-буденновски наскакивал,
она – самозабвенно кудахтала,
я – воспламенял ее трением,
она – похотливо вздрагивая, сдавалась,
я – изнывал от бешеной истомы,
она – задыхалась от слабости,
я – млел,
она – изнемогала,
я – трепетал,
она – содрогалась,
и – через мгновение – все тайники распахнулись и отверзлись все бездны, и в запредельных высотах стонали от счастья глупые херувимы
и Вселенная застыла в блаженном оцепенении».

Свои последующие встречи с Юлией Руновой Ерофеев тщательно зафиксировал в записной книжке декабря 1959 – мая 1960 гг., не забывая о мельчайших деталях, до которых он вообще был большой охотник. На наш взгляд, сегодня эта хроника читается как проза куда более увлекательная, чем претенциозная «Благая весть».

[1] «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я – поэт» («Творимая легенда»).

Процитируем здесь записи за декабрь 1959 года:

«4 дек<абря> – первое столк<новение> В 20-й.
5 дек. – Толки. Вижу, спуск<ается> по лестнице, в оранжевой лыжной куртке.
6 дек. – Вижу. Потупила глаза. Прохожу мимо с подсвистом.
7 дек. – Вижу: у комендантши меняет белье. Исподтишка смотрит.
8 дек. – В какой-то белой штуке с хохлацким вышитым воротничком. С Сопачевым.
9 дек. – Вижу. Промелькнула в 10-ю комн<ату>.
10 дек. – Сталкивались по пути из буфета. В той же малороссийской кофте.
11 дек. – Р<унова> в составе студкомиссии.
12 дек. – У нас с Оболенским сидит два часа. С какими-то глупыми салфетками.
13 дек. – Вижу, прогуливаясь с пьяной А. Захаровой.
14 дек. – Обозреваю с подоконника, в составе комиссии.
15 дек. – В глупом спортивном костюме. Вероятно, на каток. Вечером с Красовским проявляем ее портрет.
16 дек. – Не вижу.
17 дек. – Вижу, прогуливаясь с Коргиным по 2-ому этажу.
18 дек. – Не вижу.
19 дек. – Р<унова> с Тимофеевой у нас в комнате. Пьяно с ней дебатирую.
20 дек. – с дивана 2-го этажа созерцаю ее хождения.
21 дек. – вижу ее с А. Захаровой, студобход. Подклеила Евангелие.
22 дек. – вызывает А. Сопачева.
23 дек. – вижу дважды. В пальто, с Красовским. И столкн<овение> на лестнице.
24 дек. – не вижу.
25 дек. – с Красовским на лыжах едут за елкой, я отказываюсь. Встречаю их по возвращении. В 22-ю. Неужели забыли? Вечером обозреваю ее внизу, сидя с Окуневой.
26 дек. – Серж и Лев у них в комнате. Встречи. Послание к Синичен<ковой>. Р<унова>: “А мне записки нет?”.
27 дек. – Обозреваю Р<унову> и К°, сидя в вестибюле 2-го этажа. Подходит Р<унова> и просит убрать от них постылого Коргина. Отказываюсь. Встаю и иду к Ок<уневой>.
28 дек. – Встретившись на лестнице, не здороваемся.
29 дек. – С Тимофеевой вторгается в нашу комнату в поисках Сопачева.
30 дек. – По сообщению Оболен<ского>, была у нас в комнате около часу, покуда я слушал музыку у Захаровой.
31 дек. – Новый год. Моралина, Окунева etc.»

Откомментируем некоторые из этих записей. Со своим соседом по комнате, студентом биологического факультета Олегом Красовским Ерофеев 15 декабря проявил не один портрет Руновой, а целую серию – приятели тайком фотографировали Юлию, когда она шла на каток. Этими портретами Венедикт потом обклеил всю комнату. С Тимофеевой и Руновой 19 декабря Ерофеев «пьяно дебатировал» о Боге и о Новом завете – «белокаменная» комсомолка Рунова, разумеется, была убежденной атеисткой. Это не помешало Юлии через два дня после спора бережно подклеить рассыпающееся Евангелие, которое Венедикт давал почитать ее подруге Майе Синиченковой. Регулярные обходы комнат Рунова совершала в качестве председателя студенческого совета общежития. На такой визит Ерофеев, по-видимому, и рассчитывал, обклеивая фотографиями Юлии стены своего пристанища – это, конечно, было завуалированное и провокационное признание в любви. Замысел сорвал Красовский, который в отсутствие Венедикта тайно привел Рунову в их общую с Ерофеевым и еще тремя студентами комнату.

Безусловно, нужно иметь в виду, что Ерофеев «был чудовищно застенчив» (как отмечает, например, Алексей Муравьев). Ему, наверное, было куда легче эпатировать возлюбленную,

чем нормально, «по-взрослому» с ней общаться. Однако еще важнее указать, что именно в свой Орехово-Зуевский период Венедикт пришел к пониманию жизни как большого эксперимента, в котором роль главного экспериментатора отведена ему самому. «Возлюбленным его университетским не позавидуешь никак. Тут включались разрушительные силы, – прямо сформулировал Владимир Муравьев. – Близко подошедшие становились объектами почти издевательских экспериментов. А вокруг него всегда был хоровод. Многое он провоцировал. Жизнь его была непрерывным действом, которое он режиссировал, – отчасти сочинял, отчасти был непредсказуем, и все становились соучастниками этого действа». «Он был ужасный экспериментатор, Ерофеев», – вторил Муравьеву Вадим Тихонов.

Впрочем, с декабря 1959 по октябрь 1960 года Венедикт не столько ставил «издевательские эксперименты» с участием Юлии Руновой, сколько как мог и умел за ней ухаживал. То он вступал с Юлией в несколько утомительную игру многих влюбленных на первом этапе отношений – кто кого молча пересидит на общежитском диване (победа осталась за Юлией; Венедикт в час ночи отправился спать). То преподносил Руновой в подарок на день рождения плакат «Ударница Паша Ангелина на своем тракторе устанавливает рекорд по вспашке». То бросал на балкон комнаты, где жила Юлия, букет черемухи вместе с запиской, в которой предлагал вместе ехать на Кольский полуостров на все лето. Ответом Руновой тоже была записка с коротким текстом: «Я не понимаю твоих действий и намерений».

Однако завершилась институтская стадия взаимоотношений Ерофеева и Руновой как раз скандальным экспериментом. Юлия заранее предупредила Венедикта, что 14 октября 1960 года в комнату, где он жил со своими товарищами наведается внеплановая комиссия. Она состояла из проректора педагогического института по учебной части Сергея Васильевича Назарьева, парторга Камкова, коменданта общежития и нее самой. Вот для этих-то незваных гостей Ерофеев и срежиссировал целое коллективное представление, включавшее в себя прослушивание по радио запрещенного «Голоса Америки», молитвы на коленях перед иконами, а также матерную брань в адрес пришедших.

Понятно, что этот спектакль положил конец пребыванию Венедикта Ерофеева в Орехово-Зуевском педагогическом институте и его общежитии: приказом ректората от 19 октября «за академическую задолженность и систематическое нарушение трудовой дисциплины» Ерофеев был исключен из числа студентов. Однако с Юлий Руновой он общаться продолжал. Более того, новый 1961 год Ерофеев и Рунова встречали вместе.

В конце апреля этого года Венедикт устроился грузчиком на строительстве дорожной трассы во Владимире. 25 мая он написал заявление ректору Владимирского педагогического института с просьбой допустить его к вступительным экзаменам на заочное отделение филологического факультета. При этом Ерофеев сознательно умолчал, что учился в МГУ, а свое исключение из Орехово-Зуевского педагогического института объяснил невозможностью «совмещать учебу с работой на товарной станции». Его обман блестяще удался. «Что касается начальства, то Веню оно сначала приняло с распростертыми объятьями, – сообщает Борис Сорокин. – Они увидели, что это человек со стройки (он тогда работал на стройке во Владимире и вдруг подал заявление в пединститут), и посчитали его за самородка. На первом же экзамене он их всех просто ошеломил. И, вместо того чтобы подумать: ага! а не учился ли он где-нибудь? Или это какой-нибудь сын лейтенанта Шмидта? – они <...> его взяли, дали сразу повышенную стипендию. Вот, мол, человек из народа, сверходаренный, на стройке... Его, гения и самородка, надо принять и все такое...»

Сам Ерофеев рассказал о подробностях своего поступления в институт в коротком мемуарном тексте, написанном в 1987 году по «заказу» Натальи Шмельковой («за страницу рукописного текста – бутылка шампанского», – такое условие он поставил подруге): «Июль 61-го. Город Владимир. Приемные испытания во Владимирский педагогический институт имени Лебедева-Полянского. Подхожу к столу и вытягиваю билет: 1. Синтаксические конструкции в прямой речи и связанная с ней пунктуация. 2. Критика 1860-х гг. о романе Н. Г. Чернышевского “Что

делать?". Трое за экзаменационным столом смотрят на меня с повышенным аппетитом. Декан филологического факультета Раиса Лазаревна с хроническою улыбкою: "Вам, судя по вашему сочинению о Маяковском, которое все мы расценили по самому высшему баллу, – вам, наверное, и не надо готовиться к ответу. Присаживайтесь".

Само собой, ни о каких синтаксических конструкциях речь не идет.

– Кем вы сейчас работаете? Тяжело ли вам?

– Не слишком, – говорю, – хоть работа из самых беспрестижных и препаскуднейших: грузчик на главном цементном складе.

– Вы каждый день в цементе?

– Да, – говорю, – каждый день в цементе.

– А почему вы поступаете на заочное отделение? Вот мы все, и сидящие здесь, и некоторые отсутствующие, решили единогласно: вам место в стационаре, мы все убеждены, что экзамены у вас пройдут без единого "хор", об этом не беспокойтесь, да вы вроде и не беспокоитесь. Честное слово, плюйте на ваш цемент, идите к нам на стационар. Мы обещаем вам самую почетную стипендию института, стипендию имени Лебедева-Полянского. Вы прирожденный филолог. Мы обеспечим вас научной работой. Вы сможете публиковаться в наших "Ученых записках" с тем, чтоб подкрепить себя материально. Все-таки вам двадцать два, у вас есть определенная сумма определенных потребностей.

– Да, да, да, вот эта сумма у меня, пожалуй, есть.

В кольце ободряющих улыбок: "Так будет ко мне хоть какой-нибудь пустячный вопрос, ну, хоть о литературных критиках 60-х гг.?"

– Будет. Так. Кто, по вашему разумению, оценил роман Николая Гавриловича самым точным образом?

– По-моему, Аскоченский и чуть-чуть Скабичевский. Все остальные валяли дурака более или менее, от Афанасия Фета до Боткина.

– Позвольте, но как вам может нравиться мнение Аскоченского, злостного ретрограда тех времен?

Раиса Лазаревна: "О, на сегодня достаточно. Я, с согласия сидящего перед нами уникального абитуриента, считаю его зачисленным на дневное отделение под номером один, поскольку экзамены на дневное отделение еще не начались. У вас осталась история и – Sprechen Sie Deutsch? Ну, это для вас безделки. Уже с 1 сентября мы должны становиться друзьями".

Сентябрь 61-го года. Уже четвертая палата общежития института и редчайшая для первокурсника честь – стипендия имени Лебедева-Полянского».

Пройдет всего лишь несколько месяцев, и декан филологического факультета Раиса Лазаревна Засьма горько пожалеет о принятом в июле скоропалительном решении. 27 января 1962 года она подаст отчаянную докладную записку на имя ректора пединститута Бориса Федоровича Киктева: «Настоящим довожу до Вашего сведения, что студент филологич<еского> факультета, гр<уппа> Я-11 Ерофеев В. И. [так! – ***О. Л., М. С.***] во время своего пятимесячного пребывания в институте зарекомендовал себя человеком, душевный, моральный облик которого совершенно не соответствует требованиям, которые предъявляются ВУЗом к будущему воспитателю молодого поколения... Я беседовала с ним подробно 4 раза, предлагала ему конкретную общественную работу. Однако все принятые меры не дали желательных результатов. Ерофеев ведет себя попрежнему и самым отрицательным образом влияет на окружающих. Считаю дальнейшее пребывание Ерофеева в институте невозможным. Прошу Вас принять соответствующие меры». Позволим себе личное воспоминание: когда один из авторов этой биографии в 1995 году, во Владимире, будучи в гостях у прекрасного ученого, либерала и любимца студентов Александра Борисовича Пеньковского, спросил: «А какие воспоминания у Вас остались о студенте Ерофееве?», тот в ужасе схватился за голову.

Во время учебы во Владимирском пединституте Венедикт обзавелся целым эскортом, как он сам их называл – «оруженосцев». Это определение достаточно точно характеризует тип отно-

шений, установившийся между Ерофеевым и его новыми друзьями. Уже в Орехово-Зуеве он с успехом примерил на себя то амплуа, которое в их московской университетской компании было устойчиво закреплено за Владимиром Муравьевым – амплуа всеобщего наставника и признанного арбитра вкуса, насмешливого и категоричного. Во Владимире Орехово-Зуевский опыт был не просто повторен, а усовершенствован – постоянно мучившийся от собственной застенчивости Венедикт в глазах своих «оруженосцев» превратился в непререкаемый авторитет.

Вот как, например, вспоминает первую встречу с Ерофеевым в общежитии Владимирского пединститута Борис Сорокин: «Я робко постучался. За столом за книгой сидел молодой человек. С модным набриолиненным коком на голове, в клетчатом пиджаке и белой рубашке Венедикт показался мне довольно импозантной фигурой. На нем были узенькие, модные тогда, брюки-дудочки. А на ногах, как ни странно – белые спортивные тапочки. Около него дымился эмалированный чайник. В газете угадывалась завернутая буханка черного хлеба, а в маленьком кульке – сахарный песок. И во всем облике сидевшего чувствовались одновременно и бедность и интеллигентность.

Оторвав глаза от "Философских этюдов" Мечникова, Венедикт вопрошающе посмотрел на меня своими маленькими, медвежьими и очень проницательными глазами.

Мы познакомились. Я к тому времени считал себя умненьким мальчиком и взахлеб стал делиться с Ерофеевым своими ощущениями от недавно прочитанной "Диалектики природы". Но Венедикт меня раздраженно прерывает:

– Да что же ты, Сорокин, все мне энгельсовщину да чернышевщину порешь.

– Ну, а что вы можете мне возразить, – не унимался я, – что прекрасное это есть некий образ абсолютной полноты жизни.

– Что могу тебе возразить? – Венедикт интересно пошевелил губами. (В первые минуты знакомства он еще не осмелился меня вслух обматерить). – А вот что, – непринужденно продолжал он. – Иконы византийские, с их многочисленными сценами страшного суда, видел, надеюсь? А ведь это скорее образцы человеческого уродства, где же здесь красота и полнота жизни? Но любой искусствовед тебе скажет, что они прекрасны.

И снова я не знал, что ему ответить.

Во Владимире совсем недавно (в 1960 г.) вышел сборник Андрея Вознесенского "Мозаика", и я начал было читать понравившиеся мне стихи, но снова попал под охлаждающий душ Ерофеевского негодования.

– Не там ты ищешь, Сорокин, ты же совсем не знаешь предшественников его.

И тут же начал меня знакомить с поэзией Серебряного века.

Мы засиделись. Перебирая книги на его тумбочке, я вдруг обнаружил томик Библии.

– Как? – спросил я удивленно, – вы изучаете Мечникова и одновременно читаете Библию?

Его ответ был не менее удивителен, чем все, что было услышано мною за тот вечер:

– Сорокин, Библия, это единственная книга, которую нужно читать. Для меня эта книга есть то, без чего невозможно жить. Я из нее вытянул все, что можно вытянуть в человеческой душе. А тех, кто с ней незнаком, считаю чрезвычайно несчастными и обделенными, в том числе и тебя, Сорокин.

Ушел я от него сильно озадаченный, одновременно с симпатией и страхом».

В первый вечер «озадаченный», а впоследствии безоглядно увлекшийся Венедиктом Борис Сорокин со временем ввел в его орбиту почти всех своих школьных друзей: Андрея Архипова, Валерия Маслова, Андрея Петяева и, наконец, будущего «любимого первенца» из «Москвы – Петушков» – Вадима Тихонова. Они-то и сформировали ерофеевскую свиту. «Человек не успевал оглянуться, как становился его почитателем и рабом, – вспоминал Вадим Тихонов. – Рабом его мысли, его обаяния». В записной книжке 1973 года, обыгрывая название одноименного советского телесериала, Ерофеев назовет Тихонова «адъютантом его превосходительства».

Ерофеевские блокноты этого времени пестрят цитатами не только из Библии и из Ильи Ильича Мечникова, но и из Ницше, а также из Достоевского. «Я постоянно считал себя умнее

всех, которые меня окружают, и иногда, поверите ли, даже этого совестился», – сочувственно выписывает Венедикт признание парадоксалиста из «Записок из подполья». Как о заветном для их владимирской компании авторе вспоминал о Достоевском Вадим Тихонов. «В нем была достоевщина, – констатировал Владимир Муравьев. – У каждого человека есть подполье в душе, чтобы было что преодолевать. И Веничка играл с темными силами, которые выходят из подполья души. Людям, которые подходили к нему на очень близкое расстояние, было нелегко».

Встречаются на страницах записной книжки Ерофеева 1961 года и цитаты из «Бесов». Трудно отделаться от ощущения, что свои взаимоотношения с владимирцами будущий автор «Москвы – Петушков» едва ли не сознательно строил по модели «Ставрогин – участники “пятерки” Петра Верховенского». Во всяком случае, такие ассоциации приходили в голову мемуаристам. «А по манере – ну, чистые бесы, по Достоевскому», – рассказывал о владимирцах Феликс Бух, а Марк Фрейдкин даже сравнил Вадима Тихонова с участником «пятерки» из «Бесов» – Липутиным. «Бесу» из произведения другого великого писателя Тихонов был уподоблен в мемуарной зарисовке Людмилы Евдокимовой: «Вадим этот вообще состоял при нем шутом, эдаким Коровьевым, и думал только о том, как угодить своим балагурством. У Седаковой. Сидит Никита Ильич Толстой, рядом с ним Вадя, щупает его за рукав: “Никита Ильич, а сукнецо-то какое добротное”, все покатываются. Что Толстой ответил, уж не помню. А ведь останься Вадя в своем Владимире, жил бы, кто знает, обычной жизнью, может, и пил бы не так шибко».

Неудивительно, что в мемуарах участников московской университетской компании Ерофеев, как правило, предстает совсем другим человеком, чем в воспоминаниях тех, кто общался с ним во Владимире. Он абсолютно по-разному относился к «москвичам» и «владимирцам» и, по-видимому, дорожил дружбой с первыми гораздо больше, чем со вторыми. Так, приглашая в 1974 году Валентину Филипповскую вместе встречать православное Рождество, он специально оговорил, что «никакой “швали” не будет, а будут только его друг Муравьев, и еще кто-то, но кто именно, не помню», по всей вероятности, Лев Кобяков или Борис Успенский. «Я думаю, настоящих друзей у него было мало, – рассказывала Лидия Любчикова, бывшая некоторое время женой Вадима Тихонова. – Когда он был молодым, я знала, что его самым близким другом был Муравьев. Очевидно, это так и осталось до конца. А все эти “владимирцы”, которые были в молодости, скорее сами дружили с ним, чем Бен с ними. И Тихонов, которому он посвятил “Москву – Петушки”, в общем, другом его, конечно, не был, тут было что-то иное». А ведь Тихонова Ерофеев, «кажется, по-настоящему любил» (свидетельствовал Марк Фрейдкин).

Самое удивительное состоит в том, что до конца непонятно, чем *конкретно* в 1961 году напугали и рассердили администрацию и преподавателей Владимирского педагогического института Венедикт Ерофеев и его пажи. В интервью Л. Прудовскому о своем времяпрепровождении в студенческом общежитии Ерофеев рассказывал так: «Я лежал себе тихонько, попивал. Народ ко мне... в конце концов получилось так, что весь народ раскололся на две части. Вот так, если покороче, <...> весь институт раскололся на попов и на... Там было много вариаций, но в основном на попов и комсомольцев. Этак я оказался во главе попов[1], а там глав-зам-трампампам оказался во главе комсомольцев моим противником. <...> За мной стоит линия, за ними тоже линия. Мы садимся, это я предлагаю садиться за стол переговоров, чтобы избежать рукоприкладства и все такое. Они говорят: давай, садимся. И вот мы садились и пили сначала сто грамм, потом по пятьдесят, потом по сто пятьдесят, потом... и понемногу, ну, набирали <...> Попы с комсомольцами садились тихонько... Ну, одним словом, они занимались делом. А я сидел и чувствовал себя человеком, который предотвратил кровопролитие».

Ольге Седаковой Ерофеев говорил, что «из владимирского педа» «его выгнали за венок сонетов, посвященный Зое Космодемьянской». В интервью И. Тосунян он сообщил, что его ис-

[1] В студенческой среде во Владимире даже ходили слухи, что Ерофеев тайно прислан в город из семинарии для «разложения студентов». – ***О. Л., М. С.***

ключили «за чтение Библии»: «Я Библию тихонечко держал в тумбочке общежития ВПГИ, а те, кто убирали в комнате, ее обнаружили. С этого началось! Мне этот ужас был непонятен, ну подумаешь, у студента Библия в тумбочке!» Такое объяснение звучит не очень правдоподобно, хотя бы потому, что в студенческих общежитиях не было уборщиц, там наводили порядок сами жильцы – дежурные по комнате. Или на Венедикта донесли его соседи по общежитию?

Павел Матвеев в своей содержательной статье приводит фрагменты из доноса на Ерофеева, написанного заведующим институтским кабинетом марксизма-ленинизма Игорем Ивановичем Дудкиным. Преподаватель обвинял студента в том, что он «бездоказательно отвергает коренные принципиальные положения марксизма: основной вопрос философии, партийность философии и т. д.», а далее утверждал, что Ерофеев «не может быть в числе наших студентов по следующим причинам: 1) он самым вреднейшим образом воздействует на окружающих, пытаясь посеять неверие в правоту нашего мировоззрения; 2) мне представляется, что он не просто заблуждается, а действует как вполне убежденный человек, чего, впрочем, он и сам не скрывает».

В записной книжке 1962 года будущий автор «Москвы – Петушков» ретроспективно пометил себе для памяти: «С 30 авг<уста> <19>61 г. – начало непреднамеренного и тихого разложения Владимирского пединститута». В его блокноте 1966 года появилась такая запись, касающаяся и Владимира и Орехово-Зуева: «Стоило только поправить кирпич над входом – рушится весь фасад пединститута».

Покойный Александр Пеньковский в давнем разговоре с нами не слишком внятно изложил зловещую историю о некоем клубе студенток-самоубийц, якобы организованном Венедиктом со товарищи. А Владислав Цедринский, учившийся вместе с Ерофеевым во Владимире и живший с ним в общежитии, рассказывает о причинах изгнания Ерофеева из института так: «Он не был одиозной личностью и начальство ничем не донимал – просто он был абсолютно свободен и поэтому непонятен. А все непонятное угрожает. Его постоянно принимали за некую абсолютную угрозу и формулировали ее для себя всякий по-разному. То это был агент иностранной державы, то это был агент черных демонических сил, то еще кто-то». Между прочим, Цедринского отчислили из Владимирского педагогического института за один только факт приятельства с Венедиктом.

Приказ ректора об отчислении само́го Ерофеева с филологического факультета института был датирован 30 января 1962 года. В объяснительной своей части этот приказ варьировал докладную записку декана. Ерофеев исключался из состава студентов как человек, «моральный облик которого не соответствует требованиям, предъявляемым уставом ВУЗа к будущему учителю и воспитателю молодого поколения». «Серия комсомольских собраний на всех пяти факультетах, – помечает Венедикт в записной книжке этого времени. – Запрещено не только навещать меня, но даже заговаривать со мной на улице. Всякий заговоривший подлежит немедленному исключению из ВГПИ. Неслыханно».

Александр КРЕМЛЁВ

ГОЛОД – ЛЮБОВЬ – РЕВОЛЮЦИЯ

Поэма

Публикация, вступительная статья Георгия Квантришвили

Александр Лоскутов (1898–1938) не пережил Большого террора, при жизни публиковался в изданиях Астрахани, Баку и Самары. До 1924 года как поэт, позднее как прозаик. Собственная книга так и не вышла. Хотя сборник рассказов был подготовлен к печати. В целом объём созданного им невелик. Опубликовано и того меньше. Дебют состоялся в 1915 году, в Первую мировую войну, в которой он, несмотря на малолетство, успел принять участие. Революция и последующие годы не способствовали занятию писательством. Сначала его мобилизуют в Волжско-каспийскую флотилию, затем, как члена партии, бросают на «проблемные участки». Он занимается организацией сельского хозяйства в Кабарде, чернильным производством в Саратове, издательским делом в Самаре. В партийную чистку его изгоняют из партийных рядов, что вряд ли облегчает ему жизнь. Семью из трех детей удается обеспечивать изнуряющим трудом в многотиражных газетах. Газетная текучка отнимает практически всё свободное время.

В юности Лоскутов застаёт волну литературного авангарда. Крупнейшим событием жизни считает знакомство и дружбу с Велимиром Хлебниковым. Разделяя неприязненное отношение учителя к иноязычному термину «футуризм», предпочитает называть себя творянином. Публичные выступления творянина неудачны. Некоторое понимание Кремлёв (псевдоним, принятый к середине двадцатых годов) находит среди участников самарского литературного объединения «Слово». В тридцатых участия в литературной жизни уже не принимает. Нет ни сил, ни желания.

Архив поэта сохранила вдова. Оценить крамольность бумаг расстрелянного мужа она не могла, по причине неграмотности. Но было понятно и так: хранить смертельно опасно. Смертельная опасность над ней и её детьми стала частью жизни, уничтожить архив она не решилась.

Публикуемую поэму Александр Лоскутов считал своим главным поэтическим произведением. Посвященная Хлебникову, она отмечена его явным влиянием. К моменту завершения Александр Лоскутов уже избрал себе литературное имя Александр Кремлёв, этим именем она подписана и здесь.

Опубликовать её в своё время автору не удалось.

Публикатор, познакомившийся с наследием Кремлёва в начале 90-х благодаря дочери поэта Галине Александровне Скрябиной, тогда же публиковал отрывки поэмы в самарском журнале «Кредо-Самара», и в 2011 году – в первом выпуске тольяттинского альманаха «Графит». В полном виде она выпускается в свет впервые.

Поэма сохранилась в двух редакциях. Авторизованной машинописи на восьми пронумерованных страницах. И, очевидно, беловой выцветшей карандашной рукописи на восьми

же длинных листах 70x16 см. Для публикации за основу принят машинописный вариант. Предпочтение рукописной редакции отдавалось лишь в случае явных опечаток и ошибок. Порядок строф частично не совпадает. Знаки препинания в обеих редакциях проставлены, мягко говоря, скупо. Пунктуация выправлена лишь в случаях, когда знак препинания отсутствует в машинописи, но чётко просматривается в рукописи.

«Ё» набрано там, где в машинописном тексте точки над «е» расставлены карандашом. Несколько раз карандашом в нём проставлены и ударения, в публикации они обозначены подчёркиваниями. Города и годы, в которых поэма создавалась, в обеих редакциях отсутствуют, эта информация восстановлена из рукописных пометок в других бумагах архива.

В заглавии поэмы, зафиксированном в бумагах поэта, тире разделяют все три слова заглавия «Голод – Любовь – Революция», в машинописи «Революции» отдано исключительное место: «Голод, Любовь – Революция». В публикации газеты «Коммуна» поэма названа «Революция, Голод и Любовь», что как будто бы по смыслу ближе к машинописной версии. Публикатор взял на себя смелость восстановить заглавие из бумаг, предполагая их более позднее происхождение.

Матросу Каспфлота Велимиру ХЛЕБНИКОВУ

Пляши, остроскалый хохотарь океан
И шлепай в ладоши валов.
Улетает вселинная стая творян
С огуделых твоих берегов.

Перья комет вяжет лава неволь
Машет крыленая радость.
Эй махани в растакую раздоль
В морщины небесной старости.

Звякнут во череп слепых слухачей
Крылья стальнее Икаровых
И промелькнут над болотом очей
Буйных песен отгульных отары.

На плахе плачущих полей
Казнить умерших сто столиц
И на поминки стол столить
Посмертным стоном их цариц

Свинец в венец. Вино кровей
Не в ковшики, а в квашни лей
И только будни будних дней
Взрывая рудни королей –
трудней
нам трудням не жалеть.

В час, когда
балки стружками скорчатся в пасти
огня

Стоны толпы станут стройны и страшны [1]
На обугленных башнях полощется кровь
на господской рубашке

Ночи иструплются лязгами пуль и упорством
Школьника ранец для боевых патрон.
А трон гильотины подножьем станет.
Сталью кострами и ядом вытравят знаки
из библий.

На алтаре задымит котелок с отвратительным
хлебовом
Улыбка плывет океанами слез в колыбели.
И детям игрушкой глазные шары истязанных
врагов
На изготовь...

Это значит идет Революции
Огнерукий Апостол
Террор.

Распорет ли ветер рубаху,
Обомшелая грудь видна,
Как на живую плаху
Голова вознесена.

Борозду звездами мечу
В небе соленых пен,
Шквалы рвутся навстречу,
Беру оробелые в плен.

Молотом воли дробится
На наковальнях Чека
Ушлых столетий столица
Земля – моя мачеха.

В распоротой ветром рубахе
Язва мести больна
Нечего зверству ахать:
Батрацкая боль вольна
[2]
За Стенькину Разину горечь,
За хрипнущих стонов полынь
Миллионами глоток вторить
Вздымая на кичку сарынь.

В распоротой ветром рубахе
Язва мести сильна –
Зовет с необсохшей плахи
Голова Стеньки Разина.

Смерча путь не бывал так отмечен
Хлопьями в пене гребней,
Как на челе человечества
Круговорот наших дней

Сидим во вселенной и кости мечем
Какой нам мир ладнее
И тешимся, только смерть чем
Играет сама бледнея.

Но хищного взгляда ловче
Земля нам пронзила спину
И каменным голодом, вот чем
Нам верные кости разбила

Веками взад отметьте
Наш проигрыш у ней.
Бросать ли горстью медь тем,
как сталью на войне.

И вот пещерный прадед
Правнучий мозг сосет
Игрок на костях проиграл ведь
Добычи голодный кусок.

И все таки кости мечем,
Какой нам мир ладнее
И тешимся, только смерть чем
Играет сама бледнея.

[3]
Морю лава игра ведь
И гравия вал – не берег:
Уберег ветрам забаву,
Уберет баловней громаду.

Кто творянам накидывал вещей узду
Затевать на них езду,
Запутался в путы своих грабежей.

Сердце клыками распорото
Черпай черпаками глаз
Лить в черепов осколки
Солнце угасшее.

Млечный мною путь перепутан,
Взмылены гривы гор –
И вот обезьяний мозг у мудрого
Чавкает сердцем гордого.

Вот оно – черпай ковшами зарниц
Пить океаны стынущей крови:
Это пещерники стонут: «Вернись»
На пепел замытых становий.

А солнца размахи здесь узит улица
И тешет вселенную топор городов.

Удел
Удил –
Храп коня.
Раздавлены
Дали
Долин.
На ладони
Далин
Ковыляй
В ковылях [4]
Мамая
Немая
Орда.
Весь день
Уздень
Зовун
Вызывал
Лукавых
Лукателей
Стрел,
Застреливать
Будни
Степных
Былин
И удить
Людей
В удила.
Холопы
Нахлопали
Дичи
И слопали,
А Мамай
Мамает один.
Стаи
Угрозеня
Стают на озере
Лебединями
Льдин.
И канут
Кануны
И станут

В аулы
Станы
Восстаний
И слав.

А ветер взметелит ордын метеля [5]
Привага, отвага – довольно.
Могута мотыгой грозил буденям
Но схлынули волны веков
И горчак да полынь –
Эта горечь былин,
Черепа – голодов обголодки
Да плесень
С казней и пев и песен
На камне седых молчин.

Едва успел упасть тиран
Еще зияли пасти ран
На переломанных суставах
Усталый раб поцеловал
Покорных хвост ударов

Но в сгибе рабствующих плеч
Предательская месть змеилась
И занесенный визгнул меч
Упасть над сетью сухожилий.

Закалена на взрывах дней
Стальнее гнётся месть во мне
Звеня разит верней.

На баррикадах бар боец
Покорностью обрадует.

Таясь в ярме иди и ты,
Пока пылают фитили
Под мирно спящим динамитом.

На коромысле млечном
Небесного пути
Повесив шарик вечный
И колыбель детей. [6]
И если перевиснет
Оскалясь, труп вчера
Клыками глотку стиснув
Хрипящим вечерам,
Мы кинем головешки
Дымящих кровью тел
И сами вскочим кошкой
На чашки колыбель.

И если перетянут
Нас черепа вчера
С перетянувших стянем
Последнего червя.
Повесим тех, что весят
На заклеённых чашках,
А землю кинем детям
Играть лукавым завтра.

И стряпчий черепки растяпал
И в трещины пастей стекли
Похлебки вотчинных обычаев
Цепями стынущей сопли.

И хоронили в складках равности
Старин холопящие навыки
И надо было по горам нести
Клады задавленного данника.

И внук Батыйских орд отарами
Прошел запенить волны времени
И нам досталось стать татарами
Чтобы бичей узнали гнев они.

А землю к солнцу было утру весть
Умытую в морей рассоле
И тучам бородой седеющим
Страшило перевязь из крови

[7]
Игра была на чётках звезд нова
В ладонях завтра омоложенного
А на прибои жернова
Столетий жвачка пережевана

И только звери многополые
Несут на бедрах ВСЁ вселенной
И даже радости оков они
Как змей раскидывают гневно.

Да голод взволченный как стая
Крутил клыками ось Медведицы
И жизнь идет совсем простая
Тайгою племенной медведице.

[1922–1924]
[Баку-Саратов-Самара]

Денис ЛИПАТОВ

ПРОВОДНИК ИЗ КОТЛА

Александр Кабанов. На языке врага: стихи о войне и мире. – Харьков: Издательство «Фолио», 2017. – 282 с. – (Сафари)

Книга Александра Кабанова «На языке врага» начинается ещё до того, как начинаются в ней стихи. От внимательного читателя, знакомого с современными реалиями российской общественной жизни, если он потрудится прочесть выходные данные на второй странице, не ускользнёт такая «милая» и горькая шутка, просочившаяся, по уверению автора, «самостийно» и являющаяся просто совпадением. Может быть. Но даже если это и совпадение, то весьма знаковое. И горьковатый привкус грустной шутки не исчезает. Итак, в выходных данных читаем: На языке врага / Александр Кабанов – Харьков: Фолио, 2017. – 282 с. Заметили? 282 с. – это, разумеется, количество страниц в книге. Но в сочетании с названием – «На языке врага» – и тем фактом биографии Александра Кабанова, что поэт он по рождению и гражданству всё-таки украинский, а книга на русском – напрашивается и другая расшифровка сокращения с. – статья. Пресловутая 282 статья российского законодательства, предусматривающая ответственность «за разжигание межнациональной розни», как бы честно предупреждают автор и издатели, возможно «светит» всем – и нам, и вам – читателям. Скажете, бред? Кто знает. Ещё четырепять лет назад появление книги на русском с таким названием в украинском издательстве казалось невероятным, невозможным. Теперь даже никому не надо объяснять, почему это стало возможным, что это название означает. Тот грустный случай, когда хочется говорить о стихах, а разговор неизбежно скатывается к политике. Тот грустный случай, когда и читателя и, думаю, поэта нет-нет да вдруг смутит и такой вопрос: а ведь если бы события пошли по-другому и обошлось без войны – возможно, многих из этих стихов и не было бы? Книги с таким названием точно не было бы. Нет, был, конечно, у Александра Кабанова цикл «Русско-украинская война» (и он присутствует в книге), создававшийся ещё 2011-2012 годах, но это была некая «антиутопия», нехорошее предчувствие, попытка «отвести витающую в воздухе беду, заговорить её» – как говорит сам поэт в одном из интервью. Там, в стихах этого цикла ещё не упоминаются ни «иловайская дуга», ни «преданые комбаты», ни «бурят, сымающий унты», ни даже Донецк и Луганск, ни даже сам Майдан и ряд персон, с ним и последующими событиями связанных. То есть это была именно «мрія» (по-русски – «мечта», а нам в украинском слове «мрія» слышится ещё и «морок», «мерещится», т.е. некоторые отрицательные коннотации, которые не слышны в русском слове) – дурная, порочная, не отпускающая, но всё же ещё не воплотившаяся в реальности. Но заговорить, к несчастью, не удалось, сквозь «мрію» проступил 2014 год:

> Нас кто-то отловил и запер,
> прошла мечта, осталась мрія,
> и этот плотник нынче – снайпер,
> и с ним жена его – Мария.
> («Война предпочитает гречку...»)

(Кстати, обратим внимание, что в стихотворении мечта и мрія разделены, противопоставлены, т.е. поэт считает, что это не одно и то же и значения слов – русского и украинского – не вполне совпадают).

Это стихотворение, видимо, не было бы написано. Как не было бы написано и это:

> Снилось мне, что я умру,
> умер я и мне приснилось:
> кто-то плачет на ветру,
> чье-то сердце притомилось.

Кто-то спутал берега,
как прогнившие мотузки:
изучай язык врага –
научись молчать по-русски.

Взрывов пыльные стога,
всходит солнце через силу:
изучай язык врага,
изучил – копай могилу.

Я учил, не возражал,
ибо сам из этой хунты,
вот чечен – вострит кинжал,
вот бурят – сымает унты.

Иловайская дуга,
память с видом на руину:
жил – на языке врага,
умирал – за Украину.
(«Снилось мне, что я умру...»)

– или, возможно, оно имело бы другое продолжение после первой строфы.

Вопрос сам по себе не нов. В год столетия революций можно вспомнить Булгакова, Набокова, Газданова, Платонова, Катаева и многих других писателей, которые, возможно, и не стали бы писателями, или были бы совсем другими писателями – другой темы, если бы всё сложилось не так, как сложилось. Согласились бы мы отказаться от этого пласта литературы, если бы нам предложили «отменить» 1917 год? А Кабанов? Согласился бы он отказаться от своей книги и ряда стихотворений, если была бы возможность «отменить» текущую войну? Вопрос, разумеется, чисто умозрительный, и в практической плоскости – некорректен. По отношению к Кабанову он некорректен ещё и потому, что как поэт он состоялся задолго до событий 2013-2014 годов – «На языке врага» его одиннадцатая книга, и, следовательно, его литературная судьба от этих событий не зависела. И как бы предвидя подобный вопрос и снимая его, поэт включает в свою новую книгу множество стихов, написанных ранее – вплоть до 1991 года. Хотя интересно, наверное, было бы поразмышлять о взаимосвязи развития таланта вообще и того фона исторических событий, в которые он помещён. Всякий ли талант проявится, если этого фона просто нет? Найдёт ли автор в таком случае свою тему? От чего это зависит? От масштаба дарования? Необходимо ли автору быть в самой гуще событий или можно «наблюдать издалека»? Ну, вот Александр Кабанов находится в «самой гуще» событий, и его новая книга, во многом всё же ещё и документ, живое свидетельство. Книга составлена из следующих блоков (блок-постов?): «Выход из котла» (5–58 с.), «Из цикла “Русско-Украинская война”» (60–132 с.), «Стихи разных лет» (135–275 с.). Внутри «Стихов разных лет» обособлены «Приборы для бытия» (158–275 с.). Спешим заметить, что в целом «войны» меньше: 132 страницы против 140 страниц «мирных» стихов, из которых 117 приходится уже просто на «бытие». Т.е. внутри книги «выход из котла», к счастью, состоялся. Очевидно, что в некотором смысле поэт берёт на себя роль не только свидетеля, но ещё и «проводника из котла». Следуя за ним от стихотворения к стихотворению, читатель постепенно добирается до «бытия». Это, разумеется, тоже далеко не «Солнечный» или «Цветочный город», а, например, Брюгге – «город киллеров и лебедей», где одна из насущных проблем та, что «лебеди гадят по всюду от избытка своей красоты», но зато «здесь убийцы-профессионалы не работают, просто живут» – ну, хотя бы так, хотя бы так, и за то уже спасибо – после котла-то – что не работают!

Разумеется, и «котёл» в книге понимается не только в смысле провальной военной операции, но это ещё, видимо, и «плавильный котёл» взаимовлияний русского и украинского языков, миропонимания, русского и украинского взгляда на общую историю. «Плавильный котёл» истории, «плавильный котёл» языков, «плавильный котёл» человеческих взаимоотношений и т.д. И в этом смысле «выход из котла» можно понимать не только как выход из окружения, но и как неизбежный результат этой «переплавки» – что-то, в конце концов, всё равно получится. Вопрос: что и какой ценой? Что будет спасено, а что потеряно?

и полночь – медиатором луны –
лабает «Мурку» в африканском стиле,
я понимал, что люди – спасены,
но, кто тебе сказал, что их простили?
(«Я понимал: избыточность – одно...»)

Кстати, у раздела «Выход из котла» есть подзаголовок, или эпиграф: «Язык не виноват. Всегда виноваты люди».

Но даже и в смысле военной операции понятие котла не локализуется только событиями 2014 года. Например, в этом же стихотворении («Я понимал: избыточность – одно...») упоминаются полицаи и Бабий Яр. Строго не локализуется и география военного котла: это не только Донецк, Луганск, «иловайская дуга» или «аэропорт». «Котёл» – он везде, и прежде всего, как и говорил классик, – в головах: и простых граждан, и «преданых комбатов», марширующих на столичном параде, и президента («Наш президент распят на шоколадном кресте...»), и поэтому – «наша война ещё нагуливает аппетит». А аппетит и котёл тоже находятся где-то рядом. Против этого разгулявшегося аппетита и есть у поэта, похоже, только одно оружие – ирония – подчас очень злая, доходящая то до публицистичности, как в стихотворении «Наш президент распят на шоколадном кресте...», где чуть ли не прямым текстом говорится о личных экономических интересах первых лиц государства как подоплёке происходящих событий:

Наша война ещё нагуливает аппетит
мимо креста маршируют преданые
комбаты,
но Пётр поднимает голову и победно
хрипит:
«82% процента какао, спирт, ванилин,
цукаты...»

– то до фантастического гротеска, как в стихотворении о «первом украинском драконе», где высмеивается болезненное стремление, переписывая историю, постоянно доказывать свою уникальность, особость (когда никто, в общем-то, никаких доказательств и не требует), что наводит на подозрения о мучительных комплексах доказывающих. Апофеозом становится некая «драконья библия»:

А вслед за слонами, поддатые люди
гурьбой,
в татуировках, похожих на вышиванки,
читаем драконью библию: «Вначале был
мордобой...
...запорожцы – это первые панки...»
(«У первого украинского дракона были усы...»)

Слоны, между прочим, появились в предыдущей строфе из драконьего чрева «пританцовывая и трубя “Семь-сорок”». Что это как не комичная полемика с древней шуткой «Россия – родина слонов», которую в патриотическом угаре «поддатые люди» воспринимают всерьёз и пытаются оспорить даже и этот шутовской титул? Дуростью дурь поправ? Так бывает? Бывает, оказывается, и так.

Порою и злость, и гротеск сменяются просто весёлым абсурдом, карнавалом, как в стихотворении «И однажды, пленному эллину говорит колорад-иудей...», где показано, что первоначальный смысл многих одиозных жестов утерян настолько или жесты эти стали до того обыденны, что дезавуированы самими исполнителями: «зигуют», например, все, даже и те, кто вроде бы должен быть историческим и генетическим врагом всех зигующих:

...За оливковой рощей – шахтёрский аид
в огне,
и восходит двойное солнце без балаклавы,
перемирию – десять лет; это кто там
зигует мне,
это кто там вдали картавит: «Спартанцам
слава!»?
«Гиркинсону, шалом!» – я зигую ему
в ответ...

Зигующий Гиркинсон – это уже практически Ильф и Петров. Я, например, расхохотался, когда дошёл до этого места. Обыденность жеста, в этом случае, вовсе не означает обыден-

ность зла, как может показаться на первый взгляд, а скорее напротив – его постепенное изживание (всё-таки в стихотворении «перемирию десять лет»), поскольку никто уже не помнит смысла жеста или, по крайней мере, смысла этого в него не вкладывает. Воля ваша, а «зигующий Гиркинсон», получающий в ответ такую же зигу, да ещё с присловьем «Шалом!» – это очень смешно. Во всяком случае, «зига» от него выглядит комично, абсурдно. А то, над чем посмеялись – перестаёт быть страшным, хотя, оговоримся, не всегда перестаёт быть опасным. Возможно, что здесь присутствует и ещё один пласт: намёк, по сходству фамилий, на «легендарного героя» кампании 2014 года, который по сюжету стихотворения через десять лет перемирия превращается почти уже в фольклорного персонажа, в эдакого «опереточного еврея» или нелепую нежить, которой пугают детей, и всё «геройство» и «легендарность» которого закономерно обнуляются этим издевательским приветствием – «Гиркинсону, шалом!»

Есть здесь место и просто анекдоту:

и пасутся людские стада
под шансон с подневольных небес:
«Я тебя разлюбил навсегда,
потому, что ты против ЕС...»
(«На Днепре, в гефсиманском саду...»)

Но порою поэт доходит и чуть ли не до полного отчаяния и самого настоящего прощания с родиной:

Комиссары нюхали кокаин,
отвыкая от солонины,
больше в мире не было украин,
потому что кончились украины.
(«Комиссары нюхали кокаин...»)

– или даже ей, Родине, упрёка:

И с похмелья каялись устало,
уходили в землю про запас,
Родина о нас совсем не знала,
потому и не любила нас.
Потому, что хамское, блатное –
оказалось ближе и родней,
потому, что мы совсем другое
называли Родиной своей.
(«Отгремели русские глаголы...»)

А в стихотворении «Говорят, что смерть – боится щекотки...», где описывается мистическое соитие со Смертью, это отчаяние разрешается уже просто мантрой: «Смерти – нет, смерти – нет, наша мама ушла на базу...». Этот финал может иметь аж три прочтения: это и формальное сообщение детей о том, что их матери, Смерти, сейчас нет на месте – она ушла на базу; или их же, детей, заговор, отгоняющий беду – они не хотят верить, что мать умерла, боятся в это поверить, пытаются себя уговорить, что она просто ушла на базу; и как зашифрованное сообщение тайны высшего порядка – смерти нет.

Но, конечно, ни иронией, ни гротеском, ни фантасмагорией не исчерпывается поэтика Кабанова. Война эта в первую голову – трагедия. Помнится, накануне событий 2013-2014 годов в сети была распространена такая максима: если русских и украинцев пошлют воевать друг с другом – они встанут спина к спине и начнут стрелять в тех, кто их послал. Не встали. Стрелять стали друг в друга. Потому что и тех и других запросто провели на «мякине патриотизма». А если, например, мякину «русского мира» заменить словами или именами, которые приходят на ум каждому образованному человеку при попытке ответа на простой вопрос «а что же это такое?», то получается вот такое безумие, которое без этого не всегда и опознаётся:

В телеящике, в телемогиле,
на других берегах:
пушкин с гоголем Крым захватили,
а шевченко – в бегах.
(«Этот гоблинский, туберкулезный...»)

Поэзия, как известно, рождается от сопряжения понятий далековатых, а родившись,

дарит читателю чувство практически личного переживания случившегося. Можно без устали повторять «трагедия, трагедия, абсурд, абсурд», а слушатель будет только пожимать плечами или зевать. А можно, сопрягая «далековатые понятия», и так:

Дикий воздух гудел, как пчелиные соты,
где природа – сплошной новодел,
я настроил ***прицел*** и, сквозь эти красоты –
на тебя, ***моя радость***, глядел.

Вот инкуб на суку пустельгу обрюхатил,
опускается ночь со стропил:
жил на свете поэт,
украинский каратель –
потому, что ***Россию любил***.
(«Чистилище»)

Даже не очень важно, что эта за «моя радость», кто это. Важно, что смотрят на неё в настроенный прицел. Думаю, никто не хотел бы оказаться в такой ситуации ни в роли «радости» ни, особенно, в роли того, кто смотрит. А сопряжение пропагандистского клише «украинский каратель» и безыскусного «Россию любил» фиксирует, делает для читателя ощутимее патовую ситуацию лирического героя, «раздвоенности его бытия», схожую с выбором, перед которым часто ставят детей эгоистичные родители: кого ты любишь больше – маму или папу?

Такая «бесцеремонность» поэта, заставляющего читателя и себя самого почувствовать «в котле», кого-то может и раздражать. Но это и хорошо. Поэт и должен быть раздражителем. Даже название книги – «На языке врага» – уже заставляет русскоязычного читателя встрепенуться: «Это ведь на нашем языке, на русском! Это мы, что ли, враги? Как так случилось, почему?» Ведь, чтобы «выйти из котла», сначала необходимо понять, что ты там находишься, а для этого задать себе некоторые вопросы. В книге около 300 стихотворений, и все они в той или иной степени, теми или иными способами (ирония, гротеск, фантасмагория, прямая речь, даже порой и нецензурная) работают на эту задачу. Но самый главный способ – это, безусловно, сама поэзия. И уж, разумеется, не поэту, не проводнику из котла отвечать по упомянутой в начале 282 статье, а тем, кто создал ситуацию, в которой его книга с таким названием стала необходима.

Андрей ПЕРМЯКОВ

«...ССЫЛКА В ГРАНИЦЫ МГНОВЕНИЯ»[1]

Александр Журавский. Слова и травы. Сорок пять стихотворений. – Красноярск: ООО «КрасКонтраст», 2016. – 45 с.

Полиглоты изумляют. Думаю, человек, знающий 20 языков, привлекает больше внимания, нежели человек, способный поднять над головою 200 килограммов металла. Всё-таки, люди приспособили к обращению с тяжестями множество механизмов, а вот налаживать межкультурную коммуникацию по сей день приходится лично.

Впрочем, что такое «знать язык»? К примеру, московский литератор и, как с некоторых пор принято формулировать, «акционист» Вилли Мельников сочинял стихи на ста с чем-то языках. Личностью был яркой, обсуждаемой. Диапазон мнений, естественно, колебался от шарлатана до гения. После его смерти разговоры поутихли, но когда-нибудь любопытный культуролог непременно захочет исследовать этот феномен. Очевиден непременный пункт верификации явления: убедить кого-либо перевести стихи Мельникова с различных языков обратно на русский. Естественно, это должны делать разные и независимые люди, обладающие надлежащей квалификацией. Хотя, скажем, ронго-ронго (не совсем язык, но письменность острова Пасхи) не поддаётся расшифровке до сих пор. Хотя вот Мельников

[1]Клод Бозолей, пер. с фр. Александра Журавского.

этой письменностью сочинял. Словом, время покажет.

Вячеслав Всеволодович Иванов, родившийся на 33 года раньше Вилли Мельникова и на год его переживший, формулировал свои компетенции в области языкознания иначе: «Я не полиглот, конечно. Читать могу на ста, но это не очень сложно. Говорю на всех европейских»[1]. И выпустил ровно одну книгу стихов. Естественно, на русском. Зато опубликовал сотни научных работ, десятки монографий, разработал несколько интереснейших теорий – в том числе, о реконструкции индоевропейского и праиндоевропейского языков. Да, споры о его трудах тоже будут продолжаться очень долго, но носить эти споры будут несколько иной характер.

Вот примерно с такими мыслями о печалях обширного знания я открыл книгу Александра Журавского. Кое-что об авторе мне было известно. К примеру, о том, что чуть более десятком языков он владеет свободно, а ещё на многих читает. И продолжает осваивать молви новые. Конечно, книга его переводов интриговала много прежде знакомства с нею.

Не буду врать, первое впечатление оказалось сугубо детским, эстетическим. Возникло оно от взгляда на обложку, и дальше стало лишь прочней. Работа художника Андрея Москвина вышла безупречной. Хотя к работе этой будет повод вернуться в финале. Впечатление же второе было честным, настороженным. Подобно любому нормальному читателю, после знакомства с выходными данными глянул в финал, где оглавление. Удивился: подзаголовок книги обещал 45 стихотворений, а текстов-билингв оказалось 44! Заподозрив акростих, перелистал. Нет. Глянул первые строчки – возможно, они образуют недостающий текст. Тоже нет. Ладно. Бывают же и просто издательские ляпы. Будем вчитываться.

Удивил первый же текст. Лео Туор. Перевод с ретороманского:

когда солнце пастушье
взрастает
над стадом
пишу я поспешно
твоё имя травинкой
на сети паучьей...

Далее лирический герой по мере восхождения солнца и его склонения к закату пишет сие имя на брюхе неба и коров посохом, кулаками на мокром лугу, а к вечеру забывает. Всё это интересно, но какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?

Во всяком случае, двадцать семь веков назад Стесихор писал сходное:

Уже сын Гипериона сильный
Сбирался взойти во златую ладью,
Чтобы в ней, низойдя океаном,
Побывать бы в пустынности черной
ночи заповедной
(пер. Н. Казанского)

Интернет по запросу «Leo Tuor» показывает, однако, фотокарточку сравнительно молодого человека, 1959 г.р. Человек этот участвовал, к примеру, в Роттердамском фестивале поэзии, что говорит о серьёзном признании. Там сказал своей коллеге-переводчице, что считает себя злом, и её спросил: «А Вы ведь тоже знаете, что Вы – зло?» Она согласилось. Словом, кокет, вроде, такой. А дальше началось интересное. Прежде всего, этот Лео Туор действительно много лет тёплое время года проводит (или проводил), работая пастухом в родных швейцарских горах. Во-вторых, стихи написаны не просто на ретороманском языке, но ещё и на сурсельвском его диалекте. Редком весьма. А в-третьих, наступила идиотическая радость узнавания.

Оказывается, в этом сурсельвском много понятного! Вот «vacca» это ж корова! Отсюда и слово «вакцина» произошло. Или «tiu num». Нет, конечно, без подсказки не догадаешься, что это сочетание слов означает «твоё имя», а вот с подсказкой – догадаешься. Правда ж, похоже на изучавшуюся некогда «к чему-нибудь

[1] Российская газета: Неделя. 15 сентября 2006 г. № 4171.

и как-нибудь» латынь и вообще звучит вполне нейтрально-европейски.

Словом, как писали некогда в школьных сочинениях о прочитанном за лето, «книжка захватила с первой страницы». В данном случае – с первого разворота. Этот томик непросто устроен в полиграфическом отношении. А далее начали сменять друг друга авторы, то снова вовсе незнакомые, то очень известные, как датчанин Хенрик Норбрандт. Входить в ритм его стихов и всей книги это

...будто стать королевским
птицеловом в сказочном мире
где у всех предметов есть крылья
и летают они туда и сюда друг мимо друга
потому как летать так забавно
потому как любят когда их ловят
и вновь выпускают...

Да: ритм и звучание многих стихов книги, записанных латиницей, при минимальных усилиях воспринимаются довольно легко. Но всё-таки на протяжении первой четверти «Слов и трав» цель остается весьма неясной. Порядок, безусловно, не хронологический. Тексты в абсолютном своём большинстве написаны в XX и XXI веках, однако различия в возрасте авторов крайне велики. Вот вполне знаменитый и ушедший из жизни едва ли не тридцать лет назад Роберт Грейвз «устав от единорогов и анчаров» возвращается к воспоминаниям о невольной детской археологии и первой любви, а вот эстонец Хассо Крул, коего не так давно переводил Андрей Сен-Сеньков, вглядывается в большие и малые окна мира едва не до трипофилии[1]:

<...>
Все окна суть отверстия. Все отверстия суть окна.
Тот, кто хочет родиться, выскользнуть должен
через окна людей, окна жизни своей,
мимо окон луны и солнца.

И потихоньку-потихоньку начинает проявлять себя сорок пятое стихотворение. Вернее, возникает мысль о том, что это стихотворение есть совокупность переводов. Очень уж неслучайна логика в последовательности текстов. Да и в их отборе тоже. Всё-таки, длинные списки предметов, перемежаемые более или менее оригинальными метафорами, были характерны для самых разных авторов самых разных эпох: от, к примеру, ирландских филидов до английских поэтов-метафизиков XVII века и наших метаметафористов, но сейчас, кажется, эта традиция не относится к числу актуальных.

Хотя... Вот единственный в книге экскурс в древность совершенно незапамятную. Текст с клинописной таблички III (скорее всего) тысячелетия до Новой Эры. Мы приведём фрагмент из него, но показательный:

...в мечтах получу, во сне замечу
сердце рвётся, ярится печень.
Пусть же, коль наслала это проклятье
Иштар богиня телам влюблённых,
сердце возликует, смирится печень...

Автор за древностию лет неизвестен, но не знай я первоисточника, заподозрил бы в написании пермского поэта Георгия Звездина. Впрочем, он и не отрицает своей любви к архаичным и традиционным поэтическим практикам. Переводы его любимых африканцев с языков суахили и зулу, конечно, присутствуют тоже. Далее как раз зулус, Мбуисени Мчали:

Высоко и низко

Восхитителен мир, который
Человека, подобного хищной
Личинке, своей тушей питает.

Море могуче
Пресное в оболочке
Рыбьего глаза.
<...>

[1] Кто вдруг не знает слово «трипофилия», тут проще показать, чем объяснить. Наберите в любом поисковике «трипофобия» – если увиденное Вам понравится, стало быть, у Вас трипофилия.

Тёмны норы поэтов,
Кротов отрывающих вход,
Не знающих, где будет выход.

Не самая привычная для европейца система образов, море, опресняемое глазом, а ход текста вновь тот же, без семантических и смысловых разрывов. Впрочем, так ли уж далёк человек-личинка, пожирающий мир, от державинского «царя – раба» и «червя – бога»? Так что системы разные, а образы в них, надо признать, сходные.

А чуть далее стихи словака Михая Габая, 1974 г.р., культуролога, специалиста по авангарду и модерну. Кажется, его текст самый длинный в этой книге и явно написанный на рубеже тысячелетий или даже чуть раньше. Когда смешение живых девушек и барышень, обитающих в Сети, ещё было в диковинку:

<...>
эта земля под ногами суть крест что
несём мы
мы склоняем головы и скачиваемся
с интернета
отключаемся и записываемся на дискету
во имя Отца и Сына и Святого Духа Enter

Удивительно, однако, этот текст уже для следующего поколения читателей будет нуждаться в гораздо более подробных пояснениях, нежели любой из приведённых ранее. Вряд ли лет через тридцать многие вспомнят что такое «дискета». Да и клавиши электронных устройств по мере развития сенсорных технологий вполне могут исчезнуть. Рыбы же, облака, ожидания, деревья, ветра останутся почти наверняка. Да и птицы, как символ вот-вот уходящей любви, кажется, будут интуитивно понятными долго. Ну, и понятное дело, барышни, волнующиеся из-за проблем сиюминутных, не обращая внимание на быстропроходящее время, образ вечный тоже. У Габая барышни те отражаются в лазерных дисках (образ, минувший быстро и, оказывается, давно) и растворяются в банкоматах (интересно, что придёт на смену этим устройствам?), древний же грек Алкман обходился более природными средствами:

Тщетно крик все девушки подняли,
Как стая, в которую ястреб влетел.
(пер. В. Вересаева)

Вот так. Книга движется подле вечного, неоднократные нобелевские номинанты продолжают сменяться авторами почти безвестными. Эрик Кассасес представлен стихотворением, где слева от каждого четверостишья размещён катрен-рефрен: стихотворение можно читать без этого катрена, а затем – с ним. Тогда смысл несколько переменяется. В русской поэзии подобное делал Алексей Ржевский, публиковавший к своим творениям инструкции такого рода: «Сонет, три разных системы заключающий: читай сперва весь по порядку, потом первые полустишии, а наконец последние полустишии». Было это, конечно же, в середине XVIII века. Естественно, подобные изыски говорят о некоторой усталости речи. Как показывает опыт – преходящей, впрочем.

Зато суринамец Трефосса входил в литературу, одновременно создавая один из литературных языков своей небольшой и новой страны. Название его креольского наречия по-русски звучит не очень благозвучно – сранантонго, а просодия у него, похоже, красивая. И сонет безупречно-итальянский по типу рифмовки, но русский-русский своим пятистопным ямбом. Тема тоже не кажется слишком оригинальной: лирический герой уходит от «жизни и борьбы» к реке. А там, мол, поживём – увидим, есть ли смысл возвращаться. Это иной вариант освоения речи: сонет написан в середине XX века, написан человеком, разбиравшемся в тогдашнем авангарде, но давшем языку своего начинавшегося государства классический образец.

Количественно среди переводов преобладают верлибры, однако, повторю, не самого радикального толку. Впрочем, к половине своей или даже чуть раньше книга начинает жить отчётливой параллельной жизнью. Переводы складываются в сюжет поэмы. Вот она-то как

раз весьма современная по сути своей. Нелинейная, пунктирная. В последние годы, назло разговорам о гибели крупной формы, появилось несколько очень интересных поэм. Ссылаться на себя нехорошо, вернее, даже очень плохо, но автор этой рецензии какое-то время назад затеял разговор о перспективах длинных поэтических высказываний[1]. Тот разговор хотелось бы продолжить, и книга Журавского – весьма подходящий объект для гипотетического продолжения.

Были когда-то «романы воспитания», так это – поэма воспитания. Ни в коей мере не эпос, вопреки протяжённости. Чистая лирика, где собственный взгляд отражён и умножен сорокачетырёхкратно. Отсюда и выбор текстов, содержащих то нарратив, то весьма пространные размышления. Создаётся эффект непрерывной текучести жизни от юношеской или просто незрелой малоопределённости и несосредоточенности желаний к улетающей вместе с птицами и по определению невечной любви к некоторым твёрдым основам бытия. А основы-то простые вовсе. Ветер – он ведь на самом-то деле неподвижен. Той неподвижностью, о которой говорил Парменид. Вода такова же. Земля это совсем понятно. Хотя и несётся относительно Солнца с линейной скоростью 30 км/с.

Лес – тоже значимая, надёжная основа.

Вот про лес хочется сказать отдельно. Его и внутри книги немало, и завершается книга им. Тут перевод стихотворения Рати Амаглобели надо привести целиком:

Лес

...тот лес был храмом величайшим...

Густ этот лес, но всё светом насыщено,
словно античный он, словно святилище.
Лес вырастает, пожарищем высвечен,
неопалимый, лишь
солнце поднимется. Вечер в молчании
длится, нечасты здесь гости случайные.
Сон нескончаем его, охраняемый
только туманом на
ложе неустланном. Вечны окружности
троп невстревоженных; лучше здесь
дышится,
глубже здесь дышится, дышится
мудростью.
Дышишь и видится –
лес стал пристанищем всякой конфессии:
древо даосское, древо Конфуция
ветви с плодами созрелыми свесили.
Силясь без устали,
лес прорастает корнями словесными,
снами словесными. Всё, что ни сбудется:
злато руна ли, Господня ли лестница, –
лесом озвучится,
эхом озвучится непрерываемым
временно, мысленно, даже
пространственно.
Царство словесности, лес –
государство моё
иностранное.

Довольно много лет назад обычно сдержанный в оценках Михаил Айзенберг высказался о стихах совсем юного тогда Амаглобели, выступавшего на Втором международном фестивале поэтов (Москва, 2001) так: «...стихи распознаются на слух, по звуку, и сложнейшая, выстроенная на смещенных повторах, ритмика грузинского поэта говорит сама за себя»[2].

С распознанием «на слух, по звуку» переводов Александра Журавского, конечно, сложнее. Всё-таки, он переводит очень разных поэтов и следует их просодии. А вот смещённые повторы, ритмика, требующая безупречного вкуса, внятность говорения – безусловно, присутствуют. Это и следование многолетним разнообразным традициям, и попытка преодолеть их, не совершая разрыва.

Далее будет момент довольно циничный. Я, автор этой рецензии, категорически рекомендую представляемую книгу максимально широкому кругу любителей поэзии. Учитывая,

[1] А. Пермяков. Песни долгого дыхания // Арион, 2014. №4.

[2] М. Айзенберг. Оправданное присутствие: Сборник статей. – Москва: Baltrus, Новое издательство, 2005.

скажем так, *современный* её тираж – пожелание моё звучит издевательски. Но вдруг заинтересую какого-нибудь доброго издателя? А нет, так контакты автора при желании можно найти. Хоть он и не особо сияет в социальных сетях. Правда: для знакомства с этим томиком есть масса резонов – сам переводчик, как мы поняли, весьма нетривиален, авторы, выбранные им, тоже стоят близкого знакомства. Жанр, в конце концов, необычен и заслуживает внимания. Ещё раз скажу: поэмы, написанные сходным образом, были, но поэмы, состоящей из переводов, не было, по крайней мере, очень давно.

В финале же традиционно подумаем о перспективах. Конечно, весьма бы хотелось увидеть новые работы Журавского. Человек он молодой, кажется, приближающийся к сорокалетнему рубежу. Оттого его планы могут быть самыми разнообразными. Но желания, озвученные им в разговоре с одним сибирским интернет-ресурсом, крайне порадовали. Оказывается, кроме прочего, Александр хочет перевести «Поминки по Финнегану». В той книге Джойс, напомним, использовал свыше 70 языков. А мы ведь и начали разговор с возможных применений способностей к освоению чужих методов коммуникации.

Только вот... Только вот ещё раз вернёмся к началу этого текста. К моменту, где был упомянут художник Андрей Москвин. Первый проект они с Журавским осуществили в 2009-м году. Сборник «Глина», сообразно названию, имитировал стопку клинописных табличек, скреплённых бечёвкой. «Слова и травы» были анонсированы тогда же и подлежали ещё более изящному оформлению – в виде ленты Мёбиуса. Но тут взмолились сотрудники типографий. У них при всех стараниях задуманное авторами не получилось. Да и хорошо, что не получилось. Зато поэма стала оформленней. С началом и финалом.

Однако работа над книгой заняла восемь лет. Мы представляем, сколько текстов, какого количества авторов и на скольких языках было просмотрено и отринуто. Или тщательно переведено и тоже отринуто. Дабы остались лучшие, необходимые для собственного высказывания.

Это к чему? Это к тому, что следующей книги этого автора, а тем более такой масштабной, как перевод Джойса, мы можем ждать долго. Многие ж вообще не смогли завершить такое дело, хоть и очень старались. В частности, такой нетривиальный человек, как Анри Волхонский «Финнегана» перевести не успел. Но мы будем надеяться. Книги, подобные только что представленной, ещё ведь и терпению учат. Вернее – укрощению времён.

Вячеслав ЛОПАТИН

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАДИЩЕВСКОГО МУЗЕЯ

Памяти Огарёвой Н.В.

Нам, студентам Саратовского художественного училища пятидесятых годов XX века, прекрасно известно о значении Радищева в Великой Октябрьской социалистической революции – он разбудил декабристов, те Герцена, и пошло-поехало. А ещё запомнилось со школы, что Екатерина II считала Радищева бунтовщиком хуже Пугачёва. Имя Радищевскому музею, конечно же, дала советская власть. Не называлась же при царе одна саратовская улица Радищевской, другая именем Чапаева? Театр драмы при царской власти не мог быть назван именем Карла Маркса, а Театр оперы и балета именем Н.Г. Чернышевского. Но преподавательница истории искусства Точилкина Валентина Фёдоровна рассказала, что наше училище когда-то называлось Боголюбовской рисовальной школой и уроки проходили в здании Радищевского музея. Боголюбов-то! Да он внук «того самого» Радищева и основал Радищевский музей. Имя музею присвоено не Лениным и не Сталиным, а с разрешения императора Александра III. Идеей назвать музей Радищевским в честь своего деда Боголюбов поделился с Александром III в 1880 году, когда тот был ещё наследником престола. Великий князь одобрил идею о музее и школе и высказался вполне лояльно по поводу присвоения музею имени А.Н. Радищева: – *А что касается Радищева, то я думаю, что 80 лет, разделяющие нас от его смерти и прощения, оправданы тем, что его мысли освобождения русского народа ознаменованы действительностью и не могут быть помехой, чтоб имя его было известно всем.* – Почему же перестало называться именем своего основателя художественное училище, а художник Боголюбов непопулярен? Объяснение доходчиво – *Боголюбов царя воспитывал.*

Десятью годами раньше Нонна Валерьевна Огарёва, однокурсница Точилкиной, окончила полный курс исторического факультета Ленинградского государственного ордена Ленина университета по специальности «история искусств». Решением Государственной экзаменационной комиссии от 30 июня 1948 года ей присвоена квалификация искусствоведа. – *...во время учёбы... преподаватели Н.Н. Пунин, С. Исаков, Доброклонский советовали ей при возвращении в Саратов заняться А.П. Боголюбовым. ...Партийное руководство не рекомендовало писать диссертацию о «царском прихвостне».* – Л.П. Краснопёрова. Сообщение на конференции в Луганске, посвящённой В. Далю, 2016; Выступление на конференции в СГУ «Междисциплинарные связи в изучении литературы», 2017.

Справка

– *Счастьем моей жизни были и те незабвенные минуты и часы, в которые благосклонная судьба ставила меня в близкие, непосредственные отношения с нашим безвременно почившим Монархом. Эти отношения зародились и держались на почве искусства, его горячей и просвещённой любви ко всему изящному и в постоянном внимании к искусству во всех его видах.* – Боголюбов А.П. Записки моряка-художника / Публикация, вступление, комментарии, указатель имен Н.В. Огарева. Ответственный редактор Л.В. Пашкова. Самара: Издательский дом «Агни», 2006. С. 153.

*

– *Долгое время в годы советской власти имя художника Алексея Петровича Боголюбова было незаслуженно забыто. Это связано с его близостью к императорскому дому. Однако нельзя забыть о той роли, которую А.П. Боголюбов играл в художественной жизни XIX века, о его просветитель-*

ской деятельности. Им был создан Художественный музей им. А.Н. Радищева и Рисовальная школа в Саратове. – Алексей Петрович Боголюбов (1824–1896): Биобиблиографический указатель / Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова; Научный консультант Н.В. Огарёва; Составитель Е.С. Забабурина. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005.

– Музей и школа, основанные по инициативе и на средства А.П. Боголюбова, по существу содействовали становлению провинциальных художественных музеев и школ технического рисования в Харькове (1886), Казани (1895), Нижнем Новгороде (1896), Пензе (1897), Одессе и Киеве (1899), а также открытию художественных отделов при музеях местного края. – С.А. Могилевец. А.П. Боголюбов и Александр III. Из истории отечественного художественного просветительства // Алексей Боголюбов – художник, просветитель, меценат / XIV Боголюбовские чтения. Материалы Всероссийской научной конференции. Саратов: СГХМ имени А.Н. Радищева, 2014. С. 67

*

Нонна Валерьевна Огарёва по направлению Комитета по делам искусства при Совете министров РСФСР с 1948 года работает научным сотрудником Радищевского музея. Её другом становится Антонина Петровна, жена Юлиана Григорьевича Оксмана, после освобождения (десять лет лагерей), получившего разрешение жить в Саратове (с 1947 по 1957 год профессор кафедры истории русской литературы СГУ). Получил это место благодаря поддержке своего друга, литературоведа Г.А. Гуковского, умершего в 1950 году в лефортовской тюрьме. Каково Оксману на Колыме? – *Довезли, сгрузили – «Чего-то мы его везли, он уже мёртвый», – я уже слышу:* – Юлиан Григорьевич рассказывает о себе Ольге Фёдоровне Корпаковой, своей студентке, ровеснице и подруге Огарёвой. Вспоминает Корпакова особенную походку Оксмана – носками внутрь, и объяснение кого-то знающего – *признак человека, тяжело работавшего.* – Оксман один из редакторов юбилейного в шесть томов издания Пушкина 1936 года. Его имя упоминается только в первом томе (тесно связанный по работе с директором издательства Л. Каменевым, судим с ним вместе). Когда Корпакова хотела взять тему Пушкина для диплома, Оксман остерегал: – *Не надо. Надо что-то советское.* –

– ...надо бороться за воскрешение нашего героического прошлого. – Письмо Оксмана Лидии Чуковской. Саратов, 4 июля 1951 года // Знамя, 2009, №6.

Работоспособность Оксмана поражает Огарёву – *...Моя летопись Боголюбова появилась только потому... как он о Белинском работал... Счастье моей жизни, что я встретилась с такими людьми – Гущин, Оксман, Эйдельман. ...Пунин – учил нас видеть вещи и понимать искусство. ...Моё мнение: Боголюбов академический романтик, развившийся до импрессиониста.* – Аудио-видео запись Галины Беляевой. 2000-е годы.

Справка

Н.В. Огарёва. Летопись жизни и деятельности художника А.П. Боголюбова (Посвящается памяти Натальи Ивановны Оболенской, коллеге, учителю и другу, отдавшей полвека своей творческой деятельности Радищевскому музею). – Саратов: Изд-во СГУ. 1988. Тираж 3000.

*

Огарёва продолжает работу Георгия Ивановича Кожевникова по теме Боголюбова и после своего увольнения из Радищевского музея в 1970 году. Ею использованы: – *Личный архивный фонд А.П. Боголюбова – Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, Москва. ЦГАЛИ (Ф. 705. Ед. хр. 106. 1841–1898); Государственная публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград, ГПБ (Ф. 82. Ед. хр. 19. 1881–1896); Государственный Русский музей, ГРМ (Ф. 65. Ед. хр. 2. 1873, б. д.).* – Алексей Петрович Боголюбов (1824–1896): Биобиблиографический указатель... С. 169.

Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина; Государственная Третьяковская галерея, Москва; Институт русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом), Ленинград; Госу-

дарственный художественный музей им. А.Н. Радищева, Саратов; Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР, Москва – ЦГАОР; Центральный государственный исторический архив СССР, Ленинград. – Летопись жизни и деятельности художника А.П. Боголюбова... Стр. 10.

... – Рукопись «Записок моряка-художника» представляла несколько сотен страниц. Только четверть из которых была переписана набело, по предположению Н.В. Огарёвой, рукой А.П. Боголюбова, остальное – в черновиках и разрозненных заметках. Музейных командировок не хватало, Нонна Валерьевна проводила в публичной библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина отпуск за отпуском в течении 20 лет. – Л.П. Краснопёрова. Сообщение...

Расшифрованные «Записки моряка-художника» Боголюбова в расширенном варианте опубликованы впервые в 1996 году в журнале «Волга» – специальный номер (2-3), общий тираж 3800 экземпляров: публикация, вступление, комментарии – 156 сносок, указатель имён – Огарёва Н.В. В 2006 году вышло из печати дополненное издание «Записок...» тиражом 1000 экземпляров: публикация, вступление, комментарии – 205 сносок, указатель имён – Огарёва. Переиздание 2014 года – 1500 экземпляров: публикация, вступление, комментарии, указатель имён – Огарёва Н.В.

Результатом «огласки» в 1997 году к 100-летию училищу возвращено историческое наименование – Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова. Заново «открываем» художника: – *...при царе,* – по словам Огарёвой, – *о приезде известного художника Боголюбова сообщали городские газеты... – Среди его подопечных были и И.Е. Репин, и В.Д. Поленов... Среди его учеников И.И. Шишкин...*

О Радищевском музее и Боголюбове к 2017 году изданы книги, альбомы. Иногда без упоминания имён первооткрывателей, нельзя их забывать!

*

– Огарёва Н.В., рождение май 1925 года, Саратов, бывшее сословие (звание) родителей – служащие. – Анкета. Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 1. Ед. хр. 55.

Так мы и поверили! По общему мнению, Огарёва из дворян. Как же она с мамой живыми остались, если эксплуататоров советская власть искоренила? А потому помилованы, что у них родословная восходит к знаменитому Огарёву – клятва Герцена и Огарёва на Воробьёвых горах (спасибо советской школе!).

– Дворяне Огарёвы? Может быть. Но не прямая... эти роды разветвлённые... – Корпакова.

*

У Нонны Огарёвой перед войной частый гость Ямпольский Борис: школу кончил, а его в тюрьму на десять лет – за что?

Я познакомился с Борисом Яковлевичем Ямпольским в начале шестидесятых. Его афиши в кинотеатре «Победа» лучшие в Саратове. Художником он стал в лагере. Ничуть не уступает профессиональному художнику Евгению Желнову – оба в штате кинотеатра. Евгений окончил СХУ в 1948 году, на год позже Солянова – друзья с детства: Волга, Казачий остров, мечты об искусстве, о себе, будущих знаменитых художниках. Приехавшего на летние каникулы студента художественного института города Тарту Солянова в 1951 году Желнов знакомит с Гущиным: – *Восторженно рассказывает о его живописи. Руками всплескивает, стоял как-то за спиной Гущина, когда тот писал – Володька! Это революция!* – У Желнова дома висит рисунок Гущина «Голова негра» – впоследствии использован для картины.

Справка

Газета «Советская Россия». 1962. 3 августа. «Родники»: заметка о картине Гущина «С тобой, Лумумба», подарена художником МГУ.

У Желнова хорошие задатки. По мнению Солянова, мог Желнов стать лучшим портретистом Саратова: – *Воспринял несколько внешних живописных приёмов, но очень скоро отошёл от Гущина, сделав для себя выбор между призванием, нуждой и идеологическим давлением в пользу «выживания».* – И Гущин, и Желнов болезненно воспринимали разрыв. – *Свинья под дубом! Он думает – всё взял у меня!* – говорил Гущин Солянову. Щегольство «лучших» работ Желнова – «наследие» Гущина. Получил известность, пошли заказы, живи не хочу, но с чего бы спиваться Желнову? Однажды возле кинотеатра – смотрю: стоять прямо не может – под углом стоит Евгений, но! – «при параде»: костюм, рубашка белая, за столб держится, другой рукой галстук поправляет.

А Борис Яковлевич себя художником не считал. За что отсидел десять лет? На переменке расшалились школьники и со стены уронили портрет Сталина. Дали школу кончить, судили «по взрослому». Ольга Фёдоровна Корпакова иначе рассказывает эту историю: – *...было в нашей школе, двенадцатой. Девятый класс, соседний. Организовали – как Пушкин в юности! – литературный журнал, рукописный. А эпиграфом взяли эпиграмму Пушкина на Карамзина: – «В его «Истории» изящность, простота / Доказывают нам, без всякого пристрастья, / Необходимость самовластья / И прелести кнута». – Друг Пушкина Вяземский позднее усомнился в юношеских мечтаниях: – «Часть молодёжи нашей, увлечённая вольнодумством... замышляла... несбыточное преобразование России».*

В Саратове через двадцать лет после Ямпольского Александр Романов со своей студенческой группой «истинных ленинцев» («Группа революционного коммунизма») тоже замышляли преобразовать Россию. Получили тюрьму – не за подрыв советской власти, а за намерение её улучшить. Воспоминания Романова ранее напечатаны журналом «Волга». В 2017 году вышли его воспоминания с комментариями – энциклопедия эволюции инакомыслия при Брежневе. Эта книга о необходимости тюрьмы для уверования Романова в Бога. По Шаламову лагерь даёт абсолютно отрицательный опыт, по Романову тюрьма – путь ко Христу? ...смеем ли сказать «НО»? Кровожадность совместима Попущению Твоему, Господи?.. доколе?

Справка

– Нас будут расстреливать и морить голодом до тех пор, пока мы не покаемся в земском грехе, в измене Государю в феврале 1917 года, пока мы не вернёмся к началам законной богоустановленной власти.

19 сентября 1998 года. ...Конечная цель Общероссийской политической организации «Союз Христианское Возрождение» – восстановление православной монархии через Всероссийский Земский собор по образцу Собора 1613 г. Главное условие восстановления Самодержавия – христианизация народа, воцерковление (после десятилетий богоборческого разгула) её мыслящей элиты – Владимир Осипов. Корень нации. Записки русофила. М.: Алгоритм. 2012. С. 234, 411.

– Думается, что для оказавшегося в идеологическом тупике и состоянии духовной безысходности любого жителя земли, а не только из брошенных коммунистами стран, переориентация с материалистических и фарисейских представлений о природе и устройстве мира и действующих в нем сил на библейскую правду будет не самым худшим выбором. – Калинин Владимир. Апостол Павел и его значение в христианском вероисповедании. М.: Изд-во АСТ, 2005. С. 188.

*

Ямпольский! Читает больше нас, вместе взятых – Пастернак, Мандельштам, Цветаева. По радио гремят имена – Евтушенко, Вознесенский, Рождественский – в Москве люди стадионами собираются, чтобы послушать, – а в Саратове стихи их почитать где? У Бориса Яковлевича! Получаю в руки стопку листочков – недоумеваю: вырезки из газет. Объясняет: государственную печать читать можно безнаказанно, а когда от руки написано или на машинке напечатано, «самиздат» называется, – это подсудно. Рассказывает Борис Яковлевич – всю ночь перед освобождением из лагеря ветеран политзаключённый учил его жить.

Конспирация! Уходим от Жени Ланского: – *Сейчас Ямпольский придёт, будем слушать «Голос Америки». Солженицына читают.* – Навстречу Борис Яковлевич: ни за что не скажет, куда идёт, к кому.

Справка

Женя Ланский, старый друг Огарёвой: семья дала хорошее воспитание, жив остался по малолетству – советская власть истребила мужчин из Харбина. Я с ним работал в Саратовском областном доме народного творчества. Он – штатный аккомпаниатор ОДНТ, я методист по ИЗО-искусству. О том времени – переход от социализма к коммунизму – на удивление не нахожу информации. А звон был! Уменьшение роли денег! Планировалось перевести культуру «на общественные начала». Для начала смотры художественной самодеятельности 1963–1968 годов. А что? Тракторист пашет, а на досуге рисует. Доярка днём на животноводческой ферме, а вечером поёт, пляшет во Дворце культуры колхоза-миллионера. Они бесплатно удовольствие получают, а почему профессиональные артисты зарплату получают? Хрущёв – *...а писателей прикрепить к заводам!* – Коммунизм обещан был к 1980 году. Я, художник цеха № 13 П/Я 68, в 1960 году первый раз лозунг писал – *КПСС торжественно заявляет: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!* – Так жили бы, кабы дали, – я так думал. А Ланский Евгений – юмор без сарказма, авторская песня (теперешняя формулировка жанра) в его исполнении злободневна: – *Потом Никитушка росточком был с аршин. / Он тоже много всяких дел насовершил. / При нем пахали целину, при нем пихали на Луну, / При нем достигли мы сияющих вершин. /... При нем было что и выпить, закусить!* – Тогда был Окуджава, Галич, Высоцкий позже. Много позднее познакомил я Женю с архиепископом Пименом. Благословил Пимен нас – бригаду из четырех человек, Женя фотограф – восстанавливать роспись в барабане Духосошественской церкви. Леса стоят – под куполом церкви Радищевский музей поместится – работа у нас не заладилась. Женя стал секретарем Пимена и священником, – отца Евгения стали звать *саратовским Златоустом.*

Чего скрытничает? – тем же вечером у Николая Андреевича Григорьева Ямпольский читает нам главу из «Архипелага ГУЛАГ». Колхозников фашисты угоняют в Германию – семья добралась до Германии на своей подводе и не разрознилась. А когда Красная армия их освободила – детей в детский дом, взрослых разослали по разным лагерям. Меня цепляет своя память о войне. Моё родное село Бакланово при отступлении немцы сожгли, все жители считались мобилизованными на общественные работы в Германию. Дед мой говорил – *Отогнали обоз от села и стреляли трассирующими пулями по соломенным крышам.* – Село сгорело, остались выселки, вторая церковь деревянная тоже сгорела. Каменный дом один был на всю деревню, – улица называлась Кирпичная. Немцы в Бакланово три года стояли, и в этом кирпичном доме устроен был медицинский пункт – немец фельдшер начальник и два русских врача, пленные. Они и меня лечили. Мать послала сестру Люсю звать на обед. Я сунулся бегом вокруг церкви, а очнулся на минутку у матери на руках, – бежит огородом, плачет, я в крови, а боли не чувствую. Это церковь ремонтировали – немцы разрешили церковь открыть! – и чинили крышу. Меня задело сброшенной с церкви доской – на перевязку потом водили в тот фельдшерский пункт.

Село Бакланово было большое – дед говорил, две тысячи дворов перед войной, а после войны вернулось девяносто семей. Некоторые до Германии дошли, а наша подвода была в обозе первую половину августа 1943 года. Отставать нельзя – караулили своего села полицаи. Один полицай был нашим родственником, всё детство мучил меня с позиции старшего. Я в школе уже учился, когда этот полицай срок получил. – *Заслужил, предатель, так и надо!* – деду говорю. – *Ну какой он предатель,* – говорит дед. – *Исполнилось восемнадцать лет, его немцы мобилизовали.* –

Наша семья – дед, бабка, мать и трое детей. Отец в чине капитана погиб под Сталинградом в декабре 1942 года. Я рождения 1936 года – в обозе с рюкзаком шёл, сестра Люся – 1938 года, сама шла, брат Саша – 1941 года, на телеге сидел или у матери на закорках. Немецкий паёк помню – мобилизованным полагалось?! – сухой сладкий белый хлеб с маргарином. Под Брянском колесо у телеги якобы сломалось, отстали от обоза. Дед говорит, если не староста, и живы бы не остались.

Живём в Орле, в доме сестры моей бабушки. Дед мой Игнатий Прокофьевич Щербаков, с дореволюционной поры сельский учитель русского языка и чистописания, теперь городской учитель. От нашего дома видно тургеневское «дворянское гнездо» – за излучиной речки Орлика. Там возвышение, немцы поставили зенитки, устроили собственное кладбище. Помню это кладбище ещё не разорённое – глыбы каменные с русских кладбищ, обратил внимание на буквы, потом узнал – церковнославянские. Несколько лет после ледохода спадало половодье, и в русле Орлика видны были сброшенные с позиций немецкие зенитки – к моему удивлению, маленькие, а к ним снарядики в ленточных обоймах.

1947 год – голод. Тошнотики – перезимовавшая, случайно не выкопанная прошлой осенью картошка. Картофельное поле – через Орлик, а там люди копаются. А когда травка улицей пошла? – а в траве листики кустиком: лепёшечки зелёные! А рядом Зеленстрой – почки, объедение! Дали под огород участок на противоположном краю города – картошка своя и жить хорошо.

Справка

Учитель Гагарина по радиоделу Сергей Иванович Головачёв – связистом войну прошёл, в Польше дослуживал. В 1947 году в отпуск собрался – в Саратове мать, брат младший: подарков набрал. В магазине продуктовом на пробу взял мешочек, – мука советская расфасованная на восемь килограммов, на двенадцать. Привёз на пробу мешочек с мукой в Саратов – знать бы... Рассказывал эту историю – к слову пришлось, уже в 70-е – Сергей Иванович ещё и самоучка художник.

А в Орле карточки на хлеб отменили. За водой с вёдрами уже не в Орлик ходим – на Первую Пушкарную, потом колонку поставили на углу Третьей Посадской и Второй Пушкарной. На столбах навесили в несколько рядов провода, их всё прибавляется – моё тогдашнее удивление: сколько же их будет? У нас радио – в углу тарелка чёрная. Электричество в наш дом провели – пока не всем, но дед учитель, ему в первую очередь. Уже смешно вспоминаем: бабушка коптилку несла, другой рукой фитилёк ладонью закрывала и за дверью заблудилась – в своей комнате.

Снился много лет центр Орла в развалинах. А в уцелевшем здании уже работал Дворец пионеров. Туда с одноклассником Володей Золотарёвым ходим на занятия – бесплатный кружок по рисованию: бумага, краски-кисти, наглядные пособия, на стенах образцовые учебные рисунки. Занятия ведёт профессиональный художник – Елецкое художественное училище закончил, туда и мы с Володей намылились. На Орлике под Будискиной горой лодочную детскую станцию поставили – спортивные занятия, соревнования, зимой каток с музыкой. – *Вьётся лёгкий весенний снежок, / Голубые блистают огни. / И блестит под ногами каток...* – На ногах валенки, к ним примотаны верёвкой коньки. Будискина гора – по выходным детей видимо-невидимо: лыжи, коньки, салазки. На «дворянском гнезде» – сверху весь город виден! – трамплин для лыжных соревнований – не на том месте поставили: Орлик узкий, после прыжка некуда лыжнику ехать. Несколько лет стоял трамплин.

Справка

– Оценим общие жертвы страны за 1918–1949 годы. В целом за 1918–1949 гг. погибло около 74 миллионов человек. Общее число умерших за 32 года составило 160 миллионов при средней численности населения 162 миллиона. Сменяемость населения оказалась в 2,5 –2,7 раз выше, чем в Западной Европе. В таких условиях не могло быть и речи не только о развитии, но и о сохранении традиций и культуры. – Олег Лебедев. Перечёркнутая Россия // Ж-л «Век XX и мир». 1990. № 2. С. 5.

*

Саратов и Радищевский музей
Хроника

1889 год

...Какую свою школу может создать Саратов? – спрашивали его. И Гектор Павлович Баракки... – Какую школу?.. Благословенная природа этих мест сама подсказывает нам ответ. Цвет неба, прозрачность далей. И чистые звонкие тона, их контраст... Нужно – смелость. Много! ...О, это будет Школа Солнечного Города!.. – Константин Шилов. Борисов-Мусатов. М.: Молодая гвардия, 2000. С. 67.

1919 год

«Музей Нового искусства имени В.Э. Борисова-Мусатова»

...О создании музея «Нового искусства» имени художника В.Э. Борисова-Мусатова. – Газета «Саратовские известия». № 212. Четверг, 25 сентября 1919 г. Арх. СГХРМ. А. и В. Леонтьевы. Оп. № 1. Ед. хр. 12. Записн. книжки с выписками А. и В. Леонтьевых из книг и периодич. изданий с комментариями на 300 листах. Б. д. 9 частей. Часть 8. Лист 47.

Борисов-Мусатов – *Лирическая ветвь русского модерна* (Тугендхольд), Павел Кузнецов, Петр Уткин, Петров-Водкин, Александр Матвеев, Цаплин не отражают – преображают реальность: исток русского авангарда, ориентир устремлённой в будущее иной практики и значения, поиск неизобразимого.

– Исторический опыт развития художественной культуры показывает, что развитие неизобразительных тенденций имеют свою закономерность. Они являются в периоды крупнейших исторических переломов. ...признание невозможности передать глубинные представления о мире с помощью изображения вызывает поворот к архаическим формам и мотивам. – В.М. Полевой. Искусство Греции. Средние века. М.: Искусство, 1973.

– Проблема появления изобразительного и неизобразительного способов отражения действительности... ...человек с помощью одного из этих способов начинает отражать окружающий мир. Ф. Шмит обосновывал появление двух способов отражения действительности социально-историческими причинами. Заслуга его состоит в том, что он стал искать материалистическое решение данной проблемы. – Н.И. Ушакова. Проблемы искусствознания в трудах Ф.И. Шмита // Сб.: Проблемы искусствознания и художественной критики. Выпуск 2. Изд. Ленинградского университета. 1982. С. 191.

1918 год

Тов. Бассалыго: – ...буржуазная культура отвергнута, ряд буржуазных понятий – прилично, неприлично, можно, нельзя – отвергнут. ...Буржуазная литература и искусство одряхлели, ибо по причине «всемогущія, вездесущія и всезнанія Бога» человеку не рекомендовалось дерзать к познанию света истины и правды людской. ...Марксизм – развивающее понятие о человеке, как о господине, божестве, творце. Наши задачи: из искусства прошлого давать народу только то, что ведет народ к освобождению личности, а затем создать свое собственное пролетарское искусство. – Бассалыго. Лекция // Газета «Известия Саратовского военного комиссариата» (дата утрачена). Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 1. А. и В. Леонтьевы. Ед. хр. 148. Крайние даты 1918–1949 гг. Апрель 1. На 63 листах (газетные вырезки).

*

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов

– Неоценённый выдающийся художник двадцатого века. Если бы вышла подготовленная к печати издательством Кнебеля монография о Борисове-Мусатове с текстом Тугендхольда, вся русская живопись пошла бы другим путем. С началом Первой мировой войны прошли «немецкие» погромы

– типография Кнебеля была разгромлена. – Леонтьев Виктор Владимирович. 1963 г. Записал В. Лопатин.

– В особенности, Мусатов был воодушевлен заражающим идеализмом, направляемым немного туманной, но возбуждающей энергию верой в «принципы искусства»; еще утверждал, что эти принципы должны быть конкретизированы в действии, в завершенных картинах, прежде чем создан набор недостижимых идеалов, разрушающих волю художника. – Peter Stuppes. Pavel Kuznetsov. Cambridge University Press. 1989. С. 12-13. Перевод: Марина Сергеевна Савенкова, Валентина Сергеевна Палькова.

– Явление, зародившееся на рубеже XIX–XX века в Саратове и назвавшееся в 1907 году «Голубой Розой»... явилось первым шагом русского искусства за пределы XIX века. Освободив живопись психологически и в большей мере пластически от задач изобразительности, оно открыло путь, по которому вслед за тем пошло развитие русского авангарда. – Гофман И.М. «Голубая Роза» как воплощение понятия «Саратовская школа» в русском искусстве // Сб.: В.Э. Борисов-Мусатов и «саратовская школа». Материалы седьмых Боголюбовских чтений, посвященных 130-летию со дня рождения В.Э. Борисова-Мусатова. Саратов. 11–14 апреля 2000 года. Саратов, 2001. С. 30.

– Одним из первых русских художников, семантически обогативших материал искусства, заставив заговорить собственным языком грунт, мазок, краску, был Борисов-Мусатов. Вслед за ним пошли и художники «Голубой розы». ...Особенности изобразительного языка мусатовской школы легли в основу изобразительного языка авангарда. – Флорковская А.К. Творческий метод художников «Голубой Розы». К вопросу о школе Борисова-Мусатова // Сб.: В.Э. Борисов-Мусатов и «саратовская школа»... С. 114, 120.

1930 год

– 1930 год. Саратовские художники получили инструкцию – организовано товарищество «Художник». – В. Завьялова. Саратовские художники за годы Советской власти. 1947 г. Арх. СГХРМ. Оп. № 4. Фонд Завьяловой. 36 (1). Ед. хр. 22.

1932 год

Лагерь художников

– Постановлением ЦК ВКП(б) положен конец всем формалистическим извращениям в искусстве и все художественные силы в стране были объединены в единый лагерь – Союз Советских художников. ...По-прежнему в техникуме доцветал формализм. В 1934 с приходом нового директора Г.А. Кириленко положение резко изменилось... Формализм, расцветавший в училище все эти годы, был окончательно похоронен. Последний и наиболее яркий его представитель В.М. Юстицкий сошел со сцены и как преподаватель, и как художник, наглядно показав беспочвенность и гнилость основ формализма в искусстве. – Кожевников. Из истории Саратовского художественного училища (к 50-летию основания). Арх. СГХРМ. Ф. 369(1). Оп. № 4. Ед. хр. 16. На 79 листах.

*

Деятельность Бурмистрова на посту директора Радищевского музея: 1938-39 гг.

1938 год

– 23 августа 1938 г. Не выставлять (в экспозиции Радищевского музея) Вебера, Корнеева, Юстицкого. Арх. СГХРМ. Фонд Леонтьевых. Оп. №1. Ед. хр. 29, лист 309.

Вебер. *– В 1938 году Яков Вебер (1870–1958), заслуженный художник автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья (АССР НП, 1924–1941) как «враг народа» был репрессирован и выслан в Казахстан. ...наряду с именами Баракки, Коновалова, Корнеева и других художников, которые стояли у истоков художественного образования в Саратове, обязательно*

должно стоять и имя Якова Вебера. ...творчество Якова Вебера... золотая середина между искусством поздних передвижников и мастеров Союза Русских Художников. Имя Якова Вебера... должно стоять в одном ряду с именами таких известных мастеров пейзажа, как А. Саврасов, И. Шишкин, В. Поленов, В. Васильев, И. Левитан, В. Серов. Вебер – художник-реалист, мастер пленэрной живописи, отталкивающийся от традиций передвижников... – художник, не отрицающий завоеваний импрессионизма в области света и цвета. – В.Г. Хорошилова. Талант от Волги. Художник Яков Вебер (1870– 1958). К 135-летию со дня рождения. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2005.

Корнеев. – *1929 год, 1 ноября был арестован Корнеев Федор Максимович «как неблагонадежный». «Его обвинили в выполнении заказов для монастырей и храмов Саратова, в переписке с П.А. Столыпиным, в дружбе с графом А.Д. Нессельроде, в частых поездках за границу. Библиотека, рисовальные классы, мастерская художника были опечатаны, а все имущество – конфисковано... Художник был осужден по статье 58, пункт 10... Неизвестно, где и когда художник умер.* – Наталья Волкова. Осколок Атлантиды. О жизни и творчестве саратовского художника Федора Корнеева // Ж-л «Православие и современность». 2009. №10 (26), январь-март.

Юстицкий в 1937 году приговорён к десяти годам лишения свободы по статье 58,10 «за контрреволюционную агитацию».

1938 год

– *14 августа 1938 г. Доклад Бурмистрова Полит просвет работа (сектор). «Голубая роза». У нас выплывает как положительное... а так как самое отрицательное (явление). К праздникам Революции. Люди готовятся по настоящему к этим дням. Музей поставлен на службу Советской власти. (а мы с таким отделом Советского искусства далеко уедем?)* – Арх. СГХРМ. Фонд Леонтьевых. Оп. № 1. Ед. хр. 49, лист 309.

1939 год

1939 год, собрание коллектива Радищевского музея. Доклад Бурмистрова

...политическая ошибка показать Врубеля, Мусатова. – Арх. СГХРМ. Фонд Леонтьевых. Оп. №1. Ед. хр. 23.

(Здесь и далее сохранены орфография и пунктуация документов. – В. Л.)

*

1945 год

Отношение к Борисову-Мусатову в Радищевском музее (без Бурмистрова) и в Московском управлении по делам искусств

Бурмистров ещё не демобилизован из Красной Армии, и без него Радищевский музей хотел провести выставку Борисова-Мусатова.

– Октябрь. 27. Опубликовано сообщение о том, что в СГХМ готовится к открытию выставка, посвящённая 40-летию со дня смерти В.Э. Борисова-Мусатова. Будет представлено около 40 произведений. Газета «Коммунист». 1945. 27 октября. – Хроника художественной жизни Саратова. 1874–1980. Саратов: Изд. СГУ, 1988.

Выставка запрещена «сверху».

– В 1945 г. музеем проведена была реэкспозиция зал Русск. ис-ва. II-ой пол. XIX в. и нач. XX в. Макет реэкспозиции 2-ой. пол. XIX в., высланный нами Управлению п./д., частично был не утверждён Управлением. Музею было предложено экспозицию пересмотреть и внести в неё изменения согласно указаний комиссии, созданной для просмотра нашего макета. – Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 144.

*

1945 год

Материалы по проведению юбилея Радищевского музея.

Издать. а) Очерк по истории музея. Тир. 1000 экз.

б) Каталог с илл. – тир. 2000 экз. Поручить Гор. отд. иск.

1. Выставка работ саратовских художников (доревол. и совр.)

...7. Провести в музее научную конференцию. Доклады: Основатель музея – Боголюбов. На конференцию пригласить Засл. Деятеля иск. – сар. худ. П. Кузнецова, Кацмана, Перельмана, Зенкевича и др.

...9. Пополнить собрание музея работами сар. худ. Имеется не мало мастеров, вошедших в историю русск. иск., как например: Борисов-Мусатов, П. Кузнецов, Петров-Водкин, Харламов, Журавлёв и др. а также пополнить собрание музея работами соврем. сар. худ. – Миловидова, Щеглова, Борисова и др.

Советское правительство проявляет большую заботу о наших художественных музеях. Так, государственная дотация в суровое время Отечественной войны увеличилась свыше чем в три раза. В марте 1943 года Саратовский музей им. Радищева был переведён в республиканское подчинение.

Большую роль сыграл Радищевский музей в формировании творчества таких известных в истории русского искусства имён художников-саратовцев как Б.М. Коновалов, в творчестве виднейших мастеров советского изобразительного искусства Уткина, Павла Кузнецова, Жукова и др.

Директор Фомина. – Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 147.

1945 год

Отчёт Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева о проделанной им работе в 1945 году.

За истекший 1945 год Саратовским государственным художественным музеем им. А.Н. Радищева сделано следующее.

I. Полит. просвет работа

1. Музеем в течении года обслужено 53.686 человек зрителей... ...годовой план посещаемости музея перевыполнен на 3.686 человек.

2. В 1045 г. музеем проведено:

а) 138 экскурсий по музею;

б) 64 лекции, беседы по учреждениям и предприятиям города и области.

Лекции и беседы проводились по следующим темам:

А. «Жизнь и творчество худ. И.Е. Репина» 10 лекций. Работа выполнялась Никольской.

Б. «Великие русские худ.-реалисты XIX века /Репин, Суриков/». Работа выполнялась также научн. сотрудниками музея – Лавровой и Хасиной. – 15 лекций.

В. «Героическое прошлое русского народа в изобразительном искусстве». Работа выполнена – Ратнер.

Г. «История возникновения и развития Радищевского музея». Беседа проводилась в связи с 60-летним юбилеем со дня основания музея. Работа по данной теме проводилась как в стенах музея, так и вне его /в школах, госпиталях и ФЗУ/ всеми научными работниками музея. В основу указанной темы легли материалы очерка о истории создания музея, составленного сотр. музея – Кожевников и архив музея.

Д. «Основатель музея им. Радищева – А.П. Боголюбов». Работу проводил научн. сотр. музея – Кожевников.

Е. «Творчество художника Врубеля» /к 35-летию со дня смерти худ. / Проводила Хасина – 2 лекции.

Ж. Сотрудниками музея опубликовано в местной и центральной печати 14 статей и заметок о музее и ценностях его.

Директор музея – И.А. Фомина в апреле выступала по радио с сообщением о коллекции музея и краткой характеристикой их. Выступление это транслировалось по всей Саратовской области. Радиокомитетом Саратова также было позднее передано сообщение о предстоящем 60-летии музея и его основателе – худ. А.П. Боголюбове. Кроме того транслировалось по области статьи научн. сотрудников музея о Репине, Левитане и коллекциях фарфора и стекла музея – Хасиной и Оболенской.

...4. Для широкого оповещения об устраиваемых выставках к открытию каждой из них изготовлялись щиты-рекламы.

5. Этикетаж ко всем открывавшимся в 1945 г. выставкам, а также по экспозиции музея всегда составлялись своевременно и полностью как и намечалось планом 1945 г.

II. Выставочная работа

Музеем на 1945 г. намечалось провести следующие выставки.

1. «Саратовские художники» /в прошлом и настоящем/. Выставка должна была открыться 12/VIII – 45 г. /к 60-летию музея/. Выставка не состоялась в связи с трудностями транспорта военного времени, о чём уже сообщалось в отчёте за 1-полугодие.

2. «Фронтовые рисунки сар. худ. А.И. Бородина». Выставка согласно плану была открыта 1/V. Издана листовка. Макет выставки и листовка были своевременно высланы в Управление иск. при СНК РСФСР. Закрылась выставка 25/VII – 45 г.

3. «Рисунки иностранных мастеров XVI-XIX в.в.» /в собрании Радищевского музея/. Выставка была открыта своевременно. Работа выполнена н/сотр. – Оболенской. Макет был передан Упр. иск. сотрудницей Гос. Третьяковской галлереи – Архангельской.

4. «Русский и Западно-европейский фарфор и стекло» /в собрании Радищевского музея/. По годовому плану данная выставка должна была открыться 7/XI – но от того, что намеченная на июнь выставка «Художники Саратова в прошлом и настоящем» не могла быть осуществлена из за отсутствия материалов, музей заменил её выставкой «Фарфора и стекла», перенеся срок открытия последней с ноября на июль. Работа выполнялась научн. сотр. – Хасиной. Макет был в Управл. п/д. искусств выслан.

Помимо намечавшихся по плану выставок, музеем в истекший год были организованы следующие выставки.

а) Выставка работ худ. Заборовского, экспонировано 152 работы. Открылась выставка 18/II закрылась 25/IV–45 г. Издан каталог выставки. Работу по выставке выполняли – Оболенская и Хасина.

б) Выставка работ сар. худ.-графика – Е.Г. Морозовой. Открылась 1/VIII, закрыта была – 20/X. Макет был выслан своевременно.

в) Выставка летних работ сар. худ. /живопись, графика/. Открылась 7/XII. Работа выполнялась Кожевниковым. Макет выслан.

Намечавшаяся по плану передвижная выставка на тему «Великие русские худ.-реалисты по предложению Волжского Райкома ВКП/б/ была заменена выст. на тему «Героическое прошлое русского народа в изобразительном искусстве». С этой выставкой научн. сотрудник Ратнер выезжала в агит. машине на обслуживание весеннего сева и уборку урожая в колхозы и полевые станы Воскресенского р-на. Сар. обл. Краткий текст беседы и маршрут обслуживания посевной были высланы. Дневник по обслуживанию уборочной кампании прилагается. За проведённую работу по этой выст. музей получил благодарность от Волжского Райкома ВКП/б/ г. Саратова. Макет выставки не сделан, т. к. расположение материалов зависело от помещения, предоставляемого для этого. Всего обслужено 1.500 человек. Данной выст. был обслужен также Детсад г. Саратова. Обслужено в колич. 320 детей.

III. Реэкспозиционные работы.

В 1945 г. музеем проведена была реэкспозиция зал Русск. ис-ва. II-ой пол. XIX в. и нач. XX в. Макет реэкспозиции 2-ой пол. XIX в., высланный нами Управлению п./д., частично был не утверждён Управлением. Музею было предложено экспозицию пересмотреть и внести в неё изменения согласно указаний комиссии, созданной для просмотра нашего макета. В связи с болезнью автора данной экспозиции – т. Кожевникова /обострившимся процессом туберкулёза/ выполнение работы задерживается.

Макет экспозиции Русск. иск. нач. XX в. прилагается. Работа по экспозиции нач. XX в. выполнялась Никольской и Хасиной.

В связи с тем, что помещение Радищевского музея до сих пор полностью не освобождено от

склада радио-приёмников Облсвязи, музей не мог полностью провести намеченную им реэкспозицию русск. отдела.

IV. Музеем в 1945 г. предполагалось подготовить и издать каталог живописи по экспозиции музея. Кат. жив. по экспозиции подготовлен, но из-за отсутствия бумаги он не мог быть издан. К невозможности издания кат. в настоящее время присоединились следующие обстоятельства. Во время пребывания научн. сотр. Радищевского музея в Москве – в октябре 1945 г. инспектором Управления п./д. искусств Л.Е. Зерновой было указано на невозможность издания частичного кат. живописи /только по экспозиции/ и на необходимость составления полного кат. собрания жив. музея.

Из за отсутствия бумаги музеем не выполнено также издание альбома репродукций с лучших произведений музея. Фотографические отпечатки с картин и др. экспонатов для альбома подготовлены.

Работа по составлении кратк. историч. очерка Радищевского музея выполнялась научн. сотр. Кожевниковым. В октябре 1945 г. сотр. музея – Оболенской очерк был передан в Упр. п./д. искусств для его просмотра и указаний со стороны рецензентов. Рецензия музеем до сих пор не получена.

В связи с исполнением в 1945 г. 60-летия со дня основания музея, проведено 12 июля открытое заседание, посвящённое этой дате, на котором сделаны доклады: 1. «История возникновения музея им. Радищева и его основатель – А.П. Боголюбов». Докладчик – научн. сотр. музея – Кожевников. 2. «Коллекции музея»: докладчики – директор музея – Фомина и зам дир. по научн. части – Оболенская.

Реставрация и движение экспонатов.

По плану 1945 г. музей должен был провести реставрацию 5 картин. Работа выполнена рест. музея – Васильевым.

Помимо всех вышеуказанных работ, проделано музеем за истекший год: научн. сотр. музея были переписаны инвентарные книги /вторые экземпляры. Всего переписано 3.500 инв. №№.

Директор музея – Фомина. Зам. директора по научн. части – Оболенская. – Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 144.

*

Сталинская забота о создании изобилия духовной культуры в нашей стране

– 14 и 16 августа 1946 года: постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» и «О кинофильме «Большая жизнь»: «...являющиеся выражением сталинской заботы о создании изобилия духовной культуры в нашей стране». – Редакционная статья «На пути к советской классике» // Ж-л «Искусство». 1951. Сентябрь-октябрь.

*

1946 год

23.09. – 46 г. Повестка дня: Конкретные мероприятия нашего музея в свете решений ЦК ВКП/б/ о перестройке работы и доклада тов. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград».

И.Д. Бурмистров, директор музея делает доклад о вышеупомянутом решении ЦК ВКП/б/ и о работе музея.

Постановляем. 2. Для повышения политического уровня считать обязательным для научных работников посещение марксистско-ленинского университета; для техперсонала организовать систематические читки газет. 4. Усилить работу по широкой пропаганде русского реалистического искусства, в особенности советского, для чего А) Провести ряд лекций с организованным зрителем (школьниками, студентами, учителями и друг.) – Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 149.

1946 год

Отчёт Радищевского музея за 1946 год.

Полит. просвет работа.

в) Лекция «Героическое прошлое русского народа в изобразительном искусстве» – Ратнер. Данная лекция была прочитана по предложению Обкома ВКП/б/ в связи с перевыборами в Верховный Совет СССР. Текст лекции был просмотрен и одобрен лекционным бюро Обкома ВКП/б/.

Тексты всех лекций были посланы в Москву в прошлом году. В связи с предстоящими перевыборами в Верховный Совет РСФСР намечавшаяся в 1946 г. лекция о жизни и творчестве худ. Тропинина заменена лекцией «Прошлое и настоящее русского народа в изобразительном искусстве.

Выставочная работа.

в) Выставка работ Боголюбова в связи с 50-летием со дня смерти. 132 произведения живописи. 52 акв., рис. – Кожевников. Научно исследовательская работа. Каталог выставки Боголюбова. – Кожевников.

Музеем были организованы четыре передвижные выставки:

а) «Героическое прошлое русского народа в изобразительном искусстве».

б) «Великие русские художники-реалисты».

Данные две выставки были проведены по предложению Горкома и Обкома в связи с перевыборами в Верховный Совет СССР в Ново-Бурасовском и Базарно-Карабулакском районах Саратовской области. Текст лекций и дневника был выслан с отчётом за 1-е полугодие – Ратнер и Никольская.

в) Во время посевной и уборочной компаниях было организовано выставки на тему «Великие русские художники-реалисты: – Лаврова и Никольская. Дневник Лавровой был своевременно выслан. Копия дневника Никольской прилагается.

Научно-исследовательская работа.

Работа по составлению исторического очерка Радищевского музея закончена – Кожевников. Каталог выставки Боголюбова составлен – Кожевников. – Арх. СГХРМ.Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 153.

*

1946 год

Отношение к Боголюбову в Радищевском музее: картины художника Боголюбова не могут не быть в экспозиции Радищевского музея; сотрудники музея не могут не готовить к печати альбомы с репродукциями картин Боголюбова, о нём пишут статьи.

– Кожевников Г.И. «А.П. Боголюбов: (К 50-летию со дня смерти)». Газета «Коммунист». 1946. 17 ноября // А.П. Боголюбов. Биобиблиографический указатель...

– Кожевников. «Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева». Краткий исторический очерк. Статья напечатана в альманахе «Литературный Саратов» за 1947 г. – Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 161.

– Музей и школа воспитали не одно поколение известных русских художников с большим именем. Этим Саратов обязан прежде всего трудам и деятельности А.П. Боголюбова. Боголюбов первым в России понял необходимость создания в отделённых от центров городах постоянных очагов художественной культуры для поднятия общего уровня в широких слоях населения. «Поддерживать и развивать искусство может только одно: народные музеи, которые следует основать во всех больших городах. Необходимо во всех отдалённых городах России организовать художественные музеи. Пока их не будет, не будет настоящего искусства». – Писал И.Е. Репин в одном из писем к Стасову в 1874 году, познакомившись с вопросом организации Боголюбовым художественного музея в Саратове. – Георгий Иванович Кожевников. Черновой вариант «Очерка художественной культуры Саратова». 1946 г. Архив СГХРМ. Фонд 369. Оп. № 2. Ед. хр. 160. Лист 143-144.

Отношение к Боголюбову в московском отделе учреждений изобразительного искусства:

– Из недостатков статьи по материалу, охватывающему дореволюционный период, следует указать излишнюю переоценку личности и влияния Боголюбова. – Старший инспектор Отдела уч-

реждений изобразительного искусства Л. Зернова. Рецензия на статью научного работника т. Кожевникова. 23 марта 1946 г. Арх. СГХРМ. Ф. 369. Ед. хр. 159.

*

1946 год

– Последние работы Щеглова импрессионистичны, в них много света и воздуха. «Окраины Саратова» (приобретены Третьяковской галереей). – В.Ф. Гуров. Наши пейзажисты // Газета «Коммунист». 1946. 28 апреля.

1946 год

Из Москвы запрос в художественное училище: поддерживает ли коллектив училища кандидатуру Щеглова на государственный «пансион», чтобы ему полностью отдаться искусству. Не поддержали. – *Завуч Никитин Владимир Ильич отвечает на запрос: умелый, тактичный, за тридцать лет выучил всех молодых художников Саратова – без Щеглова пострадает учебный процесс.* – Рассказал с горечью Щеглов. Записал Лопатин. 1962 год.

*

1947 год

Письмо Кожевникова Нач. гор. отдела искусств Садковому от 23.VI–1947 г.

Тема «Развитие художественной жизни Саратова в области изобразительного искусства на протяжении 50-60 лет».

Заключение В. Завьяловой, инспектора Гор. отд. искусств от 25.VI–1947 г.

Представленные материалы представляют огромный интерес и являются первой попыткой сделать систематический подбор материалов, характеризующих итоги развития художественной жизни г. Саратова. – Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 160.

1937–1946 годы

– Образовалось как бы два центра художественной жизни города Саратова – Художественное училище и Товарищество «Художник»... Во главе организации стал тов. СЕЛЬКИН В.А., вдумчивый и деловой товарищ. Его ...непонимание... принципиальной разницы между производственной и творческой продукцией приводят к глубокому разладу между художниками, работающими в Товариществе и художниками-педагогами, работающими в Художественном училище. ...Производственная продукция была очень низкого качества... художники... ГУРОВ В.Ф. и ЩЕГЛОВ И.Н. не считали нужным бывать в Товариществе «Художник». ...Противостояние закончилось... В 1946 году... во главе «Товарищества» впервые за всю его историю... стоит председатель – художник творческого характера – коммунист тов. БОБРОВ Б.П., а его заместителем также художник творческого характера и коммунист МОЩЕНКО В.Ф. – В.Ф. Завьялова. Саратовское Товарищество «Художник». Арх. СГХРМ. Фонд Завьяловой. 369 (1). Оп. № 4. Ед. хр. 17. «Документы (доклады и статьи Завьяловой), связанные с художественной жизнью Саратова. 1946-1957 г.г.» на 76 листах.

*

Москва, 1947 год

Из экспозиции Государственного музея изобразительных искусств (имени А. С. Пушкина с 1937) убрали картины импрессионистов (на их месте до 1953 года расположился Музей подарков товарищу Сталину).

1947 год

– ...чтоб с сегодняшнего дня ни слова об импрессионистах! – Завуч СХУ Никитин В.И. преподавателю Щеглову И. Н. 1947 г. Рассказывает Щеглов, записывает Лопатин. 1962 г.

*

1947 год. 17 февраля

Собрание саратовских художников, посвящённое обсуждению выставки в свете решений ЦК ВКП/б/ от 14 и 26 августа 1946 года

На собрании 39 художников, присутствуют Начальник городского отдела по делам искусств – Садковой Н.П. и Заместитель Нач. горотдела – искусствовед Завьялова В.Ф.

Отчётный доклад. МИЛОВИДОВ Б.В. Председатель Областного Союза Советских художников – ...определяющие ту линию в советском искусстве, которая нужна нашей партии, нашему правительству, нашему народу. ...Наш пейзаж «большею частью случаен, этюден, примитивно отражателен, а не поднят до звучания большого волнующего чувства» (Манизер). ...Театрально-декоративные работы представлены в значительной мере и хорошего качества (Кисимов, Севастьянов). У Маневича есть труд, но труд этот не закончен: «Еврейское ИЗО-искусство».

БОБРОВ Б.П. Председатель Правления товарищества «Художник» – О Щеглове – Большим недостатком в его работах, даже пейзажного характера, является натюрмортный подход к явлениям. Он смотрит на небо, на воду и на всё остальное, как на натюрморт, просто как на цветовое явление, как на предлог для решения своих лабораторных проблем цвета. Для него всё равно, что писать, главное для него музыка цвета.

ГУРОВ В.Ф. Художник, преподаватель СХУ – ...наша задача не только писать ради удовольствия, ради какого-то эстетического чувства. Миловидов ...или не видит, или не хочет видеть новое в нашей жизни. Щеглов – ...Хороший, тонкий живописец, но на декоративной почве, у него есть некоторая безразличность к выбору темы. Надо...забывать уже гнилое прошлое. У нас должна быть элегия, лирика, но на полезной основе, не на такой, как в голубой розе «Мира искусства», как было у рафинированных художников, которые сидели и мечтали.

ЩЕГЛОВ И.Н. Художник, преподаватель СХУ – Все ли вещи у нас являются качественными? ... наличие сыроватости. ...«Волга» – мне говорят, у этой вещи нет величия реки Волги. Когда я писал, у нас не было в наличии разрешения писать, я сел, меня берут под ручку и ведут куда надо... Я пишу то, что можно писать.

КУЛАГИН Л.М. Художник – Но в нашей выставке есть одно хорошее – это то, что на ней нет формалистов...

МОЩЕНКО В.Ф. Художник – ...Формалистических произведений здесь у нас нет, но формалистический подход у нас есть, товарищи. Такие порочные вещи, как этот натюрморт (Миловидова), как раз и осуждает ЦК ВКП(б). О Щеглове – *...не поёт новых песен. Он живёт старыми песнями. Он поёт всё ещё про покосившиеся хатки, кривые заборы, захолустные местечки.*

ДАНИЛОВ В.К. Художник, преподаватель СХУ – ...выставка эта очень красноречиво и убедительно доказывает нашу беспомощность. Почему же дело обстоит плохо? Сами художники объясняют это тем, что во время войны позволительно было несколько снизить качество работы... Попробуйте вы, ссылаясь на военное время, снизить качество на каком-нибудь производстве, попробуйте выпустить плохой миномёт, плохой пулемёт. Если вы директор такого завода, вас повесят за это и правильно сделают... Пытаются обвинить Миловидова чуть не в голубой крови... хотя там просто изображены красивые вещи... Тов. Гуров! Вы пытались на работе Миловидова доказать здесь чуждую идеологию и голубую кровь.

САЛТЫКОВ К.М. Художник – ...большинство саратовских художников – это люди, с которыми считаются, которых контрактуют, которые едят пайки, а в результате получается, что корм на них зря затрачивается.

МАНЕВИЧ И.А. Секретарь Областного Союза советских художников, искусствовед – ...находятся среди нас товарищи, которые говорят: – «Зачем трудится, талант, мол, вывезет.». Это неверно... Труд является верным, преданным помощником таланту. Пора осознать, что «чем больше талант, тем больше знанием и умением должен он обладать» (П. Чистяков). Наше советское искусство – искусство высоких идей. Но большие идеи можно решать только при наличии высокого профессионального уменья, большого художественного мастерства. Мы должны запомнить, что

значительные идеи, облеченные в несоответствующие формы не мобилизуют зрителя, а оставляют его холодным, равнодушным.

ЗАВЬЯЛОВА В.Ф. Зам. Начальника городского отдела по делам искусств, искусствовед: ...недостатком пейзажей Щеглова, Миловидова и многих других является отсутствие тех образов, которые имеются в нашей саратовской действительности...

ШИХАНОВ И.В. Директор СХУ – ...я не согласен с Гуровым, что во время войны можно было кое-как работать. Можно ли вообще в области изобразительного искусства работать кое-как.

Стенографический отчёт: Обсуждение выставки. Ответственный за выпуск В.Ф. Мощенко. – Арх. СГХМ. Оп. № 4. Ед. хр. 19.

1947 год, 19 февраля

– В Саратовском отделении Союза есть художники, в творчестве которых явно выражено преклонение перед формалистическими приёмами западного буржуазного искусства. Так в станковой живописи художника Кисимова все еще не изжиты элементы формализма... Непонятно, почему тов. Кисимов пренебрегает советской тематикой. ...Севастьянов: «Спортивный праздник на Волге» – идёт от формалистических буржуазных живописных течений. ...Миловидов: он экспериментирует в технике. ... Работники искусств должны понять... легко могут оказаться за бортом передового советского искусства и выйти в тираж. – В.Ф. Завьялова. За высокую идейность изобразительного искусства // Газета «Коммунист». 1947. 19 февраля.

– В решении образов вождей нашей партии мы нашли правильные эстетические принципы, показывая вождей в тесном сотрудничестве с народом, в тесном творческом соприкосновении с народом, отображая образы наших вождей, как людей рождённых народом, претворяющих лучшие чаяния народа в своей творческо-организационной руководящей работе. – В.Ф. Завьялова. Доклады и статьи В.Ф. Завьяловой, связанные с худ. жизнью г. Саратова. 1946–1957. Арх. СГХРМ. Ф. 369 (1). Оп. № 4. Ед. хр. 17. Лист 12.

*

1947 год

Протоколы заседаний научных работников Радищевского музея.

21 февраля 1947 г. Кожевников ставит вопрос о напечатании своей работы о Боголюбове. Постановлено включить это в план на 1947 г.

Оболенская зам. дир. по научн. работе: – 30-летие советской власти (7 ноября 47 г.) в ознаменование чего Н.И. предлагает приготовить в этом году лекцию о худ. лауреатах Сталинской премии и открыть 7/X в музее выставку советского плаката.

Совещание 2 марта 47 г.

Повестка дня. 1. Статья т. Лодгауз Л.Л. – «Саратовский плакат первых лет революции».

Никольская: – Не сказано ли слишком резко, что Юстицкий уничтожал культуру рисунка?

Лодгауз: – Говоря это я основывалась на работах и рассказах его учеников.

Никольская: – Не ясно сказано о «Голубой розе», какова её роль в создании плаката.

Лодгауз: – В создании плаката художники «Голубой розы» не участвовали, если не считать Кравченко, который в то время несколько примыкал к этому течению. Но получилось так, что «Голубая роза» стояла вообще в стороне от революции... занимала выжидательную позицию и что особенно важно удерживала, тормозила приближение художников реалистов к служению революционному народу.

Кожевников: – Неправильно то, что слишком много говорится о символизме «Голубой розы» и других творческих течениях. Главное, что это не подтверждается самим текстом разбора плакатов. – Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 162.

*

1945–1947 гг.

Работа Кожевникова по подготовке выставки к 50-летию Саратовского художественного училища.

Переписка Кожевникова с художниками.

Аринин: – *После Октябрьского переворота школа (Боголюбовское рисовальное училище) перестала существовать до 1918 года, после были открыты Высшие художественные мастерские. (Бывшее Боголюбовское рисовальное училище в августе 1918 г. было преобразовано в Свободные государственные художественные мастерские. Своб. гос. худ. мастерские представляли из себя высшее худ. учебн. заведение, в котором каждый учащийся по своему выбору мог обучиться той или иной худ. профессии за счёт государства. ...Этот год мне пришлось прожить в своём селе Синодском... ...а в августе 18 года я призван был в Красную Армию. Затем казармы в Покровске и дальше Уральский фронт. В конце этого года меня демобилизовали, как учащегося и я поступаю в мастерскую Уткина... потом Савинова. ...Затем голодный 1921 г. НЭП, всё это настолько осложнило всё, что первое время я просто растерялся. До этого мы жили без денег, столовые были бесплатны, хлеб тоже, а при введении новой экономической политики понадобились деньги и пришлось заняться заработком.*

Д. Даран (Райхман): – *...художественное училище с начала революции сразу резко изменило свою (квалификацию?) и именовалось «Высшие художественные мастерские». Весь педагогический персонал во главе с директором Боевым был снят. Его возглавил совет из художников П.С. Уткин, А.И. Савинов, Карев, И.П. Степашкин и А.И. Кравченко, Волконский.*

Кацман Евгений Александрович: – *Брат мой, Владимир Кацман совместно с товарищами под руководством П.Н. Боева расписывал стены и потолки Радищевского музея. По рисункам брата сделаны орнаменты на шкафах и мебели в библиотеке музея. ...скончался в Париже в 1911 г.*

Поляков Константин Георгиевич: – *Г. р. – 1885. 1) Пензенское рисовальное училище 1902-1907. 2) Школа рисования, живописи и скульптуры под руководством М. Бернштейна, А. Савинова и Л. Шервуда 1909–1914. 3) С 1918 г. по 1920 г. студент Саратовских свободных государственных художественных мастерских и ассистентом профессора Константинова. Ф.К.,* СПРАВКА: – *Константинов Фёдор Кондратьевич. 188(?). Моск. Строг. уч-ще; в октябре 1919 руководитель живописной мастерской; в марте 1920 отбыл на Кавказ.*

В 1920 г. Наркомпросом был назначен руководителем Саратовских художественных мастерских. В 1922 г. избран проректором административно-хозяйственной части Саратовского Практического института. Преподавателем Саратовского художественного техникума состоял по 1932 г.

Сидоренко Вячеслав Леонидович: – *1901–1944. 1923 г. Первая выставка картин Саратовской школы живописи.*

Симон Н.И.: – *2) Период пребывания в 1919 г. в независимой мастерской, в первый год преобразования училища в Государственные Высшие худ.-технич. мастерские. 3) Период преподавания в них в качестве профессора живописи.*

Штессель Е.А.: – *Елена Абрамовна, г. р. – 1907. Поступила в Сар. худ. Промышленный Техникум в 1925 г. на подготовительный курс, окончила – в 1930 г. С 1930 по 1932 работа в Саратовском оперном театре. С 1932 по 1936 г. состояла на учёте горкома ИЗО – Москва. С 1937 г. в Ленинграде.*

1927 г. Участие – «5-ой Юбилейной выставки картин Саратовской школы живописи».

В. Перельман: Воспоминания *(1909–1920-е. гг.):* – *...«Боголюбовка» как мы её звали. Директором училища был Н.И. Боев – питомец училища Штиглица, усиленно насаждавший тогда в училище, в угоду «отцам города» так называемые «прикладные искусства» /чеканка, деревообделочные мастерские и т. д./. Я был принят в орнаментный класс к А.О. Никулину... жил он в семье художника А.И. Савинова. Перейдя в головной класс я попал к Ф.М. Корнееву. По акварели я работал у П.А. Троицкого. К 1913 г. мною были пройдены головной, фигурный и натурный классы.*

1919 г. ...назначен уполномоченным мастерских.

Никитин Владимир Ильич: – Училище знаю с 1923 г. В этом году оно называлось «Художественно-практический институт» и имело живописное и скульптурное отделения. Директором училища был Гржебин Н.И.

Гржебин всё внимание уделял расширению промышленного производства и выколачиванию денег, из которых солидная доля перепадала ему. Учебной стороне он совсем не уделял внимания. Отсюда единой, нормальной постановки учебной и воспитательной работы не было. Наоборот формализм, другие измы, богема процветали в то время в училище. Учёбы серьезной не было, а было натаскивание, вкусовщина. Была ставка на мастера, хотя это ничем не обеспечивалось: ни программами, ни постановкой педагогического процесса, ни методами воспитания. Авторитета художников-классиков не существовало, их не признавали будь то русский, француз, итальянец любого века. Репина Юстицкий называл иллюзионистом и т. п.

Рисунок признавался лишь линейный, а не светотеневой, принятый в нашей школе. В живописи допускались всевозможные искажения и уродства лишь бы это было необыкновенно, преобладала исключительная эскизность работ, начальная стадия. Штудии не было ни в рисунке, ни в живописи.

Представители педагогического коллектива поддерживали идеологическую направленность «Искусство для искусства», «Искусство беспартийно» и т. (Уткин, Юстицкий), и так было до 1930 года.

Я поступил в училище уже сформировавшемся человеком, педагогом. Мне эти недостатки бросились в глаза, а потому я постоянно спорил, то с одним, то с другим педагогом, то выступал на общих собраниях и критиковал упущения и извращения администрации. Правильность моих выступлений признавали партийная, профессиональная организация, представители отделов народного образования. Благодаря этому коллектив педагогов, учащихся и организации выдвинули меня на административную работу / завуч. В этой роли с 1928 г. я и по настоящее время. Я принял следующие меры: 1) Стал создавать более или менее здоровый, квалифицированный коллектив педагогов. Для этого настоял на приглашении в училище Щеглова И.Н., закрепления Белоусова, обязательном введении общеобразовательных дисциплин и приглашении квалифицированных педагогов по общественным дисциплинам (Шалиной/?/, Ефремов, Яхонтов, Каснауров/?/ и др.; постепенно удалил формалистов. 2) Добился введения школьного режима, с определённым распорядком дня, твёрдым расписанием по специальным и общеобразовательным дисциплинам и даже ввёл звонки (что крайне возмущало Юстицкого). 3) Добивался перейти к обучению и воспитанию, привитию крепких навыков и умений хорошо начинать, но и хорошо доводить работу до относительной законченности, учить учащихся проработки формы, штудии. Переходить к этому было очень трудно, так как заражены были измами, левизной не только педагоги (Юстицкий, Егоров и др.) но и целое поколение учащихся. Вот почему воспитанники, выпущенные до 1930 года начиная с 1919 года, не дали выдающихся специалистов. Я не говорю о периоде до 1919 г. и о воспитанниках этого периода. Там была хорошая постановка дела, серьёзная учёба, профессиональное отношение, правильное направление по линии рисунка. Там были прекрасные условия для учёбы, были хорошие педагогические силы.

Так вот, начиная с 1930 года училище даёт более правильно направленных и достаточно подготовленных специалистов. Эти воспитанники крепче ухватились за жизнь, многие из них работают в г. Москве, многие заметны здесь, а ряд лиц лауреаты (Жуков, Климашин).

Теперь училище имеет 3 отделения: художественно-педагогическое, декоративно-оформительское, скульптурное. Училище продолжает традиции живописной школы. Но в данное время большой упор взят на рисунок. Рисовать необходимо хорошо, крепко и только хорошо рисующий может хорошо писать. Мало того, в стенах училища будущий специалист должен научиться композиции, основным её принципам и положениям, а там дело его кем он будет.

Ко всему этому считаю необходимым отметить некоторую подробность, а именно: в период с 1928 года, за время моей работы в училище, бессменно 17 лет, сменилось 10 директоров (Гржебин, Бурмистров, Винокуров, Власов, Эрдениев, Сидорин, Борзов, Кирилинко, Михайлов, Шиханов), а отсюда можно судить какая работа ложилась на меня, как заместителя и зав. учебной части. Ад-

министративная работа, благодаря частой смене директоров неспециалистов отнимала слишком много времени у меня, оставляя меня систематически без продолжительного положенного отпуска и последнее лишало меня возможности нормально работать над собой как специалиста. Состав в данное время педагогического коллектива хороший, но требует пополнения. В коллективе училища 24 педагога, из них только 4 с средним образованием, – все остальные с высшим, большим стажем, много работающих над собой.

С Бурмистрова, являвшегося директором училища, началась борьба за правильную постановку учёбы как по специальным, так и общеобразовательным дисциплинам.

Кириленко – усилила воспитательную и общественную работу училища, помогла созданию лучших условий для работы училища. Она добилась получения нового, более подходящего здания, заготовила материалы.

Другие директора или ничего не сделали или не сделали что либо существенного (Борзов, Михайлов) или даже портили, вредили училищу (Власов, Эрдениев, Винокуров).

Крепким директором для борьбы за существование училища оказался Шиханов И.В.

Так вот: до 1930 года – училище работает под влиянием измов, не получая какой либо помощи со стороны партийных организаций, поддержки со стороны печати и т. п.

После 1930 года начался перелом.

Особенно он ощущался в 1932-33 годах, после выступления газеты «Правда»: тогда снова на сцену стали выплывать авторитеты (Репин, Суриков, Рембрандт, Веласкес). – Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 160.

*

1947 год

Отчёт о деятельности Радищевского музея за 1947 г.

В русском отделе имеется: – Конец XIX в. и нач. XX в. (Васнецов, Жуковский, Виноградов, Малявин, К. Коровин, Ал. Бенуа, Сомов, Остроумова-Лебедева, Борисов-Мусатов и многие другие).

За 47 год проведены лекции на следующие темы:

а) «Настоящее и прошлое русского народа в изобразительном искусстве» общим количеством – 72.

б) «Образы вождей в советском изобразительном искусстве» – 10.

в) «Художники лауреаты Сталинских премий» – 16.

Данные лекции читались в колхозах области во время посевной кампании, а также в школах и Доме учителя г. Балашова Саратовской области.

Выставки.

1. Выставка работ саратовских художников (масло, акварель, рисунок, скульптура, резьба по кости – 136 экспонатов. Каталог.

2. Передвижная выставка живописи и графики советских художников – 135 экспонатов.

3. Выставка художников Среднего и Нижнего Поволжья – 180 экспонатов.

4. Выставка работ саратовских художников в связи с 50-летием со дня основания художественного училища – 139 экспонатов. Каталог. – Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 168. СПРАВКА. Участие Юстицкого на выставке 50-летия училища: 1) Автопортрет. 1946 г. Х. м. 48х40,5. 2) Женский портрет. 1946 г. Х. м. 64х49.

*

1947 год

Экспозиция.

В настоящее время – залы:

Конец XIX в. и начало XX в. (Васнецов, Жуковский, Виноградов, Малявин, Грабарь, Коровин, Ал Бенуа, Сомов, Остроумова-Лебедева, Головин, Борисов-Мусатов, Уткин, Петров-Водкин и др.) – три комнаты.

Подготовлены к печати: «Краткий исторический очерк музея им. Радищева» – Кожевников. «Жизнь и творчество А.П. Боголюбова» – Кожевников. – Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 169.

1947 год

Отчёт библиотеки и научных работников за ноябрь 1947 г.

1. Устройство выставки XXX лет изобразительного искусства в Саратове – Кожевников.

2. Изменения в экспозиции выставки саратовских художников, посвящённой 50-летию Саратовского художественного училища. – Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 170.

*

1947 год

Художник – боец передовой линии идеологического фронта

– Художник – боец передовой линии идеологического фронта. ...Все эти «Голубые розы», «Бубновые валеты», «Ослиные хвосты» и прочие порождения декадентской и формалистической эстетики несли в себе реакционное содержание, утрачивали национальную независимость в области художественного творчества, одурманивали и духовно растлевали народ. – Редакционная статья. «Искусство победившего социализма» // Журнал «Искусство». 1947. № 6. Ноябрь-декабрь.

*

Ситуативная этика. Кожевников

1946 год

– ...необходимо указать ещё на одного саратовского художника, который, хотя и не был преподавателем Боголюбовского училища но тем не менее оказал огромное влияние на формирование и направление творчества целого ряда саратовских художников. Этим художником был Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов. Его эмоциональное, с налётом грусти и мечтательности искусство неотразимо влекло к себе молодёжь. – Кожевников. Черновой вариант «Очерка художественной культуры Саратова». 1946 г. Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 2. Ед. хр. 160. Л. 143-144.

1947 год

– Борисов-Мусатов. ...поэт грусти и мечтательности создавший целый мир призраков, заслонявших ему реальную жизнь, воспевал старые заброшенные усадьбы и парки, с их поблекшими красками и тихим уединением, с розовыми закатами на фоне которых грустили женщины в старинных платьях с кринолинами. Эти настроения в тяжёлые годы реакции и обаяние художественной натуры Мусатова в личном общении с ним покоряли молодёжь и неотразимо влекли её за утверждающейся славой художника поэта. В Саратове он жил многие годы своего творчества, был близок со многими художниками и учениками. Его произведения на многих выставках, его картины были в знаменитой «Третьяковке». И не случайно, преобладающая часть художников саратовцев долгое время шла по этой узкой дорожке, намеченной Мусатовым и названной «Голубая роза». – Кожевников. Из истории Саратовского художественного училища (к 50-летию основания). Арх. СГХРМ. Ф. 369 (1). Оп. № 4. Ед. хр. 16. На 79 листах.

1947 год

– Художник не может существовать обособленно. Его творчество живёт благодаря обществу и в обществе. Этому учит нас партия большевиков, к этому призывает художников буквально каждая страница наших газет и журналов. – Кожевников. Черновой вариант статьи о саратовских художниках. Арх. СГХМ. Ф. 369. Оп. № 4, ед. хр. 160. Лист 174.

– Это отгораживание от жизни, это нежелание понять современных требований, предъявляемых к искусству, не случайно и имеет свои исторические корни. На протяжении многих лет среди саратовских художников процветал так называемый культ «чистой формы», стремление

отгородить искусство от политики под видом «свободы» творческого развития художника. Эти ложные и противоположные марксистско-ленинскому мировоззрению положения «голуборозовцев» и формалистов. И уродствующее, мертвенное «искусство» формалистов и далёкое от жизни, миражное искусство «голуборозовцев»; различные по своим творческим направлениям по существу были реакционны в своей основе и потянули художников в мир субъективных переживаний, подальше от жизни под общую вывеску буржуазного «искусства для искусства». Не случайно эти две группировки в Саратове уживались мирно долгие годы. Засилие формалистов и «голуборозовцев» делало невозможным существование в Саратове реалистического направления.

История показала что такие художники-саратовцы как Павел Кузнецов, П. Уткин, Петров-Водкин, которые долгие годы были кумирами для многих саратовских художников, стояли на ложном пути и оказались, в наше советское время, в своеобразном тупике. До сих пор ещё в Саратове живучи пагубные традиции этих антиреалистических направлений в искусстве. До сих пор ещё многие саратовские художники только снисходительно признают «некоторые» достижения в творчестве идейно-реалистического направления «передвижников», но преклоняются перед Борисовом-Мусатовом и с большим удовольствием смакуют живописные достижения произведений Сезанна, Ван-Гога, Матисса, и других левых художников Запада.

А «раз нет творческих дискуссий, нет критики и самокритики, – значит нет и движения вперёд» – говорил А.А. Жданов. – Там же. Лист 177.

1948 год

Извращения – в искусстве, в художественном училище

– ...В среде художников города живучи ещё ложные понятия о «свободе» творческого развития личности художника, стремление отгородить искусство от политики. Эти противоречащие марксистско-ленинскому мировоззрению положения насаждались в Саратове на протяжении десятков лет несколькими поколениями формалистов и «голуборозовцев» – представителей реакционных течений в искусстве.

...Б.В. Миловидов, И.Н. Щеглов, В.К. Данилов... преклоняются перед Борисовым-Мусатовым и с большим удовольствием смакуют «живописные достоинства» произведений Сезанна, Матисса, Ван Гога и других «левых» художников Запада.

Безыдейность, бессодержательность, вялость и малограмотность произведений отдельных саратовских художников – наследие и формализма и других извращений в искусстве, долгие годы существовавших в Саратове и, в частности, в его художественном училище. – Г. Кожевников. О саратовских художниках // Газета «Коммунист». 1948. 27 ноября.

Справка

1948 год, ноябрь. Редактору Саратовской областной газеты «Коммунист» тов. А.А. Лебедеву.

Уважаемый товарищ редактор! В № 235 (4250) от 27 ноября 1948 года... помещена статья... Г.Н. Кожевникова «О саратовских художниках» ...не было (прежде) тех обидных и несправедливых выпадов, которые есть в последней статье. ...Почему Г.И. Кожевников слово «ведущих» художников берет в кавычки? Разве произведение И.Н. Щеглова не приобретено Государственной Третьяковской Галереей? Разве произведения Б.В. Миловидова не приобретались Государственным Музейным Фондом?

...преувеличено мнение Г.Н. Кожевникова о том, что «противоречащие марксистско-ленинскому мировоззрению положения насаждались в Саратове на протяжении десятков лет несколькими поколениями формалистов и «голуборозовцев». Наиболее сильны формалисты в Саратове были в годы гражданской войны. Но и тогда им противостояла сильная группа реалистов. П.С. Уткин никогда не переставал защищать от нападок формалистов картину Айвазовского в Радищевском музее «Вид Трапезунда с моря», а А.И. Савинов никогда не уступал формалистам своих реалистических позиций. И в годы гражданской войны в Саратовских Высших Свободно-Государственных Художественных Мастерских, наряду с мастерскими левых художников: Ф.К. Константинова,

А.Е. Карева, А.С. Кравченко были и мастерские академиста И.П. Степашкина, реалиста А.И. Савинова, декоративного реалиста П.С. Уткина и мастерская «независимых» – реалистов, воспитанников дореволюционной Академии Художеств, а окна Саратовского Роста (А.А. Сапожников, Б.А. Зенкевич) не так уж уступали окнам Роста Маяковского.

В статье не было поставлено вопроса о том, в чем причина, что основные мастера «Голубой Розы», как бы мы к ней не относились в настоящее время, теченья общерусского (Павел Кузнецов, П.С. Уткин, Петров-Водкин и скульптор Матвеев) – саратовцы? Не задумывается (автор статьи) над вопросом, не отразились ли саратовские впечатления в творчестве В. Э. Борисова-Мусатова. – А. и В. Леонтьевы. Арх. СГХРМ. Фонд Леонтьевых. Оп. № 1. Ед. хр. 133.

*

Гущин Николай Михайлович. 1888–1965

1947 год

2. Материалы служебной деятельности

Документы, связанные с работой Н.М. Гущина в Саратовском государственном художественном музее им. А.Н. Радищева.

Комитет по делам искусств секретно 15.X № 12 № 128/с 18 октября 1947 г.

2. КП

11297/2

А – 3475

Письмо заместителя Председателя Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР А.Г. Глино – директору СГХМ им. А.Н. Радищева И.Д. Бурмистрову от 18 октября 1947 г.

О прибытии в Саратов для устройства на работу в музей бывшего русского эмигранта С.М. Близнюка.

...Оказался не реставратором, а поваром, и был направлен на переселенческий пункт, откуда, взамен его, к нам направили гражданина Гущина Николая Михайловича, который и принят нами как художник-реставратор с установленным испытательным сроком.

3.КП

11297/3

А – 3476

Письмо из СГХМ им. А.Н. Радищева заместителю председателя Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР А.Г. Глине от 6 декабря 1947 г.

Секретно 28 № 112

О принятии на должность художника-реставратора Н.М. Гущина. – Арх. СГХРМ. Ф. 369. Оп. № 1. Личный фонд № 9. Ед. хр. № 2.

*

– ...на год раньше меня пришёл. Когда я приехала в 47 году в Саратов – была на каникулах – не знала о Гущине. В 48 году стала работать в музее, а Наталья Ивановна говорит – Оболенскую с детства знаю: – Нонна, у нас потрясающий человек теперь работает. Очень хороший художник и очень интересный человек и ты должна с ним познакомиться. Коллектив музея был маленький... Ратнер – вы её знаете. Жена Чечнева работала. Фомина... Георгий Иванович Кожевников – совсем молодой человек, к нему уважительно все относились... умел себя поставить. Бурмистров – совсем не имеет отношения к искусству. ... жизнь была вольная. ...к вечеру как-то входит в нашу комнату высокий человек, подтянутый. Шапка кудрявых волос, выразительное подвижное лицо... ни о чём больше не говорил, об искусстве только говорил... – Н.В. Огарёва. Аудио-видео запись Галины Беляевой. 2000-е годы.

Продолжение следует

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРОВ ЗА 2017 ГОД

ПОЭЗИЯ

Алексей Александров. Весна 2017. № 9-10. С. 56
Олег Асиновский. Любовь. № 9-10. С. 14
Михаил Бару. «осенний дождь...» и др. № 9-10. С. 85
Иван Белецкий. «Машина сворачивает, солнце перестает...» и др. № 1-2. С. 205
Артем Верле. Тяжелая техника. № 7-8. С. 3
Владимир Гандельсман. Объекты. № 11-12. С. 108
Владимир Голованов. «Русский романс» и др. № 5-6. С. 3
Анна Голубкова. Цикл о непишущихся стихах. № 5-6. С. 211
Юрий Гудумак. Граница Центральной Азии. № 7-8. С. 85
Даниил Да. Из книги стихов «Южная ночь». № 11-12. С. 3
Данила Давыдов. «вы не думайте так...» и др. № 1-2. С. 182
Владимир Друк. АЛЕФ-БЕТ. Формы, числа и номинации. № 3-4. С. 186
Михаил Дынкин. Бабочки № 9-10. С. 3
Елена Зейферт. «Язык» и др. № 1-2. С. 212
Виталий Зимаков. Утопленница. № 7-8. С. 71
Сергей Золотарев. «Человечек при родах вещей...» и др. № 11-12. С. 129
Лариса Йоонас. «В феврале бывал сильный ветер...» и др. № 3-4. С. 179
Дана Курская. «Баллада» и др. № 1-2. С. 186
Мария Левина. «И мы летим» и др. № 9-10. С. 41
Виталий Лехциер. «дурачиться на краю материального мира...» и др. № 11-12. С. 142
Арсений Ли. Бутафория. № 7-8. С. 109
Денис Липатов. «Вот самовольное сиротство...» и др. № 5-6. С. 208
Виктор Лисин. «есть ли у вас тигровые чайные цветы...» и др. № 3-4. С. 208
Борис Лихтенфельд. «Акварельное озеро. Помнишь...» и др. № 1-2. С. 196
Люба Макаревская. Признание в слабости. № 7-8. С. 63
Антон Метельков. «зебры-зебры, вы березы?» и др. № 3-4. С. 224
Елена Михайлик. В городе Р. № 9-10. С. 78
Михаил Немцев. И наша любовь голодных. № 7-8. С. 10
Андрей Пермяков. Стихи для Марии Панкевич. № 11-12. С. 161
Александр Петрушкин. «Не посетил, но выкопал в себе...» и др. № 3-4. С. 235
Андрей Сен-Сеньков. «Миффи» и др. № 1-2. С. 3
Григорий Стариковский. «Четыре темы» и др. № 3-4. С. 3

Евгений Стрелков. «Шлюз» и др. № 5-6. С. 244
Елена Сунцова. «Снежный покров не лежит на прогретой земле...» и др. № 1-2. С. 200
Андрей Тавров. Из Византии. Сонеты к Ксении Кентавра Асбола. № 9-10. С. 142
Андрей Торопов. «Йорки перережут друг друга...» и др. № 3-4. С. 241
Владимир Тучков. Русалка. Попытка реконструкции. № 1-2. С. 217
Феликс Чечик. «здесь не был я давным-давно...» и др. № 5-6. С. 252
Елизавета Шершнева. «грех закадычный гнездится по углам...» и др. № 7-8. С. 103
Рафаэль Шустерович. Теряющий время. № 5-6. С. 255

ПРОЗА

Ольга Аникина. С начала до конца. Божий дар. Рассказы. № 3-4. С. 212
Марта Антоничева. Тысяча третий свободный человек. Рассказ. № 5-6. С. 241
Владимир Аристов. Mater studiorum. Роман. № 5-6. С. 11
Анатолий Бузулукский. Прикусил язык. Иваныч. Голоса в лесопарке. Рассказы. № 3-4. С. 229
Нина Горланова. Трофимка идет в науку. Ключи. Рассказы. № 3-4. С. 245
Татьяна Грауз. Темная сторона травы. Рассказ. № 11-12. С. 151
Данила Давыдов. «Исповедь писаря» и др. рассказы. № 11-12. С. 124
Илья Данишевский. Гомотопическая эквивалентность алабая и апатии. Рассказ. № 9-10. С. 27
Сергей Дигол. Зеркало Вероники. Короткий детектив с молдавским акцентом. № 9-10. С. 46
Татьяна Замировская. Мир железного зайчика. Рассказ. № 11-12. С. 134
Сергей Зельдин. Из цикла «Маленькие рассказики». № 7-8. С. 106
Катя Капович. Одинокая остановка. Рассказ. № 9-10. С. 68
Борис Клетинич. Мое частное бессмертие. Роман. № 1-2. С. 8; Окончание. № 3-4. С. 9
Нина Косман. Три рассказа. № 11-12. С. 170
Андрей Краснящих. Мой друг Юрий Цаплин. Глава из романа «О себе». № 3-4. С. 202
Михаил Кузнецов. Зацеп. Рассказ. № 5-6. С. 239
Сергей Кулаков. Преображения. Рассказ. № 1-2. С. 209
Константин Куприянов. Толя Швеин и Святой. Повесть. № 9-10. С. 87
Денис Липатов. Алжир. Рассказ. № 9-10. С. 64
Иван Макаров. Крокодилка. Рассказ. № 11-12
Валерия Макарова. Взбрык. Рассказ. № 7-8. С. 91
Вадим Месяц. Пограничное состояние сознания. Рассказ. № 9-10. С. 82
Евгения Некрасова. Несчастливая Москва. Комедия в 7 действиях. № 5-6. С. 217
Кусчуй Непома. Импрессионизм. Рассказ. № 7-8. С. 75

Михаил Окунь. Сестрорецкие рассказы. № 1-2. С. 192
Татьяна Риздвенко. Куртка (роуд муви). № 3-4. С. 219
Александр Титов. Чичичилетие. Повесть о последнем большевике. № 7-8. С. 42
Владимир Тучков. В парке Чаир наступают морозы. Шесть скелетов, найденных в славянском шкафу. № 7-8. С. 19
Лев Усыскин. Чжуан-Цзы (Из цикла «Путы Мнемозины»). № 1-2. С. 208
Николай Фоменко. Мясо на борщ. Рассказ. № 9-10. С. 10
Вячеслав Харченко. Трамвай. Рассказ. № 1-2. С. 210
Владимир Шапко. Железный старик и Екатерина. Роман. № 11-12. С. 16
Сергей Шикера. Портрет. Рассказ. № 7-8. С. 6
Вадим Ярмолинец. Три рассказа. № 5-6. С. 248

ПЕРЕВОД

Георг Тракль. Из книг «Стихотворения» и «Видения Себастьяна». Перевод, комментарии Алёши Прокопьева. № 11-12. С. 177

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Михаил Корюков. «ничего не осталось от карты мира...» и др. № 7-8. С. 180
Илья Семененко-Басин. «пролетая через точку γ» и др. № 7-8. С. 179
Виктор Смирнов. «Вихрь» и др. № 7-8. С. 182
Евгений Степанов. «я замер азией во льду...» и др. № 7-8. С. 181

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. В русском жанре – 53. № 11-12. С. 202

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. Не печатные пряники. № 1-2. С. 222; Едоки травы. № 3-4. С. 249; Прельщение простейших человек. № 5-6. С. 260

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Олег Лекманов, Михаил Свердлов. Венедикт Ерофеев: Орехово-Зуево – Владимир. *Глава из биографической книги об авторе «Москвы – Петушков»*. № 11-12. С. 216
Владимир Орлов. Александр Гинзбург: русский роман. *Три главы из книги*. № 7-8. С. 112

Александр Романов. За пределами книги. № 5-6. С. 280

Андрей Тавров. В поисках недостижимого языка *(Заметки о творчестве Елены Зейферт)*. № 1-2. С. 241

РЕТРОСПЕКТИВА

Сергей Слепухин. Охотник за любовью *(О творчестве Генриха Манна)*. № 7-8. С. 184

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Петр Александров. Стихи из записной книжки 1947–1956 годов. *Публикация, предисловие Георгия Квантришвили.* № 9-10. С. 147

Михаил Дмитриев. Деревенские элегии. *Публикация, предисловие Георгия Квантришвили.* № 7-8. С. 221

Александр Кремлёв. Голод – Любовь – Революция. Поэма. *Публикация, вступительная статья Георгия Квантришвили*. № 11-12. С. 228

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Геннадий Авдеев. «Трип в носочках из сусанинских ниток». *Николай Барабанов. Льдинки-лысинки.* № 3-4. С. 269

Александр Вергелис. Живое и мертвое. *Александр Леонтьев. Пределы; Алексей Машевский. Живое; Алексей Пурин. Седьмая книга.* № 5-6. С. 288

Данила Давыдов. Мир без смысла. *Павел Лукьянов. Turistia.* № 9-10. С. 159

Аркадий Данилов. Грядущий Кац: интервью с Романом Арбитманом. *Рустам Кац. История советской фантастики. Пер. на японский: Хироаки Умэмура.* № 7-8. С. 241

Мария Косовская. Она что-то знает. *Ирина Батакова. Песок.* № 3-4. С. 271

Александр Котюсов. На стороне добра. *Полина Жеребцова. Ослиная порода.* № 3-4. С. 273; Моше хороший. *Моше Шанин. Места не столь населенные.* № 5-6. С. 284

Борис Кутенков. На двух полюсах восприятия. *Вл. Новиков. Литературные медиаперсоны XX века. Личность писателя в литературном процессе и медийном пространстве.* № 9-10. С. 164

Денис Липатов. Что мы увидим, когда закончится ночь? *Игорь Караулов. Конец ночи.* № 7-8. С. 233; Осиротевший шпион. *Александр Беляков. Шпион шумерский.* № 9-10. С. 160; Проводник из котла. *Александра Кабанов. На языке врага: стихи о войне и мире.* № 11-12. С. 235

Лев Оборин. Любовное неразличение цветов. *Хельга Ольшванг. Голубое это белое.* № 5-6. С. 283

Дарья Облинова. Лабиринты сослагательного наклонения. *Елена Чижова. Китаист.* № 7-8. С. 237

Андрей Пермяков. «...Ссылка в границы мгновения». *Александр Журавский. Слова и травы. Сорок пять стихотворений*. №11-12. С. 239

Олег Рогов. Сквозь капли на стекле. *Ара Мусаян. Капли на стекле.* № 1-2. С. 249

Алексей Слаповский. Дцать лет спустя (вместо рецензии). *Саратов 13/13: книга стихотворений (Валентин Ярыгин, Александр Ханьжов, Николай Кононов, Светлана Кекова, Олег Рогов, Евгений Малякин, Лариса Грекалова, Евгений За- угаров, Станислав Степанов, Игорь Алексеев, Алексей Голицын, Сергей Трунев, Алексей Александров)*. № 1-2. С. 250

Леонид Фишман. Это уже слишком. *Ильф И. и др. Из черновиков, которые отыскал доктор филологических наук Р.С. Кац и опубликовал Роман Арбитман*. № 5-6. С. 286

Василий Чепелев. О стихах Виктора Лисина. *Виктор Лисин. Селяне*. № 1-2. С. 245

Наталия Черных. На мосту. *Евгений Волков. Погонщик рыб*. № 3-4. С. 270

Сергей Шиндин. Неожиданные подтексты. *Георгий Левинтон. Статьи о поэзии русского авангарда.* № 7-8. С. 238; Небесные классики. *Роман Тименчик. Подземные классики: Иннокентий Анненский. Николай Гумилев.* № 9-10. С. 168

N.N. Гадание по книге (вместо рецензии). *Вика Сушко. Дым в сторону реки.* № 3-4. С. 275

АРХИВ

Алексей Голицын. Земной и Мухина. *О быте и нравах саратовских писателей времен Большого террора.* № 1-2. С. 251; «Оздоровить здоровой кровью...». *Последствия одной жалобы в Союз писателей СССР.* № 3-4. С. 276; Виктор Бабушкин: счастливая судьба контрреволюционера. № 9-10. С. 193

Георгий Квантришвили. «И проснуться им нельзя». *Литераторы Среднего Поволжья в тридцатые годы.* № 5-6. С. 297

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Вячеслав Лопатин. Происхождение Радищевского музея. № 11-12. С. 267

Стелла Чеботарёва, Вячеслав Лопатин. Рассказывайте о себе. № 5-6. С. 293

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Русская поэтическая речь – 2016» как русская поэтическая жизнь. № 9-10. С. 175

КАБИНЕТ

Денис Боровиков, Сергей Тареев. Путь псаломщика. № 9-10. С. 185

Контакты:

Анна Сафронова *(гл. редактор, проза)*: safronova-volga21@yandex.ru
Алексей Александров *(зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru
Алексей Голицын *(документальные исследования)*: agolitzin@yandex.ru
Олег Рогов *(архивные публикации, критика)*: rgv@mail.ru
Алексей Слаповский *(проза)*: slapovsky@yandex.ru

*Персональный сайт журнала: http://*volga-magazine.ru/
Кирилл Преображенский *(автор сайта, модератор)*: kirill.preo@gmail.com

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
http://magazines.russ.ru/volga/

Подписано в печать 20 декабря 2017 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.